

Стефан Грюнберг

Недочеловеки



Стефан Грюнберг
Недочеловеки

memoria
memoria





Стефан Грюнберг

НЕДОЧЕЛОВЕКИ

Роман

Москва

Возвращение

2011

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Г92

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Составитель серии «Методиа»
С.С. Виленский

Грюнберг, Стефан
Г92 **Недочеловеки:** роман / публикация Д. Прохоровича. Москва:
Возвращение, 2011. – 472 с. ISBN 978-5-7157-0235-7

Стефан Грюнберг (1895–1970) был сыном русской революционерки-подпольщицы, отправившей сына на воспитание в швейцарский пансион. В 1925 году Грюнберг приехал в СССР, работал переводчиком в Наркоминделе; с первых дней войны – на фронте, затем плен, Бухенвальд, возвращение в СССР и 10 лет ГУЛАГа.

Рукопись его романа «Недочеловеки», отразившего две карательные системы – гитлеровскую и сталинскую, была в поле зрения КГБ. После смерти Грюнберга рукопись сохранял его сын, Дмитрий Стефанович Прохорович. Не имея возможности опубликовать книгу, Прохорович перепоручил ее своему другу Андрею Благовещенскому, который собственноручно перепечатал роман, отредактировал, разместил в интернете и обратился в общество «Возвращение» с просьбой его напечатать. Так в судьбе романа запечатлелись творческие усилия, готовность к немалому риску, самоотреченность и добрая воля трех по крайней мере людей.

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0235-7

© Д.С. Прохорович, 2011
© Р.М. Сайфулин, оформ. серии, 2011
© Возвращение, 2011

О Грюнберге, отце моего школьного друга

С осени 1943 года в Сталинграде начались занятия в вернувшемся из эвакуации мединституте. Там моей маме предложили преподавать английский в должности ассистента кафедры иностранных языков.

Медицинский институт получил типовое здание средней школы. Профессора наравне с областными начальниками жили в нормальных квартирах, а народ помельче разместили в бараках «с удобствами во дворе». Нам с мамой досталась девятиметровая комната на первом этаже.

В том же коридоре барака поселили заведующую кафедрой иностранных языков Анну Марковну Дирингерову. Польская еврейка, она после оккупации Польши немцами бежала из Лодзи и поселилась в Станиславе (теперь Ивано-Франковск). Там она познакомилась с советским журналистом Стефаном Грюнбергом и вышла за него замуж. В первый же день войны, 22 июня Грюнберг был призван в армию, оставив жене Диму, своего сына от первого брака. С пасынком она и стала жить в нашем бараке в комнате напротив чуть больше нашей. Дмитрий был мой ровесник, и мы с ним скоро и надолго подружились.

В конце мая или начале июня 1945 года Анна Марковна с Димой получили письмо с неизвестными марками, почтовыми штемпелями Франции и каких-то африканских и ближневосточных почтовых служб и обратным адресом: Париж, ул. Генерала Аппера, 6, для Бухенвальда. Письмо было от Диминого отца. В письме он рассказывал, как раненный под Киевом, попал в немецкий плен, два года просидел в берлинской тюрьме, а потом его отправили в лагерь уничтожения. Там стал одним из руководителей антифашистского подполья и редактором подпольной же лагерной газеты. Он писал, что Бухенвальд узники освободили сами, восстав за несколько дней

до подхода американских войск. Надеялся на скорое возвращение домой и встречу с родными.

Время шло, а писем больше не было. Анна Марковна написала в советское посольство в Париже и в ответ получила телеграмму, что Грюнберг жив и здоров, следует ждать вестей от него самого. Но вести не появились.

Жизнь развела нас с Дмитрием на 50 лет. Позже, в 60-е или 70-е годы, я прочел в журнале «Уральский следопыт» воспоминания одного из узников Бухенвальда, где он писал, что в Бухенвальде его крестным литературным отцом стал Стефан Грюнберг, один из руководителей подполья и восстания.

Потом я узнал, что советская власть за то, что он остался жив, «отблагодарила» Грюнберга десятью годами ГУЛАГа. Освободился он, как и моя мама, после XX съезда КПСС. На основе своих пождений в учреждениях гитлеровской и сталинской карательных систем он написал роман «Недочеловеки».

В 1970 году Грюнберг умер, оставив рукопись на попечение сына, но так как Дмитрий, живущий в Сумах, потерял надежду не только издать, но и просто сохранить труд отца, он поручил это мне. В конце 90-х годов я получил от него три бандероли, в каждой из которых было по тому рукописи романа «Недочеловеки». Текст я набрал на компьютере и по мере сил отредактировал. Это не мемуары, а скорее приключенческий роман. Он не посвящен описанию «свинцовых мерзостей», но жизнь его персонажей, которые сочетают в себе и высокое и низкое, разворачивается на фоне этих мерзостей.

От некоторых собеседников (пугавшихся объема книги и не читавших ее) мне доводилось слышать, что тема романа устарела. Мне думается, что когда на стенах пишут нацистские лозунги и украшают их свастикой, а на манифестации выходят с портретами Сталина, с этим согласиться невозможно. Я думаю, что книга, написанная в жанре приключения, может быть воспринята и молодым читателем.

Андрей Благовещенский

Об отце

Писать об отце легко и тяжело одновременно: с одной стороны, подстерегает идеализация образа, а с другой — опасность нагромождения бытовых баек, обычно малоинтересных для людей, читающих предисловия.

Одного отца я знал до 1941 года, то есть до своего двенадцатилетия, и другого — с 1956 года, когда он освободился из заключения, и до его кончины в 1970 году.

Вероятно, как и многие другие, будучи мальчишкой, я мало интересовался отцом как личностью вообще и как литератором в частности. Однако мне запомнилось, что мои тетки обнаружили в первом издании «Малой Советской энциклопедии» (кажется, 1930 года) такую запись: «Из молодых немецких писателей следует отметить среди иных и С. Грюнберга». За абсолютную точность цитаты поручиться не могу, но за смысл ручаюсь, хотя так и не знаю, что написал отец в Швейцарии или в Германии и за что по этому поводу был удостоен упоминания в энциклопедии.

Отец приехал в послереволюционную Россию примерно в 1924–1925 году по зову своей ослепшей матери. Она, когда была ещё здорова, делала революцию в России, воспитание же сына при этом поручила какому-то пансиону в Швейцарии. Мне отец как-то рассказывал, что его мать, убедившись впоследствии в своей ненужности делу революции, покончила с собой. Она оставила предсмертную записку, в которой писала, что главное — быть добрым.

Несмотря на расположение власти к отцу как сыну профессиональной революционерки, положение его в России оказалось весьма непростым. Он почти не знал русского языка, носил иностранную одежду, вызывавшую всеобщее недоумение у людей в разрушенной войнами и революцией стране. Его определили на работу в Наркоминдел на какую-то должность, связанную с частыми

поездками за границу. Этому способствовало его совершенное владение немецким и французским языками. В это же время он научился и русскому языку. Успеху в этом обучении способствовало и знание польского языка, который в иных обстоятельствах мог бы считаться и его родным, поскольку родился он и провел дошкольное детство в Польше, бывшей в те годы частью Российской империи.

В начале 30-х годов он стал сотрудником иностранного отдела ТАСС, и жизнь его стала складываться, если судить по выделенному ему персональному «форду», относительно благополучно. Несколько раньше, в 1926 году он женился на донской казачке, моей матери, которая вместе с тремя своими сестрами бежала от ЧК из считавшегося оплотом белогвардейцев Новочеркаска. По рассказам матери, он был человеком совершенно не приспособленным к быту того непростого времени. Тем более что он тогда еще оставался иностранцем. Его знание русского мать иллюстрировала таким примером: «Не гавкай посудой», — просил он. Наркомат предоставлял ему квартиру в Москве за мизерную по тем временам плату. Но дважды он отказывался от нее и снимал жилье у частников в Подмоскovie: там лучше воздух.

Фигура отца, носившего широкие серые брюки, застегивающиеся на шиколотках, его большой, явно не арийский нос, его визиты в немецкое посольство к своему другу г-ну фон Шуленбургу, послу Германии в СССР, не могли остаться без внимания все более зверевших товарищей из НКВД.

В конце 1936 года отец был исключен из ВКП(б) как уклонист троцкистского толка и уволен из ИНО ТАССа. Естественного финала таких историй он не стал ждать и по совету друзей из Наркоминдела, а возможно и из НКВД, уехал из Москвы «с глаз долой» в Ялту. Там он работал в местной газете «Курортные известия». Когда в 1939 году был заключен пакт Молотова-Риббентропа и прежние контакты с немцами почти перестали быть политическим преступлением, отец стал корреспондентом Всесоюзного радио на Западной Украине, в городе Станиславе (теперь Ивано-Франковск).

Началась война. Уже 22 июня 1941 года отец в штабе 12-й армии допрашивал сбитых немецких летчиков. Тогда же во время нашей короткой встречи перед 16-летней разлукой он рассказал, что пленные немцы ведут себя высокомерно и нагло. Дальше был «котел», в котором оказалась 12-я армия, ранение, плен, тюрьма, Освенцим, Бухенвальд. Потом бухенвальдское подполье, участником которого

он был, и восстание заключенных, освободивших лагерь своими силами еще до прихода американцев. Да и все остальное, описанное в романе, в основном, главном тоже было. Обо всем этом отец рассказывал при нашей с ним встрече в 1956 году в поселке Аблакетка города Усть-Каменогорска в Казахстане, где после освобождения и реабилитации он работал плановиком в каком-то тресте.

Сразу после пленения, раненный в бедро и с искалеченной рукой, он попал в немецкую тюрьму на Александрплац в Берлине. Там гестаповец, принимая его за большую советскую шишку, допрашивал его в течение почти года. Я как-то спросил отца, чем отличались допросы гестапо от методов работы советских спецслужб. Он ответил, что практически ничем, кроме одного: гестапо стремились любыми способами выбить истину, а нашим в 1945 году, когда отец получил опыт советского подследственного, нужна была только подпись заключенного под небылицами, сочиненными самим следователем.

Примерно в 1963 году отец приехал в Москву, где встречался с бывшими узниками концлагерей Освенцима и Бухенвальда. Кажется, в Москве была какая-то организация узников немецких концлагерей и при ней секция Освенцима и Бухенвальда, но после двух или трех посещений этого учреждения отец прекратил встречи с ними, в чем-то разочаровавшись.

Живя в подмосковном Щёлкове, отец начал писать свой роман, в основу которого легли события его собственной жизни, кое-где разбавленные и дополненные писательской фантазией, которая при этом не противоречила реальному опыту автора. Пока шла работа над книгой, хрущевская «оттепель» кончилась. Слух о его работе над книгой дошел до органов КГБ, которые внимательно следили за тем, кто и что пишет. Возможно, один экземпляр рукописи попал на Лубянку, хотя отец был уверен, что отправляет его в какое-то издательство в Брюсселе.

Умер отец в Москве 75 лет от роду в 1970 году, оставаясь вопреки всему до конца своих дней неисправимым оптимистом.

Воспитанный в швейцарском пансионе, закончивший философский факультет в Цюрихе, отец был западным европейцем, случайно попавшим в совершенно чуждую ему среду. Было ему уже в ту пору 30 лет, возраст, когда уже трудно, если не невозможно, себя переделать. Но он всю оставшуюся жизнь надеялся, что в Советском Союзе настанет пора перемен и пройдет нужда приспособливаться.

Жизнь на Западе отец знал прекрасно, и он не был от неё в восторге. Как-то на мое замечание о свободе на Западе он ответил, что там вместе с безусловными гражданскими свободами есть еще и свобода подыхать от голода. По своим политическим воззрениям он был социал-демократом. Очень жалею, что он не дожил до перемен в России. Ведь несмотря на все пережитое, он очень любил Россию и считал, что новое, неизвестное ему будущее связано именно с этой страной.

После освобождения из Бухенвальда он много общался с американцами и неоднократно слышал от них, что после возвращения в СССР его ждет тюрьма. Для меня до сих пор остается загадкой его возвращение в по сути чужую страну, где его никто не ждал, где он не сумел создать семью, обзавестись друзьями. До самого своего конца он оставался неприспособленной, одинокой, немного театральной белой вороной, способной на экстравагантные поступки.

Его роман, с одной стороны, затрагивает неразрешимую тему интеллигенции во времена катаклизмов, а с другой — это автобиография с вкраплением детективно-приключенческих элементов. Мысли и рассуждения его героя Жака — это мысли и чувства самого автора. Но автор не пытается героизировать свое литературное отражение, что говорит о его писательской честности. Отец не переносил пафоса, усматривал в нем обязательную фальшь. Возможно, от этого в тексте романа мало эпитетов, нет пьедестальных героев и стопроцентных злодеев. Даже фон Вевис не лишен некоторой человечности, не говоря уже о рядовых эсэсовцах. Это, как мне кажется, отличает роман от многих других книг о войне.

Надеюсь, что «Недочеловеки» найдут своего читателя, которому книга понравится, а если есть загробный мир, то это станет большим утешением для моего покойного отца.

Дмитрий Прохорович

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

Книга, предложенная на этот раз вниманию читателей серии «Мемогія», отлична от других изданий серии. Обычно это — лучшие образцы либо мемуаристики, либо художественной прозы на материале Гулага.

Здесь — ни то и ни другое. Это не мемуары, а роман. Но его, пожалуй, не назовешь образцом художественной литературы. Не в этом, можно сказать, его сила. Перед нами редкий случай — увлекательная беллетристика с прочной фактографической основой. Даже то, что выглядит иногда литературным штампом, оказывается скрупулезной фиксацией достоверных событий и их деталей.

Русский язык для автора — не родной (но, конечно, с полнотой освоенный за пятнадцать лет работы в СССР до войны и за десятилетие Гулага после немецкого концлагеря). Это направило его литературные усилия во вполне определенную сторону. Он сосредоточился на реальных выкрутасах своей судьбы, превращая реальный рассказ о собственной жизни в захватывающий, едва ли не приключенческий роман. Автор, как сообщает нам в предисловии его сын, еще в начале 30-х был отмечен в Малой Советской энциклопедии как один «из молодых немецких писателей». Даже если его выделили в этом качестве исключительно ради поощрения сотрудника тогдашнего Наркомата (нынешнего Министерства) иностранных дел, все равно это свидетельствует о том, что он с молодых лет уже был литератором. И это делает понятным, почему стал писать не мемуары (как очень многие вышедшие из лагерей), а роман.

К этому, повторим, несомненно, толкали и особенности авторской биографии — такой, про которую говорят: «Его жизнь — это целый роман». Да и сама история сохранения текста, рассказанная в двух предисловиях, предшествующих нашему, — того же сорта.

Увлекательные сюжетные ходы придумывать было не нужно — они были в памяти автора в готовом виде. Незаконная дочь, переходящая от одного «отца» к другому, так и не знающая, кто ее родители. Танцовщица, похищенная среди бела дня неким бароном. Она же — потерявшая на дорогах войны своего ребенка европейская коммунистка военных лет, относящаяся к своему членству в партии очень серьезно: «Всерьез, — подтвердила Лили и прибавила: — Иначе невозможно».

Действие легко перебрасывается из страны в страну — Франция, Германия, Венгрия, советская Россия. Не возникает сомнений в личном знакомстве автора с материалом, и сама несомненная его новизна говорит в пользу выбора издателей серии — в рамки одного текста вмещены впечатления европейца от двух тоталитарных систем: лагеря нацистского и лагеря победителей нацизма, гноившего в своих бараках как раз тех, кто помогал его побеждать. Эта фантазмагория XX века описана пером добросовестного наблюдателя, оказавшегося волею судеб в ее недрах.

Поскольку русский язык не был для автора родным, он сделал точный выбор: литературное умение брошено не на демонстрацию богатства речи, а на сюжетное мастерство — на то, чтоб рассказ автора о виденном им и пережитом увлекал, затягивал, не давал бросить чтение на полуслове.

И действительно удается придать повествованию неослабевающую динамику. Средства этого — разнообразны. Вдруг встречаем фразы, которые кажутся цитатами из салонного романа начала XX века: «Кароль Иштван граф Чакки подошел к двери и, взяв с серебряного подноса конверт, стал его вскрывать своими длинными холеными пальцами». Но только начинаешь иронически улыбаться, понимаешь: все, как говорится, списано с природы — *действительно* венгерский граф с *действительно* холеными пальцами, но при том — это почти середина XX века. И в конверте на *действительно* серебряном подносе — ответ на ходатайство об освобождении из нацистского концлагеря его тайной дочери... «Он решил добиться свободы Лили не только чтобы скрыть следы своего прошлого, своей связи с евреями, но и для того, чтобы доказать свою независимость и свободу мышления. Некоторая фронда по отношению к фашистскому режиму (напомню — Венгрия воюет на стороне фашистской Германии. — М.Ч.) стала в последний год признаком хорошего тона». Да уж пора бы — идет последний год войны, расплата

близка... И чиновник министерства иностранных дел объясняет графу: «Наступило время, когда нам, мадьярам, следует вспомнить о нашем историческом предназначении». И граф подхватывает тему: «Что ж, — глядя с некоторой опаской на чиновника, произнес он, — пожалуй, старой аристократии нужно остерегаться новой династии ефрейторов».

Графа включают в комиссию Международного Красного креста.

Так узнаешь из романа неизвестное тебе ранее — при всем обилии источников о Второй мировой войне. Например, о посещении этой Комиссией немецких концлагерей, из которых людей отправляли в газовые камеры, — и о том, чем это посещение кончилось...

«Протокол об обследовании лагеря был изготовлен в трех экземплярах и подписан всеми членами комиссии. Некоторые пункты удалось согласовать с трудом. ...Транспортный самолет Ю-54 принял комиссию на борт. Все лагерное начальство явилось на аэродром. Были даже произнесены краткие речи, в которых подчеркивалась добрая воля лагерного начальства и объективность комиссии. Самолет взмыл в воздух и вскоре пропал из вида.

В газетах Рейха появилась заметка: «Транспортный самолет Ю-54, следовавший в Цюрих, недалеко от баварско-швейцарской границы был обстрелян истребителем, не имевшим опознавательных знаков. Транспортный самолет загорелся в воздухе и упал... Экипаж и все члены комиссии погибли».

Описываются советские подпольщики в немецком лагере — их самоотверженность, но и принесенные с родины подозрительность, нелепое в этих условиях политиканство: ведь их действия направляются СМЕРШем.

...Война идет к концу. Союзники стремятся разбомбить крематории: прервать уже психопатический — в виду близости собственной неминуемой гибели — процесс истребления целой нации, от мала до велика. Бомбежки нарушают распорядок и открывают для заключенных — слабые, но все-таки! — возможности побега. В немецком концлагере наэлектризован, кажется, сам воздух. «Над строем взвыл самолет. Толпа заключенных метнулась в сторону. Два сильных взрыва потрясли воздух. Строй заключенных распался, многие побежали к проходу в окружающем стройку заборе. Начальник конвоя действовал, как его учили: первым бросился навстречу бегущим —

и был сразу смят. Толпа поглотила и сорок орудующих прикладами и сапогами эсэсовцев. Они падали вместе с теми, кого прошили их пули. Толпа прошла по ним ураганом».

Способ динамизации повествования избран, как видим, довольно простой и успешный — короткие, как выстрелы, фразы, нередко выстрелами же и прошитые. Фразы, довольствующиеся главным образом глаголами. Это — глаголы *действия*. По большей части такие, что передают лишение человека жизни.

«Машина осела от резкого торможения. Из придорожной будки вышли два эсэсовца. Они подошли к машине с сонным безразличием, как будто не было ни бомбежки, ни выстрелов со стороны лагеря. В верхнем кармане водителя лежало удостоверение, пистолет оттягивал карман брюк. Ему казалось, что он вот-вот выстрелит».

Он «как бы нехотя» протягивает документ.

«— Что там делается?»

Водитель пожал плечами.

— Какие-то болваны взбунтовались. Скоро их усмирят. У меня наряд, остальное меня не касается.

...Эсэсовец махнул рукой, его помощник поднял шлагбаум. Все же старший решил заглянуть в кузов. Машина была покрыта брезентом. Он приподнял полотно и тут же упал. Пуля попала ему в висок. Машина рванула с места, как конь, которому всадили в бок шпоры».

Вскоре в лагере начинается схватка эсэсовцев с заключенными, получившими оружие: они уже пытаются взять дворец, где расположен штаб. А тут уже подтягиваются и советские танки, пехота окружает штаб. Неуловимое чувство достоверности, наблюдательности очевидца окрашивает заурядные описания военных действий: дворец «сразу ожил. Окна и двери открылись. По ступенькам, окруженный свитой и блистая орденами, спустился какой-то высокий чин. Повернувшись к своим, он что-то сказал. Потом вынул блестящий никелем пистолет и поднес его к виску. Однако выстрелить не успел: кто-то из приближенных вырвал из его рук оружие и отбросил в сторону. Тогда генерал кивнул и, скрестив руки на груди, стал дожидаться своей участи. Он продолжал стоять, когда его окружили советские солдаты».

Редкое в литературе о Гулаге и ценное качество — живое, непринужденное знание автором европейской жизни. И — острый, с особым ракурсом, не изглаженным долгой жизнью

и работой в СССР, а затем многолетней советской каторгой, взгляд чужестранца на бесстыдное, пахнущее кровью и смертью советское лицемерие.

Советская армия освободила узников немецких лагерей. «Жак сидел на скамье рядом с такими же, как он, полувоенными-полугражданскими. На стенах висели портреты вождей и плакат. На плакате был изображен длинный состав теплушек. Из теплушек вылезают раненые, калеки. Их встречают женщины, старики и дети. Слева зеленеют три овейанные весенним ветерком березки. Под ними полукругом надпись: “Родина ждет вас”.

...На трибуне появился молоденький майор. Он обвел собравшихся взглядом, улыбнулся и заговорил».

Каким способом автор сообщает зловещесть глаголу «улыбнулся»?..

«...Достав из кармана брюк очки и какую-то бумажку, сказал:

– То, что я теперь вам скажу, это не мои слова, это слова вождя: “Не только те, кто попал в плен и испытал на себе всю тяжесть неволи, остаются дорогими сынами Родины. Родина прощает даже тем, кто поднял на нее руку. Забывшие честь и достоинство советских людей смогут честным трудом загладить свою вину перед Родиной”.

...Вы здесь находитесь, так сказать, в чистилище. Отсюда ведут, как вы сами понимаете, две дороги: одна вправо, другая влево. Кому будет хорошо, а кому и неважно.

Это было ясное предупреждение, однако Жак не придал ему значения... Утром состоялся митинг. Выступавший говорил о том, что отныне Советский Союз станет гарантом мира. Он произнес слово “гарант” с явным удовольствием, будто только что усвоил его, но умеет уже без труда произносить. После него выступили еще двое из числа “фильтруемых”. Они говорили о страданиях, которые принес фашизм людям, о том, что ненависть к фашизму надо передать молодому поколению. Жаку казалось, что все эти речи бледны и унылы».

Дальше – сегодня почти общеизвестное (хотя, с другой стороны, и старательно забываемое): допросы следователей, советский лагерь, встречи там с эсэсовцами, против которых работал в немецком лагерном подполье... И под конец романа – как в немецком лагере – восстание заключенных. Только теперь советские танки не приходят им на помощь: они движутся на восставших и под их гусеницами гибнет главный герой романа.

...Сын автора сохранил в памяти весьма существенное свидетельство отца – на свой вопрос об отличиях допросов гестапо от методов советских спецслужб. Оказывается, отличие было только одно – гестаповцы стремились «любыми способами выбить истину», а нашим (грустно называть изуверов *нашими*, но куда денешься) «нужна была только подпись заключенного под небылицами, сочиненными самим следователем».

Мариэтта Чудакова

Часть первая

ЧЕЛОВЕК НА ВЕСАХ

Глава 1. №104231

1

Через решетчатое окно Жаку был виден дворик, вернее, усыпанный речной галькой проход между двумя кирпичными бараками. По дворику сновали люди в полосатой одежде заключенных. Их движения были вялы, голоса звучали надтреснуто. Впрочем, все звуки стирались шорохом шаркающих по гальке деревянных башмаков.

Неожиданно сквозь неясный шум прозвучала мелодия итальянской песни «О, мое солнце», ее выдувал на губной гармошке кто-то из заключенных. Песенка росла и цвела, как цветок на пустыре. Люди прислушивались, удивленные, со вновь родившейся надеждой. Улыбки блуждали вокруг глаз, движение во дворике остановилось, многим в это мгновение приснилась давно забытая женская ласка. Вдруг нежную призывную мелодию срезал вырвавшийся из соседнего барака вой. Вой был страшен, он повис в воздухе мертвящей угрозой. Заключенные сбились в кучу. Кто-то придумал объяснение: в бараке, где помещалось хирургическое отделение больницы, производилась, мол, перевязка после операции, бинт прилип к послеоперационному шву, его отрывают от шва, и это очень больно. Многие из новичков-заключенных, которые наполняли дворик, с радостью ухватились за эту версию. Она освободила от преследовавшего страха, на несколько мгновений уползшего в свою берлогу. На самом деле это доктор Вевис анатомировал без наркоза живого человека.

Время было обеденное. Люди принесли с собой миски и ждали с нетерпением момента, когда можно будет предаться

наслаждению приема пищи. Наконец принесли бочки с супом. Удар половника о пустую миску оповестил о начале раздачи. Очередь установилась не сразу. Более опытные заключенные выжидали, в надежде, что им останется гуща со дна. Получив свои порции, они садились спиной к стене. Другие ели стоя, поставив миски на подоконники. Бывало, что дневальные сбрасывали миски с подоконников; на стороне дневальных были правила внутреннего распорядка, и пострадавшие не протестовали, а отправлялись за получением добавки, выклянчивая ее у капо, который обыкновенно оставался непреклонным и разгонял голодных половником: он должен был удовлетворить «законных» прихлебателей – мойщиков посуды да всяких там придурков, коим добавка была положена.

Заполнявшие дворик заключенные принадлежали к прибывшему накануне «транспорту». Они не были размещены по баракам и не получили еще номеров. Глядя на них с высоты своей койки у окна, Жак Берзелин понял, как ему повезло: он сразу же попал в «оздоровительный» барак. Правда, блаженство длилось всего три недели (как раз сегодня эти три недели подходили к концу).

2

В тот унылый мартовский день они долго простояли у ворот. Мимо катились груженные мешками двуколки, которые тащили запряженные цугом заключенные. На мешках восседали люди с желтыми повязками, они подгоняли заключенных бичами. Из ворот выбежал карлик в одежде заключенного и лакированных сапожках. Он бросился на стоящих в первом ряду цугангов¹ и стал бить их своими подкованными сапогами по ногам, визжа и гримасничая. Это продолжалось до тех пор, пока один из дежуривших у брамы² эсэсовцев не отозвал его свистом, как собаку. Карлик подполз к эсэсовцу хныкая, тот прогнал его пинком.

Наконец ворота открылись. В одном из барачных новоприбывших обрили и погнали голыми через весь лагерь в баню. Баня была на замке, и им пришлось долго ждать. Люди жались друг к другу и тряслись от холода. Наконец, баню открыли, цу-

¹ Цуганг – вновьприбывший (нем.).

² Брама – ограждение (нем.).

гангов обдали горячей водой и заперли в бане на ключ. Под вечер явился шуплый рыжеватый заключенный в очках, сгибаясь под тяжестью весов, которые тащил на спине. Локтем правой руки он прижимал к телу большую конторскую книгу в черном переплете. Он обвел присутствующих близоруким взглядом, который придавал его веснушчатому мальчишескому лицу измученное выражение. Двое других заключенных внесли белый столик с поставленной на него табуреткой и, оглядываясь кругом, почему-то засмеялись. Вслед за ними появился человек в белом халате, по-видимому, врач-эсэсовец. Эсэсовец уставился бычьим взглядом на голых цугангов, сплюнул и встал у окна в позе вельможи, рассматривающего в присутствии художника заказанный им портрет.

– Подходи по одному! – крикнул рыжеватый.

Очередь установилась быстро, всем захотелось поскорее закончить эту процедуру. Заключенные дрожали от нервного возбуждения. Когда очередь дошла до Жака, рыжеватый как-то особенно долго приводил весы в порядок.

– Кто? – спросил он Жака, передвигая гирыку.

– Военнопленный.

– Солдат?

– Какая разница.

– Перебежчик?

Жак поднял свою изуродованную руку.

– Чем?

– Осколком.

– Когда?

– В сорок первом.

– Где был с тех пор?

– Сидел в тюрьме.

– Поможешь мне потом отнести весы. Рост – сто семьдесят два, вес – пятьдесят шесть четыреста, – прибавил он громко. – Следующий!

Врач приложил стетоскоп к груди Жака, повернул его за плечо и ударил по пояснице. Когда Жак оделся, выхватывая из кучи принесенного тем временем белья и обмундирования штаны, рубашку и куртку (примерять их было некогда), ему стало скучно, как на именинах у тети Ванды, когда были вручены подарки и приходилось ждать угощения. Он подошел к рыже-

вату, который, справившись с взвешиванием и измерением роста, заносил что-то в конторскую книгу. Внезапно тот поднял лицо и улыбнулся улыбкой мальчишки, только что отколовшего удачный номер.

– Так мы тезки. Ты, оказывается, Жак, а я Яша.

– Одно и то же люди по-разному называют.

– Ха! Я вижу, ты философ! – Он взял конторскую книгу под мышку и ухватился за весы.

– Дай, я сам! – запротестовал Жак

– Ты на себя слишком много не бери, – возразил Яша. – В лагере надо притворяться более слабым, чем ты есть. Откуда знаешь так хорошо немецкий?

– Длинная история.

– Ладно. Длинные истории на потом.

Они понесли весы вдвоем. Яша по дороге то и дело шурил глаза, приветствуя знакомых. Они вошли в один из барачков и, поднявшись на несколько ступеней по лестнице, попали в большую палату, уставленную деревянными трехэтажными койками. На койках лежали или сидели люди, тупо глазевшие в пространство. Жак и Яша прошли по проходу между койками и остановились у застекленных дверей, на которых висела надпись: «Не рассказывай сказок, говори дело!»

– Ты меня здесь подожди, – сказал Яша и один втащил весы за перегородку.

Жак огляделся. Палата представляла собой зал метров сорок в длину и десять в ширину. Свет в него попадал через широкие, застекленные мелкими стеклами окна. С потолка свисали гирлянды искусственных цветов. В простенках между окнами висели плакаты. На одном из них была выведена подпись: «Верстовые столбы к свободе – послушание, прилежание, правдивость, скромность, аккуратность и услужливость». На другом плакате была изображена огромная вошь и человеческий череп. Третий плакат поведал о том, что юмор заключается в способности смеяться вопреки всему.

– Все в порядке! – крикнул Яша в приоткрытую дверь. – Останешься здесь. Твое место у четвертого окна наверху.

Жак хотел выразить свою признательность, но Яша отрезал:

– Ложись. Лежи и помалкивай!

После обеда Жак со своей койки наблюдал за дневальным, как тот поливал водой проход между койками и скреб стеклом мокрые доски пола. Дневальный был грузный мужчина с красными, напоминающими ласты руками. Он стоял на четвереньках и в своей полосатой куртке был похож на доисторическое животное. На нижней полке сидел молодой парнишка. Он водил пальцем по изодранным страницам иллюстрированного журнала и повторял вполголоса, словно убеждая кого-то:

– Сверху двадцать, снизу пять, слева шестнадцать, справа семь... Нет! Сверху двадцать четыре, слева шестнадцать, справа одиннадцать, слева...

Он поднял голову и уставился на голые ступни Жака.

– Старый, эй, старый!

Жак не сразу понял, что это относится к нему. «Неужели я произвожу впечатление старика?» – подумал он. Спросил, словно просыпаясь:

– Что, Костя?

– Ты у меня хлеб спер, – тихо, но внятно сказал Костя. – Отдай мне хлеб!

Жак оглянулся. Никто не обратил внимания на слова Кости. Дневальный продолжал скрести пол, не отводя глаз от досок пола. Жак порывлся под подушкой, достал завернутый в тряпицу кусок черствого хлеба, остаток от вчерашней пайки, и протянул его Косте.

– На, но знай, твоего хлеба я не брал.

Костя взял хлеб, стал его крошить, раскладывая крошки кучками по одеялу. Жак вскрикнул с испугом:

– Что ты делаешь!?

Вместо ответа Костя пытался встать на голову, но его ослабевшие руки не выдержали тяжести тела, и он рухнул на пол посередине выплеснутой дневальным на половицы лужи. Костя тихо засмеялся и покачал головой. Постепенно его лицо стало принимать напряженное выражение, он выглянул в окно, приподнимаясь на своей койке.

– Старый, эй старый! Что это? Где это? Почему так?.. Люди полосатые ходят... и смеются, как клоуны... и прожекторы по ночам... Цирк?

– Да, цирк, Костя.

– А я не хочу! Не хочу, – закричал вдруг Костя, пряча лицо в подушку.

Жак сполз со своей койки, подсел к Косте и положил ему руку на плечо.

– Не надо так, Костя. Ведь рыжие на то, чтобы шутить!

Но Костя его не слушал. Он теперь кричал, размахивая кулаками:

– Собаки! Их человечиною кормят!

Жак, как некогда во время репетиции, стал мучительно искать слово, интонацию, которые помогли бы найти образ и следовать по извилистым тропинкам режиссерского замысла:

– Ты же пойми, Костя, они ничего не могут с нами сделать. Ведь им не хватает для этого воображения. Они могут представить себе жратву, ну, скажем, голую бабу. Дальше им фантазии не хватит. А у тебя, у меня, у всех нас волшебная палочка. Стоит до нее дотронуться, и все! Вот видишь – на реке пароход. Он нас ждет, завтра мы уплываем... с берега нас не достать. Пока все тихо, только канаты поскрипывают, вода плещется, рыба дремлет... Мы спустимся вниз, в траве незабудки, а над ними стрекозы. Они, играя, сталкиваются друг с другом, как будто им мало места. Мы знаем, это не стрекозы, а рыцари, закованные в латы. Они на турнире, все посматривают вниз на незабудки, не улыбнутся ли они. А за такую улыбку можно ведь все отдать, правда, Костя?

Он уложил Костю, прикрыв его одеялом.

– Спит? – спросил скребущий пол дневальный.

– Спит.

– Несчастный парнишка!

– Тс-с!

3

Врач тормошил исхудалого больного.

– Вы меня слышите? – кричал он. – Вы меня слышите? Как ваша фамилия? Отвечайте! Громче! Не понимаю!

Больной качнул головой.

– К-кекс!

– Как вы сказали?

Внезапно, как будто он только что обрел дар речи, больной заговорил быстро, словно боясь, что не успеет высказаться:

– Лимонный кекс. Жорж. Кайзерштрассе, 17. Позднее – улица Легионов. Львов – Лемберг.

– Так-так. Адрес. Ну, и что?

– У меня была дочь. Танцовщица. Скажите, доктор, как вашему... есть загробная жизнь?

– Не знаю.

– Должна быть. Иначе такая жизнь, как моя, просто... бессмыслица.

Он вдруг обмяк, как воздушный шар, из которого вышел газ. Марк Маркович уставился неподвижным взглядом на перекладину верхней койки.

– Скажите, а с вашей дочерью что стало?

– О, моя дочь! Если хотите знать, она знаменитость.

– Вот как! Кто же она такая?

– Когда меня при аресте спросили, нет ли у меня родственников, и я назвал имя моей дочери, гестаповцы переглянулись, и один из них спросил другого: неужели та самая? Они не смели меня пальцем тронуть, когда узнали, что я отец Лили. У нее был любовник – знаете кто?! Сам...

Врача звали Марк Маркович Гинзбург. Он был сыном известного до революции адвоката, крещеного еврея, белоэмигранта, женившегося на француженке.

С Марком Марковичем происходило нечто странное. Он открывал и закрывал рот, как живая рыба на кухонном столе. Наконец, он выдавил из себя:

– Лили Брон... Она здесь. В женском лагере.

Больной схватил Марка Марковича за руку и сжал ее с неожиданной силой. Он выпучил глаза, потом замотал головой и прохрипел:

– Проклятие на мою голову!

Он откинулся на набитую соломой подушку. Подушка зашелестела, словно в ней гнездились змеи.

– Шприц! – крикнул Марк Маркович, но никто его не слышал. Он побежал за перегородку в процедурную и поспешно наполнил шприц.

Когда он вернулся к койке больного, тот лежал, вытянувшись, по его телу пробегали судороги, слюна на его губах то пузырилась, то опадала. Это была агония. Марк Маркович подождал немного, послушал сердце, приподнял веки, потом на-

тянул на лицо умершего одеяло. Вернувшись в процедурную, он выдавил содержимое шприца через открытое окно на улицу.

– Номер 104231 экзит, – сказал он, не поворачиваясь, Яше, который чертил на развернутом листе бумаги.

– Я уже отметил.

– Ты всегда забегаешь вперед, Яша.

– Можно было ожидать. Пеллагра четвертой степени плюс стенокардия.

– Твоего русского, – сказал после паузы Марк Маркович, – придется выписать. Он уже больше трех недель здесь.

– Почему – моего? Он такой же мой, как и ваш.

Снова пауза.

– Ты мне не доверяешь, Яша?

– Почему вы думаете, что я вам не доверяю?

– Что за еврейская привычка отвечать на вопрос вопросом.

– Подумаешь! Вы ведь тоже еврей!

– Зачем грубить? Вам же, как врачу, известно, что идиоту не следует об этом напоминать.

– Иногда следует.

– А если учесть, что мой отец крещен...

Яша посмотрел насмешливо на Марка Марковича и пожал плечами.

– Для тебя и твоих единомышленников я просто сын белоэмигранта. Хотя мой отец защищал революционеров.

– Мало кого приходится защищать адвокатам...

– Вы все упрощаете

– Тонкости оставим на потом, хорошо?

– Какие же это тонкости? Человеку приклеивают ярлык.

Что наци, то же и коммунисты!

Они помолчали. Марк Маркович ходил по комнате. Яша чертил. Внезапно Марк Маркович остановился и спросил:

– У тебя есть связь с женским лагерем, Яша?

– Что значит – связь? Вы сами знаете, я езжу в женский лагерь за лекарствами, потому что там центральная аптека.

– Ты знаешь заключенную Лили Брон?

Яша прищурил глаза, выражение их оставалось настороженным.

– Кто она такая?

– Танцовщица.

– А вы откуда ее знаете?

– По Парижу

– С какого времени? То есть... я имею в виду... это было до немцев?

– Если это можно назвать знакомством... Мы встречались в 1938 году.

– И больше ничего о ней не знаете?

– Я уже сказал. Познакомился с ней случайно. Если вообще...

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать, что все... – судьба.

– Бекицер!¹

– Ну, так... Возвращался я как-то после лекций домой. В метро. Передо мной сидела девушка и читала. Я взглянул на корешок книги: «Анна Каренина» во французском переводе. Наша, подумал я.

– Почему вы подумали «наша»?

– Потому что во Франции девушки не читают толстых русских романов.

– Может быть, она не была француженкой?

– Я так и подумал... Она вышла из вагона. Мне нужно было ехать еще одну остановку, но я сошел тоже. Поднимаюсь за ней по лестнице, передо мной маячат ее ноги, пружинистые, свободные. Ноги танцовщицы, подумал я. Она вышла на площадь, свернула к бульвару Араго. На этом бульваре тюрьма, по другую сторону – тихие особнячки. В них живут люди среднего достатка, мелкие рантье, судейские чиновники, врачи. Перед одним таким особняком она остановилась, позвонила. Ей открыл слуга в стеганом жилете. Я слышал, как он сказал: «Бон суар², мадмуазель Лили!» Я ей написал. Не помню, что, наверно, какой-то вздор... Но, представь себе, она ответила. Писала, что приехала недавно в Париж из Швейцарии, где обучалась танцам. Однажды я увидел объявление: вечер танцев Лили Брон. Я купил билет, мне досталось боковое место, я видел только половину сцены и ее, когда она выбегала на эту половину. Мне каждый раз казалось, что она выплывает из небытия, чтобы снова погрузиться в него... и, действительно, она исчезла, перестала

¹ Короче!

² Добрый вечер (фр.).

отвечать на мои письма. А караулить у особняка, в котором она жила, я не посмел.

— Все?

— Вроде бы все... Нет, я увидел ее еще раз.

— Поэзия! — сказал Яша. Он вкладывал в это слово мальчишескую нетерпимость.

— Ты не понимаешь, — пытался оправдаться Марк.

— Да, я не понимаю, — упорствовал Яша. — Если хотите знать, все это оттого, что вы были единственным сыном. Вы этого не говорили, но я догадываюсь. У моей матери было шесть душ детей. Отец умер, мать зарабатывала тем, что набивала подушки и перины гусиным пухом. Пух был повсюду, плавал в пище, забивал нос и уши... Старшему брату удалось пробраться в Советский Союз, он учился там и работал. Он выхлопотал нам визу, но наступил 1938 год, в Словакии образовалось правительство Тиса¹, и нас перестали выпускать. То есть у кого были деньги, мог уехать... в Америку. У меня был хороший почерк, один нотариус взял меня к себе, но потом уволил как еврея. Я попал сюда, а что с матерью и сестрами — не знаю. Может быть, их уже нет в живых... Но когда мне бывает трудно, я думаю, что есть на свете такая страна, как Советский Союз, и мне становится легче. Если хотите, это тоже своего рода... талисман. Только не такой, как у вас — безо всякой поэзии. Ваши из СССР убежали, а я всю жизнь хотел быть там.

Марк Маркович смотрел во двор. Он слушал, но не слышал. «Почему ко мне все лезут с какими-то переживаниями? — думал он. — Как будто мне своих не хватает!»

4

Старосту барака Шпаковского в лагере прозвали «Хлыстом» за его порочную гибкость и злую въедливость. Особенно придирав он был к своим подчиненным.

Вот и теперь, появившись в палате, он набросился на моего пол дневального:

— Так моют полы?! Я тебе покажу, как мыть пол! Ты думаешь, что сможешь спрятаться за моей спиной, когда тебя будут выписывать на газ?!.. Не выйдет!

¹ *Правительство Тиса* — фашистское правительство Словакии в 1938–1945. Его глава Йозеф Тисо (1887–1947) депортировал в концлагеря десятки тысяч словацких евреев.

Привстав на носки, так как был ниже ростом, Шпаковский стал бить дневального по лицу. Дневальный споткнулся о ведро с водой и упал. Шпаковский пнул его ногой и закричал тонким голосом кастрата:

– Будешь знать, свинья!

Марк Маркович, нервно поеживаясь, приоткрыл дверь в палату.

– В чем дело?

– Какие люди, пане доктоже! – запричитал Шпаковский. – Стараешься создать им условия, а они только и думают, как бы подгадить!

– Не кричите так, здесь больные.

– А я на них хотел на... – не унимался Шпаковский и прибавил под видом оправдания: – Сейчас здесь будет Вевис.

Все засуетились. Марк Маркович стал прибирать в шкафчике, Яша сложил бумаги и спрятал их в ящик стола, Шпаковский извлек из кармана лоскут бумаги, скомкал его и принялся протирать окно.

– Почему ты не дал ему сдачи? – спросил Жак дневального.

– А почему я должен давать ему сдачи? – спросил тот.

– Как же? Человек бил тебя...

– Это бил меня не человек. Это бил меня Он рукой человека, – дневальный показал глазами вверх.

– За что Он стал бы тебя бить – набожного еврея?

– Ему есть за что бить каждого человека, – дневальный отошел в сторону и снова принялся скрести пол.

Молодой человек с ниточкой подбритых усов и цветным шелковым фуляром вокруг шеи подошел к Жаку и, показывая головой на ползающего на четвереньках дневального, спросил:

– Как вам нравится этот тип?

Жак пожал плечами.

– Вы не знаете, что ему помешало бы дать сдачи Хлысту? Чувство неполноценности. В чем дело? Откуда у этого быка чувство неполноценности? Он онанирует? Возможно. Но я думаю, что причина другая. Евреи говорят на чужих языках и не могут выразить свою душу. И это произошло с евреями, которые придают исключительное значение слову. Идиш? Это же не язык, это суррогат языка. А ведь у евреев есть свой язык, да еще какой язык! Но они забыли его, и он умер, пото-

му что язык умирает, когда он не в употреблении. Вот причина чувства неполноценности у евреев!.. Простите, я не знаю, говорю ли я с евреем или нет... А Валентинам принадлежала дача на Семеринке и дворец в Вене. Валентинов можно было увидеть в кругу выдающихся деятелей политики и культуры. Самые красивые женщины в обеих столицах считали для себя за высокую честь... Ну, да... принцы крови соперничали, чтобы сорвать улыбку с уст наших дам. Наш незабвенный кайзер Франц-Иосиф предложил моему отцу титул барона, но отец ответил: «Я слишком горжусь, что я подданный Вашего Величества, чтобы у меня еще хватило гордости на титул барона». Эти слова моего отца облетели всю Вену, всю Австрию. Скажите, была ли у нас причина чувствовать себя неполноценными? И все же это чувство нас точило... Я спросил у отца: «Мы евреи?» Отец ответил: «Между нами — мы евреи». «Вы сказали это, отец, как будто вы торгуете пуговицами поштучно. Что это за язык?! Разве так говорили наши предки?» «Я не знаю, как говорили наши предки, но я думаю, что они говорили лучше меня». «Они говорили лучше уже потому, что говорили на иврите». «Ну, если ты так думаешь, возьми себе учителя и попытайся научиться говорить на иврите, я для этого уже слишком стар». Я так и сделал. Я взял учителя и изучил иврит. А потом уже самостоятельно занимался. Теперь я знаю иврит, как мало кто его знает, — Валентин махнул рукой и побрел усталой походкой по направлению к процедурной. Там он присел на лежанку и, сделав скорбное лицо, промолвил: — Дайте мне успокоительного, доктор. А то у меня спазм гортани.

Шпаковский положил руку на плечо Валентина:

— Это оттого, что мы тонкие натуры, пане Валентине!

5

Обершарфюрер Рюльке любил появляться внезапно, как черт из табакерки. Предвестник грозы, он полыхал зарницами деланного гнева.

— Сегодня явится господин эсэс-оберарцт¹ доктор фон Вевис! Понятно?! Чтоб был порядок! Шпаковский!

¹ *Оберарцт* — главврач (нем.).

– Есть, господин оша!¹

– У вас имеется, чем прополоскать горло?

– Для вас, господин оша, всегда найдется! – Шпаковский движением головы указал Марку Марковичу на шкафчик с эмблемой Красного Креста, и тот налил в мензурку какой-то прозрачной жидкости.

– Мы должны благодарить господа Бога, что он послал нам такое начальство, как господин оша! – вывел фиориттуру Шпаковский.

– Без воды? – спросил эсэсовец.

– Самую малость. Еще глоточек, господин оша?

– Можно.

– Как господин эсэс-оберарцт сегодня? Какое у него настроение?

– Шут его знает. Вчера, под вечер подошел состав с жидами из Словакии. Как обычно, женщины, старики, дети. Выдали им по кусочку мыла и по полотенцу, в баню, мол. Две газовых камеры, по двести человек в каждой. Оказались лишние. Так лишних прямо в печи...

Он передал мензурку Яше и вытер усы тыльной стороной руки. Яша побледнел и уронил мензурку. Она разбилась о пол.

– Раззява! Убери! – Шпаковский подтолкнул кусок стекла ногой.

Яша взял в углу заменявшую совок дощечку и метелку и стал подметать осколки разбитой посуды. Для удобства или по другой причине он опустил на колени. Но вдруг прекратил свое занятие и стал дуть в пространство.

– Откуда пух? Полно гусяного пуха!

– Тоже с нервами не в порядке? – спросил эсэсовец, морща нос.

– У него в Словакии остались мать и сестры, – сказал Марк Маркович. – Все о них вспоминает.

Что-то дрогнуло в лице эсэсовца, но он тут же сумел придать своему лицу уставное невозмутимое выражение.

– Пойдем-ка к твоим нормальным сумасшедшим.

Они вышли.

¹ *Оша* – сокращенное обершарфюрер (нем. Oberscharführer) – звание в СС и СА, соответствовало званию фельдфебеля в вермахте.

Шпаковский, довольный, что эсэсовец удостоил его высокой чести, повел его к койке больного, который, выпятив губы, что-то бормотал...

– Разве можно так распускаться? – с упреком сказал Марк Маркович, как только они остались вдвоем.

– Вы только никому... – попросил Яша по-детски.

– Можешь быть спокойным, врачебная этика обязывает...

– Спасибо, – Яша протянул руку Марку Марковичу. – Я бываю, может быть, несправедлив к вам. Так уж извините.

– Ничего. Я понимаю. Это бегство. Бегство в безумие. Со всяким может случиться...

– Я не побегу, Марк Маркович. Можете быть уверены, я не побегу.

– Не зарекайся, Яша! Ведь мы все здесь немного сумасшедшие.

6

Тем временем Шпаковский и эсэсовец стояли у койки «австрийского кайзера» – Казе, или Казимира Первого.

– Сейчас же собрать всю мою армию, – распорядился Казе.

– Ваше монаршее величество собирается воевать? – спросил с озабоченным видом эсэсовец.

– Долой всех Пифке! Смерть Мармеладингерам! – выкрикнул Казе.

– За что такая немилость?

Казе пожевал и сплюнул:

– Никакого вкуса.

– Я всегда оставался верным подданным вашего величества, – заверил эсэсовец.

– Ты что? Ты – тля!

Эсэсовец крикнул, Шпаковский нервно повел плечами.

– Как это ты, Казе, имея столько солдат, попал сюда? – спросил он, когда эсэсовец перестал хохотать.

– Так же, как и ты. Я спал, и у меня украли сапоги с серебряными шпорами.

– Но за что тебя посадили? – качая головой, спросил эсэсовец.

– Жидам воду возил.

– Больше ничего?

– Больше ничего. – Ловя улыбку на лице эсэсовца, Шпаковский шлепнул себя по ляжкам.

– Дай закурить, – попросил Казе у эсэсовца.

– Честное слово, забыл прихватить, – притворно ища по карманам, заявил эсэсовец. – Дай ему покурить, – он ткнул локтем Шпаковского.

– Я с двух лет бросил курить, – сострил тот.

– Так чего здесь шляется? Пошли вон!

Эсэсовец схватил себя за живот. Но вдруг его смех оборвался. Сначала издали, потом приближаясь, раздавались выкрики: «Ахтунг!»

В палату вошел фон Вевис. Не обращая ни на кого внимания, он прошел в процедурную. Шпаковский, согнувшись, забежал вперед, чтобы открыть перед ним дверь. Высокий, с покатыми плечами и маленькой головкой страуса, Вевис, смешно подпрыгивая, подошел к окну и провел рукой в белой лайковой перчатке по подоконнику.

– Почему здесь грязно? – оглядывая перчатку, спросил он скрипучим голосом.

– Крематорий близко, господин эсэс-оберарцт, – объяснил Марк Маркович.

– Чтoб этого безобразия больше не было!

– Слушаюсь, господин эсэс-оберарцт.

Вевис оттянул рукав мундира, словно желая взглянуть на наручные часы. Марк Маркович вынул из шкафа шприц, вставил иглу и наполнил шприц. Движения его были какие-то судорожные, он никак не мог попасть иглой в ампулу.

Фон Вевис вырвал шприц из руки Марка Марковича и сделал себе сам укол в предплечье.

– Признайся, мерзавец, – скосив глаза на Марка Марковича, сказал он, – ты охотно дал бы мне вместо морфия что-нибудь другое?.. Приготовить формуляры! – бросил он через плечо.

Яша поспешно вынул из ящика кипу формуляров, положил, подровняв, на стол, а сам стал около весов. Вевис снял фуражку и положил ее перед собой. Загнав в глазную впадину монокль, он стал просматривать формуляры.

– Все здесь? – спросил он у Яши.

– Все.

– Проверю.

– Проверяйте...

– Ви? Вас! Как разговариваешь, скотина!

Все ждали неминуемой, казалось, расправы. Но тут раздался звук, напоминающий скрежет тормозов.

– Ну и гусь! – сказал Вевис, показывая пальцем на Яшу.

– Гуси дают хороший пух, – сказал Яша.

Лицо Марка Марковича приняло напряженное выражение.

– Отличный, – согласился Вевис.

– На пуховых подушках мягко спать.

– И тут ты прав...

– Но все же... если на них долго лежать, то пух сбивается в комок.

Вевис кивнул.

– И пух может превратиться в камень!

– Запиши ты этого молодчика на пятницу. Пусть ему отсчитают двадцать пять. Может быть, и его зад превратится в камень, – обращаясь к эсэсовцу, распорядился Вевис.

Эсэсовец вынул из кармана записную книжку и стал ее листать.

– Ближайшая пятница занята.

– Тогда на следующую. Ничего, подождет, – продолжая изображать улыбку, кивнул Вевис.

Шпаковский залился смехом.

– Начинать! – крикнул Вевис.

Шпаковский выбежал в палату и при помощи пинков и зуботычин стал сгонять больных с коек и устанавливать очередь у дверей процедурной. Первым оказался больной с длинной шеей и с заостренными кверху ушами. Шпаковский подтолкнул его к весам.

– Становись, мать твою!..

Больной, косясь на Шпаковского, обошел весы. Шпаковский схватил его за шею и ткнул головой о чугунную штангу весов. Когда, наконец, Шпаковскому удалось загнать больного на весы, он подошел к эсэсовцу, который с иронической улыбкой наблюдал эту сцену, и вполголоса сказал:

– Бойтся. Слышал, наверное, что в таких весах бывает приспособление – выстрел в затылок. Под музыку.

Вевис повернул голову к Шпаковскому и блеснул моноклем.

– Ты знаешь, что бывает за разглашение государственной тайны, болван?!

– Виноват, господин ээс-оберарцт.

– Твое счастье, что тайна отсюда не уйдет.

Инцидент казался исчерпанным.

– Жираф? – спросил Вевис человека на весах.

– Никак нет-с, ваше благородие, – возразил больной с длинной шеей. – Моя фамилия Красинский.

– Игра природы, – констатировал Вевис.

– Настроение – прима! – шепнул ээсовец Шпаковскому.

– Вес – пятьдесят девять. Рост – один метр семьдесят шесть, – рапортовал Яша.

– Поправился на полкило, выписать! – Вевис передал формуляр Марку Марковичу. «Жираф» припал к его руке.

– Следующий!

Сцена повторилась. Если больной поправлялся, Вевис передавал формуляр Марку Марковичу, если сбавлял в весе – ээсовцу. Больные реагировали по-разному на этот смертный приговор. Некоторые покидали процедурную с деланным или подлинным безразличием, другие плакали, падали перед Вевисом на колени, умоляли о пощаде. На таких набрасывался Шпаковский, бил, тащил к двери.

Очередь подошла к Жаку.

– Военнопленный? – спросил Вевис, рассматривая его формуляр.

– Военнопленный.

– Почему здесь?

– Нарушил тюремный режим.

Жаку казалось, что эти вопросы он слышит не впервые. Как будто то же самое уже однажды происходило, Жак наперед угадывал вопросы и повторял ответы.

– Офицер? – продолжал свой допрос Вевис.

– Офицер.

– Звание?

– Майор.

– Большевик?

– Да.

Яша недоуменно покачал головой. «Зачем это надо?»

– Жид?

– Не-ет... русский.

– Скажи своему тате, чтоб он тебя переделал.

Жак пожал плечами.

– Будущее человечество скажет нам спасибо, что освободили его от вас – человекоподобных.

– Что ж... Люди умирают от укуса гадюк. Почему такая участь должна меня миновать?

– Сейчас ты рассуждаешь, а через пару часов превратишься в пепел.

– Я знаю, что вы меня убьете. Вы убиваете всех, кто зажег огонь мысли и кто этот огонь поддерживает. Вы возомнили себя всесильными, потому что захватили топор палача. Силу вы заменили насилием, науку превратили в потаскуху, искусство в фиглярство. Вы выпустили из клетки гориллу, поставили ее на пьедестал и требуете, чтобы люди ей поклонялись. Но люди не будут поклоняться заднице своей прародительницы.

– Ты хорошо говоришь. Ты был бы неплохим актером.

– Я и был актером до войны.

– Тогда это твоя последняя роль.

Жак пожал плечами. Он не встал на весы, несмотря на то, что Яша с первых его слов стал его дергать за рукав. В процедурной стало тихо, было слышно, как муха билась о стекло. Казалось, что молчание присутствующих нагнетает воздух. Он стал плотным, и дышать было трудно.

Наконец Вевис протянул формуляр Жака эсэсовцу. Все, в том числе и Жак, вздохнули с облегчением. Вевис с раздражением заметил, что его рука дрожала, когда он брал со стола следующий формуляр.

Жак не заметил, как вышел из процедурной, взобрался на койку и лег.

– Старый, эй, старый! – спросил снизу Костя. – Что они там делают?

– Играют в судьбу, – ответил Жак и приложил руку к сердцу. Оно билось, как у бегуна после продолжительного бега.

...Следующим оказался Казе. Он вошел, приветствуя присутствующих кивком головы.

– Это наш австрийский кайзер, – с жестом зазывалы в балаган провозгласил Шпаковский.

– Уберите эту вошь отсюда! – презрительно скривив губы, произнес Казе.

– Почему? – спросил Вевис, не отрывая глаз от формуляра.

– Он бьет людей, продает хлеб, мармелад и маргарин, лучшие места у окна и вообще ведет себя, как паразит. Он доносит на людей и, когда ему нечего доносить, придумывает истории. В конце концов, сколько можно это терпеть?!

– В формуляре сказано, что ты сумасшедший, – включился Вевис в игру.

– Меня сумасшедшим не сделают! – Казе удивительно приятно улыбнулся.

– Господин эсэс-оберарцт! – Шпаковский покинул свой пост у дверей. – Я осмелюсь доложить, у меня давно возникло предположение, что этот тип только притворяется сумасшедшим, чтобы под этим прикрытием вести разнуданную пропаганду против фюрера и Рейха. А если он действительно невменяемый, то не слишком ли много на себя берут все эти сумасшедшие, воображающие себя царями и полководцами?!

– Что ты сказал? – спросил Вевис, зловеще сдвинув брови и роняя монокль.

Все еще не понимая, что он остутился и летит в пропасть, Шпаковский продолжал:

– Нельзя ведь допускать, чтобы причину недостатков в хозяйстве какие-то безумцы свалили с больной головы на здоровую.

– Где формуляры «обслуги»? – спросил Вевис у Яши.

– Снизу подложены.

Вевис перевернул кипу формуляров и, просмотрев один за другим, протянул эсэсовцу. Тот вопросительно смотрел на своего начальника, тщетно пытаясь обнаружить на его лице улыбку.

– Простите, – забормотал заплетающимся языком Шпаковский. – Моя фамилия Шпаковский... Родовое имение около Калиша... Я поляк. Я польский шляхтич. Вы не имеете права!

– Права? Чего захотел! – рассмеялся Вевис.

– Я состою старостой барака. Назначен еще самим лагер-фюрером, господином Либен-Геншелем... неизменно предан...

– Следующий! – произнес Вевис, зевая. – Такая сволочь даже для моих опытов не годится.

Шпаковский оглянулся. Он смотрел в лица окружающих, и все лица оказались запертыми на засов. Он понял, что погиб. Рухнул на колени.

– За что? Я честно служил... доносил... выполнял все приказания! Делал все... все!

7

Под вечер, когда стемнело, Марк Маркович, не зажигая огня, лег на лежанку. Он подложил руки под голову и предался размышлениям.

Приход Яши прервал это раздумье. Закрыв за собой дверь, Яша долго к чему-то прислушивался. Наконец он приблизился к лежанке Марка.

– Я хочу просить вас об одном одолжении.

«Наверно попросит, чтобы я положил его в больницу, чтобы избежать порки», – подумал Марк Маркович.

– Говори.

– Мне нужен труп номера 104231.

– Что ты задумал? – спросил Марк Маркович, приподнимаясь.

– Я задумал отправить труп в крематорий.

– Он и так туда попадет.

– Да... но минуя душегубку.

– Я умываю руки.

– Они и так у вас слишком чистые.

Марк Маркович скривился, словно раскусил что-то кислое.

8

В углу палаты собралась группа «выписанных на газ» евреев. Они покрыли головы, кто чем мог, и молились.

Яша с подошел к молящимся и взял одного за локоть.

– В чем дело? – спросил тот.

– Дело в том, – сказал Яша, – что нужно спасти одного еврея.

– Одного?

– Больше нельзя.

– Где он?

– Лежит на койке.

– Какая мицве¹ спасти еврея, который лежит на койке в то время, как остальные молятся?

– Если вы его спасете, тогда он тоже, может быть, будет молиться. Это и есть мицве, – Яша замолчал.

– Что он хочет? – спросил сосед того, с которым Яша вел разговор.

– Ему нужно спасти одного еврея.

– При чем здесь мы?

– Вы должны прихватить с собой труп. Готовый труп. Тот, который лежит на нижней койке. Важно, чтобы труп попал в душегубку.

– А если обман обнаружится? Будут бить...

Яша развел руками – в каждом деле есть свой риск. Он почувствовал спиной устремленный на себя взгляд. Старый высокий еврей смотрел на него огромными неподвижными глазами. Старик поднял руку, требуя внимания.

– Тихо! Если евреи могут спасти еврея, то евреи обязаны спасти еврея. Все! – обратился он к Яше, кивнул и, возведя руки ввысь, продолжал молиться.

Яша повременил, потом подошел к окну возле койки Жака, но повернулся к нему спиной и стал раздумчиво гладить рукой свой коротко остриженный затылок.

– Ну вот, – сказал Жак, – теперь все кончено.

– Это не годится, – отозвался Яша, как будто говоря сам с собой.

Жак промолчал.

– Героя сваял! – продолжал Яша полупшепотом. – Ах, как замечательно! Высказался, убедил.

– Что теперь об этом говорить?! Нервы...

– Сам нервами двадцать пять заработал. Только я три года здесь, а ты три недели.

– Не все ли равно, раньше или позже... Зачем жить? Чтоб ишачить на врага?

– Ты не хочешь жить?

Жак промолчал.

– А если хочешь жить, умей умирать.

– Что это значит?

¹ *Мицве* – доброе дело, похвальный поступок (*идиш.*).

– Умирать нужно умеючи, с пользой для дела, а не так, ради красивых слов.

– Терпеть оскорбления... подличать...

– Не подличать, а притворяться дурачком. Ты терпи и собирай силы. Нужно до времени кулаки прятать, чтоб они остались целехоньки, когда наступит день, наш день! Тебе это трудно? Конечно, легче подняться, как памятник, и речугу закатить. Почему ты назвал себя большевиком?

– Назло.

– Глупо. Научись быть большевиком. Думаешь, большевики были сразу готовыми героями? И им не приходилось стискивать зубы? Ты не маши руками. Я это говорю, чтобы ты понял, как надо жить!

– Я жил для искусства, стремился его силой донести правду жизни до зрителя. Теперь мне даже смешно об этом думать.

– Это не самое важное.

– Для меня это было самым важным.

– Если останется нацизм, не будет искусства, вообще ничего не будет.

– Моя фамилия Берзелин. На Берзелина наплевать. Будет Берзелин жить или умрет – от этого мир не изменится.

– Берзелину, конечно, газовой камеры не миновать.

– Ты меня утешаешь?..

– Я тебя не утешаю, а говорю, что Берзелина, прежнего Берзелина, не будет. Но ты будешь жить.

– Мне сейчас не до твоих загадок.

– Просто сожгут другого вместо Берзелина.

– Я жертв не хочу.

– Посмотрите на этого рыцаря без страха и упрека! Никто для тебя не собирается жертвовать жизнью. Все дело в том, что твоя фамилия будет Брон. Самуил Брон из Львова, а не Берзелин откуда-то из Белоруссии.

– Честное слово...

– Не понимаешь? Тем лучше! Значит, и другие не поймут. Теперь ты номер 104231. Номера у тебя на руке еще не выкалывали? Хорошо. Дай твою руку.

Яша извлек из кармана сверток. В нем оказался флакон с тушью и полая игла. Он оголил руку Жака по локоть, откупорил

флакон, окунул иглу в тушь и принялся выкалывать номер на руке Жака.

– Не бойся! Знаешь, сколько я этих номеров навикалывал! Слушай и наматывай себе на... на что хочешь. Ты – Самуил Брон. 1900 года рождения, сын врача из Львова. Имя отца Аарон. Умер в 1932 году. Мать – Сара. Умерла в 1926 году. В 1917 году у тебя родилась дочь от одной, ну, девицы легкого поведения. Имя дочери Лириан, проще Лили. Она сейчас здесь, в женском лагере. Вся твоя родня перебита немцами. Ты спасся, потому что научил одну важную нацистскую свинью мухлевать в карты... По профессии ты шулер. Чего морщишься? Мало ли, что немцы нам приписывают! Или больно?

– Не очень.

– Кончено. Теперь ты № 104231, и больше никто. Если станут вызвать по фамилии, оставайся на койке. Твой формуляр лежит у меня.

– Но какой я шулер? Я даже в карты играть не умею, игр не знаю.

– А ты хочешь быть и живым и майором Красной Армии одновременно?

Яша старательно завернул свои инструменты и ушел, близируко шурясь.

9

Потом все было так, как много раз до того: в палату гуськом вошли четыре эсэсовца под командой Рюльке. Они встали по обе стороны дверей. Рюльке с папкой под мышкой раскачивался на своих коротких ногах.

– Аляунер.

– Есть!

– Будешь принимать...

– По фамилиям?

– У скота фамилий нет. Есть номера.

Палата загудела. Аляунер скомандовал:

– Выписанные на транспорт, становись по пяти. Лос, шнель!¹

¹ Давай, скорей! (нем.).

Смертники стали сползать с коек и послушно становиться пятерками. Многие еле держались на ногах. Они двигались, не сознавая, что делают. В головах стоял туман, глаза ничего не видели. Были только невероятная усталость, оцепенение, жажда покоя. Их поддерживали товарищи. Никто не заметил, как двое смертников подхватили труп Брона и поволокли его в середину формирующейся пятерки.

Внезапно из рядов выписанных на газ выбежал Шпаковский и, вихляя всем телом, приблизился к Рюльке.

— Господин оша! — прохрипел он. — Шрайбер¹ Яша живого мертвым подменил.

— Ви?! Вас?! — закричал ээсовец. — Заткнись, свинья! Марш обратно!

— Фюнф, зекс, зибен, ахт... Алле! — считал Аляунер.

Когда последняя пятерка покинула палату, Рюльке поманил пальцем Яшу:

— Молись своей матери, шрайбер! — и вышел, негромко хлопнув дверью.

Тишина... Потом фырканье моторов, завывание удаляющихся машин... Снова тишина... Покой... Покой и тишина, потом кто-то закашлял, кто-то всхлипнул, затем все сразу, как по команде, зашевелились.

В палату вошел здоровенный, крутолобый заключенный с повязкой старосты. Он сделал несколько шагов и нарочито бодрым громким голосом заявил:

— Я вновь назначенный староста барака. Я строг, но справедлив. Мне безразлично, кто передо мной — немец, поляк, русский, француз или еврей. Я знаю только одно: порядок. Кто будет поддерживать порядок, тому будет хорошо, кто нарушит порядок — пусть пеняет на себя! А теперь вот что... Поскольку дневной паек выписан по утреннему составу, а потом половина выбыла на газ, то остальные получают двойные порции хлеба, маргарина и мармелада.

Радостное оживление.

¹ Писарь (нем.).

Глава 2. Пути-дороги

1

Капо Руди Гезельхер сидел у запотевшего окошка прачечной и ел хлеб, намазывая его смальцем, который выуживал выщербленным ножом из стеклянной банки. На свои голые мускулистые плечи он накинул свежевывстиранную, но еще не поглаженную арестантскую куртку.

С его возвышенного места была видна вся прачечная. Вниз вели скользкие от мыла ступени. Три ряда котлов, в которых вываривалось белье, разделяли прачечную на три отсека. Вдоль стен стояли сколоченные из грубых досок столы. Окутанные паром полуголые заключенные стирали белье.

– Брось в угол! – сказал Руди Жаку, когда тот в сопровождении Яши принес в прачечную тюк грязного белья.

Яша сел рядом с Руди на ящик из-под мыла, помолчал, поглядывая, как тот ест, и, наконец, сказал:

– Это товарищ, о котором я тебе говорил.

Руди, продолжая жевать, кивнул, отпилил ножом краюху хлеба, старательно намазал ее смальцем и протянул Жаку.

– На, ешь.

У Жака свело скулы. Он подождал, пока прошла судорога, и стал с жадностью жевать. Хлеб казался ему удивительно душистым и вкусным.

– Что у вас нового? – спросил Руди Яшу.

– В амбулатории вывесили объявление: в случае, если при осмотре больного врач обнаружит следы побоев, он обязан доносить об этом начальству. И приписка: «Это относится и к евреям».

– Что ты об этом думаешь? – спросил Руди, откладывая хлеб в сторону. – Изменение курса?

– Скорее всего, это директива не избивать, а убивать заключенных. Ведь если убьют кого-то, за это ничего не будет: всегда можно заявить, что заключенный пытался бежать или сопротивлялся законным требованиям. А за избивание придется рассчитываться своими ягодицами. Так что прямой расчет – убивать.

– Поел? – спросил Руди немного погодя.

– Спасибо.

– «Спасибо» говорят те, кто не хотят или не могут платить.

– Так с меня плату спросят?

– А ты как думал!

– Мне платить нечем.

– Плохо, если ты сразу объявляешь себя неплатежеспособным. Кстати, почему ты называешь себя Жаком?

– Меня в детстве так называли, и я привык.

– Ты и соску сберег?

Жак промолчал. С этим парнем говорить трудно. Решив придти ему на помощь, Яша сказал:

– У товарища родители умерли давно. Он вырос в Швейцарии.

Руди кивнул.

– Пусть он нам расскажет о себе.

– Что рассказывать! Нужно было все время изворачиваться, играть то одну, то другую роль. Забываешь сам, кто ты есть.

– Но аппетит-то у тебя сохранился, – съязвил Руди.

– У меня такое ощущение, будто я разорвался на части.

Руди сморщился, словно у него заболел зуб.

– Что такое там у тебя порвалось?

Черт возьми! Он будет говорить так, как привык, и то, что думает. Его прорвало, словесный поток полился, и Жак ничего с собой не мог поделать.

– Жизнь, – сказал он, – это бусинки впечатлений, нанизанные на нитку памяти. Если нитка рвется, бусинки рассыпаются и собрать их невозможно.

– Как это понимать? У тебя память отшибло, что ли? – прервал его Руди.

– Дай ему высказаться, – заступился за Жака Яша.

— Я живу, а за мной гора мертвецов, — продолжал Жак. — И сам я каждое мгновение умираю. Не успел я выговорить слово, как звук моего голоса замер, а смысл слов стерся. Прошлое — это смерть, настоящее — фикция, а будущее...

— Хоть немного, но зависит и от нас. Это, может быть, по стилю и не подходит, но это так. Впрочем, мне кажется, приблизительно то же самое я где-то читал, — прервал его Руди.

Вот как?! Значит, этот тип читает... Стиль! Он имеет представление о стиле... И уже в другом тоне Жак продолжал:

— Может быть и я эти мысли где-то вычитал. На авторство не претендую. Прочитанное — такая же реальность, как и пережитое. Выдумка или ложь имеют тот же вес, что и реальность. Не было бы истории — завоевания Александра Македонского и Наполеона превратились бы в мифы, а похождения д'Артаньяна и Робин Гуда стали бы достоверностью. Может быть, никто из нас не переживет этого лагеря смерти, и рассказы о нем будущие поколения воспримут с не бóльшим вниманием, чем легенду о драконе, пожиравшем молодых девушек. И то, что мы находимся здесь и разговариваем, в то время как в душегубках корчатся люди в предсмертных муках, а в воздухе носятся хлопья сожженного человеческого тела, станет литературой наподобие «Человеческой комедии» или «Узника Шильонского замка». Правда умирает вместе с нами, и жизнь не долговечнее правды: чем дальше продвигаемся мы вперед, тем больше смертей за нами.

— Кончил? — спросил его Руди. — Я тебя дослушал до конца. Ты высказал много глубоких и интересных мыслей, но здесь и сейчас они значения не имеют. Нужно действовать, а не рассуждать. Вот так... Ты пойдешь в двадцать пятый барак, там уже все приготовлено, скажешь писарю, что ты на пропуску к нему, покажешь свой номер и будешь ждать, пока тебя куда-нибудь определят. Понятно? — Он кивнул Жаку и повернулся к Яше.

Жак вышел.

— Сколько трудов затратил, чтобы спасти этого фраера! Эх, Яша, Яша! Ты был и останешься романтиком! Ну, на что сдался тебе этот интеллигентишка? Или ты сделал это, потому что он еврей? Кровь в тебе заговорила?

— Что ты хочешь этим сказать?

– Не притворяйся, будто не понимаешь. Сыны Израиля узнают друг друга издалека. Ну, вот ты и покраснел! Пусть евреи поддерживают друг друга, солидарность вещь хорошая, только не нужно подтасовывать мотивы – не из идейных побуждений ты действовал, а повинуюсь расовому инстинкту.

– Слушай, Руди! Иногда мне кажется, что ты немного антисемит.

– Я – антисемит?! Почему?

– Твоей терпимости хватает только на то, чтобы не сказать «жид».

Руди посмотрел на Яшу исподлобья:

– Если хочешь знать, для меня расы не существуют, для меня существуют классы. Когда мне говорят, что я националист, я отвечаю: Ротшильд мой враг не потому, что он еврей, а потому, что он Ротшильд.

– Мне кажется, Руди, ты эти слова где-то вычитал.

Яша встал, кивнул и, не сказав ничего больше, ушел.

2

Направляясь к двадцать пятому бараку, он вспомнил гастролы в Станіславе¹ накануне войны, где читал стихи Маяковского, Сельвинского и Асеева и диалоги из пьес Корнейчука и Вишневского. Он почувствовал тогда шестым чувством актера в обстановке недавно присоединенного к Украине города, где все привезенное с Востока настораживало и вызывало недоумение, какую-то несоразмерность этой пропагандирующей советское искусство затеи.

Гастроли прошли так себе, исключение составило выступление хореографической пары. Шумные аплодисменты сопровождали шествие танцора, когда он, высоко подняв за ногу свою задрапированную в кумачовую материю партнершу, пронес ее, как знамя, по залу.

Ночью Жаку приснился сон, будто он стоит голый на сцене, а из зала доносятся крики пьяных купчиков (наверно, из комедии Островского), требующих, чтобы он сплясал гопака. Он проснулся от неистового рева. В первое мгновение он не мог сообразить, откуда несется этот рев. Только когда он утих, Жак сообразил, что над крышей гостиницы пронесся самолет. Вслед

¹ Станіслав – областной центр на западе Украины, ныне Ивано-Франковск.

за тем раздались взрывы. «Война?» — мелькнуло у него в голове. «Не может быть, — успокаивал он себя. — Ведь так, без объявления, она не начинается».

Его окончательно разбудил уличный шум. Жак встал и пошел к окну, Светало. Тихая накануне улица была запружена повозками. На углу, как раз напротив гостиницы, у тротуара стояла танкетка. Жаку показалось, что пулемет был наведен на его окно. Проступавшее между космами тумана солнце тускло блестело. Тени деревьев лежали, как будто в разных направлениях. «Как на гравюре Рембрандта, — подумал он. — Слово механизма природы пришел в негодность!»

Он позвонил. Никто не явился. Тогда он оделся и вышел на улицу. Порыв ветра погнал на него прошлогоднюю листву. Жак понял, что случилось нечто, накладывающее вето на его личные планы и мечты. Начался новый отсчет жизни.

Несколько часов спустя из громкоговорителя донесся заикающийся голос Молотова, объявившего о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

3

В обком пускали только по партийным билетам, и Жаку пришлось долго ждать внизу, пока ему выписали пропуск. Поднявшись на третий этаж, Жак постучал в указанную на пропуске дверь. Третий секретарь обкома говорил по телефону. Он прикрыл трубку ладонью, сказал «сс-сс-те» и кивком головы указал на кресло возле своего письменного стола. Жак стал ждать конца разговора. Он слышал слова, но не улавливал их смысла. Секретарь соглашался, что нужно что-то развернуть и кого-то мобилизовать. Потом сетовал на какие-то безобразия и, стуча костяшками пальцев по углу письменного стола, высказался за то, чтобы «все это дело передать в органы». Положив трубку, он протер носовым платком очки в железной оправе и спросил Жака, что он «обо всем этом» думает. Жак ничего не ответил, и секретарь посмотрел на него не внимательно, но задумчиво.

— Я уже думал, как быть с вами, — сказал он наконец, подойдя сразу к невысказанному Жаком вопросу. — Возвращаться в Москву нет смысла, да и, пожалуй, сейчас невозможно. Кроме того, вы, наверно, подлежите мобилизации.

Жак вынул из кармана свою воинскую книжку и протянул ее секретарю.

– Так-так... – сказал он, перелистывая страницы. – Интендант второго ранга, прошли даже КУКС¹ и военную специальность имеете, чего еще хотите?

Жак ничего не хотел.

– Прямой вам путь в военкомат. Там уже будут знать, что с вами делать. А дела ансамбля придется передать Алексею Степановичу – директору филармонии, вы его знаете. Нужно выработать новый репертуар. Старый для фронта не годится.

– Не только для фронта. Он не годится и для здешней публики, – не удержался Жак.

– Это уже не важно, – не входя в детали, заметил секретарь.

В военкомате Жаку будто обрадовались и тут же в сопровождении вестового направили в штаб армии, где он без лишних формальностей был зачислен на довольствие в штабарм 12 на должность старшего переводчика и помнача IV (разведывательного) отдела.

Уже в первый день войны Жаку пришлось приступить к исполнению своих обязанностей. Он участвовал в качестве переводчика в допросе экипажа сбитого утром «Юнкерса». Немцы были напуганы до смерти. Командир сбитого самолета трясущимися губами спросил Жака:

– Нас расстреляют?

– Разве у вас пленных расстреливают?

– Мы пленных, как правило, не расстреливаем, – ответил немец.

– Так чего вы боитесь?

Немец пожал плечами.

– Или вы сознаетесь, что совершили преступление, карающееся смертью?

– Мы бомб не сбрасывали, у нас было задание разведывательного характера.

– А если бы вы получили приказание бомбить мирное население?

– Мы солдаты и подчиняемся приказам.

Пилот утверждал, что он вылетел ранним утром с аэродрома в Винер-Нейштадте. Жак смерил на карте расстояние до места, где был сбит самолет, и спросил мимоходом:

¹ КУКС – курсы усовершенствования командного состава.

– Какие баки были установлены на вашем самолете?

– Я осмотрел сбитый самолет, – заявил один из присутствовавших на допросе офицеров. – Баки обыкновенные.

– Горючего бы на обратный полет не хватило, – не придерживаясь более роли переводчика, заметил Жак.

Полковник стукнул кулаком по столу:

– Вы будете говорить?!

Жак заметил, как штурман сбитого самолета что-то пытался спрятать под сидением.

– Встать! – рявкнул он не хуже немецкого фельдфебеля.

Немец вскочил и вытянулся, руки по швам. На стуле, на котором сидел немец, оказалась карта. Карта была размечена квадратами. На ней была проведена красными чернилами линия от города Кросно в Польше до города Монастырище в Станиславской области. Жак передал карту полковнику. Тот подозвал жестом дежурившего у дверей сержанта.

– Не надо! – закричали немцы хором.

– Какой части?

– Дивизия «Эдельвейс».

– Где она дислоцирована?

– Аэродром Кросно.

– Сколько самолетов?

– Девяносто.

– Кто командует дивизией?

– Генерал Лист.

– Проверим.

Полковник вышел вместе с Жаком. Он положил ему руку на плечо.

– Молодец! – полковник был похож на варяга.

4

Начало войны казалось Жаку приключением. Жаку выдали новенькое, пахнущее клеєм обмундирование. Кожаный пояс и португепя поскрипывали, как кузнечики летом. В штабе пахло сургучом, война пахла неубранным помещением, из которого вынесли мебель. К Жаку вернулось ощущение детства, когда он по запаху угадывал места и людей.

В конце первой недели войны штаб армии был переведен из областного центра в местечко, расположенное в нескольких километрах от города. Перед уходом взорвали почтамт. Перед тем,

как перейти к пожиранию людей, война начала пожирать материальные ценности.

Немцы врывались в нашу оборону в местах, где занятая ими польская территория вклинивалась в нашу. Венгры на участке, прикрытом двенадцатой армией, не двигались с места. Разведка донесла, что пограничники заменены регулярными войсками, что в спешке строятся бетонированные площадки для тяжелых орудий. Все это, предвещая начало военных действий, связывало наши силы и позволяло немцам заходить нам в тыл.

Немцы просачивались через нашу оборону. Невдалеке от местечка, где расположился штаб, была задержана машина, в которой ехали полковник и майор Красной армии. Машина, обыкновенная «эмка», вызвала подозрение тем, что была «обута» в совершенно новую резину, ее пассажиры изъяснялись на академически чистом русском языке. У полковника был обнаружен медальон с русыми, перевязанными голубой лентой, волосами и фотографией обнаженной девицы. И волосы и девица были явно иностранного происхождения. Задержанных расстреляли.

Забота о пленных легла целиком на Жака. За отсутствием другого помещения, пленных держали взаперти в местной синагоге. Один из них, в черной форме штурмбанфюрера, запротестовал, что его держат в этом «жидовском хлеве». Жаку донесли, что он оправляется в оставшемся в синагоге священном ковчеге. Жак приказал пленным произвести уборку. Нижние чины взбунтовались и заставили ээсовца вычистить ковчег.

Из окон школы, в которой расположился штаб армии, была видна синагога и домики, обсаженные березками. В них жили рабочие и служащие местного кожевенного завода. Несмотря на близость войны, обычная жизнь продолжалась. По вечерам женщины сходились посудачить, мужчины чинили заборы, играли в карты.

5

Армия откатывалась от границ, ведя упорные арьергардные бои. По утрам штаб выбирался из сел, в которых ночевал. Водители, рьяно ругаясь, объезжали пробки и ломали рессоры на ухабах.

Целый день лил дождь. Машины буксовали в грязи. Люди, однако, с благодарностью взирали на низкое свинцовое небо — оно прикрывало их от вражеской авиации.

Поздно вечером колонна машин втянулась в большое, расположенное в балке украинское село. Жак вылез из машины и сразу же увяз в грязи. Выбравшись кое-как на тропинку, он пошел бродить по селу в поисках ночлега. Какая-то бабуся указала ему одну из хат, где «уже почивают командиры». Там все спали. Жак втиснулся между спящими, подложил под голову сложенную шинель и мгновенно заснул... Он проснулся так же внезапно от мысли, что этой ночью должен дежурить в штабе.

Тикали ходики. В хате тепло пахло хлебом. Жак зажег спичку — стрелки на циферблате показывали двадцать минут первого. Он проснулся вовремя.

Когда Жак закрыл за собой двери хаты, темнота на дворе показалась ему враждебной и полной угроз. Чернозем, казалось, еще сгущал темноту. Издали доносился рокот движка, обслуживающего рацию. Машина с рацией стояла возле клуба, где находился штаб и ночевал командующий.

Жака остановил окрик: «Стой, кто идет?» Кто-то подошел, спросил пароль. Черт возьми! Жак никак не мог вспомнить, какой был выдан пароль. Штык караульного задел его гимнастерку.

— Брось дурить! — крикнул Жак.

— Иди, не разговаривай! — послышался простуженный мальчишеский голос.

Солдат ввел Жака в зрительный зал клуба. Люди здесь спали вповалку. За столом, устланным картами, сидел майор. От него Жак должен был принять дежурство. Две воткнутые в горлышки бутылок свечи горели на столе. Третья свеча освещала сцену. На сцене, за двумя аппаратами, сидели связисты. Свисающий сверху лозунг с заплетающимся концом призывал молодежь грызть молодыми зубами гранит науки. Связист монотонно повторял: «Лена! Лена! Здесь Ленинанкан! Лена...»

— Разрешите доложить... — обратился в доверительном тоне к майору солдат, — задержанный пароля не знал.

— Ладно, — ответил майор. — Свободен!

Солдат разочарованно произнес: «Слушаюсь».

Майор смерил Жака ироническим взглядом:

– Хвалю за точность, – а про себя подумал: «Из приписного состава. Интересно, что за гусь».

Он встал и, переступая через спящих, поднялся на сцену. Один из связистов уступил ему место и передал наушники. Майор прислонился лбом к аппарату и стал крутить ручки. Спящие храпели, пламя свечей то вспыхивало, то тускнело.

– Черт его знает, что такое! – майор раздраженно сдернул наушники и вернулся к столу. – Понимаешь, – обратился он к Жаку на «ты», – они принимают нас за невежд или круглых идиотов, или за то и за другое. Передают приказы «клёром»¹ и, главное, выполняют их, а мы чешем затылок. Ох, трудно учиться воевать. Да еще «малой кровью». Как бы не так! – он помолчал, потом добавил: – Разве так мы себе войну представляли?!

Жака этот пессимистический тон покоробил.

– А второй эшелон? – спросил он.

– Что второй эшелон?! – возразил майор. – Я про этот второй эшелон слышу с первого дня войны, А немец, тем временем, подошел к Ленинграду, подбирается к Киеву и Смоленску, прижимает нас к Днепру.. Видишь? – он обвел зал взглядом. – Спящий мозг армии!

Затрещал телефон. Майор устало поднял трубку. Но тут же весь подтянулся, усталые складки на его лице исчезли.

– Командующий зовет к себе, – сказал он, положив трубку. – С вами, – добавил он, снова перейдя на «вы».

В коридоре их встретил адъютант командующего и впустил в просторную комнату со сдвинутыми столами. У выбеленной стены стояла походная кровать. Командующий – полнеющий и лысеющий блондин – сидел в заправленной в галифе нижней рубашке и пил чай, прижав пальцем ложечку к стенке стакана.

– Интендант второго ранга Берзелин явился по вашему приказанию!

Жаку удалось молодцевато шелкнуть каблуками, чем он был очень доволен.

Командующий отодвинул стул, на котором сидел, и внимательно посмотрел на Жака.

– Как вы себя чувствуете? – спросил командующий неожиданно громко.

– В каком смысле, товарищ генерал-майор?

¹ *Клёр* – от французского *clair* – незашифрованный.

– В том смысле, что для вас, человека сугубо гражданской профессии, обстановка, в которой находитесь, должна казаться странной, во всяком случае, непривычной. Не удивляйтесь, первый отдел дал мне о вас сведения.

– Я столько раз как актер и как режиссер должен был представлять себе самые невероятные ситуации, что они потеряли для меня свою необычность.

Командующий кивнул, словно ждал такого ответа.

– Положение вам ясно?

– Мы только что говорили с майором. Враг у Ленинграда, Смоленска, Брянска.

– Я имею в виду положение на нашем участке фронта.

– Приблизительно.

– Мы зажаты на пяточке. Все пространство простреливается. Управление потеряно, в частях – четверть личного состава, на пушку по четыре снаряда. Смотрите сюда...

Он приподнялся и стал тыкать пальцем в разложенную на столе карту.

– Здесь наши позиции, здесь противник. Приблизительно тут единственная более или менее боеспособная часть нашего армейского соединения – семьдесят вторая стрелковая дивизия. Рукой подать, да рука коротка. Связи нет. Вот мы и думаем послать вас в семьдесят вторую связным... Чем вы теперь занимаетесь?

– Преимущественно пленными.

– Эта задача отпадает. Между прочим: что делать с пленными? – генерал повернулся к майору, но ответил Жак.

– Распустить.

Командующий осуждающе посмотрел на Жака. Но Жак решил не обращать внимания на «настроение публики». Перед ним был поставлен очень важный, принципиальный вопрос: человечность или военная рутинa?

– Вреда они причинить нам не могут, – защищал Жак свое предложение. – Некоторые из пленных, я уверен, смотрят на вещи теперь иначе, чем раньше. Среди них есть студент философского отделения университета во Франкфурте-на-Майне. У него отобрали записную книжку, своего рода дневник. В этом дневнике такое... одним словом, он нас всячески поносил, нет, мол, у нас культуры! Кладбища запущены,

почти не видно надгробных памятников. «Народ, который не чтит своих ушедших на покой предков, — писал он в своем дневнике, — может быть только народом низкого культурного развития».

— Вот оно что!

— Я дал ему стихотворение Пушкина «Памятник» с подстрочным переводом. Когда он увидел свою записную книжку в моих руках, он побледнел, как эта стена. А за подстрочник благодарил, как мне показалось, искренне и пристыжено. Может быть, он понял, что есть культура надгробных памятников и есть другая культура — живого человека.

— Время идет, — прервал его командующий, поглядывая на свои наручные часы. — Вы отправитесь связным в семьдесят вторую дивизию и передадите приказ командующему дивизией полковнику Новикову: в семь ноль-ноль ударить в направлении брода на реке Свинюхе, в четырех километрах южнее Новоархангельска, всеми имеющимися в наличии силами. Майор уточнит задание.

— Есть, товарищ генерал-майор.

— Повторите приказ.

Жак повторил.

— Перед отправкой все документы уничтожить. Для вашей идентификации сообщить полковнику Новикову, что его жена отправлена мной в Краснодар и что аттестат ей передан. Можете идти.

— Что это? Диверсия? — спросил Жак майора, когда они вдвоем вернулись в зрительный зал клуба.

Тот иронически посмотрел на него.

— Догадки оставьте при себе! Вы только связной.

Десять минут спустя Жак покидал помещение клуба.

— Ни пуха, ни пера! — крикнул ему вдогонку майор.

Жак остановился на пороге, раздумывая, что ему ответить.

— К черту! — ответил он, чувствуя, что краснеет. Недаром товарищи прозвали его красной девицей.

Майор поднял бутылки со свечами, задумчиво поглядел на огонь и переставил их: ту, что стояла по левую руку, поставил справа и наоборот.

— Лена! Лена... Здесь Леникан... — монотонно покрикивали телефонисты.

6

Жак сидел на упитанной кобылке, проявлявшей отвращение ко всем аллюрам, кроме шага. Тучи внезапно раздвинулись, как половины занавеса в театре, показалась луна. Жак выехал в поле. Транссирующие пули медленно и красиво расчерчивали небо. Где-то урчали танки.

Жак стал спускаться к темнеющей ложине. Через нее протекала река. Она была неширокой, но майор предупредил, что глубина достигает местами четырех метров. На илистом берегу росли ивы, местами камыш, вода покрыта ряской. Жаку стоило большого труда заставить кобылу войти в воду, наконец она поплыла, высоко задрав голову. С той стороны берег был крутой, найдя место, где можно было взобраться наверх, кобыла чуть не сбросила седока, прытко взбежав на откос. Жак выехал на дорогу. Слева на пригорке росли деревья, справа чернела стеной кукуруза.

Во время переправы седло съехало набок, и Жак слез с лошади, чтобы подтянуть подпругу. Потом он вынул из планшета карту и стал рассматривать ее в свете электрического фонарика. Кобыла, сочтя, что время испытаний прошло, принялась щипать траву, приятно хрустя. Сориентировавшись, Жак сложил карту и только собрался засунуть ее обратно в планшет, как взрывная волна отбросила его за придорожную канаву. С минуту он лежал оглушенный. Потом встал на колени. Все плыло перед его глазами, боли он не ощущал, но в животе было как-то странно пусто. С шеи что-то свисало. Жак нащупал рукой что-то мягкое и скользкое. «Я еще не убит», — подумал он, и желание проверить свое состояние заставило его подняться на ноги. Только теперь он увидел труп лошади. Она лежала в нескольких шагах от него с вывернутой в позвонках головой. «Убита, — подумал он, — как я доберусь теперь до семьдесят второй?»

Вдруг он увидел на дороге запряженную в полевую кухню лошадь. Следом шагом двигался всадник, подгонявший ее хвостом. Почему-то кухня армейского образца, ночью и за позициями противника, показалась Жаку явлением предсудительным. Он хотел окриком остановить лошадь, но не мог произнести ни слова. Тем временем всадник соскочил с лошади и подошел к Жаку. Жак смотрел на него, открывая и закрывая рот, как выброшенная на сушу рыба.

– Воздух вышибло! – констатировал дух кухни. – А вы дышите поглубже, товарищ майор. В котле каша осталась. Поедите – воздух вернется. Без воздуха, известное дело, разговора нету.

Он оставил Жака и, подойдя к кухне, открыл ее. Затем снял с дышла болтавшийся на нем котелок, достал из-за голенища сапога ложку и стал выгребать со дна кашу, накладывая ее в котелок.

– Ешьте, товарищ майор... – сказал он, поднося котелок Жаку. – Смотрю я, какой-то дурак светит! Только я подумал – каак ахнет! Слава Богу, обошлось. Только коня жалко. Изрядный был конь.

– Кобыла, – поправил его Жак, к которому вернулся дар речи.

– И кобылу жалко. Зверь на зверя не идет, а немцу все равно, ему бы только убить.

Оба они присели на корточки друг против друга, верховая лошадь положила голову на шею шедшей в упряжке. Если бы не отдельные выстрелы, трассирующие пули и тот необычный для мирного времени говор ночи, который, заикаясь, твердит одно и то же, до шума в голове, и ощущения чего-то неизбежного и страшного, можно было бы подумать, что Жак и кашевар присели любоваться ночной природой, отдыхая от дневной страды.

Вдруг Жак вспомнил о задании и заторопился.

– Вы, товарищ майор, садитесь на моего коня, а я как-нибудь на кухне пристроюсь, – предложил кашевар. Но не двинулся с места, а только вытянул руку по направлению к посеребренному луной пригорку, по которому двигались силуэты спешившихся всадников. Донеслась фраза: «Це хйба трахт до Татаривки?»

Жак вскочил и побежал навстречудвигающимся фигурам.

– Вы какой части, товарищи? – крикнул он, ненужно громко.

– Дас зинд я руссен!¹ – послышалось в ответ.

Жак бросился по направлению к кукурузному полю. Кашевар вскочил на коня и погнал его в обратном направлении. Застучала очередь из автомата. Жак выхватил из полевой сумки ручную гранату и бросил ее в сторону гнавшихся за ним немцев. Разгребая кукурузные стебли руками, он погрузился в их спаси-

¹ Это же русские! (нем.).

тельный сумрак. Выхватив вторую «лимонку», бросил и ее. Она взорвалась, ударившись о початок кукурузы. Жака дернуло за руку, он не успел почувствовать боль, как был сбит с ног преследователями, и удар по голове лишил его сознания.

Придя в себя, Жак долго не мог сообразить, что с ним происходит. Только постепенно он выяснил, что лежит переброшенный через круп идущей шагом лошади. Руки были связаны на спине, голова болталась на одном уровне с плечом шагающего рядом немца.

Остановились перед какой-то хатой. Из приоткрытой двери падал луч света на палисадник, который казался запыленным и мертвым. Такая же серая, как эта пыль, оседала в мозгу мысль: не сумел выполнить задание. Потом, вторичным слоем на нее легла другая: пыль забыли стереть, она ложится и ложится...

Тощий немец в пилотке (остальные были в касках) оторвался от сопровождающего Жака отряда и зашел в хату, откуда послышался его каркающий голос. Через некоторое время он появился вновь в дверях в сопровождении офицера, на плечах которого вились погоны, а у воротника сверкали брильянты маленького «Железного креста». Он подошел к Жаку, заправил в глазницу монокль и крикнул, отчеканивая слова:

— Кто распорядился везти пленного офицера, как мешок картофеля?

Немец в пилотке стукнул каблуками.

— Он сопротивлялся.

— Солдат сопротивляется, иначе он не солдат, а мякина.

Снять!

Жака опустили на землю. Он почувствовал резкую боль в бедре.

— Спасибо, — сказал он по-немецки.

— Отвести к врачу! — распорядился офицер с «Железным крестом», повернулся на каблуках и ушел в хату.

— Кашевара немцы вбили. Тот, шмага, спужался маленько.

Снова украинская речь! Жак повернул голову. Невдалеке стояли два колхозных дядьки. Рубаха навывпуск, брюки, заправленные в голенища стоптанных сапог. Один из дядек курил самодельную люльку.

— Предатели, сволочи! — первый раз в жизни Жак грубо выругался.

7

— Который час? — спросил Жак (у него сняли часы), когда его, хромящего, привели к понурому, злившемуся, что его разбудили, немецкому фельдшеру.

— Без десяти два, — буркнул тот в ответ.

«Как может быть два часа, — думал Жак, — если я выехал в половине второго? Ах, понятно, два часа по средневропейскому времени! Значит, по московскому теперь четыре. Осталось три часа на выполнение приказа».

— Для тебя, по крайней мере, война кончилась, — сказал фельдшер со вздохом, обмывая и перевязывая ему руку. Поглядывая поверх очков, он взял Жака за кисти рук и стал поворачивать во все стороны. — Я тебя принял за еврея. Осколок? — спросил он, осматривая рану на бедре Жака.

— Вероятно.

— Без рентгена ничего нельзя сделать. Одевайся. Десять марок.

— Не успел обменять.

— Плохо. Давай рубли.

— Забрали у меня.

— Эй ты, хлопчик, — крикнул фельдшер фельдфебелю, — денежки цап-царап? — он рассмеялся.

«В конце концов, они не такие уж звери, — подумал Жак, но внутренний голос предостерег его: не делай поспешных выводов!»

Жака повели через все село. «Лишь бы поскорей!» — думал он, прихрамывая.

Его ввели в дом, на котором висела дощечка с надписью «Сільская рада». В большой комнате на столе горела ацетиленовая лампа. С походной кровати встал немец, не спеша надел френч, утвердил на носу роговые очки, сел за стол и стал сверять какие-то бумаги.

— Фи аффиняйтесь в шпионаш.

— Какой шпион гуляет в полном обмундировании. Я даже знаков отличия не снял.

— Ах, вы говорите по-немецки! — обрадовался немец, но, вспомнив свою роль, строго спросил: — Вы желаете сказать, что вы перебежчик?

— Я этого не хочу сказать. Я попал в плен случайно, по собственной глупости.

— Золдатенпэхь!¹ — Он стал рыться в отобранной у Жака полевой сумке. Из бокового кармана достал пропуск, выданный интенданту второго ранга Якову Берзелину на право пользоваться в любое время дня и ночи аппаратами связи. Жак побледнел: он забыл уничтожить этот избличавший его документ

Немец не преминул этим воспользоваться:

— Вам, как штабному офицеру, должны быть известны планы вашего командования. Если вы правдиво обо всем расскажете, это послужит вам на пользу.

Жак изобразил глубокое раздумье. План сформировался в его голове быстро, нервы были напряжены, мозг работал четко. План был рискованный, но будь что будет!

— Я хочу дать полные показания, чтобы избежать лишнего кровопролития, — заявил он. — Я ваш политический противник и до вчерашнего дня был вашим военным противником. Но, поскольку я лишен возможности продолжать борьбу, мне не остается ничего другого, как сделать из собственного бессилия соответствующий вывод.

Немец кивал головой, как фарфоровый китайский божок.

Не поднимая головы, Жак произнес сдавленным голосом:

— Я не сумел выполнить приказ командующего, а потому подлежу осуждению. Но это не моя вина. Вы сами сказали: солдатское невезение.

— Какой был приказ? — скучным голосом спросил немец.

— Я должен был передать в части на передовой приказ об изменении диспозиции. Связь работала плохо, и командование решило...

— Где этот приказ?

— Я успел его проглотить.

Самое главное теперь не переборщить!

— Содержание приказа вам известно?

— Да, конечно. В четырех километрах южнее Новоархангельска имеется брод. На этом участке фронта, по сведениям нашей разведки, находятся лишь слабые силы противника, то есть ваши силы. Прежняя диспозиция состояла в том, чтобы вывести на прорыв на этом участке наши,

¹ Не повезло солдату! (нем.)

то есть советские силы. Атака должна была начаться сегодня в семь ноль-ноль. Одновременно в том же направлении, но с востока, движется механизированный корпус. План заключается в том, чтобы по выходе из окружения соединиться с этим корпусом и взять противника, то есть вас, что называется, в клещи.

— Достаточно, — крикнул немец. Он, не переводя дыхания, записывал показания Жака.

— Эта диспозиция отменялась приказом.

— Почему?

— Корпус, о котором я говорил, по неизвестным причинам повернул на юг. Что же получается? — продолжал Жак, истерически покусывая губы и как будто рассуждая сам с собой. — Наши войска, даже в случае удачного прорыва, очутятся в пустоте с неизбежными в таких случаях потерями, без помощи извне, и будут окружены, оставляя на своем пути трупы...

— Ладно! — прервал его немец. Он вскочил с места и выбежал в коридор. Эта не немецкая суетливость и неосторожность доказывали, что Жаку удалось достичь цели: немец клюнул.

Он появился вместе с фельдфебелем.

— Вас отведут..

Телефонный звонок прервал его.

Спускаясь с крыльца, было слышно, как немец («незадачливый коллега», — подумал Жак) надсадно кричал:

— Срочно! Крайне важно!!

Сопровождающий Жака фельдфебель все время торопил его. Они свернули в аллею, обсаженную липами. Аллея вела к дому с колоннами. На фронтоне вывеска: «Татарівський Радгосп им. Жовтня». В стороне стоял автобус в черно-желтых маскировочных пятнах. К удивлению Жака, фельдфебель повел его не к дому, а к автобусу. Когда они подошли, убирающиеся ступеньки автобуса опустились. Значит, кто-то был внутри и следил за ними. Войдя, Жак попал сначала в переднюю, отделенную перегородкой от кухни, в которой, вытянув ноги за дверь, спал денщик. Фельдфебель кивком головы показал Жаку, куда идти.

Жак вошел в помещение, обставленное наполовину как столовая, наполовину как рабочий кабинет. В глубине, за пологом из тонкой противомоскитной сетки, стояла кровать.

Из-за письменного стола поднялся гладко причесанный человек средних лет с красными лампасами и отворотами пижамы.

– Курит? Цигара? Цигаретт? Мы опойтемся пес перефотчик. Примо: фи фидет – я кофору по-русски. Мой отец пиль бред-стафитель фирма Крупп и компания ф корот Санкт-Петерспург. Этот ауто потарок мой старик, комфортабельный, прафта? Секундо: берефотчик при наш раскафор мешайт. Тertiо: я слышал, фи кофорит по германски. Откуда снаит язык?

Жак объяснил, что он «штудировал» в Швейцарии.

– Ошень хорошо. Я перфый рас фишу опрасованный офицер-польшевик.

Он продолжал разглагольствовать о том, как после победы будет установлен «новый порядок» в России. Немцам нужны будут интеллигентные помощники для того, чтобы наводить порядок среди мужиков. И, если большинство русских интеллигентов никому больше не нужны, то некоторые из них, которые добровольно покорятся немцам, смогут в перспективе пользоваться всеми благами немецкой культуры.

Жаку показалось, что его обдали клейкой грязью. Он непроизвольно тряхнул плечами.

Внезапно меняя тон светской болтовни на казарменный окрик, гестаповец накинулся на Жака:

– Вы дали ложные показания!

Только бы теперь не сорваться!

– Если вы не верите, тем лучше. Я сожалею, что дал такие показания, – он нервно замигал. – Минута слабости...

– Вы утверждаете, – не затрудняя себя более «русским» языком, зарычал немец, – что русские сегодня в семь ноль-ноль предпримут атаку в трех километрах южнее Новоархангельска.

– В четырех километрах южнее Новоархангельска, – поправил его Жак. – Кроме того, я говорил, что такова была прежняя диспозиция.

Гестаповец поспешно вставил два листа с копиркой в стоящую на письменном столе портативную пишущую машинку и стал проворно отстукивать «показания» Жака. Выдернув затем листы из машинки, он ткнул в перевязанную руку Жака одну из авторучек, стоявших на подставке на столе и, взяв другую, нажатием рычажка обнажил иглу длиной в несколько сантиметров.

- Подпишите.
- Только левой рукой.
- Как хотите! От ваших показаний вы отказаться не сумеете.

Вы, несомненно, догадываетесь, что вас ожидает, если вы нас обманули? – поиграв с иглой, он отложил ее в сторону. – А теперь желаю вам спокойной ночи. Я не говорю «до свидания», потому что повторное свидание с обергруппенфюрером Ханхеманом не сулит вам ничего хорошего.

8

Тот же фельдфебель в пилотке отвел Жака в белый дом с колоннами. Здесь, в помещении, которое очевидно раньше служило кухней, лежали на тюфяках человек двадцать. Фельдфебель, указав Жаку на свободный тюфяк, сказал зевающим и наперебой под взрывы смеха портящим воздух солдатам:

– Вы его не слишком донимайте. Ему и так нелегко, он своих предал.

Жак не стал обращать внимания на шутки солдат. Он положил левую руку под голову и, несмотря на усиливающуюся боль в бедре и в правой руке, пытался думать. До назначенной на семь часов отвлекающей атаки на брод оставалось не больше двух часов. Успеют ли немцы сосредоточить на этом участке, свои силы, сняв их оттуда, куда действительно направлен удар? Конечно, семьдесят вторая дивизия не будет выведена и не примет атаки. Но ведь цель этого маневра (отвлечь внимание немцев от других участков) может быть достигнута разыгранной Жаком комедией. Актерское его искусство на что-то все-таки пригодились.

Неужели в эти минуты Жак не думал о себе, о том, что будет, когда обнаружится обман? Действовал ли он из патриотических побуждений? Может быть, он хотел, пусть даже посмертно, прослыть героем? Ничуть! Просто он не мог иначе действовать, как человек не может сменить кожу – он может только загримироваться, что Жак и сделал. Не думал он о смерти, пытках и только представлял себе радость товарищей, вырвавшихся из окружения. Пусть они никогда не узнают, кто им помог и какой ценой. Как ни странно, именно тайна его поступка, то, что об этом никто не узнает, переполняло его гордостью и грело.

9

Жак родился в деревне недалеко от города Гродно. Отец Жака познакомился с его матерью в Белостоке, где она работала на текстильной фабрике в красильном отделении. С точки зрения администрации фабрики, для дочери помещика это было позором. Правда, Полина поступила на фабрику художницей. Но узоры тканей не менялись годами, художнице было нечего делать, и Полина перешла в красильное отделение.

У отца Полины, которого она помнила только стариком, остались от первого брака пять дочерей. Мать Полины была нанята к ним гувернанткой, а потом стала их мачехой и родила пану шестую дочь – Полину. «Гувернантша», как ее продолжали звать окрестные помещики и их жены, после смерти мужа превратилась в сухонькую старушку, которая собственноручно секла падчериц, а заодно и свою дочь. Однако хозяйство она прибрала к рукам, даже сумела выплатить часть долгов покойного мужа. Ежегодно вся округа ждала, какие цены удалось выторговать Гувернантше, чтобы, ориентироваться на них, продавая урожай. Все же имение пришлось продать с молотка. Единственное, что Гувернантше удалось выхлопотать, — это право остаться пожизненно в доме, в котором она жила с мужем.

Новый хозяин — богатый фабрикант, в поместье не въехал, а нанял для управления им агронома Берзелина. Тот поселился у Гувернантши. К тому времени она уже успела «кое-как» выдать замуж трех из пяти своих падчериц. Новый молодой управляющий имением, вопреки ожиданиям Гувернантши, не стал ухаживать за оставшимися двумя. Он «положил глаз» на младшую, когда та, уволенная с фабрики за участие в забастовке, вернулась домой.

Несмотря на всякие кривотолки, молодому управляющему не пришлось раскаяться в своем выборе. Полина оказалась хорошей хозяйкой и примерной женой. Правда, ее демократические наклонности продолжали вызывать недоумение Гувернантши: она участвовала в свадьбах, была крестной десятка деревенских карапузов, садилась с крестьянами за стол и угощала их своими пирогами. Она всех мирила, девок выдавала замуж, мужей отчитывала за плохое обращение с женами, а жен — за неумение «потрафлять» мужьям.

Но все это было полбеды. С чем Губернантша уже совсем не могла мириться — это постоянные гости. Приезжали из Белостока, Вильны, даже из Варшавы какие-то странные личности. Они, правда, долго не задерживались и исчезали так же внезапно, как и появлялись.

— Я не вмешиваюсь в ваши дела, — сказала однажды старуха, — но я боюсь, что это плохо кончится.

Она оказалась права.

Жак смутно помнил, как однажды явились жандармы и увели маму. Потом папа ездил в Гродно, был у самого генерал-губернатора. Маму вскоре освободили, папа долго с ней разговаривал при закрытых дверях, бабушка ходила на цыпочках и прикладывала палец к губам, словно в доме был тяжело больной. Жаку было пять лет.

Мама уехала, и его воспитанием занялась бабушка. Она учила его говорить по-французски и «правильно сидеть за столом». Она била его по рукам и обещала дать розог, если он не исправится. Жак, видимо, не исправлялся, потому что однажды бабушка выполнила свое обещание. Папе она сказала, что детей надо наказывать так, чтобы им было «больно, страшно и стыдно, иначе они вырастают непутевыми или мямлями». Папа рассердился и запретил бабушке сечь Жака. На это бабушка сказала, что больше она ни за что не отвечает.

Для Жака начались дни упоительной свободы, игр и мечтаний: он босиком бегал по утренней росе, каждое утро входил в новый, им только что открытый мир. Дни были светлы, он ими наслаждался, как прохладным сладким и пахучим напитком. Вечернее солнце освещало росшие на обрыве краснотелые сосны. Они были ближе к солнцу, чем к земле. Сосны жили, как во сне, — смелые, гордые. Позже, когда Жак думал о людях бесстрашных и свободных, он вспоминал эти три сосны.

Он бежал к речке, вьющейся среди ивняка, плюхался в воду и, плавая, слышал, как вода серебряно струится. Мир был полон звуков и цветов. Они были связаны с предметами и не знали, как от них отделиться.

Жак научился стрелять из лука, и руки его удлинились во много раз. От быстрого бега крепили ноги, грудь становилась объемной, способной своим дыханием поддержать любое усилие.

Но Жак был одинок. У него не было братьев и сестер. Он не сумел сблизиться с деревенской детворой: те видели в нем паныча, да и Жаку, свободному от забот о собственном благополучии, были непонятны их связанные со съестным интересы.

Ему было восемь лет, когда вернулась мама. Она так изменилась, что в первый момент Жак ее не узнал. Он испытывал буйное желание дать ей почувствовать самое ценное, что приобрел за годы разлуки, — свою силу: он принялся с ней бороться. Мать освободилась от него и отстранила рукой. Жак понял, что он стал чужд ей, что никогда больше материнская любовь не откроется ему, и он заплакал.

С приездом матери сначала мало что изменилось. Но вскоре владелец имения уволил отца. Мама, папа и Жак перебрались в город. Для Жака, никогда до этого не покидавшего деревни, переезд был радостным событием. Но радость потускнела, когда они втроем поселились в маленькой квартирке, где Жаку было негде играть. Мама ходила продавать какие-то вещи, папа пытался устроиться на службу, это ему не удавалось. Все это было «типичное не то», как говорила мама, но новая жизнь имела для Жака и свои привлекательные стороны. У него впервые появились товарищи, они бродили вместе по городу, изучая скрытые проходы между громадами домов. Говорили, что под городом имеются подземелья, они представлялись таинственным царством. Помимо этих открытий, Жак научился играть в лапту, а зимой кататься на коньках.

К следующей осени, когда Жак поступил в приготовительный класс гимназии, в городе стало как-то особенно тревожно. Толпами ходили люди с красными бантами, такие же банты были у мамы и папы, и мама научила Жака петь по-польски «Червоны штандар» и «Варшавянку». Теперь Жак знал три песни. Третья пелась по-французски и начиналась словами «Труа жен тамбур сан ревенэ де гере»¹. Жак пел все три песни подряд, меняя только их порядок, пока папа не хватался за голову, а мама говорила «довольно»!

Однажды по улице бежало множество людей, а за ними гнались солдаты на конях и били их плетками. Тогда Жак впервые услышал слово «казаки». Оно выговаривалось с ненавистью. Вскоре после этого папа заболел. Он кашлял и задыхался,

¹ «Три юных барабанщика возвращались с войны» — французская народная песенка.

к нему приходили врачи. На ночном столике возле кровати папы появился шприц, которым папе делали уколы. Шприц лежал в выложенном фиолетовом бархатом футляре. Тайным желанием Жака было утешить шприц, чтобы испытать, как далеко бьет струя. Как только Жак узнал, что папа может умереть, он подумал о шприце. Когда папа умер, в квартире появилось множество людей, они топтались у дверей комнаты, в которой лежал умерший папа, и говорили с плачущей мамой. Жак никогда не видел маму плачущей. Это зрелище потрясло его. С криком «Мама, не плачь!» он бросился к ней. Мама стала гладить его по голове, и эта ласка скупой на нежность матери наполнила сердце Жака такой жалостью к себе, что и он заплакал.

Приехала бабушка с тетями Вандой и Зосей. Жак поздоровался с ними за руку, как взрослый со взрослыми. На похоронах он шел с мамой, бабушкой и тетями за катафалком и гордился, что предводительствует шествием. Он совершенно забыл о шприце и вспомнил о нем только когда вернулся домой. Но шприц бесследно исчез. Тогда Жаку стало жалко папу.

Папа умер в 35 лет. Бабушка в 35 лет вышла замуж. Мама в 35 лет овдовела. Очевидно, 35 лет — роковой возраст. Если Жак доживет до него, он будет очень осторожным.

Вскоре после смерти папы маму снова арестовали. В квартире поселился бородатый дядя с тоненькой тетей, у которой всегда была мигрень. У них были две дочки. Жак пытался с ними играть, но они оказались глупыми. Когда мама вернулась из тюрьмы, она приняла ванну, надела папин халат и села писать письма. Потом она долго шепталась с бородатым дядей и тетей, у которой чудом прошла мигрень. Девочки стали капризничать, и их уложили спать. На Жака никто внимания не обращал. Он бодрствовал до полуночи и заснул на диване. Проснувшись утром, он побежал во двор рассказывать своим товарищам, что он с мамой уезжает в Швейцарию. Полусонный, он слышал, как мама согласилась с бородатым дядей, что ехать туда необходимо.

Сенсационное сообщение сразу же возвысило Жака в глазах товарищей. Еще больше возросло их уважение к нему, когда он объявил, что может ложиться спать, когда ему заблагорассудится. Жака признали вожаком. Но долго быть вожаком ему не пришлось.

Потом были сборы. Жак прощался с множеством людей, которых видел в первый раз. Он сел с мамой в поезд и уехал в Швейцарию. Сначала было интересно ехать, но вскоре смотреть в окно стало скучно, и Жак заснул.

Два дня они прожили в большом городе с серыми и желтыми домами. Там Жак впервые увидел мотоцикл и поднялся на лифте. Потом они поехали дальше, и Жак проспал всю ночь и утро, а когда проснулся, увидел горы. Это была Швейцария.

Два года Жак прожил с мамой вместе. Мама чему-то училась и определила в школу Жака. Он ничего не понимал на том языке, на котором велось преподавание, и был ужасно несчастлив. Неуспевающих учительница била тростью по рукам. Жак вспомнил тот единственный случай, когда его секли, и снова страх накрыл его своими черными крыльями.

Наверное, тогда и кончилось детство Жака. Он стал хитрить, чтобы избежать неприятностей, врал матери и учительнице, стал тайком ходить в кинотеатр, есть каштаны на улице. Деньги на эти роскошества он прикарманивал, когда мама посылала его за покупками.

Жак научился говорить на бернском диалекте и писать по-немецки. Он сдал экзамен сразу в третий класс прогимназии — так назывались первые четыре класса школы. Задачи по арифметике он решал легко, французский знал с детства и сочинение написал на «б». У Жака была хорошая память, и он запоминал литературные выражения как заклинания.

По вечерам мама обычно куда-то уходила, и Жак оставался один. Он стал читать запоем, читал все, что попадалось под руку. Прочитанное ему снилось, и он часами находился в каком-то дурмане.

Ему было 15 лет, когда мать оставила его в Берне на попечение одной французской семьи, и уехала в Париж. Там она вскоре вышла замуж за русского политэмигранта.

Жак стал привыкать к новой среде.

В эти годы началось увлечение Жака спортом. Он играл в футбол, занимался боксом, катался на коньках. Здесь, как и в других занятиях, Жак не проявлял своей индивидуальности, вернее, проявлял ее в том, что с успехом копировал стиль и приемы корифеев, которых ему доводилось видеть.

Четыре раза в году, на каникулы, Жак ездил к матери. Иногда она приезжала в Швейцарию. Однажды они с группой русских эмигрантов отправились осматривать знаменитую пещеру святого Беатуса на Тунском озере. Все, в том числе и мать Жака, ни малейшего внимания на красоты природы не обращали. Они шли по дороге, поднимающейся все выше над озером, спорили о чем-то своем, поминутно останавливаясь, чтобы закурить, и почему-то смеялись, когда Жак показывал им сверкающие белозной вершины Бернских Альп или пытался обращать их внимание на расходящиеся веером волны за плывущим пароходом. По пещере они пробежали почти бегом, подтрунивая над восковой фигурой отшельника, мостиками через подземные ручейки и надписями, объясняющими природу сталактитов.

Вообще эти люди, окружавшие его мать, представлялись ему странными и непонятными. Они были поглощены совсем иными мыслями и интересами, чем те, которые были предметом разговоров среди товарищей Жака. Жак стал стесняться своей матери, столь непохожей на других женщин. Она могла сидеть в трамвае, заложив ногу на ногу, читать газеты, курить в общественном месте. По городу она ходила не с кошелкой, а с портфелем, а приезжая в Берн, поджидала Жака у дверей гимназии, брала его под руку и пыталась его развлечь рассказами о парижских встречах с «известными вождями революции», среди которых Жаку запомнилось имя «Ленин».

Все это отделяло его от сверстников, росших в другой среде, с другими понятиями, с укоренившимися представлениями о «приличном» и «неприличном». Он чувствовал себя взрослее их и вообще на них непохожим. Он стал уединяться. Зимой брал в субботу лыжи и отправлялся в горы. Доехав до какой-нибудь станции, шел наугад, ночевал где-нибудь в хижине, а утром, встав на лыжи, поднимался вверх по отлогим склонам, пока перед ним не вставали скалы. Они преграждали дорогу, как великаны, стоящие на страже заколдованного царства. Концы лыж розовели в свете восходящего солнца, а след тянулся за ним фиолетовой лентой. Затем он летел на лыжах вниз, подогнув колени. Он знал, когда применить поворот «Телемарк» или «Христианию» и заканчивал слалом поперечным прыжком, который однажды принес ему аплодисменты иностранных туристов, собравшихся внизу у гостиницы в конце трассы.

Летом он присоединялся к какой-нибудь группе туристов, совершал вместе с ними восхождения на вершины. Так он поднялся на Юнгфрау, которая снизу, между лесистыми холмами выглядела как бутон белой розы, а вблизи казалась раскинувшейся на ложе предгорья белобедрой великаншей. Он бродил по отлогим холмам, взбирался на Блюмлизалп, у подножья которого синело озерко, которое так и называлось Синим.

Однажды зимой он пошел с матерью в театр на оперу «Гугеноты». Этот спектакль стал поворотным пунктом в жизни Жака: театр стал для него откровением. Он ушел в его волшебный мир, теперь все деньги, оставленные матерью, он тратил на билеты в театр, пропуская матчи любимых футбольных команд. Городской театр давал представления каждый день, его репертуар был обширен. За сезон Жак познакомился с Зудерманом, Гауптманом, Ибсеном, Стриндбергом, Бернардом Шоу, Ростаном и Чеховым, с антибуржуазными комедиями Штернгейма и модернистскими пьесами Кайзера. Классики, которых он «проходил» в гимназии, приобрели вторую жизнь. Перед ним открылся заколдованный лес драматургии Шекспира.

В 1912 году мать уехала вместе с отчимом Жака в Россию «на работу». Перед отъездом отчим приезжал в Берн и оставил какую-то сумму денег хозяевам Жака. Мать приехала позже и тоже кое-что оставила: Жаку пришлось перетаскивать книги из привезенных матерью двух ящичков на чердак.

Спустя год после отъезда матери пришло письмо с извещением, что мать и отчим Жака арестованы и сосланы на пять лет в Туруханский край. Жак напрасно искал на карте России этот Туруханский край. Он остался окутанным тайной, как таинственно было все, что происходило в далекой северной стране, родившей гигантов — Достоевского и Льва Толстого, и некоего странного бродягу Горького, произведениями которого Жак стал зачитываться в ту пору. Через несколько недель после получения письма хозяйка заявила Жаку, что оставленные ей деньги кончились. И хотя она тут же заверила, что его не гонит, Жак решил расстаться с семьей, в которой жил столько лет и которую считал почти родной. Но для изменения бытового уклада нужны были деньги. Перебирая возможности раздобыть их, Жак подумал о театре. Он успел притереться к миру кулис, оказывая актерам мелкие услуги. Его неоднократно привлекали

к участию в массовых сценах. Он не замечал ни грима на лицах артистов, не видел грязи, не подозревал интриг. Театр был для него единственной реальностью.

Все произошло как-то само собой: директор театра, мягкий и культурный человек, свел его с актером, игравшим «отца героя». Тот бесплатно стал давать Жаку уроки дикции, нещадно эксплуатируя его на домашних работах (артист был холост). Жак безропотно выполнял все поручения, но запустил учебу в гимназии. К счастью, он уже перешел в последний класс. В том же году, когда Жак с грехом пополам сдал выпускной экзамен, его фамилия, хотя и последней, появилась в списке актеров городского театра.

В 1917 году в Швейцарию приехал Макс Рейнгард со своей труппой. В постановках Рейнгарда образы героев выступали рельефно и ярко, не стесненные аксессуаром. Декорации, упрощенные до условности, подчеркивали лишь существо места действия. Игра была проста и скульптурна, она всецело подчинялась замыслу режиссера.

Гастроли совпали с театральными каникулами, и Жак был единственным из труппы городского театра, оставшимся в это время в городе. Заменяя заболевшего, Жак сыграл роль аристократа, которого в первом действии «Смерти Дантона» вешают на фонаре. Роль была малюсенькая и вряд она давала возможность блеснуть способностями, однако режиссер Жака похвалил. Впоследствии тот сыграл еще роль резонирующего слуги, фата и — верх триумфа! — Фортинбраса в «Гамлете». Жак сопровождал труппу в гастролях по городам Швейцарии, и на прощальном банкете Макс Рейнгард теплыми словами распрощался с ним, подарил свой портрет с собственноручной надписью, и пригласил в Берлин, предсказывая Жаку большое будущее, если он останется под его, Рейнгарда, руководством.

Сообщение о Февральской революции застигло Жака в горах во время очередной лыжной вылазки. Известие принес один из случайных спутников, заночевавший вместе с Жаком в хижине Альпийского клуба. Вечером, за кружкой грога, на высоте трех тысяч метров над уровнем моря обсуждались перспективы революции. Большинство склонялось к тому, что революция победит. Она рисовалась всем, в том числе Жаку, как грандиозный спектакль, поставленный гениальным режиссером. Тогда он

еще не читал об этом «спектакле» критического разбора, а все, что он знал, было в высшей мере противоречиво.

Осенью 1918 года Жак получил от матери письмо: она вернулась из ссылки и жила в Питере. Она звала сына в Россию, описывая тамошнюю жизнь в выражениях, которые показались Жаку выпренными. В России зарождался новый мир, писала она, очень важно, чтобы Жак вошел в него с самого начала.

Жак задумался... Он знал русский язык, но немецкий был для него языком искусства. Жизнь без театра он себе не представлял. В России он будет лишен возможности спастись от действительности в мире искусства. Русский театр? Он должен быть чем-то принципиально другим. На Западе искусство живет вне времени и пространства. Там, на Востоке, оно, возможно, слилось с жизнью, стало одной из ее составных частей. Реальность искусства, помноженная на реальность жизни, могли дать исключительный результат. И Жак решил ехать.

Конец 1918 года ушел на хлопоты, связанные с отъездом. Мать прислала ему денег, паспорт он получил в Советском посольстве, где его приняли, как своего, назвали товарищем и нагрузили кипой всяких брошюр. Вскоре, когда посольство было выслано из Швейцарии, он провожал его членов на вокзал, помог кому-то нести чемодан. За такую активность он попал в список неблагонадежных, за которыми полиция учинила слежку. Жак узнал об этом от директора театра: городской театр не мог терпеть в своей труппе человека, заподозренного в действиях, направленных на свержение существующего государственного строя. Так Жак очутился в орбите мировых событий.

10

В Россию Жак приехал в самом конце 1918 года. Он высадился на пустынной набережной Невы около Аничкова моста, не зная, что ему делать со своими чемоданами. К нему подошел человек в пенсне, котиковой шапке, выдавшей лучшие времена шубе и предложил понести чемоданы. Через сто шагов этот носильщик остановился, поставил свою ношу на мостовую и стал обтирать грязным платком лоб. Жак понял, что надеяться на носильщика ему не следует. В конце пути выяснилось, что носильщик был прежде присяжным поверенным. К тому времени Жак уже сам нес два самых тяжелых чемодана. В качестве

гонорара за свои услуги «присяжный поверенный» запросил немного муки и конопляного масла. На радостях встречи мать усадила «поверенного» за стол и накормила пшенной кашей, что того настолько ошеломило, что он, заикаясь, провозгласил патетический тост за русскую интеллигенцию.

Поначалу Жаку многое показалось странным и непонятным: как можно было допускать такую перегрузку трамваев, что они кузовом бьются о мостовую, почему не убирают снег на площадях и улицах, не чинится отопление? Непонятной была кипучая жизнь в руинах, среди обломков прошлого, голод при расточительстве фантазии, выразившейся в непомерных планах и амбициях.

А искусство?

На одной из центральных улиц Жак увидел странное вертящееся сооружение из березовых поленьев, на одно из которых был надет цилиндр, на два других — бальные женские туфли. Середина прикрывалась юбочкой из фольги. Все вместе оказалось танцовщицей с буржуазными переживаниями. Это ироническое отношение к святому искусству казалось Жаку кощунством.

Он не понимал требований художников, чтобы искусство не отображало действительность, а было ею, чтобы актер игрой выявлял свое отношение к создаваемому образу. Его шокировала не столько непривычная форма, сколько стремление вывести ее самостоятельным явлением в жизнь. Ему претило приклеивание ярлыков к явлениям, обилие мандатов на право суждения, нагромождение прилагательных в газетных статьях, игра вперегонки между революционными требованиями и бытом (быт окончательно отстал). Глашатайство исходило не из того, что есть, а из того, что должно быть, и окрашивало все, в том числе и искусство, в тенденциозные тона.

— Искусство — это надстройка, — поучал его отчим. — Нужно сперва создать материальную базу.

Чтобы создать эту материальную базу, страну приходилось отвоевывать у «гидры контрреволюции».

Мать была назначена на какой-то важный пост в Москву, и Жак переехал туда вместе с ней.

Он пошел учиться на курсы по подготовке командного состава и окончив их к весне, ушел на фронт командиром роты.

Он решил воевать для искусства, следовательно, для себя. Как ни странно, бойцы любили его. Может быть, их подкупала его искренность. Он кротко внушал грубиянам, что жить нужно не только для того, чтобы жрать и спать с женщинами, что в боях за революцию важна не только конечная цель, но и средства, которыми пользуешься для ее достижения.

11

Каким командиром был Жак, неизвестно, но его имя дважды упоминалось в приказах по дивизии. Он был ранен, потом заболел сыпняком. Батальон, которым командовал в ту пору Жак, представлял по тогдашним понятиям солидную силу. Он насчитывал 470 бойцов, располагал шестью «максимами» и двумя пушками, правда, без передков. Снаряды возили на телегах. Батальон получил задание выбить казаков из станицы, которую те заняли накануне. Станица раскинулась в ложбине. Виднелся спускавшийся к речке фруктовый сад, в верхней части которого, как бы озирая свои владения, возвышался господский дом с колоннами.

Было раннее утро, когда обе пушки открыли огонь по каменной стене. Внизу началась суета. Застигнутые врасплох казаки поспешно седлали коней и удирали группами и в одиночку, огибая стену вокруг сада. Жак поднял свой батальон и побежал впереди по направлению к бреши, пробитой в стене снарядом. Когда он перелезал через обломки стены, притаившийся с той стороны казак выстрелил в него почти в упор, но попал в плечо. Казак тут же был поднят на штыки бойцами. Жака подхватил бородатый старшина и повел к дому. Они поднялись на веранду и вошли в комнату, обставленную, как салон. В углу стоял рояль красного дерева, слева кожаный диван. В комнате царил страшный беспорядок, на полу валялись патронташи, фляжки, портянки. Скатерть была стянута со стола и свисала до пола. На клавиатуре раскрытого рояля лежала офицерская фуражка. Старинные часы на комодке были опрокинуты, но, поднятые старшиной, оказались неповрежденными.

Старшина пошел за фельдшером. Жака клонило ко сну, и он стал считать квадраты паркета от дивана до противоположной стены. Ему никак не удавалось их сосчитать. То их было шесть, то семь. Вернулся старшина с фельдшером. Фельдшер перевязал

рану и почему-то поставил градусник. Старшина пошел искать кого-нибудь в доме и вернулся с молодой женщиной, назвавшейся Любой. Люба принесла на подносе графин с вином. Жак выпил. То ли от вина, то ли от высокой температуры (градусник показал больше сорока), но у Жака заходило все кругом, и он не то что потерял сознание, но впал в какое-то безразличие. Он очнулся, когда уже стемнело. В комнате было душно. На столе стоял графин недопитого вина. Жак встал и вышел на веранду. У одной из колонн белела чья-то маленькая фигурка. Подойдя ближе, он распознал девочку лет двенадцати-тринадцати с туго заплетенной черной косой и большими серыми глазами. Небо полыхало зарницами, серые глаза девочки с недоумением смотрели на Жака.

— Ты кто? — спросил он девочку.

— Я сестра Любы, — ответила она. — А ты кто?

— Я воюю.

— Зачем?

— Чтобы людям хорошо жилось.

— Тебе плохо?

— Теперь лучше.

Девочка перебросила косу за спину

— Ты большевик?

— Да.

— А рога у тебя есть?

— Нет.

— Дай потрогать!

Жак склонил голову, девочка ошупала его темя.

— Ты невсамделишный, — произнесла она разочарованно.

И действительно, Жак почувствовал себя каким-то ненастоящим.

На веранду вбежал старшина:

— Белые наступают!

— Так что? — спросил его Жак.

— Ты можешь верхом держаться?

Конь стоял под яблонями, побеленные стволы обрамляли гнедого. Жак взобрался в седло. Ему казалось, что он плывет высоко в облаках. Старшина очутился сзади. Они поскакали в ночь. Жаку казалось, что он сам превратился в коня. Он

скакал по раскаленной земле, его копыта горели... Он пришел в себя в больничной палате.

12

Гражданская война кончилась, и Жака демобилизовали. Он поехал в Москву, разыскал мать, которая работала в каких-то «органах». Отчим умер. Жак сказал матери несколько слов в утешение, она ответила кивком головы.

Был голод. Заедали вши. Сохранить в этих условиях неприкосновенность искусства, защитить его от посягательства критиков, утверждать право искусства на поиски в глубинах человеческого сознания, когда на поверхности царил хаос, могло показаться донкихотством.

Жак с грустью наблюдал, как театральные представления теряли свой праздничный характер. Актеры играли блекло, без подъема, переигрывали и кривлялись. В их сознании не укрепилось чувство меры, переоценка ценностей коснулась и театра: прежние были посрамлены, новые не созданы. Воплощение мысли жестом, голосом, интонацией заменялось режиссерскими выдумками. Оставшиеся на позициях реализма театры цитировали самих себя.

Жак вошел в театральную жизнь как-то незаметно. Он не спорил: спорить с людьми, которые не верили в преобразующую стихию искусства, было не о чем. Они еще допускали мысль о театре как о трибуне, думали, что брошенным с этой трибуны словом можно зажечь массы, но осмелили бы утверждение, что только в искусстве раскрывается сокровенный смысл жизни.

Наркомпрос послал Жака художником в один из московских рабочих клубов. Здесь, среди молодежи, цветущих, несмотря на голод, девушек, передвигавших вручную многопудовые декорации, чтобы затем играть фрейлин при дворе Елизаветы Петровны, у Жака укрепилось убеждение, что театр имеет не прикладное значение, а задачу раскрыть то, что в жизни лежит под спудом, спрятанное под наслоениями быта и обывательского безразличия. Он увидел свою задачу в том, чтобы направить этих рабочих парней и девчат в русло подлинного искусства, раскрыть перед ними профессиональные тайны, дать им в руки средства, позволяющие достичь цели.

Женился он на той сероглазой казачке, которая когда-то девочкой ощупывала его голову, — он встретил ее в Москве. Это была уже не девочка, а красивая девушка. Встреча их не удивила, они оба увидели в ней перст судьбы. Она родила ему сына, Жак был влюблен в жену и в ребенка. Но жена забеременела вторично и тайком от него сделала аборт. Операция оказалась неудачной, жена заболела и умерла. Перед смертью она созналась, что изменяла ему.

Жак сходил с женщинами, подыскивая мать для сынишки, но ее не нашел. Женщины быстро уходили от него.

13

Между тем драматический кружок, которым руководил Жак, превратился в профессиональный коллектив. Завод построил настоящий театр, оборудованный по последнему слову техники. На открытии присутствовал нарком просвещения, он зачитал документ о присвоении Жаку звания заслуженного деятеля искусств. Но присвоение этого звания как будто дало сигнал недоброжелателям: на него посыпались упреки, что он увел коллектив в сторону от задач революции, обвинения, что он не идет в ногу со временем, что пропагандируемое им искусство реакционно, а сам он «препятствует здоровому стремлению коллектива играть современный репертуар».

На заседании худсовета Жак выступил против теории бесконфликтности в искусстве, доказывая ее гибельность для театра. Шел 1938 год, его никто не поддержал, хотя в фойе некоторые пожимали руку. Через неделю Жака уволили «за отход от классовых позиций в искусстве».

Мать тяжело переживала за сына. Многих это удивило: к Жаку она нежных чувств не проявляла, поведения его не одобряла. Его художественные поиски были ей чужды, связи с сыном она почти не поддерживала. Член общества старых большевиков, она последние годы не работала, зрение ее сдало, она почти не видела. Узнав об увольнении сына, она продиктовала своей соседке по квартире письмо Сталину и опустила его в ящик. Из секретариата Сталина ей ответили, что ее вызовут, как только будут наведены нужные справки. Справки наводились два месяца. Все же Сталин ее принял. Он заявил, что в деле Берзелина помочь не может, так как выдвинутое против него

обвинение делает невозможным использовать его на идеологическом фронте.

Вернувшись домой, Полина Степановна приняла двадцать таблеток веронала. На клочке бумаги разлезающимися во все стороны буквами она написала: «Сыну. Самое главное — это быть добрым». Скончалась она четверо суток спустя, не придя в сознание. Сердце у нее было здоровое.

Позже Жак неоднократно вспоминал последнюю фразу матери. Она мучила его своей недосказанностью, и он не знал, понимать ли ее как наказ или как позднее признание.

14

Треск пулеметов, взрывы снарядов. Сквозь пыль от взметнувшейся вверх клумбы Жак увидел обломки автобуса в черно-желтых пятнах. На дорогу выбежал немецкий солдат без каски и пояса. Показывая на юг, откуда доносилась стрельба, солдат кричал: «Русские!»

Удалось!

Жака бросили в крытую брезентом машину, в кузов вскочили несколько солдат. Машина рванула с места и понеслась на север.

Под вечер Жака сбросили с грузовика перед домом, с которого еще не успели снять вывеску «Отделение милиции». Два эсэсовца вогнали его в комнатку, где на полу спало человек двадцать пленных офицеров. Пленные солдаты спали в коридоре или на ступеньках лестницы.

Днем пленных выпускали на огороженный колючей проволокой «плац». Есть не давали. Пленные питались тем, что приносило население. Эсэсовцы отбирали у женщин корзины с едой и сваливали съестное в кучу. Потом один из эсэсовцев свистел, и пленные бросались на кучу, сбивая с ног друг друга; более сильным доставались лучшие куски. Эта кормежка привлекала зрителей. Немецкие офицеры обходили кучу копошащегося человеческого муравейника и делали снимки. К десяти часам утра приезжали следователи. Они были вооружены резиновыми кнутами фирмы «Мерц». Фирма публиковала в газетах и журналах объявления с изображением фабричной марки — двумя кнутами, образующими заглавную букву «М». Объявление гласило: «Резиновые кнуты с металлическим стержнем фирмы

«Мерц» выпускаются в трех размерах различного веса – для наказания детей, подростков и взрослых. Резиновые кнуты с металлическим стержнем фирмы «Мерц» причиняют наказуемым значительно более резкую боль, чем обычные ременные плети или хлысты. Они имеют перед последними то преимущество, что не рассекают кожи, а поэтому могут быть употреблены чаще и с большим успехом во всех случаях проявления злой воли, строптивости и лени».

До обеда доносились звуки ударов, крики палачей и вопли истязаемых. Вечером внизу у пруда стучали выстрелы. Это расстреливали «евреев и комиссаров».

За Жаком приехали на легковой машине около четырех часов утра. Товарищи попрощались с ним, как с родным. Жак почувствовал теплоту и мощь мужской дружбы. Эта теплота и сила помогли преодолеть минутную слабость, когда его усаживали в машину.

Его отвезли в лес, велели идти вперед не оглядываясь. Взошло солнце, оно врзалось косыми лучами в лесную чащу. Просыпающиеся птицы закатывали свои трели, в лучах утреннего солнца раскрывали свои крылья бабочки. Природа служила свою утреннюю мессу.

Жак не понимал, почему его везли на машине, а не прикончили, как других, у пруда. Обычно немцы в таких делах не мешкали.

Прошли лесок и вышли к полевой жандармерии в незнакомом Жаку селе. Его ввели в караульное помещение. За письменным столом сидел толстый немец с бляхой во всю грудь. Старший эсэсовец подошел к нему и стал шептаться, косо поглядывая на Жака.

– Юде? – спросил жандарм после того, как эсэсовцы ушли.

Жак отрицательно покачал головой.

– Комиссар?

– Нихт комиссар, – ответил Жак, нарочно ломая немецкий язык.

Жандарм покачал головой, не то удивляясь, не то сомневаясь. Раздался звонок телефона. Жандарм лениво повертел ручку аппарата, но тут же мгновенно преобразился.

– Яволь! Цу бэфель!¹

¹ Так точно! Слушаюсь! (нем.)

Через некоторое время появились два офицера. Один из них – высокий, в черном макинтоше и с моноклем в глазу показался Жаку знакомым. Другой, небольшого роста в пенсне, с любопытством уставился на Жака.

Жандарм вытянулся в струнку и крикнул.

– Шен гут! – сказал высокий и прибавил в тоне, не терпящем возражений: – Вир немен ин мит унс¹.

Офицер в пенсне предупредительно открыл перед Жаком дверь в соседнюю комнату, Высокий, войдя, скинул макинтош и бросил его на диван, а сам уселся на стул возле стола. Теперь Жак его узнал: это был тот же офицер, который первым попался ему на глаза в немецком стане.

– Распорядитесь, чтобы подали обед, – приказал он тому, в пенсне, а когда тот вышел, обратился к Жаку. – Мы вас знаем, хотя вы нас, по всей вероятности, не знаете. Я долгие годы был военным атташе в Москве, а капитан (он показал кивком головы на дверь) корреспондентом немецких газет. Я видел вас в роли Гамлета и должен сказать, что вы напомнили мне Моисси². Это высшая оценка с моей стороны, хотя Моисси не немец... Очевидно, настоящее искусство интернационально.

– В гербарии растения сохраняют свой цвет и даже запах, но не растут!

– Я вас понимаю. Национальный характер – это природа искусства. Но разве искусство повторяет природу, а не создает другую?

– Вне природы не может быть искусства. Искусство ее не повторяет, но выражает.

– Не будем заниматься разбором... – он задумался, потом продолжал в том же тоне. – О том, что вы попали в плен, я узнал от нашей разведки, а что находитесь здесь – от наших солдат, которые были в плену и вас узнали. Отношение к пленным делает вам честь.

– Я не могу того же сказать о вас.

– Разве я лично?..

– Я имею в виду обращение эсэсовцев.

¹ Очень хорошо. Мы возьмем его с собой (нем.).

² Моисси Александр (1879–1935) – знаменитый немецкий актер албанского происхождения.

– Вы делаете ошибку, ставя знак равенства между вермахтом и органами государственной безопасности.

– Не все ли равно, кто меня убьет?

– На вас, конечно, точат зубы, вы сами догадываетесь, почему.. Я лично придерживаюсь мнения, что вы поступили так, как поступил бы на вашем месте каждый офицер вермахта. К сожалению, вы находитесь здесь в руках эсэс и в распоряжении 1-го отдела Гестапо. Мы, офицеры вермахта, на их решения влияния не имеем. Единственное, что мы можем для вас сделать, это сманеврировать так, чтобы Берлин вас вызвал. Если Берлин вас вызовет – вы будете в относительной безопасности. Это удовлетворило бы и нас, поскольку такое решение было бы справедливым и убедило бы вас, что не все мы звери. Я не либерал, мягкотелость мне противна, но мне, немецкому офицеру, неприлично оставаться должником. Ведь переодетый в форму рядового, я находился среди тех пленных, к которым вы отнеслись более чем человечно. Короче говоря, может быть, жизнью я обязан вам, а отсюда желание помочь. О, как раз подоспел ваш обед!

Он встал и вышел. Вместо него появился солдат с судками

– Нох этвас¹? – спросил он бывшего корреспондента.

– Найн, нихтс², – ответил тот.

Солдат иронически улыбнулся, однако щелкнул каблуками и промаршировал к двери.

«Бедный корреспондент, – подумал Жак, – ему так же трудно, как и мне». Но тут же вспомнил про статьи Геббельса о советском театре, которые ему довелось читать, полные извращений, злопыхательства и инсинуаций. Он поглощал обед молча, упрекая себя за то, что ест с аппетитом.

Через неделю Жака на машине повезли в Берлин.

¹ Еще что-нибудь? (нем.)

² Нет, ничего (нем.).

Глава 3. Лили

1

Когда Лили вспоминала свое детство, ей казалось, что она смотрит порванную киноленту: движение вдруг прекращается и фигуры застывают в неестественных и смешных позах.

Лили и мама куда-то едут. Ей часто снится, что она сошла на какой-то станции, а поезд тем временем тронулся, а в вагоне осталось что-то очень важное и ценное. Так было и в тот раз, только наоборот: мама сошла, а поезд тронулся, и Лили осталась в вагоне без мамы, с какими-то незнакомыми дядями и тетями. Лили плачет, зовет маму, но поезд катится, его нельзя остановить ни криком ни плачем. Какая-то толстая тетя сует ей для успокоения кулек с конфетами. Лили ест конфеты, они соленые от слез. Пассажиры совещаются, они говорят на языке, которого Лили не понимает, но она догадывается, что говорят о ней. И Лили, несмотря на свое горе, переполняется гордостью, что находится в центре внимания. Но вот поезд снова останавливается, и появляется, как ни в чем не бывало, мама! Она что-то объясняет пассажирам, но дяди и тети выглядят обиженными, и та тетя, которая дала Лили кулек, в сердцах отбирает у нее недоеденные конфеты.

Лили не понимает, почему все так быстро меняется, откуда появляются люди, входящие в ее жизнь на правах родственников: тут и папа, пахнувший остатками еды, и дядя Кароль, который выглядит так, что его можно принять за явление из другого мира, и дядя Анри, пахнувший превосходно. Другое дело мама: мама всегда была и всегда останется.

Лили и мама живут в гостинице, комнаты похожи одна на другую и напоминают коробки с куклами, а двери комнат вы-

ходят в длинный-предлинный коридор, излюбленное место игр Лили. Она бегает по коридору, вдруг одна из дверей открывается, из нее высовывается рука, хватает Лили и больно ее шлепает...

Утро или вечер, на окнах опущены шторы, откуда-то доносятся звуки музыки. Лили слушает музыку, она поднимается с постели и двигается в такт музыки. Это так понятно, словно звуки ее несут и несут, покачивая... Открывается дверь, в комнате сразу становится светло и шумно, красиво одетые тети обступают Лили, поднимают на руки, целуют. Она слышит восторженные возгласы: «Какая прелесть! Что за ангелочек!» – и ей становится радостно, она смеется и перебирает ножками, ей хотелось бы еще и еще танцевать.

Потом случилось нечто такое странное и страшное, что Лили долго не могла опомниться. Мама навсегда исчезла из ее жизни! Зато появился человек, которого Лили должна была называть папой. Все были очень добры и угощали Лили пирожными и конфетами, но мамы нигде не было, а Лили очень хотелось, чтобы с ней была мама, и она расплакалась. Появился дядя Анри, и Лили очутилась в большом доме, где было много девочек, таких как она и постарше. Дом стоял на холме и был окружен парком. Из окон было видно озеро, а по ту сторону озера возвышалась гряда сумрачных гор, на которые никогда не падал луч света. Пониже парка и поближе к озеру блестели сквозь стволы деревьев стекла парников и стоял домик, обвитый плющом. Там жил, как существо из сказки, садовник с двумя сыновьями-близнецами.

По утрам являлась мадмуазель Ивона и выводила девочек на утреннюю гимнастику. После завтрака следовал урок пения и танца, а затем директриса учила чтению и письму, а меесь Бараба обучал счету и рассказывал сказки.

Девочки школы Далькроза обучались музыке и танцу, но учились также по программе народной школы. Однако представление даже старших из них о мире и жизни вне школы оставалось до смешного наивным. Книги выдавались из школьной библиотеки по списку, утвержденному директрисой. Это были нравоучительные рассказы или репродукции классических скульптур. Боги, которых они изображали, были куда реальнее героев повестей. Они изучались с пристальным вниманием, ибо человеческое тело было не только предметом познания, но и со-

кровищницей великих тайн и желаний. Немудрено, что по мере усиливающейся с каждым годом чувственности воспитанницы влюблялись в Меркурия, Аполлона и Геркулеса, а выпускницы в мыслях сожительствовали с античными богами.

2

Чем бы ни было влечение — неосознанным желанием или простым любопытством, — оно привело Лили к домику, увитому плющом. Она спряталась в оранжерее. По выложенным красным кирпичом ступеням спустился в оранжерею парень, он открыл кран, наполнил лейку водой и стал поливать цветы. На нем были одни трусы, медный загар был разлит по его груди и животу, похожему на шейку рака. «Он похож на Меркурия, — думала Лили. — Я в него влюблюсь. Вот я уже в него влюблена!»

Поливая цветы, парень приближался. Что он сделает, если ее увидит?

Он ее увидел и спросил:

— Ты... что?

— Я... ничего, — ответила Лили.

Парень провел языком по губам и вдруг грубо крикнул:

— Пошла отсюда!

— Не хочу!

Ухватившись за доски полки и упершись спиной в ящик с орхидеями, Лили приготовилась к обороне. Парень схватил ее за плечи и рванул к себе. Она споткнулась о лейку и упала.

— Ах, вот ты как! — прошипел он сквозь зубы, словно ее сопротивление давало ему право на расправу, и стал ее бить. Словно ввинченная, в голове Лили застряла мысль: чем это кончится? Не прикрываясь, она вызывающе смотрела на парня. У нее появилось желание уступить. Ей было больно, она отвернулась и стала ждать. В борьбе парень порвал на ней платье. Но вдруг он обмяк и отпустил ее. Лили привстала на корточки, рукой стряхнула с себя песок. Чувство превосходства придало ее словам спокойствие:

— Ну, и дурак!

Она стала осматривать свое порванное платье. Потом, придя к выводу, что оно пришло в полную негодность, сняла его с себя и порвала на кусочки.

— Иди, достань мне другое платье!

Парень смутился. Ему показалось, что она над ним издевается.

— Чего стоишь? Иди! — повторила она.

Парень сплюнул, пытаясь этим выражением презрения придать себе вид победителя.

— Счастливо оставаться.

Он поднял лейку и направился к выходу.

— Бродяга! — крикнула ему вслед Лили, не зная более разящего ругательства.

Оставшись одна, она засунула лоскуты порванного платья за ящик с орхидеями. Сделав это, она задумалась. Ей стало жаль платья.

По ступенькам спускался вниз парень.

— Вернулся? — спросила она насмешливо. Она была готова с ним помириться. Но каково было ее удивление, когда парень набросился на нее с кулаками.

— Я тебе покажу, шлюха! — кричал он, брызгая слюной. — Я тебе покажу, как шляться по оранжереям и подкарауливать Клода. Я вам обоим покажу!

Избиение прекратил отец близнецов. Лили со слезами благодарности дотронулась до его холщовых штанов.

— Спасибо, а то этот изверг мог меня убить!

— Но-о-о... Здесь не раздевалка, мамзель, — заметил добродушно садовник.

— Извините! Я порвала платье и спряталась здесь, чтобы меня никто не видел, — лгала Лили. — Можете сами убедиться, вот оно! — И она вытащила лоскуты из-за ящика с орхидеями.

— Где вы его порвали? — допытывался садовник

— Зацепилась за колючую проволоку, когда перелезала через забор. Простите, знаю, что это нехорошо, но мне так хотелось нарвать цветов, они так красивы... Да вот что получилось!

— Ничего она через забор не перелезала, а зашла через калитку, я сам видел, и поджидала тут Клода. Она уже давно с ним... это самое...

Этот поклеп глубоко возмутил Лили. Чего не было, когда ее били, случилось теперь: слезы подступили к ее глазам. Она крикнула: «Врешь!» — и в этом выкрике было столько искренности, что садовник ей поверил. Он перевел взгляд на сына.

– Нечего пялить глаза на голых девиц! – прикрикнул он. – И нечего врать на Клода! Дома я тебе покажу, как бить девчонок! Марш отсюда!

Все же, уходя, он повесил замок на двери оранжереи.

Он вернулся с директрисой. Она надавала Лили пощечин и швырнула ей платье.

– Одевайся, бесстыдница!

Так кончились для Лили поиски божественного на земле.

Конец этой истории был сыгран под сурдинку. Приехал опекун Лили, месье Анри Абрабанель, и увез ее в Женеву, где отдал в пансион и хореографическую школу Маргариты Шома.

3

Очутившись в Париже, Лили долго не могла придти в себя. У нее все чаще появлялась какая-то странная брезгливость. Сидя со своим опекуном за обедом, она вдруг отстраняла тарелку. Ей было противно есть то, к чему кухарка прикасалась «голыми руками».

Заметив, что с ней творится что-то неладное, опекун решил ее развлечь. Почти каждый вечер он водил ее в театр или на концерты. Однажды в опере во время спектакля к ним подошел сухощавый господин с глазами навывкате и покатыми плечами. Отвесив опекуну церемониальный поклон, он повернулся к Лили и заговорил с ней с легким иностранным акцентом. Он сказал, что видел ее в Женеве и был восхищен темпераментом, с которым она обуздывала строптивый характер музыки. Это несколько витиеватое выражение показалось Лили значительным и полным глубокого смысла. Хотя вскоре она поняла, что господин с покатыми плечами в искусстве ничего не смыслит, ей было приятно с ним говорить. Он был вежлив, внешне словно обтекаем и, видимо, действительно восхищался ею.

Они отошли в сторону, и ее новый знакомый, указывая глазами на опекуна Лили, произнес:

– Какой у вас изысканный отец! Не надо быть физиономистом, чтобы увидеть, что он аристократ чистойшей крови.

– Это мой опекун. Я думала – вы с ним знакомы.

Господин неопределенно улыбнулся и, подведя Лили к двери ее ложи, поцеловал ей руку.

Лили вспыхнула. Первый раз в жизни мужчина целовал ей руку! Заметив ее смущение, господин обратился к опекуну:

— Вы сделаете мне честь, поужинав вместе со мной. Надеюсь, что и мадмуазель не откажет в любезности... — Его глаза смотрели на Абрабанеля вызывающе и нагло.

Усевшись в кресло, опекун объяснил Лили свое согласие заботой о ее светском воспитании.

Во время ужина господин назвал себя бароном фон Вевисом. Он сообщил также, что работает врачом в одном из посольств.

— Наполовину дипломат, наполовину эскулап, — шутливо заметил он. — Впрочем, дипломатам не мешало бы быть немного врачами, чтобы лечить язвы в международной жизни, а эскулапам быть дипломатами, чтобы удерживать подольше своих красивых пациенток. — Этот каламбур он высказал, иронически прищурился, тем временем его рука под столом искала колено Лили и, найдя его, зажала в своих костлявых пальцах, а глаза его снова стали наглыми и вызывающими.

За ужин, несмотря на протесты барона, заплатил мосье Анри, за что Лили, слегка прикоснувшись губами к гладко бритой щеке, поблагодарила своего опекуна.

Барон стал частым гостем в особняке на бульваре Карго. Он никогда не являлся без цветов или конфет. Лили чувствовала себя с ним приподнято, как в роли, которая ей шла, но оставалась не совсем понятной.

Однажды, застав ее дома одну, он предложил Лили поехать с ним в Версаль. Лили согласилась. Они поехали на машине барона, шестиместном «Мерседесе» последнего выпуска. Лили теперь уже знала, что барон немец. Ее несколько удивило, что опекун, относящийся к немцам с враждебностью, не только не препятствовал ее встречам с бароном, но даже как будто способствовал все более частым свиданиям.

Прогуливаясь вместе с бароном по аллеям Версальского парка, она заметила, что отлично представляет себе его в роли придворного кавалера.

— А я только что думал о том, что вы похожи на последнюю королеву Франции, любезную, красивую и умную, несмотря на свое легкомыслие.

Лили знала судьбу несчастной супруги Людовика XVI; сделав молча несколько шагов, она повернулась к барону и задумчиво сказала:

- Я бы хотела ею быть.
- А вы знаете, какая судьба ее постигла?
- Знаю.
- И вы не боитесь гильотины?

Лили отрицательно покачала головой.

Они шли молча. Когда дошли до конца парка, барон остановился и, не поворачиваясь к Лили, отставшей на несколько шагов, сказал:

– Лили, вы знаете сказку про девушку, которая полюбила чудовище? Это было настоящее чудовище, грязное, отвратительное. Что заставило девушку полюбить его? Сострадание. Поверьте, всякое чудовище заслуживает, чтобы его жалели. К счастью, – продолжал он уже в другом, игривом тоне, – чудовище в сказке оказалось заколдованным принцем, и любовь девушки сняла с него злые чары. Одним словом, хэппи-энд по всем правилам, как его любят горничные. Но ведь они не знают, что подлинная любовь в том, чтобы отдаться чудовищу, вопреки страху, вопреки отвращению, потерять себя, чтобы обрести себя в страсти.

Он ждал, что она скажет, но так как она молчала, спросил:

- Вы могли бы полюбить уroda?

Лили отрицательно покачала головой.

– Жестокая! Ведь он несчастен, он неспособен... на простую любовь.

- Было бы удивительно, если бы уроды были счастливыми.

Лили повернула обратно. Она шла, все убыстряя шаги. Барон еле поспевал за ней. Он дышал ей в затылок, и ей казалось, что она слышит гнилостный запах его рта, несмотря на то что барон наверняка чистил зубы и полоскал рот освежающими средствами.

- Прошу меня оставить. Я поеду поездом.
- Это я поеду поездом. Мой шофер отвезет вас домой.

4

Хотя у него и был секретарь, Анри Абрабанель не доверял никому личную переписку. Свои письма он печатал на машинке сам.

Запершись у себя в комнате, он вложил в машинку лист бумаги, на котором с левой стороны скромно значилось его имя, адрес и телефон, и стал быстро и ловко ударять пальцами своих холеных рук по клавиатуре.

«Его Высокопревосходительству Каролю графу Чакки Венгрия, Томашвары.

Имея согласие Вашего Высокопревосходительства, я не преминул представить Л. дело так, что вместе с ее совершеннолетием в скором времени мои функции, как ее опекуна, прекратятся, и она сама должна будет заботиться о себе. Некоторая денежная помощь ей будет в первое время оказана, но в основном она должна рассчитывать на собственные силы. Полученное ею образование и талант позволят ей, несомненно, жить безбедно, но в случае необходимости она будет знать, куда обратиться.

Л. встретила это объяснение, как подобает хорошо воспитанной девушке.

Я не имею оснований сомневаться, что она продолжает видеть в С.Б. своего отца, хотя она к этому жалкому субъекту дочерних чувств питать не может и, как я убежден, не питает. Во всяком случае, ей и не снится, что она является дочерью венгерского вельможи, который по естественным и понятным причинам не может признать своего отцовства.

(Абрабанель не удержался, чтобы не бросить камешек в огород этого венгерского графа.)

По поводу 32000, предназначенных, если я правильно понял намерение Вашего Высокопревосходительства, на обеспечение счастливого брака Л., то я полагаю, что их выгоднее поместить в ценных бумагах, чем держать в сейфе банка. Не смея предвосхищать решение Вашего Высокопревосходительства, я могу посоветовать помещение денег в акции Рио-Тинто, которые имеют стойкую тенденцию к повышению.

В этой связи я хотел бы упомянуть о знакомстве моей подопечной с неким бароном фон Вевисом. Знакомство это состоялось не без моего содействия. По наведенным справкам г-н Адальберт фон Вевис человек состоятельный. Он находится на службе посольства Рейха в качестве врача, хотя его функции, возможно, совершенно иные. Сегодня связь с влиятельными нацистами сулит ту выгоду, что помогает переливать вино из продырявленных мехов в неповрежденные. Что касается иных качеств барона, то он, по слухам, человек неустойчивой морали и со странностями. Но это, повторяю, слухи.

Я останавливаю внимание Вашего Высокопревосходительства на данном знакомстве не только из соображений

материального порядка. В разговоре с бароном я дал ему понять, что Л. — девушка без средств. Он иронически улыбнулся. Эту улыбку можно истолковать как угодно, но при моей профессиональной подозрительности у меня мелькнула мысль, что определенные круги обратили внимание на транзакции, в которые Ваше Высокопревосходительство сделали вклад во время пребывания в Париже в прошлом году. А интерес, проявленный Вашим Высокопревосходительством к моей подопечной, оставаясь незамеченным последней, мог быть истолкован этими кругами в нежелательном смысле. Но подозрение не является доказательством, и я лишь посмел обратить внимание Вашего Высокопревосходительства на эти обстоятельства, руководствуясь предосторожностью.

Остаюсь покорным слугой Вашего Высокопревосходительства, прошу передать матери Вашего Высокопревосходительства, графине фон Шиор мой нижайший поклон.

Анри Абрабанель».

Это письмо и следующая выдержка из донесения Германского посольства в Париже проливают некоторый свет на подспудные силы, действующие в этой истории.

«Кароль Иштван граф Чакки. Род. в 1895 г. Восп. кадетского корпуса. Участвовал в 1-й мировой войне лейтенантом 4-го Гонвед. гусарского полка. При красных эмигрировал в Париж. Вернулся в Будапешт в 1921 г. С 1924 г. на дипломатической службе: атташе в Копенгагене, советник в Берне (1935 — 1936), 1937 г. — специальная миссия в Париже. Связан со многими политическими деятелями правого толка, также с еврейскими финансовыми кругами, держит деньги в банке Ротшильда. Доверенное лицо адмирала Хорти.

Характеристика. Любитель картежной игры, музыки, женщин. Интеллигентный, остроумный, внешне беспечный, «широкая натура». На деле — предусмотрительный, расчетливый, придерживается традиций, религии не из убеждений, а потому, что так удобнее.

Грешки: в молодые годы отец Кароля Иштвана два раза оплачивал крупные проигрыши своего сына в карты. В 1916 г. в бытность последнего в Лемберге тот связался с проституткой Марией Бессараб, которая родила дочь, нареченную при крещении в униатской церкви Св. Магдалины в Будапеште именем

Лилян, Узнав об этой связи, старый граф потребовал, чтобы сын порвал всякие отношения с М. Б. Было найдено подставное лицо — некий еврей Самуил Брон из Лемберга, который согласился жениться на М. Б. Это обошлось старому графу в круглую сумму — 160000 крон. Девочка воспитывалась в Швейцарии в полном неведении, чья она дочь. Она стала танцовщицей, выступала с успехом в Женеве в 1936 г. В настоящее время живет у своего опекуна, еврейского финансиста Генриха Абрабанеля в Париже (бульвар Араго, дом № 15). По непроверенным данным сумма, уплаченная отцом Кароля Иштвана чтобы замять дело, была присвоена евреем Генрихом Абрабанелем.

Миссия графа Чакки в 1937 г. в Париже состояла в том, чтобы окольными путями спасти капиталы состоятельных венгерских евреев, опасавшихся распространения расовых законов на Венгрию. Речь идет о 880 000 фунтах стерлингов. Эта сумма была внесена в банк Ротшильда в Париже и с помощью названного Г. Абрабанеля обращена в ценные бумаги. За эту транзакцию венгерскими евреями было уплачено голландской валютой один миллион крон правительству адмирала Хорти. Обязательства и квитанции на выплату денег хранятся у доверенного лица Кароля Иштвана графа Чакки, того же Г. Абрабанеля и могут быть использованы в политических целях врагами Фюрера и Рейха.

Адальберт фон Вевис».

5

Это было в дни Мюнхенского сговора. Правящие круги Франции катились по инерции по пути предательства: выдав связанную «невмешательством» Испанскую Республику на расправу палачам, эти круги искали теперь сближения с самими палачами. Они послали в Мюнхен Даладье, чтобы он умилистил Фюрера, выдав ему союзницу Франции Чехословакию.

По возвращении Даладье был встречен овациями. Растроганный, он сам поверил в свою роль миротворца.

Анри Абрабанель, который никогда раньше не делился с Лилии соображениями по поводу политических событий, на этот раз отступил от своих правил.

— Appetit приходит во время еды. Проглотив Чехословакию, боши устремятся на Восток, а там подавятся Россией. Нам будет легче с ними справиться.

– Вы говорите так, как будто их ненавидите.

– Ты недалеко от истины, моя дорогая.

– А как же барон?

Он выглянул в окно, услышав сирену подъехавшей к особняку машины.

– Смотри-ка! – произнес он. – Легко на помине.

Но он ошибся. Шофер передал букет цветов и визитную карточку, на которой готическими буквами было выведено: «Желаю всем сердцем, чтобы были устранены мешающие сближению недоразумения, как это было сделано в Мюнхене».

Повинуясь здорovому инстинкту, Лили противилась примирению с бароном. Однажды в поезде метро она почувствовала на себе взгляд молодого человека, который показался ей симпатичным, и завязала с ним знакомство.

Недавно окончивший медицинский институт Марк Гинзбург стажировался в городской больнице. Он рассказывал Лили о женщинах, отравленных газом, об утопленницах, извлекаемых из Сены баграми, о жутких преступлениях, совершаемых ради денег, и о беспросветной нужде, в которой тонули целые слои населения блестящей столицы Франции.

Это не были разговоры, способные завоевать сердце девушки. Но Лили была благодарна ему. Он открыл ей глаза на подноготную успехов, даже триумфов тех, к кругу которых она себя причисляла. Стажер говорил с ней, как товарищ с товарищем. Тем приятнее было сознавать, что за его внешне бесстрастным повествованием скрывалась влюбленность. Она перехватывала полные обожания взгляды молодого врача.

По вечерам она в своей комнате заводила патефон и пыталась танцевать так, как ей хотелось. Она танцевала не каких-нибудь сказочных эльфов или богинь, а женщин, людей, о которых ей рассказывал Марк. Может быть, ее движения были не столь изящными, как того требовала Маргарита Шома, но они отвечали представлениям Лили о «женщинах и девушках из народа». И ей казалось, что она вносит жизнь в ландшафт, который раньше казался ей мертвым. И в этом было какое-то упоительное чувство.

Опекун Лили с любезностью светского человека сказал, что ему и его друзьям было бы приятно увидеть Лили в танце, не следует закапывать талант. Ее гонорар никому не нужен, и она

может после отчисления 30% своей учительнице свободно им располагать. Он надеется, что она не поймет его превратно, если он попытается организовать ее выступление.

— О, наоборот! — ответила Лили. Она созналась, что сама тяготится бездельем, что тайком продолжает заниматься.

Начались горячие будни репетиций, примерок, согласования программы. По городу расклеивали афиши, на которых Лили с гордостью читала свое имя.

Ее первое публичное выступление имело успех. Лили танцевала Берлиоза и Брамса, Римского-Корсакова и Листа, выступала на бис, импровизировала, сама забавляясь своей импровизацией. Раскланиваясь перед публикой, она заметила в верхней ложе молодого парня-осветителя, который ей неистово аплодировал. Она ответила ему улыбкой и кивком головы. Парень сорвал с головы берет и подкинул его.

Когда она спускалась вниз по лестнице, она увидела его вновь. Он стоял в застекленной будке швейцара и сдавал ему ключи. Увидев ее, парень заторопился. Лили сделала вид, что и у нее есть дело к швейцару. Она вошла в будку и тут же нашла руку молодого электрика. Они вышли на улицу вместе. К счастью, опекун где-то застрял. Лавируя между машинами, среди которых находился черный лимузин барона, они вскочили в проходящий автобус.

— Куда мы едем? — спросила Лили.

— Куда-нибудь...

Издали Лили увидела освещенную красным светом вывеску.

— Здесь? — указывая подбородком, спросила она.

— Пусть будет здесь, — ответил он.

Негр в парадной ливрее закрутил перед ними входную дверь. В таверне было шумно. Танцевали пары. Ватные плечи мужчин качались, как баржи на море. Разноцветные девушки опускали соломинки в коктейли. Электрик протиснулся между столиками на танцплощадку, не выпуская руку Лили. Он взял ее за талию и повел осторожно, словно боясь уронить.

— Я не ваза с цветами, чтобы нести меня на вытянутых руках.

Оба расхохотались, Он притянул ее к себе, и она отдалась движению танца. Она как будто плыла и чувствовала, что ее

уносит течением. С незапамятных времен оно уносило миллиарды таких же, как она.

Она почувствовала напряжение его мускулов и стала гладить его по затылку.

— Вам хорошо? — спросил он.

— А тебе?

— Очень!

— Мне тоже — очень...

Когда они вышли из таверны, он спросил:

— Хочешь?

— Хочу! — ответила она.

Он снимал комнату на четвертом этаже. Это была обыкновенная меблированная комната в одно окно, с кушеткой, шаткой этажеркой, столом, шкафом и умывальником. Кровать стояла в алькове и была спрятана за ширмой. Здесь разыгрывалось то, что принято называть любовью. Театрализация полового акта вменялась в обязанность женщинам. Может быть, по этой причине Лили решила вдруг изображать уличную девку.

На этажерке лежали книги и журналы, к стене были прибиты три портрета.

— Это Виктор Гюго, — сказала она, указывая на один из них. — Я видела в кино его «Парижскую Богоматерь», а до этого читала роман «Отверженные». Интересно. А этот, с большой бородой, Карл Маркс. Он подбивал рабочих к бунту. И тот, лысый, с прищуренными глазами и маленькой бородкой тоже. Ему даже удалось сделать в России революцию. Как хочешь, но красивым его не назовешь, — она откинулась на спинку кушетки. — Дай закурить!

Он дал ей сигарету, сел возле нее и попытался ее обнять, но она отстранилась.

— Ты где училась? — спросил он лишь для того, чтобы скрыть чувство неловкости.

— В Женеве.

— В Женеве? А ты знаешь, что там был Ленин.

— Ну и что?

— Ничего.

Лили старательно потушила свою недокуренную сигарету. В конце концов, это скучно.

— Книги читаешь, знаешь, где Ленин был, а как обходиться с девушкой — не научился!

Он покраснел. Его подмывало сказать ей грубость. Нет, не такой казалась она ему на сцене.

— Мне кажется, мы пришли сюда не для того, чтобы ссориться.

— Я не знаю, зачем ты меня сюда привел.

Он встал, прошелся по комнате и остановился возле ширмы.

— Если хочешь, можно лечь в постель.

— Нет... подай мне пальто.

«Может быть, оно и к лучшему», — подумал он и снял пальто. Лили с вешалки.

— Глупо! — сказал он.

— Действительно, Зачем было огород городить?

Ему все же было жаль ее отпускать.

— Может быть, останешься? Я тебя не обижу.

Вопрос и обещание показались ей обиднее всякой грубости.

— Ну, знаешь...

— Что — знаю?

— Что ты дурак. Просто дурак, и никто больше.

— А ты — дрянь!

Она размахнулась и ударила его. Рука у нее оказалась тяжелой. Четыре пальца отпечатались на его щеке. Он постоял немного, потрогал щеку (почему-то не ту, по которой она его ударила), повернулся и подошел к окну. Лили выскочила.

Внизу она вспомнила, что забыла спросить его имя. В сущности — зачем ей нужно знать его имя? Но все же она поднялась снова на четвертый этаж и чиркнула спичкой.

«Пьер Шарпантье»... хорошо.

В замочной скважине не видно было света. Он сразу же лег после ее ухода. «Пентюх!»

Чего же она ждет? Почему не отходит от двери? Как бы крикнуть ему что-то такое, что разбудило бы его, вывело из равновесия.

Но чего же она от него хочет? В том-то и дело, что она чего-то хочет, но не может об этом сказать. Никому! Никогда!

Вдруг сзади ее схватили, сжали, ей стало больно, она хотела крикнуть, но не могла.

Дверь открылась от удара ноги.

А потом было то, что много раз происходило в жизни. В чьей? Может быть в ее жизни? Может быть... как знать? Ничего не думать, просто не сопротивляться, чтобы затем слиться, превратиться в свое то, что раньше было вне ее, перестать быть той Лили, которая до сих пор существовала отдельно... раньше существовала... а теперь будет жить!

Она вскрикнула.

– Милый! Знал, что я вернусь?

– Я спустился за тобой.

Утром, когда она расчесывала свои длинные волосы, а он любовался ее гладкими мускулистыми ногами, она, продолжая глядеть в зеркало, спросила:

– Почему ты был такой?

Он ответил вопросом:

– А ты почему?

– Потому что... не знаю... вероятно, потому, что до этого никогда нельзя быть собой.

– А потом?

– Не знаю... И еще, вероятно, оттого, что я хотела быть совсем простой, чтобы тебе было легче...

– Простой, это не значит быть распушенной.

– Знаешь... только не начинай снова мне читать мораль...

Лучше побей... А я скажу тебе: это побил меня любимый. И поделом мне.

Она бросилась на кровать и принялась целовать его.

– Я тебя больно ударила? Если хочешь... – она прикрыла глаза. – Мне все твое приятно.

Он почувствовал, что глуп. Ему нечего было сказать, он стал молча ее гнуть и ломать. Она сопротивлялась, сбила его ногами с кровати. Вдруг он стал хохотать.

– Что с тобой?

Все еще хохоча, он рассказал, что, задавшись целью познакомиться с нацизмом, он прочитал кое-кого из нацистских писателей. Как-то ему попала книга, автор которой всерьез утверждал, что древние германки отличались длинными и сильными ногами для того, чтобы убегать, а в случае нужды обороняться ими от похотливых, но нечистой крови самцов...

Выслушав его, Лили почему-то обиделась.

– Ты думаешь о книгах... А чтобы самому написать, как Виктор Гюго, так нет!

– Это не так легко, как ты думаешь, посложнее твоего танца.

– Когда ты со мной, тебе ничто не должно казаться трудным. Если бы ты знал, какой я могу быть...

– Я уже почувствовал.

– Ты должен знать, я всегда за тебя заступлюсь.

– Я тоже... Конечно, – и через паузу: – Когда мы увидимся?

– Завтра... или хочешь, сегодня? У киоска, возле подъезда «Одеона».

– Во сколько?

– В пять. Только не опаздывай!

6

Деликатность месье Анри не знала границ! Когда Лили явилась к завтраку, он лишь отложил газету:

– Хорошо провела время?

– Отлично.

Она подошла к нему и положила руку на спинку его кресла.

– Ты хотела что-то сказать?

– Нет... просто так...

– С бароном не виделась?

– А что?

– Так.

– Я не хочу с ним встречаться.

– Что-нибудь произошло?

– Нет, ничего. Просто он мне противен.

– Нельзя так бросаться кавалерами. Человек с положением, богатый.

– Немец!

– Не говори так. Это нацизм наизнанку. Умная девушка сумела бы извлечь пользу из такого знакомства.

– Видно, я не принадлежу к числу умных девушек.

Он посмотрел на нее внимательно, но ничего не сказал.

7

Лили пришла на свидание за несколько минут до условленного времени. Она спешила, ей было жарко. Она сняла шляпу

и, стоя у кромки тротуара, размахивала ею, как составитель поездов фонарем.

Вдруг кто-то сзади схватил ее за локоть.

– Пьер?!

– Почему вы от меня сбежали? Разве так поступают друзья?

Это был барон. Не давая ей времени опомниться, он продолжал:

– Мы люди одного склада, мы не должны друг друга избегать, иначе наш удел – одиночество. Я сентиментален? Возможно. Но давайте говорить откровенно... Хотя я всегда с вами откровенен. Зачем вам нужен этот мастеровой? Ведь он не может дать вам то, что вам нужно. Через неделю, самое большее через две, вам станет с ним скучно. Я понимаю, вы не собираетесь выходить за него замуж. Но вам следует смотреть вперед. Прекрасный, драгоценный камень нуждается в оправе. И в шлифовке. Природа безыскусна. Вы скажете – это банальность. Но... со временем все истины превращаются в банальности. От частого прикосновения стираются грани. Недаром округлые вершины свидетельствуют о более древнем горообразовании. Культура – то же самое, что шлифовка камня.

Лили взглянула на уличные часы. Пьера нет! Как он смеет опаздывать...

– Зачем вы все это мне говорите?

– Я много думаю о вас. Кстати, я изменил свое мнение о вас.

– А именно?

– Никакой укротительницы нет. Есть простая девчонка.

«Я тебе покажу простую девчонку!» – подумала Лили, а громко сказала:

– Я жду ваших откровений...

– Но эта простушка не знает, что творит, какие раны наносит.

«Погоди же!»

Но когда он открыл дверцы лимузина, на радиаторе которого Лили впервые увидела флажок со свастикой, она испугалась.

– Вы меня боитесь? Чем я заслужил такое недоверие? Кажется, я не давал вам повода сомневаться...

Будь что будет!

Странно: опустившись на подушки сидения, она вздохнула с облегчением.

Машина тронулась. Лили показалось, что она покидает знакомые места и устремляется в неизвестность.

Вздروгнув, машина остановилась посередине бульвара. К ней подошел ажан. Своим белым жезлом он указал в сторону.

— Здесь запрещено останавливаться.

Слава Богу, есть полиция на свете!

Шофер повернул голову, отодвинул стекло, отделяющее кабину водителя от купе для пассажиров, и спросил:

— Куда прикажете?

— Я буду счастлив, если вы соблаговолите посетить мое скромное жилище, — как всегда с преувеличенной учтивостью, предложил барон.

«Интересно посмотреть, как живет этот зашлифованный господин. Это будет хорошей мезью Пьеру за его неточность!» Лили кивнула головой.

Машина остановилась у ограды небольшого особняка.

— Это не Бехтесгаден¹, да у меня и стиль другой. Недолюблю этих голоколенных бодрячков, хотя они мои соотечественники, — барон открыл дверцы лимузина и, выйдя сам, подал руку Лили. Но та ее не взяла, сама выпрыгнула из машины и пошла упругим размеренным шагом к входной двери.

Он повел ее по особняку. Комнаты напоминали залы музея. На стенах висели танцевальные маски, тотем, копыя, лук и стрелы. На полу были расстелены циновки. В застекленных шкафах корчили рожи идола.

Барон остановился у двухстворчатых дверей. Двери были украшены резьбой, изображающей нимф и фавнов.

— Знаете, я люблю французские сказки, — сказал барон с улыбкой. — Сказку о «Синей бороде» вы, конечно, помните. Синяя борода, дав своей молодой жене ключи от всех комнат, запретил ей под страхом смерти пользоваться одним. Представьте себе, я — «Синяя борода», хотя сегодня утром брился. Вход в эту комнату запрещен!

— Все же у жены Синей бороды любопытство взяло верх, и она открыла комнату.

¹ Бехтесгаден — резиденция Гитлера в горах Баварии.

– За что чуть не поплатилась жизнью, и если бы не ее братья...

– У меня братьев нет, так что можете быть спокойны.

– Воля ваша, – сказал барон и распахнул двери.

Это была спальня. Посередине стояла огромная тахта, покрытая одеялом из шкурок муравьеда. Два торшера черного дерева по сторонам. Но что сразу же бросилось Лили в глаза – это висящий над тахтой кнут из кожи бегемота.

Барон перехватил взгляд Лили.

– Когда я был ребенком, я часто видел, как этот кнут гулял по спинам невольников. Среди них были и женщины.

– Хорошее же вы получили воспитание!

– Не хуже, чем в других колониальных семьях. Мой отец принадлежал к породе конкистадоров.

– То есть?

– Хищников.

– А ваша мать?

– По воспитанию и складу ума она была рабыней. В мире существуют или хищники, или жертвы.

Лили посмотрела на барона с брезгливостью. Он показался ей гномом из сказки.

– Сладостно ощущать власть над людьми, особенно когда эта власть насильно отнята у природы.

Лили молчала. На нее нашло какое-то оцепенение. Она голос барона слышала как будто издалека.

– Сама судьба подталкивает жертву к жертвенному камню.

Лили отряхнулась. Все это чепуха! Ее любопытство было удовлетворено. Она повернула к двери.

Он преградил ей дорогу.

– Я закричу.

– Никто вас не услышит.

Она пыталась проскользнуть мимо. Он ее схватил и повалил на тахту. Лили отпихнула его ногами. Древняя германка, ха-ха! Но она не успела использовать свою победу: барон выскользнул из спальни. Лили бросилась к двери, она оказалась запертой снаружи.

Спальня находилась на втором этаже, окно выходило в сад. Снизу была прикреплена решетка, оканчивающаяся пиками. Неужели этот особняк специально оборудован, чтобы служить

западной? И неужели такое возможно в двадцатом веке в столице Франции?

Несомненно, барон психопат. Но как могло случиться, что такой человек возвращается в обществе, а не заперт в психиатрической больнице, имеет возможность беспрепятственно следовать своим извращенным инстинктам, не разоблачен и не обезврежен?!

Она вспомнила своего опекуна, и ее мысли вернулись к действительности. Если она будет долго отсутствовать, опекун обратится к полиции, и ее, несомненно, найдут. Ведь машина барона была остановлена на перекрестке, и ажан ее видел.

Заточение Лили длилось три дня.

8

Пьер пришел на свидание вовремя, но, увидев Лили с бароном, спрятался в театральном подъезде и стал следить за ними. Что если она и этот нацист, который так и просится на карандаш карикатуриста, связаны общими делами? Что если она служит гитлеровцам? Он вспомнил ее пошлые замашки и как она говорила о великих людях, перед которыми он преклоняется.

В его голове уже готова была возникнуть картина подлой интриги, предательства, измены. Весь день он мучился сомнениями.

На следующее утро он захватил инструменты и поспешил на бульвар Араго, благо Лили оставила ему свой адрес. Он так торопился, что, нажимая кнопку у калитки, еле перевел дух.

– Ваша барышня велела сменить проводку.

– Ничего не знаю! – слуга собирался захлопнуть калитку, но

Пьер успел подставить ногу.

– Позовите мадмуазель, она скажет.

– Ее нет дома.

– Но как же так? Она меня позвала... Кто мне уплатит за потерянное время?

Слуга что-то соображал.

– Когда мадмуазель велела вам придти?

– Вчера. Около пяти. Потом она уехала с каким-то немцем.

Я видел немецкий флажок на машине.

Слуга отступил.

Перед Анри Абрабанелем Пьер повторил свой припев. Хозяин особняка выслушал его с непроницаемым лицом.

— Сколько вам обещали за работу?

— О, месье, я ведь ничего не сделал.

— Вы потеряли время. — Он сунул ему в руку 30 франков.

У Пьера был довольно глупый вид, когда он очутился за оградой особняка, сжимая в руке тридцатифранковый банкнот.

Как же быть?

Пьер вспомнил про Сержа Бавара. Серж был хорошим малым, готовым помочь дружку.

Пьер нашел Сержа в кафе. Он сидел с каким-то толстым и небрежно одетым типом.

— Садись. Знакомься. Что будешь пить?

Пьер заказал светлого и поведал свою историю. В его изложении Лили была просто танцовщицей Брон, которая недавно выступала в театре, где он работал осветителем.

— Понимаешь, здесь может быть что угодно. Не первый раз немцы пользуются танцовщицами для шпионских целей. Но мне кажется, что она нехотя села в машину немца. Возможно, он увез ее насильно...

— Танцовщица? — переспросил толстяк и, когда Пьер подтвердил, свистнул сквозь зубы. — Это находка для моей газетенки.

Он встал, бросил на стол монету и ушел. Серж проводил его взглядом.

— Полицейский репортер «Либертэ».

На следующий день «Либертэ» вышла с шапкой на всю первую полосу:

«Похищение танцовщицы среди бела дня в Париже! Следы ведут в посольство Рейха!»

Вся бульварная пресса подхватила это сообщение. Полиция заволновалась. Лили под обстрелом фоторепортеров была выведена из особняка, который скорые на эпитеты парижане назвали «негритянским особняком», а его владельца «Колониальной химерой».

Лили стала знаменитостью. Особняк на бульваре «Араго» осаждали репортеры. Вместе с ними в особняк проник молодой субъект в помятой одежде и в сорочке далеко не первой свежести.

– Лиленок, доченька! – заговорил он и прослезился. – Как живешь? Папеньку, небось, забыла? А он тебя – нет, не забыл, никогда не забудет! Потому что ты его дитя, с которым злая судьба его разлучила.

После этого вступления он подверг комнату беглому осмотру

– Шикарно живешь! Только почему в штанах ходишь? Разве это прилично? Прочитал я в газете твою историю и посмеялся. Здорово ты этого немца обставила! Сколько взяла?

У Лили в горле застрял комок.

– Вам нужны деньги, папа?

– Ты хорошая дочка, я это знаю. Видишь ли... что значит деньги? У меня как раз подвернулось выгодное дельце. Для начала хватило бы пятнадцати тысяч... Я, конечно, этих денег у тебя не прошу так, за здорово живешь, Боже упаси! Просто предлагаю тебе выгодное вложение капитала из десяти, а может быть, из двадцати процентов. Я не выдумываю, я говорю то, что есть.

– У меня таких денег нет, папа. Но я постараюсь их достать.

– А сколько-нибудь у тебя есть? Знаешь, я прихворнул немного, надо подлечиться.

Лили вынула из ящика секретера пачку денег – ее долю за выступление – и принялась их пересчитывать. В пачке оказалось немногим более двух тысяч франков.

Брон, не глядя, засунул всю пачку в карман.

– А когда можно будет придти за деньгами?

– Только сюда не приходи. Давай где-нибудь встретимся, хорошо?

– Эх, дочка. Сдается мне, ты своего папеньки стыдишься. Я понимаю, конечно, в таком виде... У меня, видишь ли, несчастье случилось, дочиста обобрали. Мне, конечно, надо было взять номер в гостинице, которая гарантирует сохранность вещей. А я поддался уговорам и поселился у знакомых. Там орудовала целая шайка. Я не выдумываю, я говорю то, что было... Зачем только существует полиция, ты мне скажи!

По поводу этого визита у Лили было неприятное объяснение с опекуном. В первый раз он наотрез отказал ей в деньгах.

– Ни одного су этому дармоеду!

– Но ведь он мой отец!

– Нет, он не твой отец. Он просто пристал к твоей матери, как теперь пристаёт к тебе.

– Кто же был моим отцом?

– Только не он, Это все, что я могу тебе сказать.

Как бы то ни было, она носила его фамилию!

Лили связалась с посреднической конторой. Да, безусловно, про нее слыхали. Если она пожелает, можно взвесить вопрос о ее выступлении в сборной программе. Сколько это может дать? Тысячи две, три в месяц при ежедневном выступлении. Мы берем двадцать процентов комиссионных, мадмуазель...

Лили подсчитала, что ей потребовалось бы полгода, чтобы собрать нужную сумму. Несчастный «папа»!

Но Брон больше не явился.

Во время этих хлопот она совсем забыла про Пьера. Она была удивлена, когда однажды, придя домой, нашла на столе письмо. Он сообщал, что уходит в армию.

Взбудораженная этим известием, Лили отправилась на квартиру Пьера.

– Чего вы хотите, мадмуазель? Возраст такой! Мой племянник тоже ушел... – пыталась ее утешить хозяйка меблированных комнат. – У меня есть адрес. Бедному мальчику будет приятно получить весточку от своей милой.

«Неужели у меня на лице написано, что я его возлюбленная?» – подумала с суеверным страхом Лили. Она тут же на конторке написала Пьеру.

Ответ она получила, когда уже началась война.

9

Мировые события до сих пор не касались Лили. То, что называлось историей, было цепью происшествий, которые касались узкого круга лиц, вошедших в учебники. Лили никак не могла себя представить в роли кого-нибудь из них.

А тут война, и Пьер на войне...

«Как ты живешь, мой милый?» – начала она свое письмо, но потом следовал рассказ о вещах, никакого отношения к его пребыванию на фронте не имеющих. Какие фильмы идут в Париже, какие спектакли она видела...

В ответ Пьер писал, что ее письмо его очень обрадовало, что ему хотелось бы прогуляться с ней по Парижу, тем более что

«скучища здесь отчаянная». Он рад, что имел возможность содействовать ее освобождению из баронского особняка, только надеется, что ему не придется это делать вторично.

Письмо Пьера возмутила Лили. Из каждой его строчки веяло холодком. Для него ничего не значит, что она отдалась ему девушкой.

Да позволь, Лили! Что же ты сама ему писала? На что же надеялась? Что в ответ на твою болтовню он напишет письмо, полное страстных признаний?

Нет, так это оставить нельзя! Она ему напишет последний раз.

Какое это участие в ее освобождении он принимал? Ведь даже не подумал ее навестить! «Увы, — ответил он, — после всего случившегося явиться к вам означало бы напрашиваться на благодарность, а это было бы равносильно вымогательству».

Что он под этим подразумевает? Может быть, хочет сказать, что он беден, а я богата? Глупенький! Лили спохватилась, что прижимает письмо Пьера к груди. Слезы капали ей на руки, она их вытирала кончиком носа. И все же ей было хорошо, будто пришла с холода и теперь отогревается в теплой ванне...

Она накупила массу вещей и выслала ему посылкой.

«Твоя щедрость, — писал ей Пьер, — сбила меня, как взрывная волна от авиабомбы, которыми нас угощают боши. Твои дары стали предметом зависти товарищей, вплоть до офицеров. Все же за излишества я должен тебя отругать. Лучше бы ты внесла деньги во «Вдовий фонд павших на поле брани» или в другую благотворительную организацию. Я, может быть, напишу им, чтобы они послали к тебе делегацию».

Как же удивилась Лили, когда такая делегация действительно явилась! Восхищенные взгляды двух молодых людей, членов организации, предрешили ее ответ на предложение выступить в пользу «Вдовьего фонда павших на поле брани».

Успех первых выступлений вскружил голову Лили. Поэтому когда какой-то коротышка стал на репетиции делать ей замечания, она обиделась.

— Выступать бесплатно, да еще выслушивать всякую ересь! — она сказала это достаточно громко, чтобы коротышка мог услышать.

– А вы не на базаре, дорогуша! Танец, позвольте вам сказать, это служение, служение, милочка!

– Что вам от меня нужно?! – крикнула Лили, которую душили слезы обиды.

Пианист, тощий молодой человек со слишком тяжелой для его хилых плеч головой, шепнул:

– Это известный режиссер – Поль-Антуан.

– Мне нужно, – взорвался коротышка, – чтобы вы прониклись уважением к искусству, а значит, к самой себе, поскольку вы взялись представлять искусство.

– Вы первый неуважительно отнеслись ко мне, – пожаловалась Лили.

– Уважение выражается не в комплиментах, к которым вы привыкли. Ах, какие ножки, ах, какие ручки! Что вызывает это восхищение? Куски мяса. Целая туша еще имеет какое-то эстетическое значение, ее писал Рубенс, может быть, вы про такого слышали, часть же этой туши – просто говядина, а говядина не вызывает во мне никаких эстетических переживаний. Если именно этого вы добиваетесь, то продолжайте дрыгать ножками. Я молчу!

– Мне еще никто таких вещей не говорил. Это, наконец, нахальство! Безобразие!

Лили расплакалась. На коротышку ее слезы подействовали примирительно. Он поднялся на сцену, положил Лили руку на спину и шмыгнул носом.

– Я бы не стал так говорить, если бы не увидел в вас больше, чем балетную попрыгунью. У вас, я бы даже сказал, талант, при помощи которого можно раскрыть человеческую душу, а это бездна, мадмуазель, бездна, которая восхищает и ужасает одновременно.

– Я делаю все, что в моих силах, – всхлипывала Лили.

– Ну-ну, не плачьте! В том-то и дело, что способности, силенки у вас много, а как их употребить – не знаете. Головка, головка-то слаба!

– Ну, а если знаете, то научите!

– Что мне с вами делать? Если вы действительно хотите... Знаете что? Собирайте ваши манатки и айда ко мне. Я здесь неподалеку живу.

— Для вас это большое счастье! — шепнул ей пианист, когда она проходила мимо.

— Чем вам платят? — покидая с Лили помещение, где она репетировала, заорал Поль-Антуан, словно он обращался к толпе на площади. — Деньгами? Хорошо еще, если деньгами. А то обыкновенно платят приглашением в кабачок, где бутылка плохого вина стоит столько, сколько зарабатывает в неделю квалифицированный рабочий. А конец, обыкновенно, разыгрывается на кровати, пусть даже с пружинным матрацем и пуховой периной. А за все это счастье вы расплачиваетесь расшатанным здоровьем и пустотой вот тут! (При этих словах он ударил себя в грудь, и грудь загудела, как большой барабан.) И к сорока годам превращаетесь в чучело, знаете, такое чучело с опилками внутри, которое ни один музей не возьмет. Хорошая перспектива для хорошенькой... хотя, хорошенькой вас назвать нельзя, и это ваше счастье, не каждому охота путаться с вами.

Он не дал Лили опомниться. В своей квартире, состоящей из прихожей, большого зала и двух каморок, из которых одна служила кухней, он плюхнулся на кресло у рояля и, вытирая ладонью пот со лба, неожиданно тихо и спокойно спросил:

— Что вы там танцевали? Рапсодию Листа? Давайте!

Он забухал своими короткими пальцами по клавишам.

— Стойте! — закричал он вдруг, — Вы понимаете, что вы танцуете? Это не аргентинское танго, не блюз, черт вас подери! Это рапсодия, причем рапсодия одного из величайших музыкантов. А что такое рапсодия? Это сказание. В данном случае — сказание о любимой. Еще раз!

— Нет, не то! — сказал он как-то озабоченно и откинулся на спинку кресла. Его большие темные глаза смотрели при этом вопросительно. — Я сказал «сказание о любимой» и не объяснил, как это понимать. В танце нужно не рассказывать, а изображать. Любимой должны быть вы сами, да такой, чтобы влюбить в себя настоящего мужчину, а не какого-нибудь слюнтяя в очках.

— Как же так? — спросил он несколько минут спустя. — Почему у вас не получается? В чем дело? Ну, скажите мне, в чем дело? Я ведь так хорошо объяснил, — прибавил он без намека на иронию, грустно и удивленно.

— Не могу я как-то...

— Но почему?

– Боюсь, получится некрасиво.

Поль-Антуан ударил себя ладонью по лбу. Удар прозвучал, как пощечина.

– Старый дурак! Не понял! Виноват! Вам хочется быть красивой. Это естественное желание! Но правда в том, что представление о красоте меняется! Эту правду не видят люди усталые, вялые, с отмирающей душой. Это правда людей страстных, влюбленных, одержимых. Искусство состоит на три четверти из такой правды, и только четверть заключается в мастерстве, с помощью которого эта правда превращается в художественную действительность... Вы устали? Если не очень, то давайте еще раз, дорогуша.

– Только не называйте меня дорогушей!

– Это совсем другая дорогуша, чем та, которой я назвал вас в начале нашего знакомства.

Лили улыбнулась. Он совсем не такой, каким казался вначале. Чудак! Милый чудак!

– Вот-вот! – кивал он, поглядывая на ее танец. – Вы зацепили идею. Вы обещаете, вы еще не совсем уверены, что сможете сдерживать обещанное, так это принято у женщин. Это случится, когда вы полюбите, полюбите по-настоящему. Мужчины глупы, они думают, что зажигают женщину своей страстью. Ничего подобного! Женщина – костер, а мужчины – головешки! Простите, я вас отвлекаю...

Так длилось час, другой. Лили изнемогала. Он не давал ей придти в себя. Он вогнал ее в какой-то транс, она себя не узнавала.

Когда она поздно вечером вышла на улицу, звезды в небе показались ей до смешного маленькими и глупенькими. И она расхохоталась, громко и счастливо. Какие-то прохожие оглянулись. Ей было все равно.

10

Лили танцевала последний танец. Зал гремел от оваций. Первый, кто пришел ее поздравить, был Поль-Антуан. Она уронила голову на его плечо и поцеловала во влажный воротничок. Он молча гладил ее по обнаженной руке, потом сказал: «хорошо!» – вынул носовой платок и высморкался. Очки в роговой оправе на его носу задрожали.

Она написала Пьеру: «Я танцевала. Первый раз в жизни я так танцевала! Для меня все исчезло. Я тебя не вспоминала, потому что ты был во мне. Как хорошо, когда такое можно сказать, не стесняясь».

В ответ она получила телеграмму: «Люблю зпт целую зпт завидую твоему учителю Пьер».

Когда Лили показала телеграмму Полю-Антуану, тот как будто обиделся:

– Глупости какие! Я думал, вы уже вышли из детского возраста.

Анри Абрабанель на концерте не присутствовал. Она была ему за это благодарна.

Как-то вечером, вернувшись с загородной прогулки, месье Анри долго ходил по саду, осматривая растения. Лили стояла на крыльце, наслаждаясь лунной, полной тишины ночью, какая иногда выпадает на счастье молодым.

– Завтра твой день рождения. Я хотел бы его отпраздновать особо.

– Могу я пригласить моих друзей?

– У тебя есть друзья, которых я не знаю?

– Это вас не должно удивлять. Ведь завтра мне исполнится двадцать один год.

– Если так, то я хотел бы тебе кое-что сказать.

В салоне горел камин. Когда они вошли, пламя метнулось навстречу. Анри Абрабанель взял щипцы и бросил в огонь одно из сложенных штабельком поленьев. Огонь лизнул его, полено затрещало. Он долго выбирал в ящике сигару, закурил и откинулся в кресле. Лили поправила цветы в вазе и, усевшись напротив, взяла со столика английский иллюстрированный журнал. Все предвещало тихий и уютный семейный разговор.

– Я полагаю, – начал месье Анри, – ты задавала себе вопрос, чем вызвана моя длительная забота о тебе и затраты, которые я несу в связи с твоим воспитанием. Не скрою, за последние годы я привык к тебе, однако это недостаточно объясняет мое поведение. Я коммерсант и привык находить во всяких действиях людей материальную заинтересованность. Я хочу быть с тобой честным. Кто-то сказал, сейчас я не помню, кто, что скаковые лошади и женщины могут быть выгодным помещением капитала. Опыт подсказывает, что скакуна нужно еще жеребенком

приучить к узде, а женщину с пеленок опутать нитями материальной зависимости. Ты не можешь не согласиться, что это я сделал тебя такой, какая ты есть. Если бы не я, ты бы, в лучшем случае, могла бы стать официанткой во второразрядном ресторане. Может показаться, что все это не вяжется со свободой, которую я тебе предоставлял. Ты будешь удивлена, если я тебе открою, что эта свобода была фиктивной. Мне известен каждый твой шаг. Ты познакомилась с одним студентом-медиком, сыном бедного русского эмигранта. Он учился на стипендию. Ему перестали ее выплачивать, и ему стало не до тебя. Я тебя познакомил с бароном. Да, это я все подстроил, но барон не выдержал испытания: он сорвался с цепи, и его удалили. Я хочу отменить те выгоды, которые ты будешь иметь, выходя замуж. Ты будешь иметь возможность выбрать мужа. Будешь ли ты жить со своим мужем или нет, безразлично, обстановка и все прочее останется за тобой. Это моя забота. Нужен только брачный контракт. Твоя подпись принесет тебе 16 000 долларов чистого дохода. Я об этом не говорил, не желая влиять на твой выбор. Откуда эти деньги — безразлично. Важно, что они есть. Ты можешь от них отказаться. Но во всех случаях следует избегать положения, при котором ты можешь остаться в дураках, а это может случиться, если ты будешь продолжать отношения с кругами, в которых ты приобрела так называемых друзей. Подумай хорошенько: или жизнь в свое удовольствие, балы, Трувиль¹, путешествия и никаких обязательств, кроме одного — отчитываться передо мной в своих действиях, быть моим... моей...

— Договаривайте!

— И так все ясно... А если тебя соблазняет перспектива стать кафешантанной дивой, как твоя мать...

— Я могу жить самостоятельно, давая концерты

— Вряд ли. Ты обязана выплачивать 30% с твоего гонорара. Твоя бедная мать жестоко поплатилась, пренебрегая моими советами, ее судьба должна служить тебе предостережением.

Лили слушала, закрыв глаза. Ей казалось, что костлявая рука схватила ее за горло.

— Я не знала, — сказала она внешне спокойно, — что вы уже тогда занимались торговлей живым товаром.

¹ Трувиль — курорт в Нормандии.

Лили, не переводя дыхания, вбежала к себе наверх, бросила в саквояж все необходимое.

11

Поль-Антуан долго не открывал. «Что, если его нет дома? Может быть лучше, если я пойду в гостиницу? — но тут Лили вспомнила, что не захватила с собой денег. — Что же я буду делать?»

Наконец щелкнул замок, дверь приоткрылась, на ней висела защитная цепочка.

— Кто там? — послышался голос Поля-Антуана.

— Я не могу вернуться домой, — сказала Лили.

— Само собой разумеется, вы останетесь здесь, — впустив ее в квартиру и не дослушав остальных объяснений, заявил он. — Попытаемся получить ваши вещи.

— Не надо! Моих вещей там нет. Платье, которое я ношу, я тоже отошлю обратно, как только заработаю достаточно, чтобы купить себе другое.

— Зачем преувеличивать?

— Я не преувеличиваю. Почему я не могу жить, как живут десятки других?

— Вы не знаете, как они живут...

— Если вы поможете мне устроиться...

— Мне нужна секретарша.

— Я не умею печатать на машинке.

— И не нужно. Я получаю письма, но редко на них отвечаю.

Я не писатель и не изобрел средства от выпадения волос.

— Это будет выглядеть так... как будто...

— Я вас не спрашиваю, как это будет выглядеть. Я вам предлагаю место секретарши, а не гувернантки. Раздевайтесь!

— Что?!

— И ложитесь спать.

12

«Смешная война»¹ превратилась в настоящую, фарс — в трагедию.

Иных война ввергла в пучину. Лили спасла от закабаления.

¹ Осень и зима 1939–1940 годов получила во Франции название «смешная война» (drole de guerre).

По улицам Парижа прохаживались офицеры вермахта в фуражках с высокой тульей, Они оглядывали проходящих мимо парижанок, как барышники оглядывают лошадей. Те напускали на себя таинственность жриц любви. Так уж повелось, что женщины спасаются в постели от посягательств и от обуревающего их чувства одиночества.

Где Пьер?

Позади остались пепелища, бегство по укатанным горем дорогам, пыль, жажда, свист пуль, пригибающий к земле рев чернокрестных самолетов. А для победителей это были дни упоения властью, чувства превосходства, спуска с привязи своры инстинктов.

Где Пьер?

Лили выполняла свои обязанности секретарши с ловкостью заправской «управительницы делами». Она вырезывала и наклеивала в толстую тетрадь рецензии на театральные постановки, новые фильмы, художественные выставки, концерты. Она вела картотеку с аннотациями книжных новинок. Их становилось все меньше, жизнь искусства оскудевала, и у Лили становилось все больше свободного времени.

Поль-Антуан считал своим долгом заниматься с ней. Эти занятия часто кончались тем, что он швырял в нее книги и ноты и ругал бездарью и тупицей. Но иногда взгляд его загорался, он вскакивал, притопывал ногами и пел гудящим голосом какой-нибудь бравурный напев.

— По-вашему — удалось?

Он кивал и отходил в сторону, пристыженный своей несдержанностью.

Где Пьер?

13

Оставшись в оккупированном немцами Париже, Поль-Антуан, во всяком случае внешне, не изменил своего образа жизни. Были даже разговоры, что одна из возобновивших свою работу киностудий пригласила его поставить исторический фильм под названием «Роланд» с участием известного немецкого киноактера. Во всяком случае, так писали издававшиеся в Париже на французском языке немецкие газеты. Поль-Антуан этих слухов не опровергал.

Но Лили знала другое: Поль-Антуан исчезал на сутки, а то и более. Он получал письма, которые старательно прятал от нее. Его посещали люди, говорившие шепотом и явно не принадлежавшие к кругу его знакомых. Выпуская их, он прислушивался у дверей, а на попытки Лили заговорить с ними посетители отвечали немногословно, часто одними междометиями.

Однажды Лили, убирая утром в прихожей, открыла дверь на чей-то звонок. На лестничной площадке стоял, опершись спиной о перила, мужчина, показавшийся Лили знакомым. На нем был костюм явно с чужого плеча, старомодные стоптанные ботинки и выцветшая зеленая велюровая шляпа. Мужчина осторожно, словно не веря себе, улыбнулся.

– Можно мне видеть...

– Пьер! – вскрикнула Лили беззвучно, одними губами.

Поль появился в прихожей со всклокоченной шевелюрой и слипшимися глазами. Он, видимо, только что проснулся. В этот момент он показался Лили каким-то кротоподобным существом. Или чем-то в этом роде... Но вдруг его сонливость пропала. Он выбежал на площадку, заглянул почему-то вниз, тряхнул своей львиной головой и, хватив Пьера за локоть, втолкнул его в квартиру. Потом он стал описывать круги вокруг Пьера, зацепился ногой за угол ковра, сказал «черт подери!», засмеялся во всю свою пасть и закричал проникновенным шепотом:

– А тебя считали погибшим или пропавшим без вести. Можно было узнать через Виши, но неизвестно, где кончается Виши и где начинается Берлин.

Ловя взгляд Пьера, он продолжал:

– На эту персону ты не смотри. С нею сплошная морочка! Удрала от опекуна как раз накануне своего дня рождения и совершеннолетия, прибилась к нашим берегам... Я, лично, не возражал, надеясь ее соблазнить, но ничего не получилось, корпусом не вышел! Она, стерва, талантлива, и я пытаюсь спасти ее для искусства, но она предпочитает пылесосы, влюблена в кастрюли... Я ее поколачиваю немного, но, видно, без толку.

Он вытащил из сундука, в который сваливалась всякая рухлядь, бутылку вина, разлил его в три стакана и, подбадривая Пьера глазами, свой стакан выпил залпом. Лили показа-

лось, что, несмотря на свое бурное радушие, Поль-Антуан нервничает.

— Ну, рассказывай!

— Что тут рассказывать? — Пьер бросил быстрый взгляд на Лили. — Воевали мы плохо, никто не был убежден, что сохранение Данцига за Польшей жизненно необходимо Франции. Генералы, затвердив уроки прошлой мировой войны, играли роль неприступной девицы, пока боши не двинули ей в зад, да так, что она покатила до Виши, чтобы, спрятавшись за ширмой, уговаривать Адольфа подождать, пока она переоденется. Но мирились верденские герои еще хуже, чем воевали. Они поспешили с приказом о сдаче оружия еще до того, как Адольф этого потребовал. Вот мы и сдали оружие, оставив себе на развод вот это... — Пьер вынул из кармана пистолет, подбросил его на руке и снова спрятал в карман.

— Дезертировал? — спросил Поль-Антуан.

— Какое там... Просто ушел.

— Мамзель, — обратился Поль к Лили. — Может, вы сумеете докупить к нашим запасам бутылку-другую бургундского? И мартеля, и еще чего-нибудь вкусенького. У вас на этот предмет нюх ищейки. И если попадется трехцветный флажок — прихватите. Нужно отпраздновать возвращение этого патриота Третьей республики! Вот деньги! — он вытащил горсть скомканных бумажек и засунул их в карман фартука Лили.

«Он обращается со мной, как с прислугой, пытается меня отослать. Теперь все зависит от Пьера. Если не поймет, что к чему, пусть пеняет на себя», — и Лили с каменным видом оделась и вышла

— Обиделась, — констатировал Поль. — Ничего, ей надо привыкать к свисткам с галерки.

— Как она?

— Видишь ли... она чиста, как стеклышко, а забрела на конспиративную квартиру. Если взлетим, то она вместе с нами... Тебе дали мой адрес?

— Я его всегда знал. Да и кто мог дать? Разгром полный.

— Непонятно!

— Тебе непонятно? Сначала этот пакт с Гитлером... Знаю, знаю, ты меня не убеждай. Нужна передышка и прочее... Но как это отозвалось на настроении товарищей! Мы были с самого на-

чала диалектиками. Но ведь при победе нацистов нам всем недобровать, как недочеловекам.

— Со временем мы организуем сопротивление. Но сейчас нужно думать о другом, нужно людей собрать, наладить связи. Трудная работа, мы к ней не привыкли, нет у нас большевистского опыта... Теперь, что касается тебя. В этом виде и ребенок тебя разоблачит... нужны бумаги. Можно выдать тебя за приехавшего из провинции и застрявшего в Париже жениха этой милой девушки. Ты что краснеешь? В наших условиях нужно от этого отвыкать. Нет, я не против. Почему я должен быть против? Это — самое разумное решение, он легализует вас обоих, а меня... меня ты можешь выдать за свата. Боже мой! Были в истории и не такие мезальянсы. В интересах дела можно и на лягушке жениться... А она не лягушка, далеко не лягушка...

14

Лили просыпалась с радостным чувством ожидания. Она смотрела, как Пьер спит, положив кулак под щеку, как ребенок.

Когда Поль-Антуан вставал и топал — этим он оповещал о своем уходе, — они вздыхали с облегчением. Но оставшись одни, садились врозь и делали вид, что чем-то заняты. Переговаривались, словно пробовали горячий утюг...

— Ты действительно меня искала?

— Да будет тебе!

— Ну расскажи, как было.

— Нет, ты лучше расскажи, как дала себя увезти.

— Я хотела тебе отомстить за опоздание.

— Я пришел вовремя. Вижу, стоишь с немцем и разговариваешь. Что мне было делать?

— Ты не знал, что тебе делать? Боялся!

— Ну, ладно!

— Вовсе не ладно. У тебя не было ни капли любви ко мне.

— Была!

— Клянись!

— Буду я клясться! Конечно...

— Что конечно? Сама знаю, нельзя полюбить за одну ночь.

— Вот сама и проговорила!

Пауза.

– Ты меня считаешь ветреной?

– А разве ты не ветреная?

– Я хочу, чтобы меня завоевали. Вероятно, каждая девушка этого хочет. Ты должен меня ловить. И когда отчаешься меня поймать, тогда...

– Что?

– Поддамся.

На улицах Парижа шла облава, а они продолжали свои пререкания, которые сами называли спором.

– Глупы, как все влюбленные, – констатировал Поль-Антуан. – Но почему мне никто никогда таких глупостей не говорил?

«Я расскажу все, как было. Если разозлится – значит любит. Если нет... думать не хочу!» – решила Лили. И она рассказала Пьеру, как она дралась с бароном и он запер ее в спальне.

– Я тогда вспомнила, что писали немцы о сильных ногах германок! – Она изобразил барона.

– Не смей изображать этого выродка!

«Разозлился!» – возликовала Лили. Она бросилась на шею Пьеру и принялась его целовать.

С каждым днем Пьер становился все угрюмее, все чаще не отвечал на ее вопросы. «Я сама виновата, спрашиваю о всякой ерунде. – Она удвоила внимание к Пьеру, но это его еще больше раздражало. – Ему до меня нет дела. Все равно, здесь я или нет...»

– Скажи, когда ты пришел сюда в этой смешной зеленой шляпе, ты знал, что я здесь?

– Откуда мне было знать?!

– Так зачем ты сюда пришел?

Неужели она такая дура, что ничего не понимает?

Лили подошла к одному из четырех окон, выходящих на покатуую крышу пристройки, открыла и выглянула наружу. Все жедо чего она хороша!

– Смотри, голуби свили себе гнезда как раз над нашими окнами!

Она не виновата, что ей доступны только голубиные переживания.

15

Однажды, думая, что она не слышит, Пьер сказал Полю-Антуану:

– Это невыносимо, наконец! Или они мне не доверяют, или они не подпольщики, а старые бабы.

Поль-Антуан исчез на целый день, явился около полуночи, несмотря на комендантский час.

– Чуть не попал под облаву, – скинув пальто, он кивнул Пьеру, – Все в порядке! – и положил на стол две картонки. – Не могу видеть, как двое молодых людей живут вместе не связанные узами святого брака. Здесь вы, мадмуазель Лили Брон, а с завтрашнего дня мадам Шеригёс, найдете все, что нужно невесте, а ваш супруг Жорж Шеригёс – все атрибуты жениха. Завтра утром в мэрии!

– Вы с ума сошли?

– Как шафер я обязан вам объяснить, мадам: мы решили связать Жоржа-Пьера узами брака, чтобы он не наделал глупостей. Отныне, мадам, вы за него отвечаете. Что с вами? Вы плачете?

Она встала и ушла в каморку, в которой спала до появления Пьера.

«Скаковые лошади и женщины... нет ничего мертвого или живого, чего нельзя превратить в товар... Брачный контракт? Завтра будет подписан брачный контракт. Я лишь средство для достижения какой-то цели. Использовали и бросили. Вот и превратилась в разменную монету! Какое им дело до моих чувств?»

Любила ли она Пьера? Любящие не спрашивают. Стало быть, она Пьера не любила.

16

Гестаповец допрашивал Брона, сверля его близко посаженными глазами.

– Родственники? У меня есть дочь. Кто? Знаменитая танцовщица, первая красавица!

Гестаповец иронически усмехнулся.

– Весь Париж был от нее без ума, когда она выступала. Месяе может не смеяться, я говорю то, что есть. Кто не знает этой истории? В нее до смерти влюбился один дипломат, немецкий дипломат, я говорю то, что есть. Если интересуетесь, може-

те прочитать в старых газетах за 1938 год. Он на нее потратил миллион, но она девушка с характером, не хотела стать женой фашиста. Короче говоря, я не знаю, что там было, от него она ушла. Она хорошая дочь. Стоит мне к ней обратиться, она говорит: вы знаете, папенька, мне для вас ничего не жаль. Одно ваше слово, сколько хотите? Мои деньги – ваши деньги... Она называет меня на «вы». Я не выдумываю, я говорю то, что есть...

– Где она живет? – спросил инспектор.

Брон испугался.

– Она наверно уехала. Будет она дожидаться... с ее-то деньгами! – А жила она у своего опекуна, тоже богатого человека, Анри Абрабанеля. У него особняк на бульваре Араго.

17

По причине военного времени обряд бракосочетания был упрощен. Чиновник мэрии приветствовал новобрачных словами:

– В тяжелые для Франции дни два молодых французских сердца нашли друг друга и со свойственной нации оптимизмом устремляются в будущее.

Пообедали в ресторане. После обеда Поль-Антуан предложил поехать за город. Добрались до Фонтенбло, но там потребовались пропуска и пришлось вернуться. Приехали домой злые и усталые, как будто трудились на каменоломне.

В ту ночь, в их первую брачную ночь, Лили и Пьер, без уговора, легли спать порознь. Спала ли Лили? Она слышала, как кто-то стучит в дверь. Зачем стучать, если есть звонок?

Который час? Когда начался этот сон?

...Он ей хлопает. Смеется. Подбрасывает свой берет. Они бегут, взявшись за руки. Они счастливы!

Стук в дверь!

В прихожей ворочается Поль-Антуан. Лили видит сенбернара... Сейчас он заворчит... или спросит: «Кто там?»

А Пьер спит. Какое ему дело до того, что там кто-то стучит?! Вот уж правда – пентюх!

В прихожей становится шумно, как на ярмарке. Лили очень любит ярмарки. Когда она еще жила в пансионате Маргариты Шома, она, тайком от наставницы, ходила с прислугой на ярмарку. И в Париже однажды с этим врачом-практикантом...

Интерсно, что с ним? Он, кажется, еврей. А нацисты сажают в тюрьму всех евреев. Вот кто ее любил... Но ведь и она, кажется, еврейка... Какая чушь!

Кто-то бесцеремонно зажег свет. Это нахальство! Я ведь сплю! Мне снится сон.

Лили слышит чей-то чужой, с хрипотцой, голос:

– Лили Брон?

Конечно, Лили Брон! Этот дурацкий брак не в счет.

– Одевайтесь! Пройдемся!

– Я не собираюсь гулять!

– Ха-ха-ха!

– Нахал!

Она видит Пьера. Он бежит к окну. Окно выходит на покатую крышу. У Пьера в руке пистолет. Выстрел. Один... другой! Пьер рывком открывает окно. Еще выстрел. Лили прыгает с кровати, не замечает, что одеяло заплелось в ногах, падает, вскакивает, бежит к соседнему окну и видит, как Пьер медленно, потом все быстрее катится вниз по покатой крыше.

Чертovo колесо! Не удержишься...

Глава 4. Черный свитер

1

Летом во время обеденного перерыва крыша авторемонтного завода, плоская и разделенная фонарями, служила солярием. Там работающие на заводе заключенные ложились погреться на солнце. На крышу взбирались по расшатанной пожарной лестнице. Для этого нужно было обладать смелостью и акробатическими способностями, поэтому крыша была не всем доступна.

Сверху видны были станционные постройки и железнодорожные пути, тянущиеся ко всегда окутанному дымом крематориям. Утром их короткие четырехгранные трубы выбрасывали языки пламени. К обеденному перерыву пламя вползало обратно в трубы, оставляя на пути своего отступления смрадные тучи.

Антек разделся до коротких дамских штанишек, которые он выменял у заключенного, работающего на сортировке вещей, оставшихся после сожжения их владельцев. Сощуриив глаза, он повернул голову к своему соседу.

– И нас, гефтлингов¹, солнце греет...

Ежи ничего не ответил. Он крошил хлеб и бросал крошки птицам.

– А птица здесь тихая... даже воробьи, и те присмирели. Фью! Фью!

– У тебя что, много хлеба?

– Птицу жалко... Утром прошли три состава туда... – Ежи показал по направлению к крематориям. – Я сосчитал: 162 вагона. Это выходит по 54 вагона на состав. Паровозы еле тащили. Говорят, из Венгрии.

¹ *Гефтлинг* (заключенный) – узник концлагерей Рейха. Сленговое название, аналог советских «зэка».

– Давеча шофер-эсэсовец, который ездил на «студебеккере», разогнал машину – и прямо в стенку душегубки. Блин!

– Из-за жидов? – спросил Франек.

– У нас в Ченстохове жида всю коммерцию захватили. Мой отец еще как-то держался, но для других христианских торговцев это было разорение. Ну и задали мы жидкам! Они такой гвалт подняли, что можно было их за Карпатами слышать! А теперь пришел немец и окончательно с ними расправился. Единственное хорошее, что Гитлер сделал!

– Подожди, он и с тобой окончательно расправится!

– Это чей голос?

– Голос поляка и католика. Не знаю, какая тебя муха укусила. Все жида да жида...

– А ты бы хотел, чтобы им оставили каменницы¹, а нам улицы?

– Мне все равно, кто в каменницах сидит. Я там все равно жить не буду.

– У тебя нет национального сознания.

– Чего у меня нет?

– Национального сознания.

– Зато у тебя есть, все карманы им набиты. С этого самого сознания все и началось. Гитлер хочет все нации разделить, чтобы легче над нами пановать. Но получится наоборот, вот увидишь, – отозвался Ежи.

– Я все равно жида близко не подпущу!

Франек встал, перелез через фонарь и лег по ту сторону. Жерар, смуглый парень, к которому он обратился, посмотрел на него и кивнул.

– Я их тоже не люблю, они крутят темные дела. Н-о-о жидовские девчонки – пальчики оближешь. И потом – это интеллигентно. Да, я предпочитаю интеллигентного еврея арийской скотине. Вуаля!

Поручни пожарной лестницы задвигались. По-видимому кто-то взбирался вверх.

Над водосточным желобом появилась голова Рота, мастера моторосборочного цеха.

Франек приподнялся.

¹ Каменные здания (польск.).

– От этих жидов покоя нет.

Рот, ничего не говоря, стал снимать комбинезон. Потом снял рубаху, обнажив торс атлета. Франек скис.

– Фью! Фью! – отозвался Ежи с той стороны фонаря.

– Смотрите, грачи! – Все притихли...

– Слышите? Отвечают!

Стал слышен птичий гомон, и несмело, как солнце из-за облаков, на лицах появились улыбки. Но вот, все более нарастая, раздался шум приближающегося поезда, лягз буферов, скрип колес. Сначала мимо крыши по насыпи прополз потный паровоз. За ним, толкая друг друга, как овцы, плелись товарные вагоны. Окошечки вагонов были опутаны колючей проволокой, из-за проволоки выглядывали встревоженные лица.

– На газ везут!

Состав остановился как раз напротив группы заключенных на крыше. Из-за окошка вагона смотрели на них темные, с проволокой глаза. Губы еврейки шевелились, но слов нельзя было разобрать.

– Она что-то говорит... – сказал Антек.

– Рот! Ты можешь разобрать, что она говорит?

Рот впился глазами в лицо женщины. Он шевелил губами, как она, пытаясь отгадать слова.

– Она... она говорит... она спрашивает... что с ними собираются делать... Куда их везут?

Он отвернулся. Под его скулами заходили желваки.

Жерар сорвался с места, подбежал к краю крыши и, сложив руки рупором, закричал:

– Не бойся! Ничего плохого с тобой не случится, красавица!

– Зачем ты ее дурачишь? – спросил Антек.

Жерар повернул к нему лицо. Его глаза влажно блестели.

– Я не ее дурачу, дурак! – И продолжал: – Пиши мне – авторемонтный завод, Жерару Лебрэну! – и он ткнул себя пальцем в грудь.

Губы женщины вновь зашевелились, она кокетливо склонила голову.

Жерар судорожно удерживал на своем лице улыбку.

Состав тронулся, унося с собой видение молодой женщины. Лицо уплыло.

К Жоржу и Антеку сзади подошел Франек. Он сложил руки рупором, как прежде Жерар, и закричал вслед удалявшемуся составу:

– Сарра! Сарра-лебен! Ой, куда тебя везут! Ой, что они с тобой будут делать! Ха-ха-ха...

– Кошон! – крикнул Жерар и с размаха ударил Франека по лицу. – Саль кошон!¹ Сволочь!

2

На авторемонтном заводе работало около трехсот заключенных. Над ними начальствовал гауптшарфюрер Зибальд, опытный автомеханик и неплохой организатор. С заключенными он держался просто, только иногда, когда замечал, что другие эсэсовцы на него косятся, орал и угрожал поркой.

Заключенными командовал капо Милиц, убийца-рецидивист, приговоренный к пожизненной каторге. У него было лицо неандертальца. Прежде чем стать капо команды авторемонтного завода, он состоял на должности капо «бункера». Там в его обязанности входило выводить жертвы на расстрел.

– Однажды, – рассказывал он вечером после ужина, – мне пришлось выводить на расстрел одну полячку. Можете мне поверить на слово, ни до, ни после я такой красавицы не видел! Вот и говорю ей: жалко, что тебя, красавицу, сейчас расстреляют! Я бы много дал, чтобы с тобой переспать. И что вы думаете? Она плюнула мне в лицо. Наверно, недопоняла меня.

– Молодец! – не удержался Ежи Енджиховский. Ежи был шрайбером команды, и хотя подчинялся Милицу, но по лагерным понятиям стоял наравне с капо.

Милиц осуждающе посмотрел на него.

– Ты первый, кто меня не понимает! Я могу здесь кого угодно уничтожить. Почему я этого не делаю? Потому что у меня добрая душа. Вот, возьми Хенека! Чего ему не хватает, что ему нужно? Костюм ему сшил первый портной лагеря: я ему буханку хлеба заплатил. Место у него в бараке верхнее, у самого окна. Вкуса лагерной пищи он не знает. Работа не бей лежачего: я его на круглую пилу поставил, резать чурки для газогенераторов. И как он меня благодарит за мою доброту?

¹ Свинья! Грязная свинья! (фр.)

– Легко на помине! – Ежи увидел голову Хенека за стеклянной перегородкой.

В контору вошел Хенек. Это был молодой парень, полненький, с лицом пупсика. Он остановился у дверей и, поглядывая на свои ногти, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Я раз и навсегда заявляю: ра-бо-тать не бу-ду! Понятно?

– Ну, посмотрите на него! – обратился Милиц к присутствующим. – Что я говорил?

Бледный и долговязый заведующий складом запчастей пан Трембовский, в прошлом владелец гаража в Варшаве, решил ради дисциплины поддержать начальство.

– Ты же подводишь капо, Хенек!

– А мне наплевать!

– Я тебя заставлю работать! – закричал Милиц, чувствуя поддержку. Хенек показал ему кукиш:

– На, выкуси!

– Видали?! – спросил Милиц и, придвигаясь к Хенеку, приказал: – скидывай барахло!

– Не дотрагивайся до меня! – истерическим голосом закричал Хенек. У него горели глаза, он скалил зубы, как разъяренный пес.

Милиц отступил. Он смотрел на Хенека мигая, с выражением мольбы. С Хенеком произошла какая-то перемена, губы его превратились в тесемки, нос как-то сразу удлинился, веки нервно задрожали.

– Хорошо, – сказал он пискляво. – Пусть будет по-твоему. Но если что-нибудь со мной случится... ты будешь виноват! – он вытянул руку, показывая на Милица. Потом, со все еще вытянутой рукой, выбежал, хлопнув дверь.

– Остановите его! – закричал Милиц и рванулся за ним вслед. – Он что-нибудь с собой сделает!

3

В такую компанию попал № 104231. Накануне его вызвал шрайбер барака и сообщил, что он, Самуил Брон, приписан к команде, работающей на авторемонтном заводе.

– Ты специалист? – спросил он.

№ 104231 пожал плечами. Шрайбер пристально посмотрел на него.

– Завтра утром станешь в колонну авторемонтного завода.

Ночью шел дождь. В проходах между бараками стоял туман, и голоса звучали приглушенно. № 104231 отыскал команду авторемонтного завода и стал в конце ее вместе с двумя другими заключенными, как и он, новичками в колонне. Все трое были евреями.

Худощавый, быстрый в движениях и аккуратно одетый шрайбер команды, держа на отлете записку, проверил их номера и покровительственно похлопал по спине.

– Хороший парень, – заключил один из новичков, пожилой, большого роста и сутулый.

Заиграл оркестр. Колонны двинулись к бреме. Там стояло эсэсовское начальство, и дирижер, шеголяя военной выправкой, то и дело поглядывал в его сторону. Наконец лагерфюрер поднял руку.

– Шапки долой! – скомандовал капо головной команды.

Полосатые блины слетели с голов заключенных, показывая стриженные машинкой затылки. Руки ударили по ляжкам. По лагерю разнесся звук, словно обрушилась глыба земли.

Три недели после прибытия в лагерь заключенных дрессировали: учили, как снимать шапки перед начальством, что и как отвечать на вопросы. № 104231 этой школы не проходил, в его движениях не было четкости и прививаемого заключенным подобострастия.

Капо Милиц сбавил шаг и, поравнявшись с № 104231, прошипел:

– Дойдем до места, покажу, как снимать шапку перед начальством! Я не намерен за тебя зад подставлять!

№ 104231 с трепетом ждал столкновения с неандертальцем. Усилием воли ему удалось унять предательскую дрожь. Когда-то он был убежден, что грубую силу можно победить логическими доводами. Он видел победу разума в созданной в его воображении картине: силой уговоров он заставляет дикаря опустить занесенную над его головой палицу. Но, глядя на шагающего впереди колонны Милица, он понял всю никчемность своих надежд. К счастью, капо или забыл свою угрозу, или не успел привести ее в исполнение. Как только колонна прибыла на обнесенную стеной территорию авторемонтного завода, четырех новичков тотчас послали в контору.

Два письменных стола в конторе были составлены углом, третий, с бронзовым письменным прибором и телефоном, возвышался в стороне, как полевой алтарь. За ним на вмонтированных в стену стеллажах лежали детали двигателей, дифференциалов и коробок передач. Обстановку конторы дополнял белый шкафчик с эмблемой Красного креста.

— Позови Рота, — обратился Милиц к шрайберу.

Енджеховский скривил рот в презрительной улыбке, но все же ушел выполнять приказ.

Милиц, подбоченясь, встал впереди четверки.

— Где вы находитесь? — спросил он.

— На заводе, — ответил кто-то.

— На каком заводе? — требовал уточнения Милиц.

Никто не сумел ответить, и Милицу пришлось проявить педагогическое усилие, чтобы объяснить новичкам возложенную на них высокую задачу.

— Завод называется «Прага-Галле» и является авторемонтным заводом, а не синагогой, понятно?

— Отчего же не понятно?! — отозвался кто-то.

— Ты стой прямо, а не раскачивайся, как маятник, а то я воткну тебе палку в зад! Ты кто?

— Кто я? Ну, еврей.

— Болван! Это и так по тебе видно! Я спрашиваю, какая у тебя профессия?

— У меня профессия?.. Какая может быть у меня профессия, если я закончил гимназию, учился в университете.

— Я тебя спрашиваю, чем ты занимался на воле.

— Разным занимался.

— Торговал?

— Торговал тоже.

— Чем торговал?

— Я торговал механической игрушкой.

Милиц разочарованно от него отвернулся.

— У кого из вас имеется какая-нибудь специальность?

— У меня есть специальность! — сказал сосед №104231.

— Какая специальность?

— Коммивояжер.

Милиц с удивлением взметнул брови. Торговец механическими игрушками пояснил:

– Он хочет сказать, что продавал швейные машинки.

Лицо Милица побагровело.

– Ах ты, вошь поганая! Издеваться вздумал?! – он схватил несчастного за плечи и стал колотить головой об стену. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не вошел Рот. Милиц отпустил свою жертву и, повернувшись к Роту, сплюнул сквозь зубы.

– Поздравляю тебя с таким пополнением!

Вынужденный считаться с Ротом как с мастером основного цеха, неандерталец выразил свое презрительное отношение к нему, представителю низшей расы, тем, что звал его не по имени, а местоимением «ты».

– Будете у меня работать! – сказал Рот, обращаясь к новичкам. – Тех, кто ничего не умеет, я выучу.

– Выучишь! Вот этот – торговец, он в жизни не держал напильника в руке! – изображая деловую озабоченность, проговорил Милиц.

– Чем ты торговал? – спросил Рот того.

– Механической игрушкой, – передразнивая торговца, ответил за него Милиц.

– Случалось, что механизмы портились?

– Какой товар...

– Ну и что же, ты испорченные игрушки отдавал обратно? Или сам чинил?

– Кто бы их у меня взял обратно? Я их покупал с пятых рук... Конечно, сам чинил.

– Я тебя научу собирать коробку скоростей.

– Пожалуйста.

– Я слышал, ты на воле занимался продажей швейных машин, – обратился к избитому Милицем Рот. – Ты понимаешь, что здесь ты этим не проживешь? Но, я думаю, что и твоя профессия тебя чему-то научила. Подыскивая клиента, ты ведь думал о том, чтобы показать товар с лучшей стороны?

– Что и говорить! – торговец вытер капающую из носа кровь.

– Ты будешь работать у автомата, на расточке цилиндров. Там нужна точность. Чтобы поршень входил в цилиндр без сучка и задоринки.

Тот с понимающей лукавой усмешкой на своем измазанном кровью лице кивнул.

– А ты, старина? – обратился Рот к пожилому сутулому заключенному.

– Я кузнец, – ответил тот, – тридцать шесть лет работал кузнецом.

– Посмотрим, какой ты кузнец! – ввязался Милиц. – Если окажется, что наврал, я тебя так подкую, что своих не узнаешь.

Все пятеро вышли. В конторе остались только № 104231 и шрайбер команды.

– Видал? – спросил тот.

– Видал.

– А ты кто?

– Я? Шулер

– Ха-ха-ха! Хорошо, что капо не слышит. А то он подумал бы, что и ты над ним издеваешься! Значит... ты счастьем помогал? А тебя диспетчером сюда назначили. Сознайся, ты с этим назначением смухлевал.

№ 104231 ничего не ответил.

– Но диспетчером сможешь быть?

– Надеюсь.

– Надеются невесты! – он прошелся по конторе, дотронулся до бронзового письменного прибора и продолжил: – Карточки на поступающие в ремонт машины выписываются в трех экземплярах. Один экземпляр остается в картотеке, другой идет в цех, по нему выписывается наряд, третий поступает в лагерную бухгалтерию. Этот экземпляр ты перед уходом с работы будешь передавать мне. Когда машина поступает в ремонт, дефектная ведомость составляется мастером. Ты только следишь за выполнением заказа. С марками машин знаком?

– Приблизительно.

– Глубоких знаний не требуется. Здесь, – он показал на картонный ящик, – паспорта машин, они остаются в конторе, пока машина в ремонте. Сейчас их около 270. У нас два гаража, но один не в счет: в него свалены вещи сожженных, их разбирает специальная команда... нас не касается. Иногда только люди из этой команды приходят сюда – кто перевязать палец, кто за порошком от поноса... Придется тебе и этим делом заниматься. Ключи от аптечки...

Он не закончил фразу. В контору вошел начальник Зибальд. Енджиховский вытянулся в струнку и молодцевато доложил:

– В конторе двое: шрайбер команды и присланный на должность диспетчера заключенный №104231.

– Этот? – спросил Зибальд, показывая пальцем на №104231, хотя вопрос был излишним.

– Так точно!

– Дожили, – сказал Зибальд, – теперь уже жидов на должность диспетчеров стали назначать!

– Думаю, что подойдет, – посмел заметить Ежи. – Я его уже проэкзаменовал.

– Тебе нечего думать, думаю я!

– Слушаюсь!

– По-немецки писать умеешь? – спросил Зибальд 104231-го, который перед начальственным напором ретировался за стол. – Дай ему карандаш и бумагу! – приказал он Ежи.

– Пиши: Чемберлен, Черчилль, Петэн, Рузвельт, Сталин...

№ 104231 с удивлением стал писать эти фамилии.

– А теперь пиши: гандикап, Марсельеза, колхозы, инфляция, уик-энд.

Он взял бумагу и внимательно прочитал написанное.

– Гм... – произнес он, – одно можно сказать точно: немецкий язык знает в совершенстве.

– Господин шеф, – отважился заметить Ежи, – он умеет делать фокусы.

– Какие фокусы?

– С картами.

– Да? Жаль, что тут нет карт.

– Их можно вот этими паспортами заменить. Не знаю только, получится ли, – сказал № 104231, показывая свою изуродованную руку.

Когда-то один иллюзионист выучил его нескольким фокусам, для выполнения которых не требовалось большой ловкости рук. Не прикасаясь к паспортам, он попросил Зибальда перетасовать их, вынуть любой паспорт, запомнить его и положить обратно. Потом взял из рук Зибальда паспорта, растянул их гармошкой. Один из паспортов упал на пол, №104231 поднял его. Это оказался паспорт машины МАН, выпуск 1940 года, номер мотора 151273...

– Черт побери! – воскликнул Зибальд.

– Зачем вы засунули паспорт трофейного «бетфорда» в левый карман брюк? – спросил №104231 у Ежи. Тот с обалдевшим видом извлек паспорт из кармана.

– Во дает! Записать в команду, представить мне на утверждение! – распорядился Зибальд. – Но в делах – никакого мошенничества! А то 25 по заднице, и никаких. Чтоб у меня был порядок! Понятно?

И, удовлетворенный произведенным впечатлением, Зибальд обвел присутствующих взглядом.

– Самый безобидный из всех зверей, – заключил Ежи, когда немец вышел. – Научишь? – спросил он, показывая головой на паспорта машин.

– Почему нет...

Их разговор прервал шум у дверей. Дверь распахнулась, вошел Милиц. У него был растерянный вид.

– Ну и скажу я вам! Первый раз вижу еврея, который умеет работать! Да еще как! молот у него так и танцует в руках... А это что здесь надо? – спросил он, показывая на № 104231.

– Шеф велел зачислить на должность диспетчера.

– Диспетчер – инвалид, еврей – кузнец! Ну и дела...

4

Так № 104231 стал диспетчером авторемонтного завода. Сначала ему казалось, что он никогда не запомнит марки машин, находящихся в ремонте. Здесь, помимо немецких, стояли трофейные машины. Запчасти подходили к одним, но не подходили к другим. 104231-му казалось, что он заблудился в джунглях.

Пан Трёмбовицкий несколько раз пытался заговорить с ним, но безуспешно. «Новый диспетчер какой-то бирюк», – отозвался о нем завскладом. № 104231 не знал, что, помимо пана Трёмбовицкого, за ним следят сотни глаз. Однажды, зайдя под вечер в контору, чтобы занести в картотеку принятые на ремонт машины, он нашел там богатырского сложения заключенного. Тот, прикрыв спиной дверь, спросил:

– Новый диспетчер?

– Да. А что?

– Меня Пашкой звать. Пашка электрик, будем знакомы.

№ 104231 кивнул и стал ждать, пока тот не объяснит, зачем пришел. Но парень молчал.

– Вы зачем пришли? – спросил наконец №104231 по-русски, заметив на куртке вошедшего русский «винкель»¹.

– Из Москвы? – спросил тот вместо ответа.

– Почему «из Москвы»? Из Львова.

– У вас чистая русская речь.

«Он меня поймал, – подумал №104231. – Этому парню па-лец в рот не клади!»

– Я долго жил в России. До революции, – добавил он без всякой надобности.

– И вы еще не забыли русской язык?

– Как видите... А вы откуда?

– Из Адлера. Слыхали?

– Немецкое название. Где это?

– На Черном море. Есть даже такая песня, и в ней слова: «Адлер – в венке снежных вершин»... Слыхали?

– Как будто слышал. Только мелодию не запомнил.

Парень рассмеялся, показав два ряда мелких, но крепких зубов.

– Да я сам эту песню придумал. А мелодию нужно еще досочинить.

– Зачем вы так?

Парень виновато опустил голову.

– Ладно, не буду. А про песни скажу: у нас в двадцать втором бараке после работы собираются ребята. Поют. Барак молчит, прислушивается. А мы поем... Даже эсэсовцы, и те приходят послушать. Мы иногда в песню такое ввернем... Если бы понимали, нам бы влетело. Хотите, приходите песни петь.

– У меня голоса нет.

– Голос у петуха есть. Для песни душа нужна.

– А если у меня и души нет?

– Русских без души не бывает. У немецких индюков другое дело, у них душа под номерком сдана в цейхгауз.

– Я же не русский...

Парень махнул рукой:

– Все равно что русский.

¹ *Винкель* (нем. Winkel) – треугольная нашивка на одежде узников концентрационных лагерей. В зависимости от категории заключенные носили винкель разного цвета.

– Почему так думаете?

Парень молчал. № 104231, чтобы прервать молчание (он чувствовал, что парень не зря зашел) спросил:

– Давно здесь?

– Год и четыре месяца.

– За что?

– За побег.

– А на заводе?

– На заводе с самого начала.

– Специальность есть?

– Автобусы водил. Сочи – Сухуми. До того, как железную дорогу достроили. Потом служил в танковых частях. В плен около Ростова попал. А вы где?

– Я не пленный. Меня арестовали.

– Где?

– Во Львове.

– Я думал, немцы там всех евреев уничтожили. Вам повезло.

– Что вы хотите этим сказать?

– Нелегко быть евреем?

– Своей нации не выбираешь.

– Что у вас с рукой? – без всякой связи спросил Пашка.

– Ранение.

– На фронте?

– Почему обязательно на фронте? Бывает и в тылу.

– Рука болит?

– При плохой погоде

– Говорят, руки или ноги нет, а болит. Правда?

– Бывает... мы за чужую жизнь болеем, – сказал № 104231, приспособиваясь, как он полагал, к речи Пашки. – Может быть потому, что эта наша жизнь когда-то чужой жизнью была.

– Если бы у меня были дети, я бы им запретил в войну играть...

Оба вдруг замолчали, почувствовав, что переступили через какую-то черту, через которую переступать, пожалуй, не следовало бы. Есть вещи, как первый любовный поцелуй, о которых не говорят, чтобы не обнаружить своей чувствительности, особенно неуместной здесь, в лагере смерти, у людей, из которых один должен скрываться, а другой делать вид, что он это-

го не знает. В этом была ложь, которой они одновременно оба устыдились.

— Хватит болтать пустое! — сказал Пашка. — Давай говорить напрямик!

В первое мгновение № 104231 был намерен все отрицать. Возможна провокация. Если он на нее поддается, это может погубить Яшу и других... Но, если он отстранит протянутую руку...

Он подошел к Пашке и, почему-то закрыв глаза, сказал:

— Говори!

— Зибальд тебе говорил, что придется поработать санитаром? — спросил Пашка.

— Ничего не сказал.

— И тебе никто не говорил, зачем тебя сюда послали?

№ 104231 отрицательно покачал головой.

— В лекарствах разбираешься? — продолжал задавать вопросы Пашка.

— Немного.

— Открой шкафчик! — показывая на шкафчик с эмблемой Красного креста, продолжал он.

В замке торчал ключик, который, однако, не открывал.

— Не открывает? — спросил Пашка, глядя на напрасные старания № 04231-го. — Может быть, этот подойдет? — он вынул из кармана брюк другой ключик.

К удивлению, Пашкиным ключом дверцы шкафчика легко открылись. В нижней половине шкафчика был набросан перевязочный материал, стоял стерилизатор. На верхней полке выстроились рядами пузырьки с лекарствами, были сложены коробки, пробирки и таблетки. № 104231 принялся рассматривать лекарства. Кивнув, он собирался закрыть шкафчик, но Пашка, положив на дверцу руку, помешал ему это сделать.

— Однако ты не наблюдателен, товарищ!

— А что?

— Смотри! — Пашка, опустившись на корточки, движением руки сгреб в сторону пакеты с ватой и бинтами. Дно шкафчика оказалось значительно выше уровня пола. — Видишь? — и Пашка поставил свою ручищу ребром на пол. Он указал на щель между боковой стенкой шкафчика и доской полки, засунул пальцы в эту щель и сдвинул полку с места. Под полкой оказалось углу-

бление, из которого Пашка извлек фанерный ящик. «Инсулин в ампулах» – прочел № 104231 на крышке.

– Хорошее лекарство? – с усмешкой спросил Пашка.

– Кто в лагере смерти лечит диабетиков? – № 104231 взял ящик в руки, но тотчас опустил его. Ящик весил добрых пять килограммов.

– Осторожно! – предупредил Пашка. – А то разобьешь ампулы, они, может, для чего и пригодятся.

№ 104231 осторожно приподнял крышку ящика и от удивления чуть его не уронил. Ящик был полон золотых монет, украшений, обручальных колец.

– Золото? – спросил он, хотя вопрос был совершенно лишним.

– Точно.

– Это же целое состояние!

– Как видишь.

– Откуда все это?

Пашка облизал указательный палец и показал вверх.

– Ты заходил во второй гараж?

– Это запрещено. Капо всем объявил.

– Мхм... А ты делаешь только то, что разрешено?

– Ну, как сказать... не всегда.

– Не всегда... И то хорошо! Заглянул бы во второй гараж и увидел бы детские коляски, куклы, коробки с духами, с дамскими чулками – все, что осталось от тех, кто в камин ушел... И в этой куче вещей, которые когда-то вызывали радость, которыми шеголяли, копошатся, как черви, сортирует это добро бригада евреев, ты их видел при выходе из лагеря и при возвращении в лагерь. Один парнишка из этой бригады нашел вещи своей сестры...

– С ума сошел?

– Здесь от таких вещей с ума не сходят. Привыкли.

– Нет, нельзя привыкнуть! – № 104231 выкрикнул это, совершенно забыв о том, что его удивило: Пашка говорит так же, как он сам.

Пашка между тем продолжал:

– Для них золото, что песок. Что им с золотом делать? Они его обменивают на хлеб, маргарин, мармелад. У нас уборная обшая. Да и сюда заходят на перевязку, лекарство принять. Это бу-

дет твоя обязанность: лечить и, при случае, может быть удастся что-нибудь выменять. Скажешь мне, мы достанем. Только без обмана... Ты не обижайся, что я так... мало ли что... Золото может и жизнь спасти, а тут оно без толку пропадает. Ну и обмануть человека может... засосать, как болото. А вот эсэсовцы на золото падки. И себя, и Гитлера за золото продадут. И чем дальше, тем больше. Мы этим пользуемся... Ты будешь у нас вроде кассира. Согласен?

– А если золото найдут?

– Нужно сделать так, чтобы не нашли.

– Так почему оно тут хранится?

– В мастерских и в гараже обыски устраивают. Здесь не додумаются. Хозяин здесь Зибальд. А он сам в пай входит... Слушай! Тебя никто не неволит. Если чувствуешь, что слаб, что можешь заломаться, откажись. Тебе никто слова не скажет. Но если решил, что с нами, так до конца! Ну, как?

№104231 посмотрел Пашке в глаза и кивнул.

5

Пашка не сказал одного: с предателями жестоко расправлялись. Их находили задушенными у уборных, с ними происходили несчастные случаи на производстве, они гибли в бараках или были застрелены «при попытке к бегству».

После вечерней поверки № 104231 отправился к Яше. Яша готовил какие-то списки и выслушал 104231-го, не отвываясь от работы.

– Одно ясно, – сказал № 104231, – Пашку предупредили. Кто бы мог это сделать?

– Кто-кто! – передразнил его Яша. – Лагерь – не спальня вагон, кто взял билет, тот и едет. Проводник может своих пассажиров и не знать. А мы обязаны знать, кто с нами путешествует.

– Выходит... я уже давно об этом думал... здесь существует организация.

– Много будешь знать, скоро состаришься.

– Когда я здесь лежал, ты говорил со мной иначе

– Милый внучек, я не твоя бабушка! – Яша ткнул № 104231 пальцем в плечо. – Иди. Что ты думаешь или знаешь, оставь при себе... до поры до времени.

В кармане Яши лежал вызов к окошку № 3. У этого окошка назначали меру наказания «без заключения в бункер».

Когда №104231 вернулся в свой барак, его подозвал шрайбер.

– Иди к старосте, он тебя звал.

№ 104231 с опаской постучал у дверей кабинки старосты. Как правило, старосты были прислужниками эсэсовского начальства и действовали по его указке.

Однорукий староста барака «Гётц – железная рука», как его прозвали заключенные, был здесь одним из старожилов. Про него говорили, будто он был замешан в каком-то заговоре и за это попал в лагерь. Никто не мог сказать, что он кого-нибудь зря обидел. Заключенные его уважали за незаурядную силу – он мог пальцами левой руки раздробить древко метлы – и за то, что Гётц этой силой никогда не злоупотреблял. Эсэсовское начальство ценило его за образцовую дисциплину, которую он установил в своем бараке.

Когда № 104231 вошел, староста барака сидел за столом и ужинал. На деревянном подносе перед ним лежали четвертушки хлеба с аккуратно нарезанными порциями маргарина и конской колбасы – дневной паек. У каждой порции лежала карточка с номером заключенного, который по той или иной причине ее не получил. Шрайбер барака слыл педантом, и Гётц говорил, что он ему вполне заменяет потерянную правую руку.

– Мне говорили, – сказал Гётц, – что ты знаешь языки. С украинцами, поляками и русскими я, как кастрированный баран. Что они блеют, я не понимаю. Ты будешь у меня переводчиком, согласен?

– Заключенным не положено возражать.

– А я кто? Не заключенный? Но ты, мальчик, что-то не то... врешь! Я видел, как ты в день прибытия дрался из-за черного свитера, когда у тебя его отбирали.

№ 104231 опешил. Если Гётц узнал в нем цуганга Якова Берзелина, то это для него могло дурно кончиться. Он не знал, что сказать.

– Стоило драться, – спросил Гётц.

– Да.

– Рассказывай.

– Свитер подарила мне в тюрьме одна женщина, которую потом казнили... Это было зимой 1942 года, а зима была холодная. В тюрьме топили плохо, а когда водили на прогулку по четвергам, я замерзал. Женщина увидела меня из окна своей камеры... она писала мне в записке, которую я получил вместе со свитером по почте... – № 104231 изобразил жестом спускаемую вниз веревку. Удивительное дело! Гётц понял этот жест.

– Алекс?

– Да.

– Имя этой женщины?

– Марта Зейлер.

– Марта Зейлер? – воскликнул Гётц, притягивая № 104231 за рукав к себе. – Ты знаешь Марту Зейлер?

– Я ее не знаю, не видел ни разу. Но я знаю, что ее казнили осенью 1942 года. Она вязала мне свитер уже приговоренная к смерти. Нацисты ждали только, чтобы она разрешилась от бремени. Когда она прислала мне свитер, шел седьмой месяц ее беременности.

Гётц молчал. Он смотрел в одну точку. Глаза его увлажнились.

– Марта Зейлер ваша знакомая, староста? – спросил № 104231.

Гётц ничего не ответил.

– За свитер я бы дрался до смерти! – сказал он немного спустя.

– Они были сильнее меня, – пытался оправдаться № 104231. – Два дюжих капо.

– Драка еще не закончена. Драка продолжается! – сказал Гётц и сжал руку 104231-му повыше локтя с такой силой, что тот вскрикнул от боли.

– Бери хлеб! – сказал староста, показывая глазами на поднос с нарезанными порциями хлеба.

– Но ведь этот хлеб для других! – возразил № 104231.

Гётц усмехнулся:

– Карточки с номерами лежат здесь для отвода глаз... Голодных ведь много, надо им как-то помочь. Приходи по вечерам, а то мусульманином стал, Жак.

– Вы знаете?!

– Знаю!

- Как?
- Это не твое дело, товарищ.
- Я не...
- Молчи. В следующий раз расскажешь.

№ 104231 рассказал старосте барака историю Якова Берзелина. Он рассказал, как его спасли от расстрела и привезли в Берлин в тюрьму для привилегированных на Принц Альбрехтштрассе, как ему предложили выступить по радио с обращением к русской творческой интеллигенции, как он отказался и был за отказ переведен в тюрьму Алекс, где содержались те, с которыми нацисты намерены были расправиться; как, отчаявшись увидеть солнце и зелень, он доверился соседу по камере, которого должны были выпустить, с тем чтобы тот известил шведское посольство, представлявшее интересы СССР в Германии во время войны, о том, что его, Берзелина, держат тут в застенке. О том, как соседа действительно освободили через несколько дней, а Жака, вызвали к «отцу дома» – хаузфатеру и в течение часа избивали, требуя, чтобы он сказал, как связался с волей. И как за нарушение тюремного режима его направили сюда, в штрафной лагерь.

6

Днем Жак превращался в № 104231, а по вечерам становился прежним Жаком Берзелиным. Он говорил с Гётцем об искусстве, как оно важно для людей.

Гётц считал, что искусство важно не само по себе, а благодаря той роли, которую оно играет в жизни общества. В настоящее время самое важное – борьба с фашизмом; если фашизм победит, то для искусства места не останется. Гётц говорил о том, какое духовное опустошение вызвал нацизм в Германии. «Можно натренировать идиота, чтобы он стал рекордсменом по толканию ядра, но нельзя его натренировать, чтобы он стал поэтом. Тут у наци получилась осечка. Люди искусства должны занять свое место в борьбе».

Сам он был далек от искусства. Сын рабочего, он работал на заводе Сименс-Шукерт в Берлине. В 22 года вступил в коммунистическую партию. К приходу к власти нацистов ему было 34 года. Он ушел в подполье. В течение трех лет ему удавалось избегать ареста. Арестовали его при распростра-

нении воззвания компартии, напечатанного в одном из проспектов «Крафт дурьх Фройде»¹, рекламирующих путешествие в Норвегию. Гестапо не знало, кто он, а то бы не избежать ему смертной казни. Вместо этого он под вымышленным именем оказался в концлагере. Его назначили на административную должность старосты барака, считаясь с его авторитетом среди заключенных и с тем, что его правая рука была ампутирована по локоть – во время пытки в тюрьме ему раздробили все пальцы, – и поэтому он, несмотря на силу, не был способен к физическому труду.

Он пользовался малейшей возможностью, чтобы отстаивать жизнь и права заключенных. Он знал, как никто, механику лагерной жизни, слабости эсэсовских начальников и умел ими пользоваться. В доверенном ему хозяйстве царили чистота и порядок, как ни в одном другом.

Как-то незаметно близость со старостой изменила положение № 104231. Он стал лучше питаться, с нижней койки его перевели на верхнюю, рядом с молодым мастером Аароном Ротом, его замызганную одежду заменила опрятная форма первого срока. Художник барака нарисовал ему изящный номер и сделал красно-желтую звезду, которую Жак пришил под нагрудным карманом своей полосатой куртки. Он приобрел ложку из нержавеющей стали и заменил свою металлическую миску фаянсовой. Признаки принадлежности к лагерной аристократии сказались и на его движениях: исчезли суетливость и неуверенность загнанного животного. И, удивительное дело, его перестали пихать, кричать на него, ему стали даже уступать дорогу и очередь у умывальника.

По вечерам в кабинке Гётца он погружался в разговоры на излюбленные темы. Он мог рассуждать о чем угодно, «Железная рука» его не прерывал, лишь иногда вставлял свое, всегда уместное, слово, делал замечание, возвращая Жака к действительности.

– Герой, – твердил Жак, – был до сих пор олицетворением классового идеала, а героизм – осуществлением классовой мечты, даже ценой гибели героя. В сущности, герой всегда был

¹ Национал-социалистическое объединение «Сила через радость» (нем. Kraft durch Freude, КДФ), занимавшееся вопросами организации и контроля досуга населения.

жертвой, приносимой на алтарь классовых устремлений. Каким будет герой, когда осуществится мечта пролетариата о бесклассовом обществе? Герой умер бы, если бы прекратилась мечта, он умер бы так же, как общество, которое перестало бы мечтать. Но так как этого случиться не может, потому что жизнь будет продолжаться и за чертой деления на классы, то герой останется, только из объекта классовой мечты он превратится в субъекта вне классовых мечтаний, то есть станет действующим мечтателем. Сейчас герой тот, кто больше убивает. Будущий герой будет не уничтожать, а творить.

На это Гётц отвечал:

— Не уничтожив фашизм, мы не сможем созидать. Мы должны быть злыми сегодня, чтобы завтра быть добрыми... Я часто думаю над тем, каким в действительности будет коммунизм. Из царства необходимости мы перейдем в царство свободы... Но как будет выглядеть эта свобода? Человек человеку волк... для волка свобода — рвать на куски другого. Нельзя предположить, что при коммунизме волки исчезнут. Но люди ведь вывели породу служебных собак из волков...

Жак не слушал того, что говорил Гётц, он думал о своем. Вечера, проведенные с Гётцем, давали ему возможность высказываться. Но вслушиваться в чужие мысли он еще не научился.

«Почему мы отделяем себя от жизни? — думал он. — Все мы, художники, поэты, артисты, остаемся по существу зрителями, с той только разницей, что кое-кто из нас сидит в партере, другие сидят в ложе, третьи на галерке. Мы отделяем себя от жизни видимым или невидимым барьером. Должно народиться новое искусство, художник сможет участвовать в жизни, произведение сольется с бытом. Это приведет к дилетантизму? Но ведь деревья растут корнями вниз!»

Невероятно! — скажут иные. — Чтобы в лагере смерти люди размышляли об искусстве, о героизме, о коммунизме? Невероятно, но так было. Люди углублялись в лес мыслей, чтобы, надышавшись выделяемым ими кислородом, сохранить способность к действию. Только мысль способна создать атмосферу, необходимую для действия. Действие без мысли задохнется, но ошибается тот, кто считает, что сама мысль уже есть действие.

7

В обеденный перерыв к № 104231 в контору вошел косой еврей. Рука его была перевязана тряпкой. Прикрыв за собой дверь, он спросил: «Можно?»

№ 104231 отодвинул миску с супом, подставив под ложку кусок хлеба, чтобы ни одна капля варева не пропала.

– Что такое?

– С рукой у меня...

– Покажите!

Посетитель медленно развязал руку и протянул ее зажатой в кулак. Он на секунду-другую разжал пальцы: на его грязной ладони блеснул массивный перстень.

– Что это?

Еврей снова разжал пальцы. При ближайшем рассмотрении перстень оказался изображением двух соединенных в ритуальном благословении рук, пальцы которых держали красный камень в виде падающей капли крови.

– Вы принесли продать?

– Можно и продать.

– Что вы хотите за эту вещь?

– Вещь – это мне нравится! Посмотрите получше... Вы видите, что это за «вещь»?

– Перстень.

– Перстень... но какой перстень?

– По-видимому, золотой, с рубином, старинной работы.

– Этот перстень вам ничего не говорит?

№ 104231 пожал плечами. Еврей еще больше скосил свои и без того косящие глаза.

– Так я вам скажу, что это такое: это перстень царя Давида.

– Прямо-таки...

– Можете мне поверить. Я антиквар. Имеется перстень царя Давида и имеется перстень царя Соломона. Царь Соломон спросил у мудреца: «Можешь ли ты подарить такой предмет, который бы утешил меня в горе и умерил мою радость, когда она чрезмерна?» – И мудрец подарил царю Соломону перстень, на котором с внутренней стороны была надпись «Вегам за завоир», что значит, если вы не знаете – «И это тоже пройдет»... Я этот перстень Соломона ношу вот где... – и он постучал себя по лбу. – И это помогает мне переносить все эти дела... Но это перстень

царя Давида, Я не говорю, что это именно тот перстень, который царь Давид подарил своему верному слуге и военачальнику Урии Хеттеянину. Но это один из тех перстней, которые говорят о вероломстве героя-царя Давида, отца Соломона. А почему это так, я сейчас вам расскажу. У Урии была жена-красавица Вирсавия. И должно было так случиться, что царь Давид воспылал к ней страстью и возжелал ее как наложницу. И чтобы это дело устроить и остаться «с красивым лицом», он послал Урию Хеттеянина на стены града филистимлян, где до него уже пали храбрейшие. И Урия пошел на стены града филистимлян и был убит, а царь Давид овладел его вдовой. И Вирсавия понесла от него и родила сына Соломона. А когда разнесся слух о том, как все это произошло, и некоторые стали корить царя за хитрость и вероломство, то первосвященник вышел на площадь перед царским дворцом и заявил, что если царь и герой совершает подлость, так это не подлость, а государственная мудрость, и никто винить его не имеет права.

— Что вы говорите?! — с возмущением воскликнул № 104231. — Подлость остается подлостью, кто бы ее ни совершил, а подлец не может быть героем!

— Это не я сказал, это говорил первосвященник из фарисеев. И не я, а жрецы пишут историю. Но я удивляюсь: разве вы эту историю в первый раз слышите?

— Никогда раньше не слышал.

— И перстень этот видите в первый раз?

— Я его никогда раньше не видел.

— Тогда вы не еврей Брон из Львова, а некто другой.

— Как это? — не вполне уверенный в себе, возразил № 104231. — Вы мне будете говорить!

— Это вы мне будете говорить! Перстень царя Давида — семейный перстень Бронов, а сами Броны из рода царя Давида. Поэтому, услышав вашу фамилию, я подумал, что будете иметь к нему интерес. Скажите, вы знаете вашу родословную?

— Мою родословную?

— Ну да. Каким образом Броны появились здесь, на Востоке?

— Нет, не знаю.

— Первый Брон, который появился в этих краях, был интендант царя Наполеона — Исаак Брон из города Нанси во

Франции. А как случилось, что он остался здесь и положил начало роду Бронов в Польше, то это было так: Исааку Брону нужен был фураж для конницы Мюрата, а самым большим торговцем фуражом и хлебом был в то время в этих краях реб Бер Зеель из города Гродно.

— Как вы сказали?

— Не кричите так, нас могут услышать. А если хотите знать конец этой истории, то молчите... Так этот самый Исаак Брон пошел к Бер Зеелю и при этом познакомился с дочерью Бер Зееля, и та ему так понравилась, что я не могу сказать... А вечером в офицерском собрании вышел спор. Кто-то из офицеров стал утверждать, что всех евреек можно купить за деньги. И Исаак Брон обозвал его лжецом. Был между ними крупный разговор, и Исаак Брон вызвал того офицера на дуэль. И тот офицер утром через день всадил Исааку Брону пулю в плечо, и это, возможно, спасло ему жизнь, потому что почти вся армия Наполеона полегла в России, а Исаак Брон остался в Гродно и с помощью искусных еврейских врачей и нежных ручек дочери Бер Зееля поправился, женился на ней и имел кучу детей... Ну, так вы хотите иметь этот перстень? Вот голова! Я не сказал, что этот перстень царя Давида Исаак Брон унаследовал от своего отца, а тот по прямой линии от кораблестроителя Исаака Брона из Кадикса в Испании, чьи корабли сам Магеллан хвалил. Но это уже другая история.

№ 104231 с недоумением, смешанным с каким-то суеверным чувством, глядел на косоного еврея.

— Я уже спрашивал, что вы за него хотите?

— Если вы спрашивали, то я извиняюсь! Я голодный человек. Я хочу за перстень две буханки хлеба, немного маргарина, ну, скажем косточку, сыру кило... я не требую швейцарского, ну и супу, каждый день по миске в течение трех недель.

— А если вам выплачивать по частям?

— Так суп вы и так будете выплачивать по частям, а остальное мне нужно сразу, потому что у меня какая гарантия, что вас не выпишут на газ раньше, чем вы выплатите мне свой долг.

— Ведь и вас могут уничтожить раньше, чем вы сумеете получить сполна.

— Это будет ваше счастье...

– Знаете что? Для того чтобы риск был обоюдный, вы мне вручите этот перстень тогда, когда я полностью расплачусь с вами.

– Нет, перстень я оставлю вам. Риск есть риск! Ладно! Риск есть риск, но только задаточек!

№ 104231 вынул из ящика стола пачку сухарей. Глаза косого еврея разгорелись. Он взвесил пачку в руке.

– Вы можете не взвешивать. На пачке написано – 500 грамм. Сдобные сухари, какие к чаю подают. Что вы на это скажете?

– Мне деликатесы не нужны.

– Зачем эту пачку за полбуханки хлеба.

– Но ведь буханка весит 1200 грамм.

– А что вы хотите, чтобы она весила пуд?

Вечером того же дня Гётц позвал Жака. Он извлек из-под матраца черный свитер с зелеными обшлагами и воротником и, не разъясняя, как его достал, вручил Жаку.

– Тебе он на вырост...

Глава 5. Секретарша гауптштурмфюрера

1

Сегодня воскресенье, день отдыха. На работу не гонят. Пусть, как всегда, в пять часов утра раздастся гонг, но можно принять дневную порцию хлеба, лежа в постели, поблагодарить дневального кивком головы, как в прежней жизни благодарили подававшего на стол официанта.

Была ли она, эта «прежняя жизнь»? А может быть, ее и не было?

Некоторые грезят: «Ты знаешь, что я ел когда-то? Я ел песочный торт! Ты знаешь, что такое песочный торт? Какой вкус, какой аромат!» Или: «Вот у меня жена... Что за грудь! Ты никогда таких грудей не видел... А я мог на них голову класть, ее груди меня поднимали и опускали, как морские волны...»

Кто не был в концлагере, не знает, как можно наслаждаться покоем. Вероятно, так наслаждается человек смертью, умирая после мучительной болезни. Покой – это сказка! Покой – преддверие рая!

Индусы этот покой знают, они его называют нирваной.

Но Яша и Пашка, пренебрегая покоем, ушли спозаранку в прачечную. Там их ждал Руди.

Руди читает вслух. Паша мало что понимает из того, что читает Руди. Слова до него доходят сквозь грохот собственных мыслей. Ведь на них троих лежит ответственность за жизнь и смерть товарищей! Жизнь и смерть! Как будто в этом только дело! Они пишут историю, От них зависит, какой оборот она примет. Ибо жизнь лагеря – это жизнь вообще, с разницей только в количестве. И история лагеря – это история человечества на «данном

отрезке времени». Где он эти слова слышал? На каком-нибудь докладе? Или вычитал в газете? Ужас, что кто-то мог сказать такое! Как будто время можно резать на части, как мануфактуру для костюма! Или отделить лагерь от того, что делается в мире! Правда, условия здесь другие, особые. И людей как будто отделили, требуют от них, чтобы они превратились в роботов, нет, не требуют, а заставляют быть роботами. Но нельзя у людей отбирать все людское, нельзя их втискивать в рамки придуманных правил, законов, постановлений. Человек, у которого отняли все людское, остается человеком, как капля, как ее ни дели, будет принимать форму капли.

Руди перестал читать и поднял глаза. Несколько прачек, которые, несмотря на воскресный день, стирали белье состоятельных заключенных и эсэсовского начальства, ушли развешивать его во двор.

— Я вас позвал, — сказал Руди, — чтобы обсудить сложившееся положение. На днях меня вызвал Грубер и спросил, сколько человек не евреев работают в прачечной и сколько нужно, чтобы укомплектовать обе смены одними евреями. Я узнавал: предстоит отправка военнопленных русских и поляков. Чехов уже вывезли в глубь Германии. Русские стоят у Жешова и Тарнова, немцы опасаются, как бы с приближением фронта не вспыхнуло восстание русских военнопленных и бывших военнослужащих польской армии. В лагере хотят оставить, кроме евреев, обреченных на смерть, только немцев — старост, капо и административный персонал. Так что тебе, Пашка, предстоит отправка, вероятно, в Бухенвальд. Ну, там много ваших.

Пашка стал с силой выжимать белье, а потом бросил его обратно в корыто с мыльной водой.

— Все начинать сначала!..

— Почему? — спросил Руди. — Я ведь остаюсь, и Яша останется.

— Я не об этом... другую тройку можно создать, но организация наша охватывает всех, кто хочет бороться. Без национальных различий. И нацелили мы ее на вооруженное восстание.

— В том-то и дело! — воскликнул Руди.

— Я думаю, — сказал Пашка, — что установка должна оставаться прежней, — он посмотрел на Яшу. Яша низко склонил свою голову над корытом.

– Не надо фантазировать! – возразил Руди. – Сюда стянута эсэсовская дивизия «Викинг». Неизвестно для чего. То ли чтобы после пополнения снова отправиться на фронт, то ли для участия в уничтожении заключенных... Как ты будешь бороться против отборных частей? Неужели евреи, которые останутся здесь, способны на что-нибудь другое, кроме рассуждений о том, что делать, когда ничего нельзя сделать?

– В Варшавском гетто они смогли поднять восстание! – воскликнул Яша.

– Там были одни польские евреи. А здесь есть еще чехословацкие, немецкие, французские, голландские и еще не знаю какие евреи. Это не народ, а интернациональный сброд! Как будто ты не знаешь, Яша, как они между собой грызутся! И с ними ты хоч...

Он оборвал себя на полуслове. Дверь в прачечную открылась. В дверях показался пожилой заключенный с тоненькой нафабренной ниточкой усов и цветным платком, обвязанным вокруг шеи.

– Я хотел бы дать постирать белье за плату.

– А ты не хочешь получить коленкой под зад, бесплатно? – спросил его издевательски Руди. Он как будто только что прервал чтение.

«...Они повернули обратно, – читал Руди. – Вальдемар, сам не зная почему, ускорил шаг. Вот и сложенная из неотесанных камней ограда вокруг двора, вот сама усадьба с крыльцом, к которому ведет обсаженная липами тенистая дорога...»

Руди продолжал чтение. Вошедший деликатно кашлянул в кулак.

– Ты все еще здесь?

– Вот вы читаете всякие романы, а в Швеции издали книгу про наш лагерь.

– Знаешь что, проваливай! А то мы тебе тут такую Швецию пропишем!..

Заключенный исчез.

– И с такими ты хочешь поднять вооруженное восстание? – возмущался Руди.

– А что ты предлагаешь? – Яша не поднимал глаз от корыта.

— Для чего мы готовили автотранспорт? — сказал Руди. — Пашка скажет, кто из команды авторемонтного завода может после его отъезда продолжать работу, руководить саботажом по переоборудованию машин на газогенераторы. Пусть они расходуют побольше бензина, которого им не хватает. А лучшие машины надо оставлять с бензиновым мотором. На них мы вывезем из лагеря наши кадры. Пусть они догоняют нас на машинах, работающих на чурках!

— Значит, ты предлагаешь вместо восстания организовать побег! Так это надо понимать?

— Это единственное, что мы можем сделать.

— А ты забыл, что случилось после побега поляков в прошлом году? Каждого десятого из барачников, в которых они жили, расстреляли.

— Без жертв нельзя.

— И пусть другие жертвуют собой, а не ты.

— Ты думаешь, меньший риск бежать, чем остаться?

— Кого же можно прихватить?

— Это — как вы решите. Человек десять, двенадцать можно. Это реально. Теперь часто бывают налеты авиации. Воспользоваться суматохой и драпануть. Куда? В Бескиды. Там можно к партизанам присоединиться. До лесистых отрогов на машине, а дальше пешком. Золотишка прихватить, ручное оружие. В эсэсовскую форму одеться.

— А женщины?

— В женском лагере тоже есть наши товарищи.

— Если успеем...— Руди попытался шуткой обезоружить Яшу. — Я не возражаю, если ты себе хорошенькую деваху, пусть даже евреечку подберешь,.

— Деваху! А ты знаешь, что эти самые девахи со снарядами завода «Крупп-Унион» в лифчиках центнера два взрывчатки в лагерь принесли?!

Яша запнулся. Он виновато посмотрел на Пашку.

— А что они будут делать с взрывчаткой? — спросил Руди.

— Наверно зубы чистить.

— Почему я об этом ничего не знал?

— Потому, что ты не старался с «девахами» контакт наладить.

– Я не понимаю, – сказал Пашка, – о чем спор, вообще, зачем спорить. Если сведения Руди правильны, то не нам принимать решения. Будет другая тройка, она решит.

– Это дело на самотек пускать нельзя, – возразил Руди. – Тройка наша останется, только вместо Пашки придется кооптировать другого товарища. Пусть Пашка сам скажет, кого он вместо себя в тройку прочит. Только не русского и не поляка, а немца. В крайнем случае, не обязательно коммуниста.

– Почему это «не обязательно»?

– Потому что не всегда и не во всех случаях можно найти коммунистов для руководства. Мы все трое были до лагеря коммунистами. Мы составили ядро, и это ядро надо сохранить.

– Нас выбирали? Выбирали. Так пусть те, кто останется, и выбирают новую тройку.

– Еще не хватало, чтобы здесь выборы в парламент устраивать!

Позже Руди не мог вспомнить, сказал ли Яша что-нибудь или сразу же опустил на колени. Стоя на четвереньках, он стал мотать головой. Руди опустил книгу, Пашка подхватил Яшу под мышки и пытался поставить его на ноги.

– Не надо, – прошипел он сквозь зубы.

– Что с тобой?

–...Двадцать пять... в задницу.

Руди и Пашка остолбенели.

– Почему ты ничего не сказал? Можно было устроить тебя в больницу или дать кое-что эсэсовцу, чтобы он...

– Некогда было... – ответил Яша. – Нет, нет! – сказал он, когда увидел, что Пашка придвигает ему ящик из-под мыла. – Мне бы лечь на живот...

Руди встал у окошечка. Он все еще держал книгу в руке, засунув между страницами указательный палец.

– Это тебе расплата, Яша, за то, что ты стал партизанить в последнее время. Сначала эта история с подменой трупа, потом твои контакты с женским лагерем, сам рисковал головой, да еще и организацию под удар поставил.

– Тогда я тоже партизанил, – отозвался Пашка. – Ключ от шкафчика я доверил товарищу, которого Яша спас.

Лицо Руди налилось кровью:

– Оба вы мне ответите за развал организации!..

Он не успел досказать, как дверь прачечной открылась и в ней показалась немного сутулая фигура гауптштурмфюрера Губера.

– Внимание! – крикнул Руди и вытянулся в струнку.

Старший «рапортфюрер» рыбьим взглядом своих без ресниц, широко расставленных глаз обвел помещение прачечной и остановил его на Руди.

– Что вы здесь делаете?

– Сегодня воскресенье, господин гауптштурмфюрер, товарищам надо было постирать, а я им читал вслух, чтобы не скучно было. – Руди протянул Губеру книгу.

Тот взял ее, перелистал и отдал Руди обратно.

– Хорошая книга! Продолжайте!

Он прошелся по прачечной, заглянул в котлы и ушел, ни на кого не глядя.

– Что ему здесь нужно было? – спросил Яша.

– Начальство что-то пронюхало. За нами следят. Нужно на время прекратить всякое общение.

– И «да здравствует» организация, – не удержался, чтобы не съязвить, Яша, хотя ему было совсем не до шуток...

2

– У Губера новая секретарша? Заключение? – Вопросы посыпались на Гётца, когда он, возвращаясь из комендатуры, первым сообщил эту новость.

Всякая женщина окутана таинственностью, особенно в мужском лагере. Исключение составляют женщины, размещенные во втором этаже второго барака. По утрам они выглядывают полуголые из окон, отыскивая в проходящих мимо шеренгах тех, с которыми провели ночь. Они распространяют теплоту постели, расточают любовное томление, втуне воображаемое тысячами облаченных в полосатые костюмы мужчин.

– Как выглядит? Лицо чуть скуластое, вздернутый нос, волосы с золотистым отливом, ноги длинные, с выделяющимися буграми икр... Что еще? Наорала на меня, что списки не в порядке. Наверное жена или любовница какой-нибудь видной нацистской шишки... Не говорите, всякое бывает. Вот, например, Эрна, заведующая борделем... Она спуталась с одним восточным рабочим. На них донесли, рабочего за осквернение арий-

ской расы повесили, а ее отправили в концлагерь. Раньше она работала на заводе «Крупп-Унион», пока не случилась история со взрывчаткой...

– Однако, – сказал Руди, – ты ее, видно, не по формуляру изучал!

Взрыв смеха. Руди с видом победителя оглянулся кругом. В его голове созрел план: Эрн...«Крупп-Унион», взрывчатка... Он еще покажет, кто он!

Вскоре его вызвали в комендатуру. Это позволило начать реализацию плана.

На его стук отозвался женский голос. За пишущей машинкой сидела молодая женщина.

– Меня вызвал господин гауптштурмфюрер на 10 часов.

– Подождите, скоро десять.

Она посмотрела через плечо на дверь кабинета, эсэсовца там не было.

– Одно мученье с этой стукалкой! – пожаловалась секретарша, перематывая ленту.

– Вы недавно научились печатать на машинке?

– Как видите.

– Вижу и поэтому удивляюсь.

– Чему?

– Что вас взяли на эту работу.

– А у вас от этого что-нибудь убыло?

– Вероятно, вас устроил кто-то из начальства?

– Какой догадливый!

– Начальство даром ничего не делает!

– И я тоже...

– Вы работали на заводе «Крупп-Унион»?

– Работала. А что?

– Вместе с Эрной?

Секретарша внимательно посмотрела на Руди.

– Вы ее знаете?

Руди с усмешкой пожал плечами.

– Ах, так! Ну, конечно...

– По этому поводу много говорят.

– По какому поводу?

– По поводу взрывчатки.

- Никакой взрывчатки там не было.
 - На снаряжном заводе не было взрывчатки?
 - Я не так сказала. Просто рассказывают всякие небылицы.
 - Вас там, наверно, кто-нибудь заметил и...
- Секретарша смерила Руди ироническим взглядом.

– Я заболела. У меня была флегмона голенного сустава. Меня оперировал доктор фон Вевис.

- Удивительно, что он вас не зарезал.
- Он оперирует, как бог!
- Может быть, но я не знаю ни одного случая, когда бы его пациентки выживали. Особенно, когда у них были красивые ноги. Для пересадки костей фон Вевис отбирает женщин с красивыми ногами.

– Спасибо за комплимент.

– Я вижу, вы умеете угождать начальству, – Руди решил перейти к фронтальной атаке. – Но вы будете иметь дело с заключенными. Заключенные могут для вас многое сделать, больше, чем вы думаете, но могут и свинью подложить...

– Мне на это наплевать!

– Как бы вы не просчитались.

– Лагерь научил меня одному. Я подневольное лицо. У кого есть власть надо мной, тому я и подчиняюсь, – она задвигала подбородком и округлила глаза.

– Сегодня власть у одних, завтра у других...

– Тогда я вам буду слуга.

– Тогда вы нам нужны не будете.

Она стала старательно печатать: в коридоре послышались шаги. Вошел Губер. Ничего не говоря, указал Руди на дверь в кабинет. Руди послушно пошел туда, Губер вошел за ним и запер дверь на ключ.

Слева от дверей, ведущих в кабинет Губера, находился врезанный в стену большой шкаф. Возле шкафа к стене был прикреплен реостат. Как только оба исчезли за дверью, секретарша встала. Секретарша осторожно открыла дверцы шкафа. Он был пустой, стенки его были обшиты медными листами, по обеим сторонам свисали прикрепленные к ним наручники. Шкаф был орудием пыток. Пытка электричеством, не оставляя следов, нередко приводила жертвы к умопомешательству, а иногда и к смерти.

Секретарша вошла в шкаф и приложила ухо к стене. Из кабинета Губера доносился голос гауптштурмфюрера.

— Как ты думаешь жить дальше? — спрашивал Губер.

— Как удастся, господин гауптштурмфюрер.

— Сколько времени ты в лагере?

— Четыре года.

— Достаточно, чтобы поумнеть.

— Я многое передумал за эти годы.

— Ты интеллигентный человек, Гезельхер. Я смотрел твое дело. Студент юридического факультета Венского университета. Что тебя угораздило бросить университет и записаться в красные банды Шуцбунда?¹ Какой это должен был быть удар для твоего отца, национально мыслящего человека, ты об этом подумал?

Долго не было ответа. Наконец он прозвучал, глухо и, как показалось секретарше, в сопровождении какого-то скрежета.

— Когда сынки богатых родителей, тупицы и бездари, унижают тебя, намекая, что ты сын стрелочника, хотя мой отец был не стрелочником, а составителем поездов... ищешь товарищей, которые не будут тебя попрекать происхождением...

— В рядах националистической партии тебя бы никто не попрекнул.

— Возможно, если бы вы пришли двумя годами раньше, я бы не вступил в коммунистическую партию.

— Рад это слышать, Гезельхер... Ты помнишь, что я тебе последний раз сказал?

— То, что вы мне тогда предлагали, господин гауптштурмфюрер, исключается. На хромую лошадь не ставят.

— Откуда тебе известно, что она хромая?

— Не надо быть особо проницательным, чтобы это понять.

— А ты знаешь, что мы располагаем тайным оружием, уничтожающим жизнь в радиусе пятнадцати километров?

— Оно настолько тайное, что, боюсь, никогда не станет явным.

— Так... Предположим, ты прав. Ну, и что? Война этим кончится? Нет! Лошадь может околеть, но бега будут продолжаться. Фашизм потерпит урон, но борьба против мирового коммуниз-

¹ Шуцбунд (нем. Schutzbund — Союз обороны), военизированная организация Социал-демократической партии Австрии в 20—30-х гг. XX в.

ма не прекратится, пока будут жить люди с достатком. Для этой борьбы нужен натренированный отряд. Ты по всем статьям подходишь. Решайся!

— Не понимаю, господин гауптштурмфюрер, почему вы так стараетесь меня завербовать?

— Так и быть, Гезельхер, я тебе объясню, в чем дело. У тебя хорошие данные. Член коммунистической партии, узник фашизма. После войны свидетельство человека с твоей биографией может послужить алиби для причастных к некоторым действиям. Ну, ты сам понимаешь...

— Тогда уместно спросить: что я буду за это иметь?

— Свободное перемещение во второй зоне, участие в распределении посылок Красного креста, посещение девиц, из которых любую можешь зарезервировать для себя, а после роспуска лагеря — деньги: все предпосылки, чтобы жить в свое удовольствие.

— Это значит — продавать первородство за чечевичную похлебку.

— Ну, если жизнь, о которой мечтают миллионы, ты называешь чечевичной похлебкой... А что касается твоего первородства, то красные попугаи права на наследство не признают. Только тебе придется подписать эту бумажку.

3

Когда гауптштурмфюрер отсутствовал, в кабинете обыкновенно восседал рыжий ээсовец. Он читал газету или дрессировал своего пса. Когда пес не выполнял «урока», ээсовец бил его арапником. В предчувствии экзекуции фокстерьер прятался под стол секретарши. Ээсовец извлекал его из укрытия и бил, держа на вытянутой руке перед лицом секретарши. Бывало, она пыталась помешать расправе. Ээсовец в таких случаях кричал: «Моя собака, что хочу, то с ней и делаю!» Убедившись, что ее заступничество приводит ээсовца в ярость, секретарша приучила себя к хладнокровию. Ее кажущееся безразличие настраивало ээсовца на мирный лад. Он стал реже бить Вистона — так звали фокстерьера — а тот перестал предварительно визжать, а в случае неизбежности наказания притворялся мертвым.

Однажды во время «урока» вошел Губер. Он отчитал ээсовца и велел убрать собаку. Ээсовец взял Вистона под мышку

и унес на дорогу. Хлопнул выстрел. Секретарша уставилась на заложенный в машинку лист чистой бумаги, она с трудом подавляла дрожь в руках.

— Исполнил приказание! — доложил эсэсовец, уселся на табуретку и принялся стругать палку.

Иногда он поучал секретаршу: «Женщина всегда должна подчиняться мужчине. В семье не может быть демократии, потому что когда муж «за», а жена «против», большинства не образуется. А без большинства демократия, что гора без вершины». Или: «Мы уничтожаем жидов, потому что они начальства не признают».

Еще он любил повторять: «Слишком большой ум ни к чему, потому что человек с таким умом замахивается на каждого, кто может быть умнее его. Кто по-настоящему умен, тот хранит ум про себя и не показывает его».

Губер с вечера оставлял секретарше задание на следующий день. Сам он приходил поздно с заплывшими глазами. Молча выслушивал ее рапорт.

— Почему не вызывала шрайбера?

— Он болен.

— Тогда вызови врача.

Эсэсовец привел Марка Марковича.

Когда он увидел секретаршу, то остановился, как вкопанный у дверей и залился краской. Секретарша спокойно отстранила прядь упавших на лоб волос. Она не стриглась с того дня, как ее выписали из больницы.

— Что с вашим шрайбером?

Врач не сразу ответил, так что секретарше пришлось повторить вопрос. Марк Маркович словно проснулся, он выпалил, как на экзамене:

— Флегмона нижней части спины, высокая температура.

— А задание?

— Все готово! — Марк разложил перед секретаршей старательно разграфленный и исписанный каллиграфическим почерком лист оберточной бумаги. Принимая его, она слегка дотронулась до его руки. Марк не видел ее лица, но почувствовал прикосновение, и волна радости захлестнула его сердце.

— Приходите завтра утром со списком. Пропуск будет на проходной. — Секретарша кивнула Марку в знак прощания.

А когда тот, не отрывая от нее глаз, как-то смешно, боком пошел к двери, на ее посветлевшие глаза опустились черные, пожалуй, чуть подкрашенные ресницы.

4

Хотя это избитое выражение, невозможно иначе определить состояние Марка после того, как он покинул комендатуру: он не чувствовал земли под ногами. Какому-то заключенному, который шел навстречу, он пожал руку, другому стал сбивчиво объяснять, почему человек в своем развитии не повторяет пройденного, а обогащая мир, обогащает и себя. Тот подумал, что Марку Марковичу удалось «клюкнуть», и стал поддакивать, иронически улыбаясь. Марк, не заметив иронии, выразил радость, что обрел друга.

В девятом бараке Марк Маркович поспешил к Яше.

Яша лежал на животе, его голова словно сорвалась с позвоночника и лежала отдельно от туловища на клетчатой подушке. Марк схватил свисающую с койки руку Яши и стал ее трясти.

Яша открыл глаза и долго смотрел, как будто соображая, кто перед ним. Наконец выражение его глаз прояснилось, на губах задергалась улыбка.

– Видели?

– Она такая же, как была прежде. Почти не изменилась. И сразу меня узнала.

– Передала ключ?

– Передала.

– Покажите!.. Скользящий ключ, – сказал Яша, рассматривая колонки цифр на бумаге. Нужно расшифровать... Дайте карандаш!

– Она сразу меня узнала, – повторял Марк, ища по карманам карандаш, – я увидел это по глазам. И дала мне понять, что рада. Нашла предлог, чтобы назначить мне новое свидание. Послезавтра. Завтра нельзя. Это могло бы обратить внимание. Умница какая!

– Значит... вы счастливы, Марк Маркович?

– Счастлив ли я?! Спрашиваешь!!

– Это хорошо, только не забывайте, где находитесь.

– Вероятно, это эгоистично, Яша, но мне необыкновенно радостно. Не знаю, как назвать это чувство, но оно есть. Чудо!

– Как мой пульс? Я знаю, что это эгоистично, но меня интересует мой пульс.

Марк, все еще улыбаясь, нащупал пульс Яши.

– Лучше... определенно!

– Так вы думаете, я смогу встать в ближайшие дни?

– Встать в ближайшие дни? Конечно, если ничего неожиданного не произойдет... ты сможешь встать... но не в ближайшие дни.

– Но мне необходимо быть на ногах!

– У тебя боли, и они еще усилятся, если...

– Вы не говорите того, что я знаю и о чем вы только догадываетесь. Когда я встану?

– А почему ты должен быть обязательно на ногах? – избегая прямого ответа, спросил Марк Маркович. – Ты думаешь, без тебя ничего не делается? Хочешь, я приведу тебе этого русского, он тебе скажет. Тебе, наверно, кажется, что когда ты лежишь, все остальные тоже спят. Что касается меня, то я вообще больше спать не буду. Жаль времени. Ты меня не от бессонницы, ты меня от сна вылечил, Яша. Ха-ха ха! Все теперь стало на место!

– Само не стало, Марк Маркович.

– Ты умница, Яша, и я был дураком, что в этом сомневался. Я теперь понял: ум не в рассуждениях, а в действиях. Я до сих пор не знаю, как это ты устроил, что она здесь, но то, что ты это устроил, я знаю. И это так умно! Ведь теперь не только у вас будет связь, но и у меня. Для меня самое важное, что она здесь, и я могу ее видеть!

«С ним стало невозможно разговаривать, – подумал Яша. – Пусть пока купается в своем счастье».

5

Ординатор женской больницы и заведующая аптекой доктор Бронислава Патек хорошо помнит тусклый ноябрьский день, когда она принимала транспорт из Берлина.

Во дворе, возле отгороженного колючей проволокой карантинного барака, толпились в жидкой грязи около трехсот женщин. Здесь были польки, украинки, латышки, русские, немки, финки, француженки, еврейки. Шагая впереди своей немалой свиты из медсестер и санитарок, Бронислава остановилась у забора, где две молодые женщины, отделившись от других, со-

ставляли скорбный монумент поруганной молодости и красоты. Одна сидела, охватив свои голые колени руками с длинными пальцами артистки, другая стояла, нагнувшись над ней, — полнотелая молодуха, которой не дано стать матерью.

— Встань, — шепнула она своей сидящей подруге, — лекаря идут...

Та посмотрела снизу вверх и поднялась, легко и изящно, без помощи рук. Она оказалась выше своей подруги, что никак нельзя было предположить, пока она сидела. Бронислава обратила внимание на сильно развитые икры молодой женщины. «Гимнастка или танцовщица, — решила она про себя. — Нельзя допустить, чтобы Вевис ее увидел! А то обязательно отберет для своих экспериментов».

— Пойдемте со мной! — сказала она в тоне приказа.

— Будь ласка, пани доктор, — отозвалась подруга, — у нея груди болят.

— Я уже сказала, что беру вас обеих. Будете работать санитарками в больнице. Отвести их! — приказала она одной из сопровождавших ее женщин в белом халате. — А мне скажите ваши фамилии, чтобы я могла найти ваши формуляры.

— Мое имячко Мария Созанчук, ее звать Лили Брон.

— Она перепутала, — отозвалась гимнастка простуженным голосом на французском языке. — Я Лили Шеригёс по формуляру.

— Идите! — Бронислава указала на калитку в двух рядах колючей проволоки и подумала: «У длинноногой что-то не в порядке. Но меня это не касается». — Беру к себе, — крикнула стоящему на часах эсэсовцу.

Пропуская Марию Созанчук, он ушипнул украинку пониже талии. Та ударила его по руке. Эсэсовец, оглядывая свою руку, громко расхохотался.

Медицинский осмотр вновь прибывших длился долго, и когда Бронислава вернулась в больницу, она совсем забыла про двух новых санитарок. Но они находились в ординаторской.

— Раздевайтесь! — Бронислава сняла свою медицинскую шапочку и встряхнула золотистыми локонами.

— Кака гарная! — сказала Мария Созанчук достаточно громко, чтобы Бронислава могла ее услышать. Брониславу эта наивная лесть позабавила.

Бронислава окинула обеих взглядом. Голые, они представляли полный контраст друг другу. Мария была крепко сбитая деревенская красавица, настолько похожая на плакатных украинок, что это, казалось, лишало ее индивидуальности. Лили, напротив, являла своеобразный тип городской, чуть порочной деми-вьерж¹. «Что свело их вместе?» — подумала Бронислава. Она осмотрела Лили и, к своему удивлению, обнаружила следы недавних родов.

— Ты была матерью? — спросила она

— Да.

— А с ребенком что?

— Он умер.

— Это, может быть, к лучшему и для него и для тебя.

Лили безразлично поджала плечами.

— Ты француженка?

— Как будто.

— Что значит «как будто»?

— Это значит, что я сама не знаю, какой я национальности.

— Мать свою знаешь?

— Она была украинка... как будто.

— А родственники?

— Родственников у меня нет.

— За что вас осудили?

— Меня никто не судил.

— Превентивное заключение?

— Как будто.

— Ну... у тебя, как будто, все в порядке. Тебя осматривать не стану, — прибавила она, поворачиваясь к Марии Созанчук. — Тебе выступать на параде здоровья.

Мария обворожительно улыбнулась.

— Одна француженка, другая украинка, как же вы понимаете друг друга?

— Сердцем понимаем, — ответила Мария.

— Сердцем? — переспросила Бронислава и задумалась. «Как это просто у некоторых. И как это трудно».

6

Бронислава была единственной дочерью польского магната Януша Патека, ведущего свою родословную от Ягеллонов. Он

¹ Полудевственница (фр.).

рано овдовел и не женился более. Своей дочери он с детства внушал, что «можно потерять все, но хонора терять нельзя». В русском языке слово «гонор» приобрело иронический оттенок, что-то вроде чванства. По-польски же «хонор» обозначает честь, благородство и отвагу. А чванство и подлинное благородство взаимно исключают друг друга.

Маленькую Брониславу воспитывала гувернантка-англичанка. Когда ей было 12 лет, пан Януш отправил дочь в Англию для совершенствования в английском языке и для полного усвоения понятия чести.

В Англии Бронислава провела свои девичьи годы между теннисным кортом и клубом никем не читаемых поэтов. Теннис воспитал в ней силу и зоркость, членство в ассоциации нечитаемых поэтов – пренебрежение к критическим способностям широкой публики. Участие в спортивных состязаниях и в словопрениях не помешали, однако, Брониславе учиться. Она стала медичкой, может быть, потому, что медицина не пытается обнаружить душу, что Бронислава считала бесполезным занятием, противоречащим хорошему тону.

В 24 года Бронислава в отличном стиле выиграла первенство Англии по теннису и окончила Королевский медицинский институт в Лондоне. Вернувшись в Польшу, она нашла ее убогой во всех отношениях, кроме искусства, в котором пробивались ростки подлинных талантов. Эти ростки питались почвой, которую официальная Варшава пыталась подменить мишурой великодержавных славословий. Бронислава, в знак протеста, послала приветственную телеграмму Тувиму. Когда кто-то из родичей, участвовавших в полковничьем правительстве, с усмешкой заметил, что Бронислава высказывает предпочтении слабым и обиженным, она взяла его за руку и, сжав в своей закаленной спортом ладони и лукаво поглядывая на перекосившееся от боли лицо кузена, сквозь зубы процедила: «Я ведь женщина!»

Ее решение стажироваться в Варшавском городском госпитале вызвало не только удивление, но стало предметом различных догадок в кругах польской «золотой молодежи». Однако дочерям миллионеров разрешаются всякие причуды. Все же кривотолки нашли подтверждение, хотя и забежали несколько вперед: в больнице лежал итальянский певец Джулио, который заболел, гастролируя по Польше. Считая гренадерский рост

и мощное телосложение признаком плебейского происхождения, этот потомок римских патрициев стал донимать Брониславу своими капризами. Случайно одна из сиделок обмолвилась, кто такая Бронислава Патек. От досады за свою оплошность у итальянца поднялась температура. При вечернем обходе он стал напевать итальянские песенки. Бронислава дольше обычного задержалась у его койки. «Дайте ему слабительного», — приказала она сопровождающей ее при обходе медицинской сестре. И, положив руку на разгоряченный от досужих комбинаций лоб больного, прибавила: «Температура у вас от запора. Приняв слабительное, вы будете лучше спать». «Вуз-але трубле мон сомэй»¹, — возразил он по-французски, раскатывая «р» со свирепостью отца Аиды.

Выписавшись из больницы, певец прислал Брониславе билеты на свой концерт. Увидав ее в креслах партера, он придал своему голосу вибрирующее звучание. Бронислава уехала, не дожидаясь конца концерта. Он послал ей письмо, полное отчаяния, умоляя о встрече. «Принять вас не могу, так как живу не одна, а в семье родственников», — написала она в ответ. Под вечер дворецкий, поднявшись наверх, доложил Брониславе, что некий господин в черной накидке просит ее спуститься вниз.

Бронислава увидела Джулио. Он был бледен, его глаза пылали.

— Что вам нужно?

— Я хотел вас увидеть в последний раз перед тем, как покину вашу страну.

— Ваше желание удовлетворено, и я надеюсь, что ничто больше не препятствует вашему возвращению в солнечную Италию.

— О, крюзль! Ву мэ тюз!² — выкрикнул он в хорошей театральной манере, не слишком патетически и достаточно убедительно. Он убежал, сбросив накидку к ногам Брониславы.

В гостинице, где остановился итальянец, царил переполох. По счастливой случайности пуля, миновав сердце, застряла в мякоти левого предплечья.

Певца увезли в ту же больницу, из которой он недавно выписался.

¹ Вы будете тревожить мой сон (фр.).

² О жестокая! Вы меня убиваете! (фр.)

Бронислава ухаживала за ним, выполняя все предписания, которые сама же и давала. Она добилась, что больного перевели в отдельную палату. Она уплатила его долги, а они составляли изрядную сумму. Через месяц, когда Джулио поправился, Бронислава взяла билеты на рейсовый самолет в Париж. Из Парижа она написала отцу, что решила выйти замуж за Джулио. Пан Януш в сопровождении двух телохранителей и адвоката вылетел в Париж. Его встреча с итальянцем состоялась в «Кафе де ля пэ». Пан Януш хвастал потом, что «обставил авантюриста». Отказ Джулио от всяких претензий обошелся пану Янушу в 160000 злотых, выплачиваемых равными частями в течение десяти лет, начиная с 1936 года. Пан Януш не подозревал, ставя подпись под документом, что действительно обставил певца. Тот получил только три годовых взноса, остальные списала война.

Предательство возлюбленного Бронислава перенесла мучительно. Она возмущалась, что страдала, как простая деревенская баба, чуть ли не причитая по вечерам над своей «несчастной, разбитой любовью». Если не «хонору», то гонору ее был нанесен чувствительный удар. Но Бронислава не только физически была сильной женщиной. Усилием воли она сбросила с себя оцепенение, охватившее ее после того, как узнала о сделке между отцом и любовником. Она возвратилась домой. От пережитого у нее осталась прядь совершенно седых волос посередине головы.

Пан Януш обошелся с ней деликатно, ничем не напоминая о совершенном ею фо-па¹. Но так как он, по его словам, любил прежде всего ясность в отношениях, то заключил с дочерью «джентльменское соглашение»: Бронислава без согласия отца не имеет права покидать родовой замок, она обязуется соблюдать все приличия. В остальном он ей предоставляет полную свободу. Он будет выплачивать дочери ренту, не превышающую оклад конюха. Последним условием пан Януш отомстил дочери за свои хлопоты.

Бронислава продала свои украшения, которые все равно не носила, и на вырученные деньги построила и оборудовала сельскую больницу. Она пригласила себе в помощь фельдшерницу-еврейку. Вельможные соседи с сарказмом комментировали чудачества Брониславы. Они сошлись на одном: панна Патек

¹ Ложный шаг (фр.).

образумится только тогда, когда наденет обручальное кольцо! Но ее энергия, увлеченность делом и, наконец, ее врачебное искусство снискали ей всеобщее уважение. Больных, кем бы они ни были, она принимала только в больнице.

Верная взятому на себя обязательству, она в обществе умела быть сдержанно любезной. Не было недостатка в мужчинах, пытавшихся снискать ее расположение. Оставаясь дружелюбно непринужденной, она осаживала их при попытке перейти на интимность. Выше среднего мужского роста, стройная, белокурая, голубоглазая, она представляла собой идеальный тип северной расы. Приехавший на охоту и гостивший в замке Геринг, увидев ее, воскликнул: «Это же Брунгильда!» Брунгильда, прищурив глаза, ответила: «В вашей Валгалле я была только проездом, но наблюдала из окна вагона, как дрессировали низших чинюв богов. Они подняли такую пыль, что их верховный бог, господин Шикльгрубер, попав в нее, задохнулся бы, наверное».

Геринг громко расхохотался.

— Он похож на скотопромышленника, — сказала она отцу.

Бронислава презирала немцев. Они казались ей выскочками, принадлежавшими к низшей расе и узурпировавшими права высшей, к которой Бронислава причисляла себя. Раса была для нее понятием не столько биологическим, сколько социальным. Высшую расу она отождествляла с аристократией. Было смешно и нелепо, что какой-то ефрейтор, сын мелкого чиновника мог стать главой государства. То, что произошло в России, было более естественно: там низший слой, захватив власть, превратился в новую аристократическую прослойку. Новая, здоровая и сильная аристократия одержала верх над старой и подгнившей, неспособной править страной.

Среди «вельможного панства» Бронислава прослыла фило-семиткой. Но это было не так. Она признавала за евреями право аристократического первородства. Но вместо того, чтобы отстаивать эти права, евреи предались коммерции, то есть занятию, противопоказанному аристократии. Неудивительно поэтому, что «народ господний» деградировал. Впрочем, Бронислава делила его на жидов и евреев. Если с евреями еще можно было за один стол садиться, то с жидами — никогда! Верная этому правилу, Бронислава, принимая в замке евреев, с которыми отец вел какие-то дела, пыталась разговорами предварительно выяс-

нить, к какой категории их причислить. Политикой Бронислава не занималась. Политика была делом плебеев. Тем парадоксальнее, что политика привела к войне, которая проглотила панскую Польшу вместе с ее шляхетской верхушкой.

Януш Патек ненадолго пережил разгром Польши. Он умер от инфаркта по дороге в Будапешт. Бронислава привезла тело отца в родовое имение и похоронила в дворцовой часовне.

Так как ее помощницу-еврейку немцы куда-то угнали, Бронислава переселилась в больницу. Сюда зачастил Зигмунт, сын соседнего помещика. Он предложил ради спасения Польши установить в замке радиостанцию и выйти за него замуж. Бронислава согласилась на оборудование радиостанции — ей было безразлично, что делалось в замке, но вместо замужества предложила простое сожителство.

Зигмунт не был таким пылким любовником, как итальянец, но превосходил его в мускульной энергии. В этом отношении Бронислава отвечала ему взаимностью, не питая к нему никаких чувств.

На этом ее участие в освобождении Польши окончилось. Гестапо арестовало Зигмунта и ее.

Он оказался трусом и выдал все тайны своей подпольной организации. Бронислава никаких тайн не выдала, да она их и не знала. Гестаповцы вначале полагали, что имеют дело с опытной конспираторшей, убедившись в своем заблуждении, они попытались ее завербовать. Бронислава оказалась не только невосприимчивой к посулам гестаповцев, но выдвинула свое «конструктивное» контрпредложение: обратиться немцам восвояси из всех оккупированных ими стран. Гестаповцы сочли ее немного чокнутой и отправили на поправку в лагерь смерти.

Она привезла с собой весь свой нетронутый запас «хонору». При медицинском осмотре она наотрез отказалась раздеваться, заявив, что она врач и достаточно сведуща в медицине, чтобы положительно определить свою пригодность к физическому труду. Лягерфюрер, которому было предоставлено решение ее участи, зная из сопроводительной записки, кто она, распорядился оставить ее в покое. Будучи умным карьеристом, он решил сохранить гордую полячку для самого райхсмаршала Геринга. Брониславу назначили ординатором больницы и одновременно заведующей центральной аптекой. Вскоре она поняла,

что в больнице не лечат, а отсеивают непригодных для работы. Больше того, некоторые вполне здоровые женщины, которых почему-то помещали в больницу, заболели там тяжелыми недугами. Их лечил сам главврач доктор фон Вевис. После «курса лечения» их обычно выписывали на газ. Некоторых фон Вевис оперировал, и они или оставались жить со страшными увечьями, или погибали на операционном столе.

Своим прямым и твердым почерком Бронислава написала заявление лягерфюреру, что она не хочет быть соучастницей преступлений, а потому просит зачислить ее в рабочую команду.

В тот же день в аптеку за лекарствами пришел заключенный из мужского лагеря. Услышав о решении Брониславы, он стал качать головой и цыкать, затем схватил Брониславу за подол халата и потащил ее за собой в кладовую.

— Извините, что я лезу не в свои дела, но я не могу видеть, как умный человек делает глупости. Что вы думаете своим заявлением доказать? Что вы честный человек, а они изверги? То, что они изверги, — это всем известно, а то, что вы честный человек, нужно доказывать по-другому. Как? Я об этом скажу тогда, когда буду знать, что вы не только честный, но и умный товарищ. Вы хотите вашим заявлением кого-то наказать? Так я вам скажу: вы наказываете себя — раз — потому, что общие работы, как я думаю, вам большого удовольствия не доставят; вы накажете больных — два — потому, что теперь у них не будет шансов попасть в руки врача, а не палача. Вы накажете и меня, за что — не знаю и почему — не скажу, но это факт. Говорить «я с вами не играю» — мало! Надо помешать им вести их игру. Я не люблю высоких слов, потому что за ними обычно скрывается ложь, но я скажу: нужно вести себя так, чтобы про нас сказали: они подлости не поддались, они с подлостью боролись.

7

Первое впечатление Брониславы о двух подругах подтвердилось: они были полной противоположностью друг другу. Но, как это часто случается, противоположность их сблизила.

У Марии были золотые руки, и она ни минуты не сидела без дела. С ее приходом на окнах появились занавески, горшки с цветами, хотя было уже начало зимы. По вечерам, забравшись в свой угол, она шила или мастерила что-нибудь, тихонько на-

певая украинские песни. С больными она всегда была ровной и приветливой.

Лили, наоборот, находилась в каком-то странном состоянии не то рассеянности, не то печали. Она могла часами сидеть неподвижно, и если бы Мария ее не тормошила, она бы вообще не двигалась и даже не принимала бы пищи. Лили, по настоянию подруги, принималась за работу, но делала все нехотя, не отвечала на замечания и вопросы, а часто, уставившись в одну точку, вообще молчала.

На четвертый или пятый день после ее прибытия в лагерь Лили вызвали в комендатуру. Какой-то человек в штатском стал ей задавать разные вопросы, касающиеся ее прежней жизни, в частности, пытался выведать, что она знает о своем отце. Лили ответила, что она не видела отца с конца 1938 года, когда он ее навестил в Париже. Штатский спросил, знает ли она, что ее опекун Генрих Абрабанель незаконно присвоил себе 134400 германских марок, которые обязан был выплатить ей в день ее замужества? Лили ответила, что понятия не имеет. Тогда он попросил предоставить ему полномочия, чтобы взыскать эти деньги с еврея Абрабанеля. Лили согласилась. Наконец он предложил Лили купить за эту сумму свободу. «Кто здесь продает свободу?» — спросила она. Штатский сделал неопределенный жест. «В таком случае я смогу ответить на ваш вопрос, когда 134400 марок будут в моих руках, ибо в долг покупать я не привыкла».

Лили была очень горда своим ответом и в барак вернулась необыкновенно возбужденной. Мария с недоумением смотрела на подругу, и Лили стала сбивчиво объяснять. Мария поняла только, что ее подруге обещали большие деньги и свободу. Но за что?

Мария почти ничего не знала о прежней жизни своей подруги. Говоря на разных языках, они сблизились благодаря незначительному случаю. Когда на вокзале их высадили из тюремной машины, откуда-то раздался детский плач; Лили побледнела, оступилась и наверно бы упала, если бы Мария ее не поддерживала. Позже, запертые вдвоем в отсеке тюремного вагона, они сидели обнявшись. Лили не переставала плакать, а Мария ее успокаивала украинскими словами. И, странное дело, Лили ее как будто понимала.

И вдруг она заговорила. Она говорила по-французски, не соображая, что Мария не понимает. А Мария кивала, и время от времени вставляла что-то, выражающее сочувствие.

Лили рассказывала:

— Сначала я не поняла, почему меня держат в одной камере с беременной женщиной, немкой вдобавок. Немцев я всегда ненавидела. Хотя и изучала немецкий язык, никогда им не пользовалась. Тут я стала подозревать какой-то подвох, и подвох действительно был. Но не тот, о котором я думала. Меня хотели напугать... Я была сама тогда беременна, на пятом месяце. А Марта Зейлер, так звали немку, на шестом. Я пыталась узнать за что ее посадили — напрасно. Она ничего не говорила. Это была грубоватая женщина, но чистюля, с глазами, которые все примечали. Она заметила, что я неохотно говорю с ней по-немецки, и стала говорить по-французски. Правда, она смеялась над своим произношением, мол, говорит она, как пивная бочка, которую катают по булыжной мостовой. Марта смеялась, и это было удивительно, что она могла смеяться.

— Вначале я ей не доверяла. Это может быть самое подлое из всего, что немцы сделали: они убили доверие людей друг к другу. Но потом все изменилось... Я сидела с Мартой зимой сорок второго несколько месяцев. Было холодно, в тюрьме топили плохо, так что мы в камере замерзали. Из нашего окошка можно было увидеть тюремный двор, но надо было забраться на подоконник. Мне это было легко, а Марту приходилось подсаживать: она была ниже меня ростом и оставалась довольно полной, несмотря на жидкий суп и 250 граммов хлеба в день.

— По четвергам заключенных из нашего корпуса водили на прогулку. Марта разглядела среди них русского военнопленного в летнем обмундировании. Он топтался на месте посреди двора, в то время как другие ходили гуськом вокруг. Марта спросила, есть ли у меня что-нибудь шерстяное, чтобы распустить. У меня был зеленый вязаный шарф, у Марты нашлась черная вязаная юбка. Она раздобыла деревянные спицы и связала черный свитер с зеленым воротником, обшлагами и узором на груди.

— По вечерам мы по трубам отопления переговаривались с заключенными из соседних камер. Мы узнали, что русский сидит этажом ниже, под нами. Это было удачно. У нас дей-

ствовала тюремная почта: с верхних этажей спускали в нижние записки и пакетики. Марта написала огрызком карандаша на клочке клозетной бумаги несколько слов, положила записку в свитер, перевязала бечевкой — и откуда она все доставала? — и спустила сверток вниз. Русский посылку получил, мы видели его в следующий четверг на прогулке в нашем свитере. Мы ему помахали руками, и он ответил, несколько раз кивнув нам головой.

— Тогда я уже знала, что Марта простая работница и коммунистка, а сидит за то, что бросила бомбу со слезоточивым газом на выставке «Дух и лицо большевизма». Я ее как-то спросила, как надо понимать коммунизм. Марта долго думала, потом сказала: «Коммунизм — это такая жизнь, при которой люди могут быть добрыми».

— В апреле Марту увели, и я осталась одна. Но перед тем как ее увели, Марта подошла ко мне, обняла и поцеловала. «Вот, когда у тебя будет ребенок, — сказала она, — ты будешь знать, за что драться». Я еще спросила, что неужели надо драться. И Марта ответила: «Да!» Я тогда была глупа до невозможности.

— Теперь слушай! Марту Зейлер держали в тюрьме, пока она не родила, чтобы забрать ребенка, а потом отрубить ей голову топором. Марта знала об этом и ни единым словом не обмолвилась. Чтобы меня не беспокоить! А русскому связала теплый свитер в холодную зиму 1942 года.

— Марту казнили в июне, я родила в июле, а в октябре у меня отобрали малютку. Прямо от груди оторвали. Теперь, когда мой ребенок у них, я знаю, что я должна делать. Я буду за него драться.

— Ты посмотри на меня, — сказала Мария. — Я двух немцев вбыла, но разве по мне видно? А ты только собираешься драться, а у тебя все на лице написано. Так не годится!

И странное дело: Лили ее поняла.

8

Мария решила открыться Брониславе. Она ее наблюдала теперь каждый день и прониклась уважением к этой большой красивой женщине с прядью седых волос на голове.

— Я знаю здесь одного умного человека, — сказала Бронислава. — Я с ним посоветуюсь.

Теперь тайну Лили знали уже трое: Мария, Бронислава и Яша.

Когда Бронислава рассказала ему о предложении, которое сделали Лили в комендатуре, Яша задумался.

— Она, говорите, ничего об этих деньгах не знала? — переспросил он. — Моя сестра читала романы в красивых обложках и пересказывала мне. Там всегда был богатый граф, который влюблялся в бедную, но гордую девушку, которая отказывалась стать его женой. Потом граф разорился, а девушка вдруг становилась богатой наследницей и спасала графа, который собирался или покончить жизнь самоубийством, или уехать в Америку. Непонятно, кто тут граф и откуда взялось наследство, боюсь, нам этого не узнать. Важно другое: какая-то высокопоставленная личность знает, что Лили в лагере смерти, и имеет к ней интерес. Значит, начальство будет за ней следить и не даст ей погибнуть. Можно устроить проверку: в больнице ей ничего не грозит, но если списать ее в рабочую команду, там может всякое случиться, и лагерное начальство забеспокоится. Так мы проверим и саму наследницу: если она согласится, то докажет, что она не слишком надеется на наследство и согласна пойти с нами. Теперь еще один вопрос: кто тот человек, которого она считает своим отцом?

Когда Бронислава назвала фамилию, Яша воскликнул:

— Я должен ее видеть!

9

В этот день Яша долго возился в аптеке. Когда последняя коробка с медикаментами была погружена в машину, Бронислава и Лили вышли его проводить. У Яши был озабоченный вид, и он сказал Брониславе:

— Если что — известите меня немедленно, пришлите санитарку! — его рот растянулся в улыбке, хотя глаза оставались серьезными.

Но тут случилось непредвиденное: Лили встретила на лестнице фон Вевиса. Эсэсовец посмотрел на ее ноги, остановился и над чем-то задумался. Лили убежала и спряталась в душевой.

Вевис ворвался в ординаторскую:

— Весь обслуживающий персонал и все формуляры сюда!

В ординаторскую согнали всех врачей, медсестер и санитарок. Среди них Лили не оказалось.

– Все здесь? – спросил фон Вевис.

– Все, – ответила Бронислава. – Вот формуляры!

Напрасно фон Вевис всматривался в приклеенные в формулярах фотографии. Ни одно лицо не напоминало ему черты Лили...

– Халтурщики, – процедил он сквозь зубы.

– Господин оберарцт, – прервала его раздумья Бронислава. – Я хотела продемонстрировать вам интересный случай сращения костей.

– Покажите! – в тусклых глазах фон Вевиса мелькнула искра профессионального любопытства.

Они вышли из ординаторской. За их спиной раздался шум, напоминающий жужжание встревоженных пчел.

10

Лили и Мария работали на снаряжном заводе «Крупп-Унион». С начала зимы на завод стали поступать жалобы на плохое качество снарядов: многие не взрывались. Чтобы усилить контроль, администрация ввела маркировку снарядов. Был издан приказ направлять представителей администрации завода на фронт для сверки меток на негодных снарядах. А снаряды продолжали не взрываться. Взбешенная администрация вызывала по очереди капо, мастериц и работниц. За каждой из них следили десятки глаз, но обнаружить виновниц не удалось.

Начальником цеха по набивке снарядов был назначен гестаповец, особо отличившийся при репрессиях в Чехии после убийства Гейдриха. Свою деятельность на заводе он начал с того, что велел всех работниц выстроить на дворе. Прохаживаясь между рядами и играя хлыстом, он лающим голосом обещал наградить тех, кто укажет саботажниц. Ни одна работница не шевельнулась. Последовал приказ: «Снять чулки!» Работницы уселись на землю и стали сдергивать с озябших ног грубые чулки. Вдоль кирпичной стены были насыпаны осколки стекла. Работницам приказали стать на колени. Начальник цеха бил хлыстом тех, кто медлил выполнить приказ. Когда спустя два часа работницам разрешено было встать, колени у всех были в крови.

– Теперь вы будете говорить? – рычал гестаповец.

Молчание.

Тогда он обратился к одной из надзирательниц с бледной лошадиной мордой:

— Не поможете ли вы развязать языки этим идиоткам?

Лицо эсэсовки перекосилось в понимающей улыбке. Она подошла к выстроившимся вдоль стен работницам и скомандовала неожиданно писклявым голосом:

— По две рассчитайтесь!

— Айнс-цвай, айнс-цвай... — послышалось вдоль рядов.

— Четным сесть на землю, подобрав юбки, казенную одежду портить нельзя. Нечетным взять их за ноги. По команде... поехали!

В это мгновение раздался гонг, возвещавший о конце работы. Одновременно послышались звонки. Начальник караула взглянул на часы.

— Отставить!

— Я буду жаловаться! — вскипел новый начальник цеха.

— Жалуйтесь куда угодно! Я обязан привести команду в лагерь вовремя. Завтра можете с утра играть в салазки, если фирма заплатит за время, потраченное на ваше развлечение. Работниц я приведу в семь часов, а уведу в восемь. А там как хотите!

— Год тому назад такое было бы невозможно, — сказал Яша, когда ему рассказали об этом случае.

11

Фон Вевис никогда не смотрел в лица оперируемых. Он боялся лиц. Они ему являлись во сне, искаженные предсмертной мукой.

В сущности, он мог и не оперировать. Для этого имелись достаточно квалифицированные врачи из заключенных. Взять хотя бы эту польскую аристократку! Но она не пойдет ни на какие уступки.

Смешная история: княгиня в полосатой одежде! Ее считают первой красавицей лагеря. У него вкус другой. Он не любит больших женщин, они покушаются на его мужское превосходство.

Это была его фантазия: оперировать работниц снарядного завода. У всех флегмона. Флегмона — самая распространенная в лагере болезнь. Причины? Отсутствие витаминов в пище, обедненная кровь, но главное — почва! — почва, отравленная ми-

азмами разложения. Разложение начинается там, где человек вторгается в права природы.

Он может оперировать так, чтобы они остались калеками на всю жизнь. Но зачем? Сколько продлится их жизнь? Год, два от силы.

Он взял скальпель, собираясь рассечь кожный покров очередной больной. Крестообразная дренажная система, которая носила его имя, спасла жизнь многим. Ноблесс оближ!¹ Хочешь быть врачом, исцеляй больных.

Он машинально взглянул на формуляр. Сверху красным карандашом была выведена надпись: «Lues»².

– Уберите эту пададь!

Но вдруг с операционного стола раздался голос:

– Не узнаете, барон? Времечко другое, местечко не то, да и мы другие! Смотрите, до чего довели меня ваши ироды! – больная дернула с ног простыню: ее колени опухли и гноились.

Вевис стоял со скальпелем в руке, он шмыгал носом, как мальчишка, пойманный на месте преступления.

– Вы?.. Я просматривал все формуляры, не мог вас найти...

– Эх, доктор! Формуляры просматривали, а людей не видели. Да чего там! Разве я человек? Или, может быть, скажете, что вы человек, что все мы люди?

– Ввести ей бром и новокаин...

Вевис оперировал с применением анестезии! Это было неслыханным новшеством в лагере! Он работал быстро и удивительно красиво. Недаром он слыл виртуозом в своем деле.

– Все! – сказал он, забинтовав колени больной.

– Не знаю, каким будет течение болезни, в данном случае могут быть осложнения. Если что – известите меня! Кто это вас так наградил? – спросил он Лили, сбросив халат на руки Брониславы.

В ответ та махнула рукой.

– У кого власть, тот и награды раздает.

«Когда-то я хотел сделать из нее утонченный инструмент любви, – подумал Вевис. – Как быстро женщины приходят в негодность, попадая в руки хамья!»

¹ Положение обязывает (фр.).

² Сифилис.

Вечером в офицерском казино фон Вевис встретил Губера. «Какая противная тупая рожа», — подумал он. «Хайтлер!» — рывкнул Губер, поднимаясь с кресла и вскидывая руку на уровень глаз. «Хайтлер!» — ответил фон Вевис с чуть заметной иронией. Губер смерил его взглядом. Гауптштурмфюрер не был уверен в лояльности врача.

Место у столика, за которым сидел Губер, было свободно. Он пригласил Вевиса сесть: они представляли офицерскую знать. Да было бы и неучтиво не пригласить фон Вевиса, раз только он, Губер, один сидит за столиком.

Фон Вевис поблагодарил кивком и сел, вытянув свои длинные ноги. Он тут же взялся изучать карту вин. Перед Губером стояла кружка пива.

— Шато эф дю пан!¹ — приказал он официантке. — И два бокала, тартинки с икрой и лимоном! — Сделав заказ, он повернулся к Губеру. — Будете?

Эта пренебрежительная манера взбесила гауптштурмфюрера.

— Если вы желаете пить из двух бокалов, господин оберартц, я вам мешать не буду. Сам я пью только пильзенское, я из Богемии. Если хотите, я этим выражаю свой патриотизм.

Фон Вевис поднял брови... Этот выскочка невыносим! Но он ничем не высказал своего возмущения. Смерив критическим взглядом круп официантки, он сказал:

— Не понимаю, зачем здесь их держат. Можно было бы ведь заменить заключенными. Сегодня, когда мы терпим урон в борьбе за судьбу расы, мы не имеем права отключать столь ценный для воспроизводства нации материал. — Не наливая вина, он взглянул сквозь стекло граненого бокала на гауптштурмфюрера. Рожа Губера преобразовалась в иглистую звезду. Фон Вевис был уверен, что произнесенная им фраза соответствует ядрено-губоватому арийскому стилю.

«Нет, ты меня не обманешь», — подумал Губер, а вслух сказал:

— Вам бы понравилось якшаться со всякой восточной швалью...

— Если хотите знать, — ответил Вевис, — то для меня ни восточная шваль, ни германские кормилицы интереса не пред-

¹ Сорт французского вина.

ставляют. Только представительницы древних рас пригодны для любви. У них опыт поколений жриц любви.

— В принципе, — отозвался через некоторое время Губер, — я бы мог с вами согласиться в отношении замены наших людей заключенными. Моего секретаря забрали на фронт, и я остался как без рук. Между тем...

— Пойдите — перебил его Вевис. — Я бы нашел для вас выход из положения. В женском лагере есть у меня одна девица, отличная секретарша, я ее испробовал. Француженка, но знает немецкий язык. Возьмите ее к себе! А если надоест, сможете ее прогнать.

Губер задумался. «Какой для него интерес расхваливать какую-то заключенную? Тут что-то кроется. Нужно истребовать личное дело этой глсты».

— Она в прошлом танцовщица, и не из заурядных. Ноги и вообще вся фигура — блеск!

— Хорошо, при условии, что вы получите разрешение лягерфюрера.

— Только, — замедляя ход действия, — заметил Вевис, — девица сейчас в больнице. Как только поправится, я вам ее пришлю.

— Я долго ждать не буду. Охотниц перейти на легкую работу найдется немало!

Когда фон Вевис явился к лягерфюреру, тот был занят тем, что в одиночестве гонял бильярдные шары по зеленому сукну. Не предложив фон Вевису сесть или принять участие в игре, он выслушал его, похаживая вокруг стола и прицеливаясь время от времени кием.

— Пусть Губер пишет заявление, я не возражаю, — сказал он и при этом подумал: «Это нас устроит. А что касается ваших личных планов, то из них ничего не выйдет. Там, где играет гестапо, обычным смертным нечего садиться за ломберный стол».

Так была решена участь Лили.

12

— А ну-ка, птичка, иди сюда! — крикнул Губер, открывая дверь в комнату, где за пишущей машинкой сидела Лили. Губер держал в руке ее формуляр.

Лили встала и боязливо переступила через порог кабинета своего начальника.

– Ты от кого это подцепила? – спросил Губер, показывая на надпись на ее формуляре. – Говори! Если скажешь правду, тебе ничего не будет... От доктора, от Вевиса?

Лили прикусила губы.

– Что он тебе сказал, направляя тебя ко мне?

– Господин оберартц... сказали, чтобы я постаралась вам понравиться.

– Ну и подлец! – не удержался Губер. – Ты с ним в лагере спуталась?

– Нет, еще до лагеря, в Париже. Он меня три дня держал взаперти в своем особняке.

Губер торжествовал. Теперь он действительно держал ненавистного ему фон Вевиса на крючке.

Глава 6. Перстень царя Давида

1

Незадолго до обеденного перерыва Жаку послышался шум у дверей. Он не успел их открыть, как в контору ввалился Милиц.

– Хенек! – крикнул Милиц.

Двое заключенных внесли в контору окровавленного Хенека.

– Головой под пилу попал! – объяснил один из них.

– Он нарочно, чтобы мне отомстить! – взвыл Милиц.

Жак обследовал рану. Была ли задета черепная коробка, он определить не мог. Он промыл рану перекисью водорода, смазал йодом, наложил стерильные салфетки и забинтовал.

– Он будет жить? – спросил Милиц, хватая его за руку.

– Не знаю. Везите скорее в больницу.

– Что ты наделал, Хенек? Неужели тебе не жаль старого бедного Пауля, – причитал Милиц.

Две недели спустя, тоже в предобеденное время, в контору снова зашел Милиц. Под мышкой он нес завернутый в арестантскую куртку сверток. Он положил его с торжественным видом перед Жаком.

– Что это? – спросил тот.

– Разверни, увидишь.

В свертке оказались консервы, плитки шоколада, две банки сгущенного молока, бисквиты, плавленые сырки и конфеты.

– Не понимаю, – пролепетал Жак.

– Что здесь понимать? Это тебе!

– Мне?!

– Я видел Хенека. Он поправляется. Хенек говорит, да я и сам знаю, что ты ему жизнь спас. Пусть говорят: Пауль Милиц вор, Пауль Милиц бандит, Пауль Милиц бывает зверем, но никто не скажет, что Пауль Милиц неблагодарен, – изрекая это, Милиц вытирал пот со лба, размахивая пестрым платком, как флагом.

– Где вы все это добро достали?

– Где? Для друга Пауль Милиц из-под земли достанет!

– Все же... консервы в лагере не растут...

– Ха-ха! – загремел Милиц. – Это ты тонко подметил! Что ж, могу выдать секрет: на днях пригнали партию жидов из Венгрии. Все больше пузатые, видно, жилось им там неплохо. Им сказали, что повезут в Германию на работу, чтобы запаслись продовольствием на две недели, так как по дороге снабжения не будет. Они и запаслись... Их у нас приняли, как долгожданных гостей, помыли в бане, накормили, потом им дали по открытке: «Можете написать своим родным». Ну, они и написали. Все, мол, что болтают, враки. Их прекрасно приняли. Завтра распределят по командам. Открытки, понятно, отправили, а их самих на газ. Капо команды уничтожения мой кореш, ну и все прочее...

– Уберите! – крикнул Жак, чувствуя, что бледнеет.

– Что? Почему?

– Уберите! Убирайтесь! – уже не помня себя, вопил Жак.

Милиц, с опаской поглядывая на него, стал заворачивать продукты в куртку...

В дверях стоял Пашка. Он уставился на Жака. В его глазах промелькнуло выражение жалости, но оно быстро исчезло.

– Ты что хотел? – спросил его Жак, когда успокоился.

– Ничего. Я смотрел, чтоб ты беды не натворил.

Он повернулся и ушел. У себя в цехе он проверил зарядку аккумуляторов, включил ток и, прислонившись спиной к стене, чуть шевеля губами, сказал: «А что бы сделал я, будь у меня такой приступ чувств, как у него?»

Пашка не знал, что почти цитировал Гамлета.

Это был день поистине полный драматическими событиями. Под вечер Жак вернулся из цеха в контору и, усталый, опустился на табуретку. Что-то происходило в его сознании, чего

он сам определить не мог. Он видел вокруг себя столько бесчеловечного, что человеческое, казалось ему, принадлежало к другому миру, к иному макрокосмосу, который распространялся на действительность вне лагеря.

Часа два тому назад, при раздаче пищи, капо Милиц убил ломом заключенного за то, тот пытался дважды получить миску супа. Вечером в бараке Жак будет сидеть с этим преступником за одним столом и разговаривать о графике ремонта машин, как будто после случившегося это имеет значение!

Он не повернулся, когда дверь открылась.

— Можно? — услышал Жак за спиной вкрадчивый голос. Он обернулся, это был косой еврей.

— Вы пришли, вероятно, за последним взносом?

— Как раз угадали.

Жак открыл ящик, извлек из него хлеб, нераспечатанный пакет маргарина и кусок конской колбасы. Все это удалось ему достать с большим трудом.

— Колбасу оставьте себе. Я употребляю в пищу только кошерное.

— В лагере тоже?

— И в лагере, если только возможно.

— Мы в расчете?

— Как будто все.

Косой еврей расстегнул штаны, долго рылся в левой штанине и, наконец, извлек завернутый в тряпку и перевязанный нитками предмет.

— Вот он. Извините за беспокойство.

Он снова застегнул штаны и, двигаясь задом к двери, несколько раз поклонился.

— Теперь вы являетесь законным обладателем перстня царя Давида, и можно сказать, что он попал в хорошие руки. До свидания!

Он сделал ручкой и исчез.

Оставшись один, Жак развязал нитки и развернул сверток. Это действительно был старинный перстень. Что могли означать две соединенные для благословения руки, держащие стертый рубин, по форме напоминающий каплю крови? Неужели благословение распространяется только на еврейскую кровь? Ведь если так, то евреи положили начало расизму, считающему

все нации подчиненными одной, по велению свыше избранной. Жак подумал о преступлениях, совершенных ради утверждения превосходства одного народа над другим. Преступления «во имя величия народа» и его престижа получали благословение церкви и были провозглашены государственной мудростью, а национальное чванство — патриотизмом. Евреи не имели своего государства, и их преступления не проявлялись в национальном масштабе. Но у истока Израиля тоже наверное не было недостатка в преступлениях. Подтверждения можно найти и в Ветхом Завете.

Жак надел перстень на большой палец левой руки. Перстень был рассчитан на великана. Значит, правда, что когда-то люди были крупнее теперешних... Что вообще в этих преданиях правда, что вымысел?

Он не успел спрятать перстень...

— Это ты ему дал? — Пашка держал на вытянутых руках отобранные у косоного еврея продукты.

— Да, я купил у него одну вещь... Оставь его в покое!

Пашка несколько раз кивнул грустно головой, потом открыл перед косым евреем дверь и вытолкнул его из конторы.

— Такого уговора между нами не было! Мы покупаем эти вещи, а не ты, и для дела, а не для того, чтобы копить их «на черный день», которого ни у тебя ни у меня не будет. Об этом позаботится наше начальство.

— Я купил этот перстень для себя лично.

Пашка открыл рот от удивления.

— Зачем он тебе?

— Ты этого не поймешь... Для контакта.

— Какого еще контакта?

— Представь себе, этот перстень всучил ему много лет назад вор и шулер Самуил Брон. А теперь Брон — это я, и мне расхлебывать все его грехи. Этот косой узнал, что я не настоящий Брон, и на этом заработал. Перстень наверняка подделка, ценности никакой, но пусть останется у меня. Я его спрячу.

— Нет, ты объясни.

— Я уже объяснил. Добавить мне нечего.

— Я и впрямь начинаю думать, что ты еврей.

— А это что-нибудь меняет?

Пашка ничего не ответил. Он толкнул дверь ногой и ушел.

2

Жак стал часто замечать, что Ежи присматривается к нему. Жак знал, что в прошлом летчик, спортсмен, Ежи гордился своим шляхетским происхождением, но парнем он был неплохим.

– Скоро нам придется расстаться, – заметил как-то Ежи, оставшись наедине с Жаком.

Жак поднял глаза от дефектной ведомости.

– Ничего не слышал про транспорт поляков?

Жак не хотел показать своей осведомленности:

– Так... что-то поговаривают.

– Мы на польской земле, – начал Ежи как бы без связи со сказанным. – Вначале здесь были польские казармы, стояла польская кавалерийская часть. Потом, когда немцы заняли Польшу, они перестроили казармы под бараки для заключенных.

– Видно, незавидные были казармы.

– У правительства на хорошие казармы не хватало денег. Ему коммунисты ставили палки в колеса.

– Я думал, что все коммунисты сидели у вас в Березе-Картузской...¹

– Да разве их всех переловишь?

Ежи был из тех, кто во всех бедах винил коммунистов.

– Сейчас, конечно, другое положение, – продолжал Ежи. – Я, например, знаю, что ты коммунист...

– Да что ты! Какой я коммунист?!

– Все евреи – коммунисты.

– Кто тебе это сказал? К сожалению, это далеко не так.

– Постой! Ты говоришь «к сожалению». Значит, ты хотел бы, чтобы все евреи были коммунистами? А если так, то почему ты не коммунист?

– Видишь ли... мало быть коммунистом по убеждению, нужно еще быть членом партии. Члены партии – это солдаты коммунизма.

– Нужно вооружиться, и вы станете солдатами.

О, тут надо ухо держать остро! Жак ответил уклончиво:

– Современная армия – это не сборище вооруженных людей.

– А коммунистическая партия?

– Вероятно, тоже.

¹ Концлагерь в Польше, созданный в 1934 г.

Ежи замолчал. Видимо, он что-то прикидывал в уме.

— Все же... если бы вам, евреям, дали оружие, вы могли бы что-нибудь сделать?

— Зачем говорить о вещах, которые невозможны...

— Не так уж невозможны, как ты думаешь!

— Что ты этим хочешь сказать?

Ежи встал и старательно надел свою арестантскую бескозырку.

— Пойдем!

Они пошли в так называемый «старый гараж», где на цементированных ямах стояли кузова грузовиков. Ежи опустился в одну из ям, Жак последовал за ним. В стене ямы оказалась дверь; в нише за дверью были свалены ключи, шланги, гайки и другая мелочь. Ежи выгреб все это, и открылась задняя стенка из прибитых на скорую руку досок. Ежи оторвал одну из них; под доской открылся проход. Ежи вынул из кармана электрический фонарик и осветил им. Жак хотел его спросить, откуда он достал фонарик, но увидел нечто, приковавшее все его внимание: Ежи открыл один из стоявших на полу ящиков, и Жак увидел аккуратно сложенные завернутые в промасленную бумагу винтовки. В углу стояли черепахи Хечкинса, в небольших коробках были сложены патроны и ручные гранаты.

— К сожалению, без капсулей, — заметил Ежи.

Отвечая на немой вопрос Жака, он сказал:

— Я говорил тебе, что тут стояла польская воинская часть. Перед уходом наших были оставлены запасы оружия. Может быть, в предвидении, что оно еще может нам пригодиться.

— Кому это — нам?

— Полякам. Но поскольку нас, вероятно, вывезут отсюда, а вы тут останетесь, оружие перейдет вам. Может быть, произойдет чудо и евреи будут защищать польскую землю.

3

На обратной стороне фотографии было приклеено объявление: «Художественная фотография М. Зильберштейна. Многочисленные почетные грамоты и медали на внутренних и международных выставках. Бреслау, Кайзердам 12».

Жак прочел надпись, буквы прыгали перед глазами и не отгораживали его от того, что происходило здесь вчера и сегодня...

– Мне снился сон, – жужжал голос Милица. Он прислонил фотографию к чернильнице и углубился в ее созерцание. – Мне снилось, что я иду куда-то вместе с сестричкой, а она плачет. В прошлом году она потеряла единственного ребенка. Здесь, на фотографии, она изображена у гроба своей малютки. Да, потерять единственного ребенка в возрасте, когда женщины уже не могут рожать! Я был бы дядей, стругал бы кораблики, рассказывал бы сказки...

Уйти, уйти подальше, не видеть этой сентиментальной обезьяны!

Жак встал и обойдя стол, за которым сидел Милиц, направился к двери.

– Ты куда?

– Мне нужно проверить, поставили ли МАН-246-386 на ремонт.

– Если нет своих детей, на склоне лет всегда остаешься одиноким! – бормотал Милиц. – Иди, иди, – прибавил он, когда увидел, что Жак остановился.

Переступив через порог, Жак выпрямился, словно сбросил с плеч ношу. Шлифовальные станки пели свою неторопливую песню, сверху свисали выпотрошенные туши моторных блоков. Жак обошел цех. Он часто это делал, когда нужно было собраться с мыслями. В узком проходе к электрикам он заметил Пашку. Тот прижал к стенке двух русских парней.

– Для кого вы стараетесь, дурачье?! План перевыполняете? Кому от этого польза? На врага работаете, во вред родине, на пользу фашизму. Это вам понятно?!

– Мы хотели показать, как умеют работать русские! – оправдывался один из парней.

– Ну, вас похвалят, Зибальд скажет «гут русиш». Вам это нужно? Может быть, вам пайку прибавят, к девчонкам пустят? Не пустят: вы русские, и вам не положено тискать арийских потаскух. Как бы вы ни работали, вы останетесь неполноценной расой, вот вы кто!

Жак подошел к Пашке и отвел его в сторону.

– Может быть, действительно надо, чтобы группы меняли объекты?

– Это ты сам придумал? – пренебрежительно отозвался Пашка, который не мог забыть истории с перстнем.

– На одном объекте работы больше, на другом меньше, а паек одинаковый. Справедливости ради... – добавил Жак, взглянув на парней.

Поняв, наконец, хитрость Жака, Пашка прикусил нижнюю губу.

– Поговори с Милицем, если он согласится...

Жак продолжал свой обход. Теперь он знал, где какая стоит машина и какой ремонт на ней производится. В малярном цехе он подошел к заключенному, окрашивающему кузов.

– Здравствуйте, Винницер.

– Откуда знаете вы мою фамилию? – с удивлением спросил № 232005, выключая распылитель.

– Можно не знать, что вы Винницер, но не знать, кто такой Винницер для человека, который хоть немного знаком с живописью, было бы непростительно. К сожалению, я знаком с вашими работами только по репродукциям. Должен сказать, многие ваши вещи я не совсем понимаю.

– Зачем понимать? Картины надо видеть, а не понимать.

– Пусть так. Но то, что я вижу, я хочу осмыслить.

№ 232005 пренебрежительным жестом отвел замечание Жака.

– Крематории вы видите... вы и их хотите осмыслить?

– Не понимая явления, я не могу определить свое отношение к нему.

– А вам так важно определить свое отношение к вещам?

– А как же?

– От этого вашего отношения никому ни жарко ни холодно.

– Что тогда заставляет вас писать картины? Мир без вашего участия в нем – мертв!

– Пусть он подыхает, этот мир! – процедил сквозь зубы Винницер и включил распылитель.

Остро запахло древесным спиртом. Жак повернул к двери.

– Постойте, как вас там звать? То, что вы здесь лепетали – это чистейший субъективизм. А вы меня упрекаете в том, что я вижу мир не таким, каким вы его видите!

– Я вас могу упрекать только в том, что вы его сознательно изображаете не таким, каков он не самом деле.

– Это не я, а вы хотите его видеть другим!

– Если бы не хотел, не подошел бы к вам.

№ 232005 положил распылитель на подножку кабины. Аппарат продолжал выбрасывать краску в пространство.

– Что ж? Вы хотите сказать, что вы имеете ко мне какое-то отношение?

– Как же! Мы ведь с вами товарищи.

– Ах, бросьте! Все слова. Какие мы товарищи? Каждый сам по себе. Товарищество в лагере смерти! Это просто смешно.

– Вы напрасно так... товарищ Винницер! Слово «товарищ» сохраняет свое значение повсюду, при всех обстоятельствах. Здесь, в лагере, оно имеет, пожалуй, еще большее значение, чем на воле. То, что оно может сделать здесь – это утрамбовать дорогу, которая выведет нас из трясины.

4

Бывший торговец механическими игрушками Шмуль Вассерглас собирал коробку скоростей.

– Как дела, Шмуль?

– Какие могут быть здесь дела?

– Думаю, для умного человека дела повсюду найдутся.

Пауза. Шмуль Вассерглас молчит. Он ждет, какое предложение ему сделают.

– Вы знаете, что такое ручная граната? – спрашивает Жак.

– Боже сохрани!

– Ручная граната – это такое устройство, которое взрывается при помощи горючей смеси, находящейся в стеклянном колпачке. Содержимое воспламеняется и вызывает взрыв. Вот если бы удалось заменить горючую смесь чем-то другим!

– Сколько?

– Что «сколько»?

– Сколько это может дать?

– В каком смысле?

– В смысле денег.

– Это может дать свободу. А сколько стоит свобода, на этот вопрос ответьте сами.

– Эх, была бы у меня свобода, то я бы сумел из нее выжать деньги.

– Сколько?

– Что «сколько»?

- Вы сумели бы «выжать денег»?
- Ну, скажем, тысяч двести.
- Чего?
- Даже долларов.
- Что бы вы с такими деньгами сделали?
- На двести тысяч долларов, – говорит мечтательно Шмуль Вассерглас, – я бы уж сумел пожить в свое удовольствие!
- Вы мне дадите двести тысяч? – спросил Жак с улыбкой.
- Вам? Зачем?
- Чтобы я помог вам выбраться из лагеря.
- Боюсь, что это будут выброшенные деньги.
- А вы рискните!

Жак знает, что Шмуль Вассерглас этот разговор не принимает всерьез. Но Жак заронил в нем мечту. Мечта даст всходы и превратится в надежду..

Кто-то должен поддерживать огонь человеческих душ. Зачем? Затем, чтобы люди даже здесь могли оставаться людьми, не превратиться в рабочий скот.

5

– Тебя хочет видеть Яша, – сказал Марк Маркович, отыскав Жака после поверки в бараке.

– Что с ним? – спросил Жак.

Марк смотрел куда-то в сторону, растирая между большим и указательным пальцами сорванный с березы лист.

– Пойдем. Ты с ним говори осторожнее, он очень возбужден.

Жак вошел в чулан одновременно с дневальным, который сложил в угол кипу наволочек.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Жак Яшу, всматриваясь в профиль его очень бледного и как будто сжатого в кулак лица.

– Не будем заниматься вежливостями, для этого времени нет, – ответил Яша. – Я тебя позвал, чтобы поговорить о деле. Отправка русских и поляков – это уже не слухи, а факт самого ближайшего времени. Может случиться, что мы останемся вдвоем, а может, тебе одному придется выпутываться, и тогда тебе важно знать, где и что имеет смысл искать. Я говорю с тобой, потому что тебе доверяю. Я мог бы говорить с Руди, но у нас по-

ходка разная. Треснутый стакан не годится, даже если выглядит целым. Что нальешь, то вытечет. Это я говорю об организации, чтоб тебе было ясно. Организации фактически нет. Нужно начинать все сначала, и не с организации, а с людей. Если есть кому Богу молиться, то и Бог будет...

Видно было, что Яше трудно говорить, но он хочет обязательно передать Жаку все свои мысли.

— Теперь, кто эти люди. Ты их не знаешь, и у тебя не будет времени с ними познакомиться. Люди, с которыми тебе придется работать, — евреи. Их могут уничтожить до прихода русских — тогда тебе будет совсем не с кем работать. Этому надо помешать. Вопрос в том, как. Евреев считают трусами, потому что они боятся получить по морде. Но их теперь столько бьют, что они к этому привыкают. И тогда им все нипочем. Бить по морде — не доказательство силы, но выглядит, как доказательство. Немцев с детства приучают получать по морде, оттого они и выглядят сильными и смелыми. Но на самом деле они отъявленные трусы, потому что не смеют прекратить этот мордобой. Я здесь не остроумничаю, я говорю о евреях и немцах, потому что ты будешь с ними иметь дело.

Жак открыл было рот, но Яша остановил его:

— Не прерывай меня, я знаю что говорю. Конечно, есть разные евреи, и есть разные немцы, но в сумме так получается. Когда из меня тянут жилы, я кричу, что я еврей. Но я не доставлю наци удовольствия и не останусь только евреем. Я, кроме того что я еврей, еще и человек. И нужно вести дело в том смысле, чтобы евреи не принялись бить по морде других, а показали, что можно быть человеком, никого не трогая. Но борьба с фашизмом — это не разговор немцев с евреями. Бой с фашизмом — это разговор между людьми и крокодилами.

— Вот тебе список наших людей, в нем сказано, где их искать, — продолжал Яша. — Я этот список составлял весь день. К утру он должен быть уничтожен, так что выучи его наизусть. Останется, может быть, четвертая часть списка. Эта четверть должна будет делать то, что теперь делают четыре четверти. Это про мужской лагерь. В женском лагере у нас тоже есть товарищи. Их немного, но они стоят многих мужчин. Связь с женским лагерем у нас через секретаршу Губера. Звать ее Лили Брон, и этот товарищ — твоя дочь.

Жак чуть было не вскрикнул, но Яша удержал его за руку:

– Тихо! Она знает, что ты ее отец. У нас есть золото, и тебе известно, что с ним делать. Но нужно работать осторожно, а не так, как Пашка это делает. С врагом надо быть хитрым, надо таиться, притворяться. Сила наша в том, что мы знаем, кто наш враг, а он нас не знает. За нами остается выбор средств и места для удара. Но одни мы ничего сделать не можем. Поэтому первая наша задача: наладить связь с внешним миром. Кое-что в этом направлении сделано, но мало. Я тебе здесь написал, что в Бескидах есть партизаны. Нужно с ними связаться. Подумай, как это сделать... Самое трудное – найти военного руководителя. Если Пашку увезут, останется Руди. Руди не может руководить восстанием, но сказать ему это прямо нельзя. Это может его обидеть, и от обиды он может пойти против нас. Руди надо держать на холодке, чтобы не испортился. А восстание должно оставаться нашей единственной целью. Скажи мне, ты можешь взять военное руководство на себя?

Жак отрицательно покачал головой.

– Боишься или не можешь? – переспросил Яша. – Ты же военный!

– Я не военный. Я играл роль военного, как играл многие другие роли. Но играть роль военного, – это не то, что быть военным. Или ты вырос из земли, или врос в землю. Это не одно и то же.

– Ты должен стать военным. Другого человека у нас нет. Что делать, если евреи не вояки! Они не выросли из земли и не вросли в землю, их интересует то, что над землей.

– Я посмотрю, как все будет делаться, и если нужен будет военный руководитель, то мы об этом подумаем.

– Ой-ей-ей! Ты становишься евреем!

Яша замолчал. Молчал и Жак. Нарастающая тишина грозила поглотить их обоих. «Нужно еще столько сказать», – подумал Яша. Но он устал. Очень устал.

– Что такое жизнь? – спросил он неожиданно. Его голос прозвучал так, словно доносился из пещеры.

– Что такое жизнь? – повторил его вопрос Жак. – Жизнь – это особое состояние высокоорганизованной материи, – сказал и почувствовал, что краснеет.

– Что это значит? – настаивал Яша.

– Не знаю! – сознался Жак.

– В детстве я думал, – сказал Яша, – что жизнь можно включить и выключить, как электрический фонарик... Однажды я нашел мертвого воробья. Долго прикладывал к нему руки, думая оживить... – он сказал это не как взрослый, который, посмеиваясь, говорит о своих детских заблуждениях, а серьезно и грустно.

– И не удалось?

– А как ты думал?

– Жизнь можно только отнять, вернуть ее нельзя.

– Я хотел отдать часть своей жизни воробью! – воскликнул Яша. – Я ведь думал: жизнь живет в каждом, ее можно взять и отдать.

– Ну, хорошо...

– Постой, я еще не все сказал. Для того чтобы жизнь проявилась, нужно, как у электричества, сопротивление. А что такое сопротивление для жизни? Смерть...

– И что же?

– То, что чем больше смерти, тем больше становится жизни. Чем больше людей умирает, тем сильнее становится жизнь.

– Ты хочешь сказать... Жизнь и смерть находятся как бы в сообщающихся сосудах. Люди умирают, другие нарождаются. Я еще не додумал это до конца. Статистика показывает, что рождаемость превышает смертность, человечество становится все многочисленнее.

– Так и должно быть. Во взрослом человеке больше жизни, чем в ребенке. Когда взрослый умирает, его жизни хватает на нескольких младенцев. Потом младенец растет, растет и его жизнь.

– Для того чтобы родился младенец, нужны двое. Двое живых, а не один мертвый.

Зачем он только спорит?!

– Слушай, Жак, – горячо возразил Яша. – Я говорю о том, что люди умирают не напрасно. Их жизнь освобождается после смерти. Она становится «свободной жизнью». Из нее может черпать кто угодно, но только тот, кто остается в живых. Послушай! Никогда еще не умирало столько людей, как теперь. Поэтому жизнь оставшихся в живых должна стать во много раз сильнее!

— А потом, — прибавил он несколько минут спустя, — каждый человек мечтает о счастье. Если соединить все мечты вместе, какой огромной получается мечта о счастье! И было бы удивительно, если бы она не взяла верх над мечтой фашистов угробить человечество.

...Яша умер через двое суток после этого разговора. Утром у него начались сильные боли. Марк ввел ему дозу снотворного. Яша заснул и умер, не приходя в сознание.

6

Во время болезни Яши Марк Маркович взял на себя все писарские функции и таким образом получил возможность видеться с Лили. Он жил ожиданием увидеть ее и черпал из каждого свидания силы, чтобы дождаться следующего. После первых восторгов он стал скуп на проявление чувств. Только бедняки, хвастая медными грошами, желают возбудить зависть. Богачи охотно притворяются бедняками, но ощущение богатства можно делить только с самим собой.

Его чувство усиливалось вследствие невозможности дать ему естественный выход, ибо осуществление желания исчерпывает само желание. Было что-то кощунственное в том, что Марк Маркович нашел свое счастье в лагере, где, казалось, даже воздух был насыщен смертью. И как раз это соседство со смертью вызывало в нем тайный трепет, похожий на тот, что предшествует судороге страсти.

Почему-то он теперь часто вспоминал об отце, отыскивая в нем свои черты. Марк помнил отца как вечно раздраженного тирана. Однажды выброшенный из привычной колеи, не мог ее больше найти и, как воз, катящийся по вышербленной мостовой, трясся сам, сотрясая седоков. Выкинутый революцией из России, он жил на чужбине с ущербным чувством банкрота, силившегося доказать, что его имущество было расхищено, а не промотано им самим.

Страдал ли Марк отцовским комплексом? Была ли для Марка родной Франция? В школе он мучился своей отчужденностью от сверстников, которые, не задумываясь над жизнью, бросались в нее с трамплина своих страстишек. Марка увлекала вечная борьба между жизнью и смертью. Он решил стать врачом, когда убедился, что медицина, убивая микробы, заставляет

их смерть служить жизни. Не будучи бойцом, Марк Маркович увлекся картиной боя. Бойцы-микробы умирали во имя жизни. Жизнь повторяла себя бесконечное количество раз, только в разных масштабах.

Он написал Лили. Это было исповедью одинокой души, планеты, искавшей сближения с солнцем. Лили ответила: «Мы здесь не для этого. Мы должны сначала победить. Чтобы не нужно было убивать. Принесите мне расписание, о котором говорили».

Когда после отбоя все стихло, Марк лег на койку и мгновенно заснул. Он не мог сказать, сколько проспал. Ему снился сон, что он умер. Однако смерть была удивительно приятна. Марк подумал, что природа обставила смерть отвратительными приметами, чтобы отпугнуть от нее все живое. Иначе оно бы с радостью шло навстречу смерти.

Но вот — он умер. Потеряв всякую телесность, он оторвался от земли и со все возрастающей скоростью устремился ввысь, в звездное пространство. Этот полет преисполнил его восторгом. Ему стало жалко всех оставшихся в живых, людей и зверей.

Он проснулся. В окно светил месяц. Он распространял вокруг себя покой смерти.

У Марка было ощущение, что он не один. Он оглянулся... На весах в углу кто-то стоял. Марк отчетливо видел, как человек поднял руку, чтобы передвинуть прикрепленную к шкале досочку. Видимо, он был невысокого роста.

— Кто здесь? — спросил Марк.

— Это я, — отозвался человек на весах голосом Яши. Марк не удивился. Яша часто по вечерам, а то и ночью заходил в процедурную, где в столе хранились его бумаги. Только почему ему вдруг понадобилось проверять свой рост? Но у Яши всегда были странности.

— Ты меня разбудил, — сказал Марк.

— Подумаешь! — ответил Яша в обычном для него пренебрежительном тоне. — Вам и так все снится.

Марк обиделся, но, не показывая вида, сказал:

— Ты считаешь сон безделицей, а между тем он служит источником вдохновения. И, кроме того, обновляет организм.

— Что вы говорите!

– Тебе все равно, что другой переживает. У одного тонкая душа поэта, а другой скотина.

– Что из этого, если все одинаково весят?

– Что из этого? Для тебя имеет значение только вес?

– Да, но какой вес? Само по себе ничто ничего не весит. Вес – это давление на весы, воздействие, которое один предмет оказывает на другой. В духовном мире это, кажется, называется влиянием. Например... я на вас влияю...

Все еще не понимая, издевается ли Яша над ним или говорит серьезно, Марк подошел к выключателю. Яркий свет залил комнату. На весах никого не было. Марк провел рукой по лбу. Какая чушь! Но в ушах у него застрял вопрос Яши: «какой вес»? Что такое человек и его прекрасная душа, если она не оказывает влияния на другие души; кто он сам, если он только «сам по себе»? Почему он в Париже не вырвал Лили из рук фон Вевиса и не уберег ее от последующих страданий? Что он сделал, чтобы приблизиться к ней здесь, в лагере? Это сделал за него другой – Яша! И так всегда: он ждет, что события сделают то, что надлежит сделать ему самому. А события ведь происходят по воле людей и благодаря усилиям людей!

Да и теперь он рассуждает, когда нужно действовать. Немедленно!

Ему послышались шаги. Он открыл дверь в палату. Между двумя рядами коек навстречу ему двигалась сутулая фигура. Она была освещена сбоку, так что виднелась только одна ее половина.

«Как у луны, – подумал Марк. – Однако, хотя второй половины не видно, она существует...»

Фигура отстранила Марка рукой и вошла в процедурную, подошла к шкафчику с эмблемой Красного креста, открыла дверцы и стала шарить по полкам. Внезапно Марк понял, что ему надлежит делать.

– Вы там все перепутаете! Дайте, я сам... – Он отстранил фигуру рукой, нашел шприц, вставил иглу. – Вам лучше бы взять флакон с собой...

– Я приучу тебя к воздержанию, – ответил тот.

Марк наполнил шприц, не вынимая рук из шкафчика. Подал его и закрыл глаза. Открыв их, он увидел, что жидкость из шприца уже ушла под кожу. Посетитель зашагал, как авто-

мат, к двери. Марк Маркович прислушался к удаляющимся шагам, потом взял оставленный посетителем шприц, наполнил его вновь и, сдвинув рубашку на груди, сделал себе укол в область сердца.

7

В «Доме радости» был большой день. Когда Руди поднялся наверх, он нашел приемную полной народа. У доски с ключами стояла заведующая борделем Эрна в глубоко вырезанном на груди и на спине черном шелковом платье. Она раздавала ключи толпящимся вокруг нее девицам. В руке она держала хлыст.

— Что так поздно пришли? — сказала Эрна, кладя свой хлыст на диван. — Я все талоны раздала. Теперь вам придется ждать.

— Долго?

— С час. Сядьте.

Сама она села на диван, переложив хлыст на другую сторону.

— Вы немец? — спросила она, оглядывая стройную фигуру Руди испытывающим взглядом.

— Нет, австриец.

— Обожаю австрийцев! Они так галантны... Женаты?

— Нет.

— Почему? Такой красавец!

Руди принял задумчивый вид.

— Не знаю. Может быть потому, что ищу в женщинах то, что в них редко находишь.

— Дайте мне вашу руку. Не так, ладонью кверху!

— Вы умеете гадать?

— Больше догадываюсь.

— И о чем же вы догадываетесь?

Руди придвинул себе стул и сел напротив Эрны. Их колени соприкасались. Руди казалось, что из колен Эрны бьет в его ноги электрический ток...

— Говорят, что вы, если не красная, то, во всяком случае, розоватая.

— Фу! — возмутилась Эрна. — С такими типами я не вожусь!

— Вы меня не так поняли! Я имею в виду политическую окраску.

– Никакой политической окраски у меня нет.

– Известно, что работали на снаряжном заводе «Крупп-Унион» и были замешаны в истории со взрывчаткой.

Эрна отодвинулась в угол дивана.

– Все это вранье! Никакой взрывчатки не было.

– Вот именно! Без взрывчатки снаряды не взрываются.

– А вы точно знаете, что они не взрывались? И что в этом были виноваты работницы?

– Так говорят.

– Так говорят! Так говорят! – передразнила Эрна. – Мало ли что говорят! Куда бы делась взрывчатка, если бы работницы ее крали?

– Это я тоже хотел бы знать.

– Лучшее доказательство того, что вся эта история со взрывчаткой выдумана, это то, что я здесь. Как вы думаете, меня бы за кражу взрывчатки сюда перевели?

– Я ничего не думаю.

– Вот и хорошо. А теперь идите-ка домой. Я сегодня никого принимать не буду! И талона у вас нет...

Она встала и повернулась к двери.

– Чего вы ждете? – спросила она.

Дверь открылась снаружи, и Руди увидел сутулую фигуру фон Вевиса. За ним, как на привязи, следовала девица в форме женских вспомогательных отрядов эсэс.

– Что здесь происходит? – спросил фон Вевис своим скрипучим голосом.

– Ничего! Нам не впервой иметь дело с нахалами!

Вевис движением головы показал Руди на дверь. Тот вышел, но, сделав несколько шагов по лестнице, остановился, прислушиваясь.

– Комната свободная есть? – спросил фон Вевис.

– Моя только...

– Ключ.

Эрна протянула ключ фон Вевису, а тот, взяв его, чуть покачнулся. Он был, видимо, пьян.

– Дай-ка! – Вевис потянулся за хлыстом. Он указал эсэсовке на дверь.

Они ушли.

Руди поднялся на несколько ступеней, прошел по коридору и вернулся в комнату, где Эрна поправляла сдвинутую на сторону скатерть. Она его встретила, словно ничего не произошло.

— Такие дела... — сказала она, поправляя свою прическу у зеркала. — Теперь мне придется здесь ночевать.

Она замолчала, прислушиваясь. Раздался женский крик. В комнату вбежала эсэсовка в одной рубашке. Она остановилась посередине комнаты и заломила руки.

— О готт! О готт!

— Что случилось?

— Я не знаю! — всхлипывала эсэсовка, не оборачиваясь на голос Эрны. — Я не знаю! Я не виновата!

— Да ты не трясись! Говори, в чем дело!

— Замахнулся хлыстом и вдруг упал. Синий весь... Я ни при чем! Я до него не дотрагивалась!

— Отойдет...

— Я думала — господин офицер, врач, а он такой! Мне деньги его не нужны, я его знать не хочу! — Она расплакалась.

Эрна вышла в коридор. Руди смотрел на полуголую эсэсовку и удивлялся, что не может обнаружить в себе ни малейшего желания приблизиться к этому, в общем-то неплохому, экземпляру унифицированной женской породы. «Неужели я становлюсь импотентом?» — подумал он.

Эрна вернулась. У нее было злое, но довольное выражение лица.

— Господин эсэс-оберартц запоролись насмерть! — объявила она.

— О готт, готт! — продолжала выть эсэсовка.

— Одевайся, дура! Не видишь, мужчина на тебя смотрит!

8

Смерть фон Вевиса вызвала недолгий переполох среди начальства лагеря. Вскрытием было установлено, что фон Вевис умер от введения в организм стрихнина. Смерть последовала не сразу, а приблизительно через час после укола. Телефонистка Лотта Демут, с которой фон Вевис проводил время в роковой вечер, показала, что они вместе вошли в лагерь после отбоя. Фон Вевис повел ее к девятому бараку, но

оставил у дверей, где она ждала его приблизительно четверть часа. Оттуда они пошли к бараку № 2, где, по словам фон Вевиса, для него была забронирована комната. Но это оказалось неправдой. В бараке № 2 находился бордель, и заведующая борделем, по настоянию фон Вевиса, уступила ему свою комнату. Оберарцт вел себя наедине с ней (то есть Лоттой Демут) странно. Он велел ей раздеться и стал без всякого повода с ее стороны наносить ей удары хлыстом, отобранным у заведующей борделем. Подняв хлыст для очередного удара, он вдруг зашатался и упал. Испуганная Лотта Демут выбежала из комнаты, зовя о помощи...

Показания телефонистки были подтверждены находившимися в это время в приемной борделя заключенным Рудольфом Гезельхером (№ 7863) и заведующей борделем, заключенной Эрной Грюэль (№ 72440).

Было известно, что доктор фон Вевис страдал наркоманией. Можно было предположить, что врач девятого оздоровительного барака, заключенный Марк Гинзбург (№ 86862), у которого фон Вевис брал морфий, случайно перепутал флаконы и затем, обнаружив ошибку и боясь последствий, сам ввел себе стрихнин.

В заключение официального акта о смерти фон Вевиса обращалось внимание лагерного начальства на недопустимость хранения ядохимикатов в лагерных аптеках и на усиление контроля над врачами-заключенными.

9

Не успело волнение по поводу этих событий улежаться, как приказ об этапировании заключенных поляков и русских вновь взбудоражил лагерь. Предназначенных к отправке отделили от остающихся в лагере. Этапникам выдали сухой паек из расчета четырех дней пути. Из этого можно было заключить, что их отправляют в глубь Германии.

Лагерное начальство позаботилось о том, чтобы отправка происходила при пустующей зоне. Когда начали собирать этап, рабочие команды были уже выведены из лагеря и в бараках остались одни дневальные, старосты и писари.

Накануне отъезда Жак повидался с Пашкой. Этапникам не разрешалось покидать бараки, в которые их собрали для отправ-

ки. Пришедшие проститься стояли группами во дворе. Трудно было разобрать, к кому относились выкрикиваемые ими слова. Разговор между Жаком и Пашкой происходил у окна, в которое высунулись десятка два голов отъезжающих.

Отъезжающие, в большинстве молодые парни, смотрели на сорокалетнего Жака с выражением добродушной снисходительности. Те, которые его знали, следили за ним с выжидающими улыбками. Слава о нем как об искусном фокуснике, распространилась по лагерю раньше, чем стало известно о нем что-нибудь другое. Человек может быть гением, но если он не поражает воображения, он остается неизвестным.

– Ты знаешь мой адрес, а я твой. Мы должны обязательно встретиться после войны! – кричал Жак и мысленно добавлял: «Нельзя допустить, чтобы забылось пережитое. Оно должно объединить всех нас в борьбе за человечество, не разделенное предрассудками, ненавистью и страхом». – Передай привет тете Ане, брату Сергею, сестрам Гале и Вере. Я уверен, что все они живы и здоровы. Я приеду, чтобы с ними познакомиться. Обязательно!

По вечерам, после возвращения с работы, Пашка рассказывал Жаку о своей семье. Рассказывал с подробностями, живо. И Жак очень хорошо, как личных знакомых представлял себе и его отца, бывшего машиниста паровоза, потерявшего ногу при аварии и ставшего колхозным конюхом, тетю Аню, заменившую ему и его брату и двум сестрам мать, умершую когда Пашке было пять лет. Жак как бы видел и их всех, и их дом в Адлере, построенный отцом еще до женитьбы. Про тетю Аню Пашка говорил: «А мне больше ничего и не хочется, только чтобы тетя Аня про меня сказала: не зря я его растила, молодцом он у меня!»

«Мне всегда было хорошо среди простых людей. Они открыты, как двери в гостеприимном доме». Пашка не мог слышать эти слова – Жак произнес их в уме, – но кивал и шевелил губами, что-то отвечая.

Человек живет не только тем, что сам видит, но и тем, о чем слышит и узнает от других. Человек открыт со всех сторон, он усваивает чужое при помощи фантазии. Не будь у людей воображения, они застыли бы на месте.

И теперь Жак кричал, сложив руки рупором:

– Мы еще будем вместе, увидишь!

Один из соседей Пашки в окне повернулся к нему и спросил:

– Земляк?

– Земляк!

Разные они. И Жак пришел уже взрослым в страну, где родился Пашка. И семьи у них разные. А все же их роднит что-то сильнее крови. Вчера они были чужими, а вот сегодня они самые близкие люди на земле. Ветры чужой жизни продувают их насквозь, и вместе пережитое роднит их.

Часть вторая

ИСХОД

Глава 1. Незадолго до рассвета

1

В предутренние часы лагерь кажется вымершим. Сырой, пропитанный дневными испарениями, поднимается туман. Он стелется по земле, поглощая бараки, они плывут, как баржи по белесому озеру.

Лучи прожекторов со сторожевых вышек разрезают лагерную зону на сегменты. На плацу перед кухней стоят в эскизном беспорядке пюпитры оркестра. Через несколько часов перед ними усядутся оркестранты, грянет марш и мимо задвигаются полосатые ряды призраков.

Сейчас они, уложенные в строгом порядке в гробы своих коек, как бы ждут отправки. Трудно поверить, что они живые, что в дреме их чувства продолжают жить, что они с каким-то страстным упоением вычеркивают из жизни часы ночного покоя. Который час? Натренированный в отгадывании времени мозг отвечает: два часа. До подъема осталось три часа. Крепче сжимаются веки, чтобы не видеть, как ползет гусеница времени. У гусеницы множество лап — мгновений. Она может остановиться, и тогда — конец! Так уж пусть лучше она ползет, оставляя за собой слизь мучительных переживаний.

Круг замкнут.

Выхода нет.

Есть! Есть?

Который час?

Жак стоит у подножья скалы. Скала высокая, отвесная, врзается в небо. Жак ждет. Он смотрит на скалу, и в его сердце вселяется страх. Подумать только, взобраться на эту стену, где

нет выступа, за который можно ухватиться, где камень покрыт ледяной коркой. И хотя у Жака отличное снаряжение: кошки, канат, ледоруб, — он медлит.

Поднимайся, не бойся! Пока ты будешь взбираться наверх, в твои руки и ноги вольется сила и скала расступится.

Но мысль о том, что он может повиснуть над бездной, что сил не хватит и он сорвется, парализует его волю. Да, но какая ему нужда лезть на эту скалу? Ведь никто его не заставляет!

Жак, ты трус! Пусть я буду трусом, зато спасу свою жизнь. Какую жизнь? Эту?! А если, а если, а если мне удастся выбраться из нее, зажить великолепно?

Ты хочешь играть? Игрокам счастья нет. За жизнь платить надо. За нее сражаться надо. А ты думаешь проскользнуть по жизни!

2

Синие горные цветы энцианы¹, кусты альпийской розы с ее терпким, как первый поцелуй, запахом, эдельвейсы — белые благородные цветы, мертвые при жизни, живые после смерти. Эдельвейсы растут на неприступных скалах, ими камни цветут.

Жак с товарищем весь день лазили по скалам, но эдельвейсов не нашли. Они решили возвращаться, так как солнце уже садилось.

Из подножия скалы сочился ручеек. Товарищ Жака перескочил его и стал спускаться по заваленному камнями склону, а Жак решил, что легче будет идти по руслу: его ложе твердое, хотя покрыто скользкими водорослями и тиной. Он смело вступил в воду. Подбитые гвоздями горные ботинки на толстой подошве не пропускали влагу, и Жак вышагивал вниз, напевая песенку, которой научила его бабушка, «Труа жэн тамбур»². Вдруг его ноги как-то сами по себе ушли вперед, вода обнаружила всю скрытую в ней мощь, схватила его своими ледяными клещами, потащила вниз и бросила как щепку на выступ скалы. Он долго не мог придти в себя и сообразить, что с ним случилось. Постепенно мысли стали оседать, как взболтанная в стакане муть, но все же пелена перед глазами не рассеивалась. Он слышал шум воды, но шум этот доносился не извне, а, казалось,

¹ Энциана — горечавка, синий альпийский цветок.

² «Три барабанщика» — французская народная песенка.

рождался в нем самом. Над головой тугим водопадом лился ручей, внизу у подножья скалы начиналось снежное поле. Ручей прогрыз себе в снегу ложе и вытекал с другого конца уже изрядным потоком. Внизу Жак заметил серо-зеленую фигуру товарища, он размахивал шляпой и, вероятно, что-то кричал, но из-за шума воды Жак его не слышал.

Чтобы удостовериться, что он невредим, Жак ощупал себя. В грудном кармане куртки образовалась пустота. А ведь там лежал бумажник. Жак помнил, как он утром засунул его в карман. В бумажнике были деньги, удостоверение личности – черт с ними! Но ведь там были и негативы, две дюжины пленок, с которых Жак не успел снять отпечатки. Боже мой, что это были за негативы! Снятые со светофильтра, они выделяли на фоне светлого неба черные тучи настолько рельефно, что их, казалось, можно было ощупать пальцами. Однако и с этой потерей можно было смириться, но вот снимки смуглых мужчин и женщин, этой огромной семьи по фамилии Сарацин – как их восстановить? Ведь только благодаря двухнедельным уговорам и ценой восьми банок стуженного молока их удалось сгруппировать перед объективом. А портрет похожего на филина и носящего поэтому имя Пэр Ибу¹ старосты селения Сарацино в горной долине Валь де Травэр, лукаво улыбающегося после того, как Жак показал ему снимки электростанции глубоко внизу на Роне. «Я знаю, – сказал тогда Пэр Ибу, – они там из воды делают огонь».

Уже второе лето Жак гостил в этой горной долине на стыке границ Франции, Италии и Швейцарии. Там он разгадал тайну чужеродного, застрявшего в Швейцарских Альпах племени сарацинов. «В горах, – рассказывал Жаку Пэр Ибу, – спрятан клад. Его оберегают души умерших. С тетивы их луков слетают стрелы, перелетают горы, чтобы сразить великанов. Ни один царь на земле не обладает такими сокровищами, как они. Они никому не уступят этих богатств, пока все сарацины, живые и мертвые, не соберутся вместе. Увы, молодых девушек уводят в жены грузные и розовошекие парни с низовья, а мужчины уходят на заработки в чужие страны и больше не возвращаются. В долине больше надгробных камней, чем живых людей».

Очувтившись в водопаде, весь мокрый и продрогший, Жак досадовал на потерю снимков, как будто вместе с ними исчезла

¹ Папаша Филин (фр.).

достоверность существования племени сарацинов – потомков Ганнибала. Две недели назад в архивах священника в городе Мартини Жак обнаружил документы, свидетельствовавшие о том, что предки горного племени сарацинов были оставлены в горах вождем карфагенян, чтобы охранять проложенную через перевал дорогу. Эти воины остались здесь и после разгрома войск Ганнибала у ворот Рима. Они плодились скупо, потому что жен пришлось уводить у заселявших долину племен, но все же оказались достаточно живучими, чтобы их потомки дожили до наших дней. Окрестное население назвало смуглых потомков сынов африканской пустыни сарацинами, то есть арабами. Название племени стали носить как фамилию.

Может быть, Жак был недостаточно настойчив (он не думал извлекать какую-то пользу из этого открытия), но священник разрешил ему копаться в документах лишь после того, как он обещал не разглашать тайну происхождения сарацинов: «Витки истории, – твердил старый священник, – вводят народы в заблуждение, будто их родина в том или ином месте земного шара, а не в духе господнем. Нехорошо смущать людей напоминанием об их странствиях земных».

3

К кисти Жака ремнем был привязан ледоруб. От досады, что потерял снимки, Жак ударил им по скале. От скалы отвалилась плитка толщиной в несколько сантиметров. Обследуя место надлома, Жак обнаружил, что скала состоит из ломкого камня, похожего на шифер, из которого делают грифельные доски. Не прошло и десяти минут, как Жак выбил в скале несколько ступенек, по которым выбрался наверх.

Постепенно, уверившись в том, что опасность миновала, Жак придал своим мыслям определенное направление. По природе инертный, он принадлежал к тем, кто не действует, пока к этому не вынудят обстоятельства. К этому выводу он пришел, может быть, первый раз в жизни анализируя свои поступки: не пропали бы снимки, у него не было бы движения досады, позволившего ему обнаружить хрупкость скалы и выбраться из водопада. Жак констатировал свою пассивность без особого смущения и, уж во всяком случае, не намереваясь что-либо изменить.

Но вот он шагает вниз по отлогому альпийскому лугу, под его ногами цветут энцианы, вылезая из своих норок, горные суслики приветствуют его тихим посвистыванием. Лучи заходящего солнца золотят горные вершины, вечерний воздух разлит медом, и Жак ощущает всеми нервами наслаждение бытием.

4

Который час?

Прошло не больше получаса с момента, когда он заснул, а за это время протекла целая жизнь. Переживаемое подчинено тем же законам, что и предметы в пространстве: до смешного малы события, отдаленные от настоящего. Целая жизнь укладывается в коробку памяти, а зачастую и жизнь близких людей. Способностью помнить и жизнь других человек отличается от животного. Но в этом и его слабость. Ощущение собственной жизни расплывается по многим каналам.

Который час?!

В предутренние часы между сном и явью в извилинах мозга рождаются мысли. Они еще слабы и незащищённы, но уже несут в себе заряд неслыханной силы.

Есть мысли, похожие на болотные огни, они манят и засасывают. Есть мысли, которые вертятся вокруг своей оси, как волчок, они бесплодны, потому что влюблены в себя. Еще есть мысли, которые заполняют закрома человеческих знаний, помогают преодолевать трудности, покоряют природу, вооружают в борьбе. Однако их сила проявляется только тогда, когда их подхватят сильные руки и «трубный глас» донесет их до сознания народов.

Рядом спит товарищ Жака Аарон Рот, молодой мастер мотороборочного цеха. Его грудь равномерно поднимается, мускулистые руки раскинуты по обе стороны койки. На лице Аарона застыла блаженная улыбка. Такое выражение лица бывает на лицах умерших, думает Жак. Оно бывает и на лицах тех, кто смертельно устал и, наконец, может отдохнуть...

Вообще-то лицо Аарона маловыразительно, оно как будто навсегда отчеканено ударами боксерских перчаток. Аарон — бывший боксер, об этом он рассказывал Жаку. Когда-то его имя, вернее, его псевдоним Тед Кид высоко котировалось на международной спортивной бирже.

С тех пор как Марсель Тиль¹ покинул ринг, Тед Кид стал некоронованным королем среднего веса. Некоронованным, потому что ни одна национальная федерация бокса не выставила его своим кандидатом.

– Мало быть сильным, – объяснял он Жаку, – нужно еще, чтобы тебя выставила какая-нибудь нация. А для этого она должна иметь свое государство.

Не имея соперников и не добившись признания, Аарон занялся починкой машин. Он создал гоночную машину, которая в 1937 году победила на гонках «Митевропа».

– Машиной можно доказать то, что человек собой доказать не может, – заключил он повествование о своей спортивной карьере.

Этот философского склада ума боксер и автоконструктор был ярким сионистом, считая это политическое направление «данным самой природой».

– Когда-то я думал о подвиге, – сказал он как-то вечером. – У нас во Франкфурте-на-Майне была еврейская молодежная организация. Мы арендовали участок земли и учились вести сельское хозяйство. У нас была своя техника, трактор, сеялки, веялки... Ты слышал что-нибудь про кибуцы?

Он повернулся к Жаку. Тот отрицательно покачал головой. Аарон кивнул, как будто ожидал такого ответа.

– Кибуцы – это сельскохозяйственные общества, где все принадлежит всем. Сначала думаешь, как это возможно? Но оно есть, и значит, возможно. Такое общественное устройство кажется противным еврейскому духу. На иврите существительные склоняются в соответствии с принадлежностью предмета: «мой дом» это нечто другое, чем «твой дом», а «твой дом» отличается от «его дома». Но «наш дом» один и тот же для всех нас. И уж во всяком случае, не «их дом». Мы обучались также военному делу, у нас была одна винтовка, и стреляли мы из нее по очереди и по очереди воображали себя героями будущих битв за Эрец-Исраэль. Мой тренер по боксу Вилли Штейн, мухач², каких до него не было и не будет, говорил: «Если бы еврей мог стать абсолютным чемпионом

¹ Тиль Марсель – французский боксер, чемпион мира среди профессионалов в 1932 г.

² Мухач – боксер наилегчайшего веса.

по боксу, то это для еврейской нации означало бы больше, чем десять Эйнштейнов». Мне было семнадцать лет, я весил тогда семьдесят пять кило при росте метр восемьдесят два, и я думал, почему бы мне не стать абсолютным чемпионом. Но в тридцать втором произошла «бескровная революция», как нацисты назвали свой переворот, и все мои мечты, можно сказать, были нокаутированы.

— Отец был стекольщиком, «стекольных дел мастером», как он себя называл. Он всю свою жизнь мечтал о большом шансе. И вот наступил этот шанс. Было разбито столько витрин, что мой отец, даже если бы дожил до ста лет, не мог бы их вставить. Но он не дожил до ста лет. Он был убит в сорок пять, потому что защищал свою жену, мою мать, и двух дочерей, моих сестер. Все они были красавицами, стройными и гибкими, с прекрасными глазами. Мой отец, наоборот, был еврей, как его любят изображать нацисты, с носом кренделем и кривыми ногами. И когда он говорил моей матери: «Ты только вспомни, каким я был», моя мама отвечала: «Не могу».

— Я был трусливее моего отца и бежал в Голландию. Там я выступал на ринге только в экзибишн. В тридцать седьмом году я пробрался во Франкфурт-на-Майне. Мать и сестер погрузил в самолет, но меня самого задержали. И все же мне удалось еще раз бежать, на этот раз в Швейцарию. Там я занялся автомобилями. Но когда я проехал через границу, нацисты меня схватили, на этот раз окончательно.

5

Несмотря на противоречия во взглядах и в характерах, Жак и Аарон дружили, даже ели вместе, что в лагере считалось высшим проявлением дружбы.

Хотя он этого не высказывал, Аарон считал, что евреи стоят выше других народов по способностям и уму и не превосходят их физически только потому, что живут в ненормальных условиях. Нормальными условиями он считал жизнь на земле, занятие сельским хозяйством.

— У тебя фашистские взгляды, — возражал Жак. — Если бы нацисты не издевались над евреями, ты мог бы быть с ними заодно.

Аарон задумался. «Он честный парень, — думал про себя Жак. — Интересно, что он ответит?»

— Если бы нацисты не издевались над евреями, они бы не были нацистами, — вывернулся Аарон.

Жак не удержался, чтобы не сказать:

— Такой ответ тебя-то самого удовлетворяет?

Аарон пожал плечами.

— Не отвечать — это тоже ответ.

Может быть, личный опыт научил его избегать прямых ответов. Хотя однажды он избил в уборной какого-то поляка за антисемитскую выходку. Но в лагере он сумел не попасть к «неграм», как называли заключенных, работающих на строительстве или занятых на общих работах. Он очутился среди «аристократов» авторемонтного завода. И вообще, жилось ему по лагерным меркам не так уж плохо. В этом отношении он сравнялся с Жаком. Тот тоже не знал почему фунт лиха. И хотя все ужасы фашистского лагеря смерти, мучения и издевательства происходили у обоих перед глазами, они оставались как бы наблюдателями со стороны. Обо всем, что они видели, они могли говорить спокойно, рассуждая как о факте, который их непосредственно не затрагивает. По существу они прятались в защитную скорлупу своего «я», как улитки в раковину, и только когда гроза прекращалась, они высывали рожки и ползли по стезе размышлений над судьбами человечества.

Интеллигентность! Невмешательство было их девизом с момента рождения. А если теперь по воле судьбы они были вынуждены участвовать в свалке, то делали это с ощущением зрителя, приглашенного на сцену.

Когда Жак спорил с Аароном, ему казалось, что он защищает единственно правильную точку зрения.

— Ты сравниваешь Эйнштейна с чемпионом по боксу? Но разве можно сравнивать человека, который дал новый поворот науке, с тем, кто только сворачивает скулы?

— Все зависит от точки зрения.

— Тогда ты не должен возражать против того, что ты в лагере.

— Я и не возражаю. Я только хочу выбраться отсюда.

Они шли в колонне, направляясь к заводу. В колонне было запрещено разговаривать. Втиснувшись в середину пятерки, они яростно перешептывались. Жак неоднократно давал себе слово прекратить эти бесполезные споры. Но на ум ему приходил какой-нибудь «неопровержимый» довод, и спор возобновлялся с новой силой.

— Евреи заменили боевые знамена скрижалями веры. В этом их подвиг. Вы — сионисты, наоборот, хотите продать свое первородство за чечевичную похлебку национального благополучия.

— Смотри по тому, кто чем сыт.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Нам надоела одна только духовная пища. Мы хотим сидеть на своей земле и есть ее плоды. Только тогда мы станем людьми.

— Какими людьми?

— Как все другие.

— Это немцы выдвинули лозунг «Блют унд боден»¹. Он им заменил другой лозунг: «Гайст унд виссен»².

Но Аарон упорствовал:

— У них своя земля, у нас — нет.

— Ни одна нация не имеет права поработить другую.

— Мы никого не собираемся поработать. Мы были изгнаны из своей земли, мы хотим ее отвоевать.

Пауза. Колонна идет по путепроводу. Снизу их обдало паром

— Палестина — страна камня и песка. Тебе понравилось бы жить там, где нет лесов?

Неожиданно это замечание заставило Аарона замолчать. Только вечером на обратном пути он ответил:

— Лучше жить в стране, где нет лесов, чем в гетто.

— Гетто были еще до нацизма, но затем были уничтожены.

— Когда евреям милостиво разрешили ассимилироваться!

Но мы не хотим ассимилироваться. Не хотим исчезнуть.

Жак рассказал Аарону про сарацинов.

¹ Кровь и почва (*нем.* Blut und Boden) — нацистский лозунг, отражающий антиурбанистическую направленность нацистского движения.

² Дух и знания (*нем.* Geist und Wissen).

– Ну и что?

– Они верят в какой-то клад. Чтобы им овладеть, нужно собрать живых и мертвых.

Аарон как-то странно поглядел на него, но ничего не ответил.

6

В лагере шли слухи о приезде какой-то комиссии.

Основой питания в лагере был суп: густой навар из картофеля и овощей, заправленный жмыхами. Суп выдавали в обед по три четверти литра на человека. Из шестидесятилитровой бочки двадцать литров уходило на дополнительное питание «придурков», как заключенные называли представителей администрации.

Как реформа первостепенной важности, затмившая своим значением возможный приезд комиссии, было расценено ограничение дополнительного питания до пяти литров с бочки. Такое предложение было внесено старостой лагеря Руди Гезельхером, бывшим заведующим прачечной. Его авторитет в связи с этим вырос чрезвычайно.

Рядом с лагерной тюрьмой в конце березовой аллеи был вырыт бассейн и установлена вышка для прыжков в воду. Перед бараками разбили цветники, дорожки поверх гальки усыпали желтым речным песком. Лужи крови, стекавшие с носилок убитых за день работяг тщательно засыпались. Но их нельзя было целиком скрыть там, где колонна останавливалась, ожидая, пока рассосется затор у брамы. Чтобы ускорить проход заключенных, конвоиры спускали с цепей овчарок. Собаки бросались на гефтлингов, рвали с них одежду, валили на землю. Люди спасались за проволочным ограждением – в зону собак не пускали.

Убитых за день складывали вдоль барakov. На вечерней поверке они числились живыми. После проверки эсэсовец шел вдоль барakov и записывал номера убитых, обнажая им руки по локоть. При этом он поднимал их кверху, и трупы оставались лежать с поднятыми руками, как будто при голосовании.

Все предвещало приближение знаменательных событий: лагерной «обслуге» выдали комплекты новой одежды, в бараках белили стены и потолки, скоблили стеклом половицы, по вечерам для лагерной администрации и девиц из борделя демонстриро-

вались старые фильмы. Новых не показывали, то ли из чувства стыдливости за их тенденциозный схематизм, то ли предпочитая в целях воспитания сентиментальный удой старых.

По пятницам в промежутках между виселицами устанавливали кóзлы для порки. Палачей не хватало, и лагерфюрер вызывал добровольцев капо и старост барачков. Милиц потом хвастался, что его жертвы приходилось откачивать.

В одну из пятниц из бункера приволокли троих. Их выстроили перед виселицами, где им был зачитан приговор. Один из них стал что-то кричать, и эсэсовец запихнул ему в рот тряпку. Заключенный тряпку выплюнул. Близко стоявшие видели, как эсэсовец вынул нож и разрезал смертнику рот до ушей, чтобы поглубже засунуть тряпку. Когда ему накинули петлю на шею, он раскачался, сам опрокинул табуретку и повис. Другой заключенный, когда его поднимали на табуретку, крикнул: «Смерть фашистам! Да здравствует Сталин!» «Русские», — пронеслось по рядам заключенных.

Третий смертник был еврей. Его казнили за побег. Ему удалось пробиться до голландской границы, и там его поймали. В отличие от двух русских военнопленных, которых вешал эсэсовец, еврея должен был казнить карлик-палач из заключенных. Случилось так, что юноша выскользнул из петли и упал на землю. Он был бледен как смерть. Трудно было представить, что человек может быть так бледен! Снова карлик накинул на него петлю, и снова несчастный сорвался. Тогда лагерфюрер подал знак, и один из эсэсовцев двумя выстрелами прикончил незадачливого палача, а третьим пристрелил беглеца.

— Разойдись! — раздалась команда.

Но никто не тронулся с места. Заключенные стояли, потупившись, и молчали. В этом молчании была угроза. Лагерфюрер как-то неестественно взвизгнул и поднял руку. Несколько эсэсовцев выступили вперед, сорвав автоматы. Только тогда ряды заключенных пришли в движение. Без команды, группами и в одиночку, они молча брели к барачкам.

7

Сквозь цокот деревянных башмаков доносились звуки оркестра. Дирижер в подогнанной полосатой одежде щеголял военной выправкой. Музыканты дули в инструменты так, что,

казалось, их щеки разорвутся. За частоколом окаменевших эсэсовцев появилась группа гостей: один высокий в крагах, другой бородатый в чалме. Двое поменьше ростом: дама в сиреновом платье со спущенной на затылок соломенной шляпой и мужчина в черном сюртуке протестантского священника. Шляпа окружала голову дамы бледным ореолом.

Эти выходцы из другого мира приковали к себе внимание заключенных. «Комиссия Красного креста» – слышалось по рядам. Откуда-то стало известно, что председателем комиссии является профессор международного права из Швейцарии, а ее членами – муфтий из Дамаска, протестантский священник из Исландии, шведская баронесса как представитель держав Оси и какой-то венгерский граф.

Вечерняя поверка, длящаяся обычно два часа, на этот раз закончилась необычайно быстро. В бараках для возвращавшихся с работы гефтлингов штубендисты¹ сервировали ужин из ломтиков нарезанной колбасы, зажаренной на маргарине, и компота из сухофруктов с размоченным в нем черным хлебом. В проходах между койками шипели юпитеры, стрекотали кинокамеры. Вечером на празднично убранной березовой аллее снимались сценки «из быта заключенных»: группы весело болтающих гефтлингов, капо и шрайберов, играющих в чехарду, раздачу посылок Красного креста. У бассейна проводились состязания по прыжкам в воду. Победителей награждали шуточными подарками – зеркальцами с нарисованными на них рожами, пистолетиками, которые стреляли серпантинными лентами, воздушными шарами с надписью: «Гефтлинг, учись ценить свободу».

Перед входом в баню толпились заключенные. Их впускали по пропускам. Для эсэсовцев вход был свободным. Рядом с сооруженным посреди бани рингом было отведено особое место для гостей. Как было объявлено, в бане должно было произойти состязание по боксу между двумя боксерами-любителями, чемпионом войск СС в полутяжелом весе и заключенным Аароном Ротом, бывшим когда-то профессионалом, неофициальным чемпионом Европы в среднем весе. Лагерное начальство этим демонстрировало свой либерализм: в условиях лагеря оно отхо-

¹ *Штубендинст* (Stubendienst – дежурный по казарме) – команда узников, которые выполняли разные работы внутри блока: убрали помещения, мыли полы, вытаскивали во двор и складывали трупы и т. п. Этих людей на русский лад называли штубендистами.

дило от правил, запрещавших состязания между арийцами и евреями, тем более между гефтлингами и стражей.

За неделю до этого события Аарон по вечерам стал исчезать и приходил уже после отбоя в каком-то странно возбужденном состоянии.

– Почему ты молчишь? – спросил Жак Аарона, когда тот, вернувшись, натянул одеяло на голову.

– Потому что нечего разговаривать, – буркнул Аарон ему в ответ.

– Но я же вижу, что с тобой что-то происходит, – настаивал Жак.

– Ничего не происходит, – отвечал Аарон.

В вечер матча все выяснилось: Аарона тренировали для предстоящего выступления. О том, что произошло в этот вечер в бане, Жак узнал со слов самого Аарона. Он вернулся в барак, когда все спали, и, взбираясь на свою койку, разбудил Жака.

– Не спишь?

– Теперь не сплю.

– Так слушай. Я, может быть, сделал глупость, но эта глупость кажется сейчас мне умнее всякого умничания. Против меня выступали трое. Три встречи по три раунда, всего двадцать семь минут. Я должен был боксировать без передышки. Они думали меня измотать. Макс понимал, что они хотят со мной сделать. Ему было жалко меня. «Я тебя во втором раунде уложу. Хорошо?» «Хорошо», – ответил я.

– С первым было так: я сразу же ушел в глухую оборону, нырял, избегая углов. Мой противник, увлекшись атаками, позабыл о защите. Я провел один удар по солнечному сплетению и «хук», от которого эсэсовец ушел на пол до счета.

– Вторым моим противником был чемпион «Крафт дурьх фройде». Ему удалось два раза послать меня в нокдаун. Но это были чепуховые нокдауны, я их использовал для отдыха. При счете «восемь» я снова был на ногах. Я заметил, что противник злится. «Порядок! – подумал я, – моя тактика правильна». Во втором раунде я его загнал в угол, а сам вывернулся. Я сфинтовал слева, он уклонился в левую сторону. Я повторил финт, и он снова ушел влево. Тогда я поймал его на правый свинг, и он свалился. К бою с Максом я был уже порядком измотан. Ведь три раунда были уже позади. Я знал, что тут дешевые финты не

помогут. Как только прозвучал гонг, я осыпал противника градом ударов. Делал я это нарочно неуклюже. Такие удары и младенцу вреда бы не причинили. Макс понял так, что я имитирую настоящий бой для того, чтобы сделать его победу более убедительной. Он шутя парировал мои удары и даже подмигивал мне: я, мол, портить игры не собираюсь. После первого раунда он притворился подбитым, но я видел по его лицу, что он решил меня во втором раунде нокаутировать. Второй раунд начался так же, как и первый, с бурных, но безопасных атак с моей стороны. Вконец уверившись в моей беспомощности, Макс, как бы нехотя, провел серию ударов. Я беспорядочно отбивался, но вдруг, словно невзначай, подцепил Макса за подбородок, да поднял его вверх вершка на три. Он так и не опомнился. Что тут делалось, ты не можешь себе представить. Поднялся такой свист и крик, что лампы закачались. Несколько эсэсовцев вскочили на ринг, хотели со мной расправиться. Но к тому времени Макс очухался. Он встал на ноги, и в одно мгновение ринг был очищен от всей это своры, только чьи-то ноги запутались в ослабевшей от натиска веревке. Макс стал кричать, что спорт есть спорт, что его честь не допустит и прочее, а со мной он еще рассчитывается. Макса я знал по рингу еще в мирное время. Это настоящий спортсмен.

8

Который час?! Они обыкновенно приходят в это время. Жак ждет.

Вчера. Да это было вчера, его вызвал староста барака. Гётц лежал на койке, подсунув свою здоровую руку под затылок. Он курил. На полу валялись спички и окурки.

Гётц не повернулся к вошедшему. Только взял щепоть табаку из раскрытого пакета и стал закручивать себе сигарету.

— Что ты теперь будешь делать? — спросил он, глядя в потолок.

— В связи с чем? — поинтересовался Жак.

Гётц присел и стряхнул просыпавшийся на грудь пепел.

— Сегодня ночью из лагеря вывезут на газ человек триста.

Это для начала.

Жак молчал. Он ничего не знал об этом. Вот тебе и руководитель организации! В последнее время он сторонился подполь-

ной работы. Были тому разные причины, но основная состояла в том, что он был занят собой.

— Я с самого начала не верил в вашу организацию, — продолжил Гётц. — У меня была даже мысль, не терпит ли вас начальство для того, чтобы в нужный момент с вами расправиться.

— Волков бояться — в лес не ходить, — пытался возразить Жак.

— А много ли пользы от ваших лесных прогулок?

— Если так, то почему ты ожидаешь от нас каких-то шагов?

— Шагов! — саркастически засмеялся Гётц. — Ты пойми, здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. А вы играете в заговор, как будто выступаете на театральных подмостках.

— Не Аарон ли накликал беду?

— Брось! — Гётц скинул ноги с кровати и достал из-под койки будильник. Будильники выдавались на ночь дежурным старостам. — Не хватало только, среди жертв искать виновных! Иди, а то мне выспаться надо.

Жак ушел от него с чувством должника, который не смог вернуть долг другу, отдавшему ему свои последние сбережения.

Он промолчал, когда Аарон спросил его, где он был. Сегодня, возможно, наступит его очередь. Люди уходят из жизни, как телеграфные столбы, за которыми следишь из окна вагона. Исчезнув, они где-то остаются, продолжают существовать, но Жаку это безразлично, будто он их и не видел вовсе. Иногда поезд останавливается, и жизнь Жака вливается в жизнь людей на перроне, но вот раздался удар колокола, оповещающий об отходе поезда, свисток кондуктора, гудок, и поезд трогается.

9

Гонг!

Неужели Жака обмануло чувство времени? Разве уже пять часов?

Но вот и крики штубендистов: «Подъем!»

«У меня на завтрак осталась половина вчерашней пайки», — думает Жак.

Дневальный распахивает окно у изголовья койки. Вместе со свежим воздухом в комнату врываются каркающие голоса эсэсовцев. Двор между бараками набит серо-зелеными мундирами. Если высунуть голову, из окна можно увидеть укрытые

брезентом грузовики. На таких грузовиках из лагеря увозят смертников.

Теперь не пять часов, только четыре!

Лагерь напоминает растревоженный муравейник, но в отличие от муравьев никто не знает, что делать. Из комендатуры выходит гауптштурмфюрер Губер. Нижние чины вытягиваются перед ним. Губер идет к двадцать пятому бараку. Нижние чины провожают его взглядом. Внизу хлопает дверь. Заключенные переглядываются. Крик. Кричит Губер:

– Ду швайн, ду халюнке!¹

Мимо окон барака проводят Гётца. Он в нижнем белье. Правый рукав его рубашки развеивается, как флаг. Какой-то заключенный бежит вслед за ним с протезом в руке. Один из эсэсовцев отбирает протез и бросает через голову Гётца в проход между бараками, где другие его подхватывают и, смеясь, сгибают и расправляют. Гётц кричит, поднимая голову к открытым окнам:

– Ничего, ребята, ошибся малость! Будильник подвел.

– Куда ведут старосту?

– В бункер.

– За что?

– Не слыхал? Он дал подъем на час раньше, целый час замотал!

Хлеб уже съеден? Хорошо, что у Жака остался кусок со вчерашнего дня. Лагерь научил его экономии, но до обеда восемь часов, а не семь. Чтоб этому старосте пусто было!

Придется целый час ждать у брамы. Начальство злое, раньше шести не явится. Какую путаницу внес этот черт!

Но часом позже все стало входить в обычную колею. Хлеб раздали, койки заправили, из дверей бараков выползла масса заключенных. Эсэсовцы исчезли, заиграл оркестр. Постепенно полосатое месиво пришло в движение. Трудовой день начался.

Кончился он четырнадцать часов спустя. Вечером Аарона вызвали в больницу. Жаку хотелось крикнуть: «Не ходи!» Но что толку кричать?

Из больницы Аарон не вернулся. И снова, как это бывало уже столько раз, из жизни ушел товарищ. Память о нем зарубце-

¹ Ты свинья, ты негодяй! (нем.)

валась, а Жак продолжает жить. Во имя чего? Для того ли, чтобы своей жизнью воздать должное погибшему в борьбе? Или по своей вине или неспособности он не выполняет возложенные на него задачи и нарушает закон жизни: всякий предмет должен нести на себе идейную нагрузку, тем более всякий человек, иначе ему нет места в пьесе, в романе или в жизни. Уверовав в этот закон, Жак предался размышлениям о том, чего от него ждет судьба.

Глава 2. Цель оправдывает средства

1

Кароль Иштван граф Чакки подошел к двери и, взяв с серебряного подноса конверт, стал его вскрывать своими длинными холеными пальцами. Его супруга, высокая и полнотелая блондинка, следила за ним, скрыв усмешку в щелках глаз. Кароль Иштван извлек из конверта сложенный вчетверо лист бумаги и с удивлением поднял брови.

– Приглашение? – спросила Оттилия.

– Да.

– На раут?

– Нет, не на раут.

На самом деле это было приглашение зайти в секретариат министерства иностранных дел «по интересующему его вопросу». «Весьма необязательно», – подумал он, но тут же почувствовал толчок в сердце, и вся левая сторона его туловища показалась зажатой в тиски. Стиснув зубы, Кароль Иштван подошел к висящему на стене шкафчику и, найдя маленький флакон, стал капать из него в стаканчик. После двойной дозы валидола боль несколько утихла, но в груди осталось ноющее, как смутное сожаление, чувство.

– Она, – подумал он. – Вот кто источник моей болезни.

Приглашение в министерство иностранных дел, несомненно, было связано с ходатайством об освобождении Лилиан Шеригёс из концлагеря. Этому предшествовали многочисленные попытки облегчить ее участь.

Все несчастья начались с бегства злоупотребившего его доверием Анри Абрабанеля. Мало того, что тот присвоил себе приданое Лили, он еще пригрозил предать гласности ее

происхождение. А для графа Чакки это было равносильно диффамации.

Он решил добиться свободы Лили не только чтобы скрыть следы своего прошлого, своей связи с евреями, но и для того, чтобы доказать свою независимость и свободу мышления. Некоторая фронда по отношению к фашистскому режиму стала в последний год признаком хорошего тона.

К этим соображениям примешивалось чувство, которое Кароль Иштван считал атавистическим. Пока Лили была девочкой, он не испытывал к ней никакого интереса. Но позже он поймал себя на том, что начинает гордиться ею. Он хранил в сейфе фотографии и вырезки из газет, сообщавшие о ее успехах. Невольно он сравнивал черты ее лица со своими. Родство было несомненным: та же унаследованная от далеких предков скуластость и слегка скошенный разрез глаз. Он купил фильмы, в которых она была снята во время танца. У нее были те же немного развинченные движения, что и у него... Но внезапно она натягивалась, как струна, казалось, дотронься до нее, и зазвонит. А ведь она была вынуждена напрягаться не только в танце, но и для того, чтобы справиться со своей судьбой. А он, ее отец, не мог уберечь ее, не рискуя своим положением в свете!

Но не только это было причиной его раздумий: насмехаясь над «семейным счастьем», Кароль Иштван тайком мечтал о нем. Его великосветская жизнь отняла у него все, связанное с искренностью и непосредственностью. Брак с Отилией был смертным приговором чувству. В безвоздушном пространстве, в котором он жил, не было необходимой для движения точки опоры. Ему с детства твердили: «Графам Чакки нет необходимости двигаться. Вся их забота должна состоять в том, чтобы с достоинством плыть по течению».

Как и большинство венгерских магнатов, Кароль Иштван был тесно связан с еврейской крупной буржуазией. В его среде антисемитизм считался моветоном. В отместку за то, что ему навязали чуждое его воззрениям поведение, Граф Чакки стал выставлять напоказ свою близость с некоторыми финансовыми воротилами-евреями. За это официальные должностные лица перестали с ним знаться. Прочтя на улице о «деевреизации» Будапешта, он остановился на тротуаре и, подняв кверху только что купленную газету, сказал: «Глупо! Какой полководец уни-

чтожает мосты, которыми ему, возможно, придется воспользоваться!» Прохожие посторонились, как будто наткнулись на умалишенного.

– Ты, как всегда, преувеличиваешь, – заметила Оттилия, когда он, получив приглашение от министерства иностранных дел, высказал опасение, что его могут завлечь в западню. – Если хочешь, я спрошу у господина Эйхмана, в чем дело...

Кароль Иштван скривил рот.

– В чем дело и так известно.

– А именно?

– Вступая на путь разбоя, кандидат в разбойники неистовствует против тех, кто давно занимается этим делом.

– Ты любишь злословить.

– К сожалению, это мое единственное оружие. В том, что я по существу безоружен, виновато светское воспитание.

2

Чиновник министерства был учтив, но равнодушен к мотивам, которые заставили графа Чакки ходатайствовать об освобождении какой-то заключенной.

– В известной мере ваше ходатайство... идет навстречу намерениям Берлина проявить некоторую снисходительность.

Кароль Иштван не удержался от каламбура.

– Снисходительность проявляет тот, кто не может ее не проявлять.

Чиновник сделал вид, что не расслышал. Он погрузился в молчание, уставившись в потолок. Наконец сказал, растягивая слова, как резину:

– Наступило время, когда нам, мадьярам, следует вспомнить о нашем историческом предназначении. Наши предки пришли с Востока, но стали на защиту Запада. Запад, с тех пор как обрел величие, стал консервативен. Восток же пребывает в лабильном состоянии, угрожая незыблемости западных устоев. Демаркационную линию между Западом и Востоком следует провести не только в пространстве, но и во времени. Национал-социализм разорвал связи, существовавшие ранее. Одна из этих связей осуществлялась через еврейство, другая – через родовую аристократию. – Он отвел глаза от протокола и взглянул на потонувшего в кресле Кароля Иштвана. – Наиболее просвет-

ленные умы нашего государства видят свою задачу в восстановлении разрушенных Рейхом связей, иначе нам грозит участь разменной монеты между западными державами и Третьей империей. Для этого мы обязаны быть внешне кроткими, как овечки, и мудрыми, как змеи.

Шандор Белиша вздохнул, дав Чакки возможность вставить слово.

— Что ж, — глядя с некоторой опаской на чиновника, произнес он, — пожалуй, старой аристократии нужно остерегаться новой династии ефрейторов.

— Международный Красный крест много лет добивался обследования германских концентрационных лагерей. По-видимому, в Берлине поняли свою ошибку. Разрешение дано. В ближайшее время комиссия Красного креста получит возможность обследовать некоторые концентрационные лагеря. — Брови Шандора Белиша взметнулись, образуя иронически-трагическую дугу. — Тут я вижу возможность эффективным жестом соединить осуществление вашей просьбы с миротворческой акцией Красного креста. Мне остается ждать вашего согласия.

Граф Чакки продемонстрировал, насколько его руки и ноги свободны в движении.

— По существу я уже дал ответ.

Шандор Белиша нагнулся вперед и продолжал, понизив голос:

— Вам должно быть понятно наше беспокойство. Нам нужно думать, как вывести Венгрию из войны. Комиссия Красного креста и роль, которая ей предназначена, представляется удобным случаем заручиться поддержкой тех кругов Запада, которые хотели бы видеть Венгрию в своем стане. Для нас это было бы выходом из положения: не порывая открыто с нашим нынешним союзником, мы могли бы послужить ему поводырем.

— Это точка зрения правительства?

— Это точка зрения венгерских патриотов, к которым я хотел бы вас причислить.

3

Неожиданно для себя Лили восприняла смерть Брона как тяжелую утрату. Оборвалось последнее звено, связывавшее ее

с прошлым. И хотя это прошлое было далеко не безоблачным, оно было ее прошлым. Имя ее «папеньки», этого жалкого прощельги, как назвал Самуила Брона Абрабанель, звучало каким-то скорбным комментарием к ее собственной судьбе. Как будто увидев себя посторонними глазами, Лили прониклась состраданием к себе. Перед ней возникло ее лишенное родительской ласки детство, изуродованная порочным воспитанием юность, инстинктивные поиски счастья, замороженные мертвящим холодом отношений с опекуном, отвращение, вызванное липким ухаживанием барона. Только в тюремной камере она почувствовала впервые тепло человеческого сердца, она как будто вновь родилась, на этот раз членом большой семьи, и ничто не казалось ей более естественным, чем отрешиться от прошлого ради общности с чувствами и мыслями друзей. Все же на дне ее сознания осталась горечь, как от разрыва с покинувшим ее любимым. Большая семья, к которой она теперь примкнула, не могла его заменить. Украинки и белоруски следили за ней с видимым любопытством, но она была им чужда.

Однажды Мария привела ее в барак и представила «своим». Они выпили по кружке настоящего чая с сахаром вприкуску. Потом Мария и еще одна черноглазая принялись танцевать. Остальные имитировали оркестр, играя на обтянутых бумагой гребешках. Лили быстро уловила характер и фигуры танца. Мария и ее партнерша отступили к нарам, «оркестрантки» встали и окружили Лили, перестав играть. Вдруг Лили застыла на месте. Вокруг нее теснилась толпа, но она была одна...

Не спросив ее согласия, девушки стали собираться один, а то и два раза в неделю, чтобы посмотреть ее танец. Лили не смела им отказать, но уговор, заключенный помимо ее воли, был ей обиднее принуждения. Все же, танцуя, она забывала обо всем. «Оркестр», естественно, не был в состоянии сопровождать ее танцы. Она танцевала «Умирающего лебедя» Сен-Санса, «Арлезианку» Бизе и куклу из сказок Гофмана, мысленно представляя себе музыку. Для ее зрительниц лишенный музыкального сопровождения танец казался каким-то таинством. Их рукоплескания после каждого номера Лили ощущала как нарушение обета молчания.

Об этих вечерах узнали надзирательницы лагеря. Однажды они гурьбой нагрянули в барак, где танцевала Лили. С тех пор

выступления «французенки» разнообразили их казарменный быт. Посещение надзирательниц давало возможность получать из кухни дополнительные блага в виде лишних кусков колбасы и ложек мармелада.

Песок состоит из отдельных песчинок и превращается в стекло под действием высокой температуры. Публика не становится монолитной от того, что выказывает свое единодушие. Взрывы аплодисментов свидетельствуют о одновременной реакции, а не о внутренней связи.

Каждый раз, заканчивая выступление, Лили с недоумением вглядывалась в лица присутствующих. Она видела перед собой физиономии служанок, довольных своей ролью меценаток, загоревшиеся мечтой широкоскулые лица девчат с Востока, скорбные взгляды евреек, замкнутые для врага и гостеприимные для друга лица чешек и немок. Она думала о том, что хорошо было бы их объединить, но для чего и во имя чего — не знала.

4

Однажды после выступления Мария отвела Лили в сторону.

— Мы решили принять тебя в наш кружок. Мы будем за тебя отвечать. Но и ты ответишь перед нами.

Такое «посвящение в рыцари» показалось Лили несколько обидным. Она промолчала.

— Не хочешь? — спросила Мария.

— Для чего ты это говоришь?

— Увидишь.

В ту пору Лили работала на снаряжном заводе. Вскоре Мария дала ей задание. Лили наравне с другими прятала взрывчатку и переносила ее в лагерь. Возвратившись в зону, работницы направлялись в амбулаторию под предлогом недомогания. Вечерний прием проводила в лаборатории Бронислава. Еще теплую от прикосновения к телу взрывчатку ссыпали в матрасную наволочку и уходили, получив какое-нибудь снадобье. Нужно было только миновать регистратуру, где частые посещения одних и тех же заключенных могли вызвать подозрения.

Потом произошла история с «салазками». Лили в числе других доставили в больницу, на этот раз как стационарную больную. Еще до операции Бронислава посвятила ее в разработанный Яшей план.

— В комендатуре тебе никто не поможет. Там ты будешь одна. Но ты будешь связана с товарищем, который действует под именем твоего отца, Самуила Брона. Ты будешь передавать сведения. Сама ты должна стусеваться. Я говорю с тобой, как с товарищем, который все понимает. Может быть, тебе что-нибудь неясно?

Лили отрицательно покачала головой. Ей было ясно: и на этот раз ее используют.

Она опасалась встречи с Вевисом. Но однажды под конец вечерней поверки Лили в ожидании отправки в лагерь вышла на крыльцо комендатуры. Вдруг она увидела шагающего своим журавлиным шагом Вевиса. Она шарахнулась в сторону. Вевис остановился, позвал ее. Лили удивилась, услышав свое имя (никогда ээсовское начальство не звало заключенных по имени). В его глазах отразилось вечернее солнце, отчего они, возможно, в первый раз в жизни, приобрели теплоту.

— Я очень рад, что сумел для вас кое-что сделать. Здесь, я думаю, вы будете устроены неплохо. Вы сможете пережить лагерь, а там вылечиться и от вашей болезни. Если б я мог вызвать на дуэль того мерзавца, который с вами это сделал, я бы не задумался. Но, боюсь, что мне пришлось бы вызвать на дуэль государство.

Он поглядел себе под ноги.

— Здесь вам оказывают медицинскую помощь? Если нет, я распоряжусь.

Лили заверила Вевиса, что ее лечат.

Он кивнул, помешкал немного и внезапно, подняв глаза, сказал:

— Вы не обижайтесь на меня. Времена, когда у меня были когти, прошли.

Ничего не сказав больше, он зашагал прочь.

«Бедный урод, — подумала Лили, глядя ему вслед, и с женской жестокостью добавила. — Напрасны твои надежды, что какая-нибудь девушка снимет с тебя чары».

Один-единственный и последний раз Вевис предстал перед ней в человеческом облике. Доставленная на следующее утро в комендатуру, она узнала, что после встречи с ней Вевис отравился. Одновременно погиб и Марк Маркович Гинзбург.

Ни Вевиса, ни Марка Лили не любила, но она была поражена их смертью. Она даже тайком поплакала по обоим, затем, с остервенением вытерев слезы, громко сказала: «Какая я все-таки дура!»

5

По описанию Лили сразу узнала Жака, когда он проходил мимо комендатуры в колонне авторемонтного завода. Сначала она не могла понять, чем он выделяется среди других. Невысокого роста, но пропорционально сложенный, он запоминался какой-то необычной стремительностью и зорким, словно фотографирующим, взглядом. Он казался человеком нервным и легко возбудимым.

Арестантская форма безобразила его больше других. На других она сидела ладно, на нем же топорщилась, никак не прилаживаясь к его фигуре, казалось, одежда издевалась над его интеллигентской внешностью. Лили, увидев его в первый раз, прониклась к нему жалостью, но не уважением. Задание использовать свои «родственные» связи с ним в интересах подпольной организации, в работу которой Мария малопомалу ее втягивала, было для нее лишено всяких романтических прикрас.

Когда вечером заключенные возвращались в лагерь, Лили выходила на крыльцо принимать рапортчики о составе команд. Она передавала сводки проводящему вечернюю поверку рапорт-фюреру, после чего могла считать себя свободной. Эти вечерние часы она использовала, чтобы осмыслить свое положение и составить план действий на следующий день. Ей теперь казалось, что жизнь входит в колею, а сама она, повинувшись железной логике событий, сознательно идет им навстречу. Постепенно нервозность и суетливость уступала место спокойной уверенности актрисы, вошедшей в роль.

И все же события застигли ее врасплох. Однажды утром Губер вызвал ее и когда она, вооружившись блокнотом и карандашом, поспешила в кабинет, сказал:

— Твой отец ходатайствует о свидании с тобой. В будущее воскресенье в одиннадцать часов ты сможешь повидаться с ним.

Ни в мужском, ни в женском лагерях не знали, что ходатайство Самуила Брона о свидании со своей дочерью Лили Шеригёс не имело ничего общего с работой организации.

Жак видел Лили каждый вечер, возвращаясь в лагерь. Она стояла на крыльце вместе с рыжим эсэсовцем, собирая рапортички. Может быть, это было игрой воображения, но Жаку казалось, что она каждый раз останавливала на нем свой взгляд. Мысль о том, что они связаны не только конспирацией, но и, пусть даже воображаемым, родством, придавала их тайной связи какую-то волнующую интимность.

Первый раз она явилась ему во сне, как образ позабытой любимой. Затем она стала навещать его все чаще, принимая вид то одной, то другой когда-то близкой ему женщины. Эти сны были освобождением от лагерной жизни и одновременно мучительными поисками чего-то призрачного. Чем больше Жак старался в своем воображении придать Лили определенные черты, тем больше ее образ расплывался. Измученный преследованием призрака, Жак и днем не находил себе места. Это было какое-то наваждение. Он видел ее один раз в сутки, и эти короткие мгновения давали пищу воображению и новый импульс исканиям.

Утром он поднимался со слипшимися глазами и чугунной головой. Его как будто подменили. Он отвечал невпопад и старался поскорей отделаться от товарищей, которые ему докучали и мешали сосредоточиться на единственно важной для него мысли: о ней. Оказалось, что лагерная жизнь не только не вытравила в нем способности мечтать, но даже способствовала тому, что эта мечта покрывала и вытесняла действительность.

Жак ежедневно писал Лили длинные послания, которые тут же уничтожал, сознавая, что призраки не отвечают. Наконец он решился на отчаянный шаг: передал блокфюреру ходатайство о свидании со своей дочерью. Припертый к стене призрак будет вынужден сознаться в своей человеческой сущности.

6

Когда в один из воскресных дней рыжий оша ввел Лили в комнату свиданий и она увидела сидящего за столом знакомого человека, она, в соответствии с заранее согласованной программой, бросилась ему на шею раньше, чем он успел под-

няться. Но тут произошло такое, чего ни он, ни она не ожидали. Жак испуганно вскочил и отстранил ее рукой, затем, сознавая свою оплошность, подошел к ней и стал смущенно похлопывать ее по плечу, в то время как она почему-то разрыдалась. Охраннику такая сцена показалась вполне естественной, и он принялся стругать свою палку.

Только через несколько минут Лили пришла в себя. Она глубоко, как после обморока, вздохнула и спросила Жака, часто моргая и задержав руки на его плечах:

— Как твоё здоровье? Как ты живешь, папенька?

Он хотел ей ответить, но она закрыла глаза, как будто не желая его слушать. Из заброшенного колодца ее памяти всплыло на поверхность лицо человека, стоящего посередине узкого тюремного двора и вперившего свой взгляд в окно пятого этажа.

— У тебя сохранился черный свитер, который мы переслали тебе, когда ты сидел в Алексее?

Жак был поражен. Как она узнала про черный свитер с зелеными обшлагами?

— Теперь лето. В шерстяном свитере жарко. Тогда я не мог повидаться с тобой и сказать тебе спасибо.

— Да, — сказала она. — Я понимаю.

Он ощупал ее глазами. Вблизи она показалась ему простоватой и чрезвычайно земной. На подбородке с левой стороны у нее были два прыщика. Это вконец разочаровало его.

— Как у тебя с зубами?

— С зубами? — повторил он вопрос, не уверенный, что понял.

— У тебя всегда были плохие зубы. У меня есть зубной порошок, я могу дать тебе, сколько нужно.

Она снова долго ждала ответа.

У него очень красивые глаза, глубокие, задумчивые, добрые.

У нее лицо монголки, ничего еврейского в нем нет. Интересно, кем была ее мать?

Она как будто невзначай приподняла юбку. Он увидел ее подвязки. На подвязке два шестизначных номера, один с буквой «К», другой с буквой «М». Континенталь и Мишлен, вспомнил Жак и старался запомнить номера. Но помимо воли движение Лили показалось ему непристойным.

Почему он молчит? У него удивительно приятный голос. И руки... Правая изуродована. Руки не очень энергичного человека. Мужчины? Да, мужчины, но с той примесью женственности, которая только делает мужчину человеком.

И вдруг его как будто осенило. Он увидел себя и Лили на берегу знакомого озера, в знакомом месте. Где, где это было? Ах, это на Женевском озере. Но было ли это? Или нет? Он не знал.

— Ты помнишь вечера на берегу озера? Когда вода становилась тихой, а издали горы трубили какой-то полный угрозы мотив? Мне казалось тогда, что и природа зависит от нашей воли, что, если мы оба этого захотим, то горы замолчат, на озере поднимутся волны, как в наших сердцах. Я не верил тогда, что люди могут быть больными, если не захотят этого. И думал, что смерть наступает только тогда, когда мы становимся невнимательными к жизни. А теперь...

— А теперь? — повторила она его вопрос.

— Теперь мне кажется, что от нас ничего не зависит, что мы подчинены чужой воле, и эта воля нам обычно враждебна.

— Ты это выдумал. Я так понимаю: нужно завоевать жизнь, а не удовлетворяться выдумками.

Эсэсовец поднял голову: о чем они там?

Нельзя удовлетворяться выдумками. Он ее целиком выдумал, а когда увидел ее, она исчезла. Нужно начинать все заново. Идти, ошупывая под ногами почву, никуда не сворачивая, идти прямо к цели, как бы ни было заманчиво свернуть в сторону.

7

Когда Лили рассказала Марии о свидании, глаза девушки стали неподвижными.

— Израсходовался товарищ. Надо его заменить, — она помолчала, потом прибавила: — Брониславе не говори, это ее не касается.

Лили подумала: «Бронислава — друг, а ее не касается. И я тоже не своя. Что, я им мало делаю? — В ней росло возмущение. — Они всегда используют других».

Они! Кто они?

Как будто угадывая ее мысли, Мария сказала:

— Многие, когда что-то делают, хотят за это что-нибудь получить, хотя бы для души. А ты делай и не жди.

- Ты о Брониславе?
- Вообще...
- Человек может заболеть.
- Болеть нельзя. Нам тут нянькаться некогда.

Лили поняла. Мария держала вожжи в своих руках. Эта деревенская дивчина – настоящая вожачка. Такой люди повинуются. Лили почувствовала к ней уважение и доверие. Она знает, что делает.

Когда в лагере распространился слух о приезде комиссии Красного креста, Мария собрала девчат и сказала:

– Чтoб ни одна из вас рта не открывала. Те, кто придут, не мамки, чтобы им жаловаться. Помощи от них не жди. Говорю вам, чтобы не раскисли.

Но комиссия Красного креста попала в женский лагерь в последнюю очередь. Сначала лягерфюрер устроил прием в особняке, выстроенном в свое время разбогатевшим польским сахарозаводчиком. Особняк представлял собой образец архитектурной эклектики. В нем были перемешаны все стили от готики до позднего барокко. Когда у невежды появляется возможность проявить себя в искусстве, ему одного стиля бывает мало.

На просторной веранде был сервирован ужин. Прислуживали милovidные девушки, одетые в курточки и юбочки с разрезом на боку. При виде этой прислуги баронесса с графом обменялись ироническими взглядами, а профессор Фигль повернулся к лягерфюреру с выражением удивления на лице.

Тот кивнул:

- Да, все они заключенные.
- Мне кажется, – вполголоса обратилась баронесса к графу, – здесь не хватает только евнуха или... – она бросила выразительный взгляд на муфтия.

Странно, граф как будто не слышал обращенных к нему слов баронессы. Это было весьма неучтиво с его стороны. Он разглядывал одну из служанок с каким-то нервным беспокойством. Лягерфюрер положил ему руку на колено:

– Я получил из Берлина указания. Надеюсь, все обойдется. Только есть одно затруднение. В лагере находится ее отец, еврей. Но эти унтерменшен мрут как мухи. Не выносят солдатского режима.

– Надеюсь, вы не хотите сказать, что я заинтересован в его гибели, – несколько повысив голос, заметил граф. – Кроме того, мы затем и приехали сюда, чтобы облегчить участь этих несчастных.

Лягерфюрер стал пространно излагать методы перевоспитания заключенных.

– Вы видели, – сказал он, – надпись на воротах: «Каждому – свое». Она означает не месть за содеянное, а индивидуальный подход к преступникам. Среди них есть люди, не потерянные для Рейха. Не евреи, конечно.

– Для них предназначены газовые камеры, – заметил пастор.

Всех передернуло, будто на стол поставили дымящуюся бомбу.

Лягерфюрер с невозмутимым видом стал ковырять вилкой в салате из омаров.

– Идет шестой год войны. Мы считаем более человечным уничтожать людей, обремененных дурной наследственностью, чем заставлять голодать полноценных арийцев. Наши запасы продовольствия ограничены.

– Господа! – возвысил свой голос профессор Фигль. – Мы здесь не для того, чтобы выдвигать обвинения. Мы приехали, чтобы собрать фактический материал о положении заключенных.

– Это и есть фактический материал, – не унимался беловолосый пастор.

Профессор Фигль умиротворяюще закивал головой:

– Для нас и евреи – люди. (При этих словах муфтий из Дамаска заерзал на своем стуле). Но мы не можем ставить судьбу многих в зависимость от судьбы нескольких.

Граф Чакки постучал о свой бокал и принял усталоразвинченную позу.

– В самой идее Красного креста, – сказал он, – заключается мысль о милосердии. Мудры те, кто при восходе солнца помнят о закате. Я не предостерегаю, но и не считаю предостережительность недостатком. Мы все верим в победу Оси, но знаем также, что когда-нибудь придется заключить мир. Государственно мыслящие люди не сбрасывают с весов возможности примирения.

Лягерфюрер придал своему лицу выражение застывшего величия. Он стал похож на изображения императоров на золотых монетах. «Неужели, — подумал он, — несмотря на разгром июльских заговорщиков, их сторонники возьмут верх?»

Но граф Чакки продолжал с обворожительной улыбкой:

— Несомненно, Берлин, соглашаясь на посещение лагеря комиссией Красного креста, вспомнил о христианской добродетели. Было бы пренебрежением нашими обязанностями, если бы мы, вместо обсуждения конструктивных мер, стали вдаваться в бесплодные дискуссии. Будем же настойчиво преследовать единственную цель, стоящую перед Красным крестом, — оказывать помощь нуждающимся в ней.

Граф Чакки сел. Жидкие, но усердные хлопки свидетельствовали, что члены комиссии одобрили его выступление.

— Он очаровательно обтекаем, — шепнула баронесса пастору.

8

— Проводи в ординаторскую, — приказала Бронислава сестре, продолжая осмотр больных.

Эсэсовец возмутился: «Не хватало только, чтобы эта полячка тут распоряжалась!»

— Ты мне ответишь!

— Я вам отвечаю. Принеси господину ошамой халат. Другие для него будут слишком малы.

Халат завязывался тесемками на спине. Эсэсовцу показалось почему-то оскорбительным надевать его. К тому же по уставу оружие должно было находиться поверх одежды. Он выдернул халат из рук сестры, скомкал его и бросил на стол.

— Вни-ма-ние!

Эсэсовец вытянулся. Это был безусловный рефлекс.

В дверях появилась объемистая фигура лягерфюрера.

— Комиссия? Хорошо, я кончаю осмотр.

Бронислава встала, засунула стетоскоп в верхний карман халата. С ее груди свисал тонкий резиновый шланг. Эсэсовец покосился на него с неопределенным предположением, что именно этот шланг делает заключенную независимой и смелой.

Члены комиссии вошли гуськом, оглядываясь по сторонам, как посетители музея, не зная еще, на каком экспонате становить свое внимание. Впереди продвигался с застывшей на темном лице улыбкой профессор Фигль. Граф Чакки поднес монокль к глазу, но почему-то раздумал закреплять его в глазнице и обмотал черный шнурок, которым он был прикреплен к пуговице жилета, вокруг пальца. Шествие замыкал вновь назначенный главврач лагеря. Он нетерпеливо отстранил оша ружья, когда тот стал ему докладывать.

Бронислава сняла с головы свою медицинскую шапочку. Копна золотистых волос с белой прядью рухнула на ее плечи. Она подобрала их и стала укладывать вокруг головы.

– Простите.

Лягерфюрер шепнул что-то баронессе. Та подняла лорнет.

– На что вы жалуетесь?

– Я не больная. Да и жаловаться здесь бесполезно.

– Вы врач?

– Да.

– Вам дается возможность лечить?

– Я оберегаю больных, чтобы их не лечили.

– Что вы хотите этим сказать?

– Я имею в виду способы, которыми их здесь лечат.

– Научные опыты, – пояснил главврач.

– Опыты по пересадке костей, по замораживанию живых организмов, – уточнила Бронислава.

Баронесса отвернулась. Она не могла вынести ярко-фиолетового, как ей казалось, цвета глаз заключенной.

Профессор Фигль спросил конфиденциальным тоном:

– У вас имеется достаточно лекарств?

– О, да. Лагерное начальство позволяет нам пользоваться лекарствами, оставшимися после сожженных.

– Как вы сказали?

– Я сказала – сожженных.

– Мертвым лекарства не нужны, – бросил лягерфюрер.

– Когда мертвые были еще живыми, им объявили, что они едут в Германию, где не хватает лекарств. Поэтому посоветовали захватить лекарства, которые им, возможно, понадобятся.

– Люди слабого здоровья? Зачем таких вывозить в Германию? – обратился профессор к лягерфюреру.

– Речь, очевидно, идет о венгерских евреях. Их положение в Венгрии становится критическим. Граф Чакки может это подтвердить. Мы их вывозим в Германию, чтобы спасти от народного возмущения.

Кароль Иштван остановился у вывешенного расписания дежурств и рассеянно кивнул головой. Профессор Фигль пожал плечами.

– К сожалению, наши функции ограничиваются разрешением медицинских и бытовых вопросов.

– Было бы хорошо, если бы при помощи Красного креста удалось получить второй рентгеновский аппарат и лабораторное оборудование, – вставил главврач.

Профессор Фигль поднял палец:

– Очень важно!

– Ваша фамилия? – спросил граф Чакки Брониславу.

– При чем здесь моя фамилия?

– Пусть это предложение исходит от вас.

– Я такого предложения не выдвигаю. Зачем второй рентгеновский аппарат? Чтобы пополнить рентгеновскими снимками лагерные архивы? Что касается моей фамилии, пожалуйста. Патек, Бронислава Патек.

– Княгиня Патек, – исправил лягерфюрер неточность Брониславы.

Представитель старейшей в мире демократической республики профессор Фигль изобразил руками стреловидные крылья истребителя.

Граф Чакки отвел Брониславу в сторону.

– Я могу поручиться, что вас освободят, если...

– Если?

– Если вы будете молчать.

– Став врачом, я дала обет молчания, но не о преступлениях, которые здесь творятся.

– Вся жизнь состоит из компромиссов, – возразил граф. Он потерял интерес к разговору.

– Может быть, чья-то жизнь, но не моя.

Молчавший до сих пор пастор Лундквист сказал, отчеканивая слова:

– Я придаю значение свидетельству, что мы видели княгиню Брониславу Патек в полном здравии и невредимой.

Вечером Мария подошла к Брониславе.

– Почему ты не выполняешь инструкцию?

– Вы сами по себе, и мы сами по себе.

– Почему ты сказала «мы»?

– Вероятно, я ошиблась. Если хочешь, я сама по себе.

9

Из холла винтовая лестница мореного дуба поднималась на второй этаж. Широкое полукруглое окно было наполовину затянуто гардиной. Заставленные книгами шкафы придавали помещению спокойно-сосредоточенный характер. Лягерфюрер оказал графу Чакки любезность, предоставив в его распоряжение свою библиотеку.

В воскресенье свободного транспорта не оказалось, и Лили явилась в особняк в сопровождении рыжего эсэсовца пешком. Позвонив у калитки, эсэовец велел ей очистить ботинки от пыли.

С низкого кресла поднялся навстречу ей господин, обтянутый серым сюртуком, в длинных брюках со штрипками.

Он поднимался в несколько приемов: когда голова Лили появилась над перилами лестницы, господин положил свои длинные холеные руки на подлокотники кресла, когда ее нога ступила на ковер, покрывавший пол в библиотеке, он нагнулся вперед, и только когда Лили в нерешительности остановилась, он, поднялся во весь рост и склонил голову, будто прислушиваясь к какому-то постороннему звуку.

– Я... – произнесла Лили. – Меня... привели.

У графа Чакки потемнело в глазах. Эта девушка в грубой полосатой одежде была его дочерью. Его пронзило острое чувство жалости.

Холодный испытующий взгляд серых глаз Лили привел его в себя.

«Кто это? Что значит эта встреча? Зачем меня привели сюда?» Эти мысли, набегая друг на друга, теснились в ее голове. И в то же время в ней родилось неясное ощущение решительности момента.

– Я воспользовался предоставленной мне лягерфюрером возможностью. Прошу.

Жестом он предложил ей сесть. Лили наклонила голову. Кароль Иштван осторожно, словно сачком ловил бабочку, протянулся к ней.

Все еще наблюдая за выражением ее лица, он взвесил два варианта. Первый вариант: он действует по чьему-то поручению. Второй: выступает от своего имени. В первом случае он будет говорить в третьем лице, во втором сумеет воздействовать на нее непосредственно, как человек, заинтересованный в ее судьбе. Было бы осторожнее остановиться на первом варианте.

Его неудержимо тянуло притронуться к ней. И первый раз в жизни граф Чакки поступил неосторожно: он коснулся ее руки. Лили не шевельнулась. Это была запоздалая реакция: когда она уже хотела отдернуть руку, ей показалось, что теперь это было бы уже смешно.

— Когда-то я был знаком с вашей матерью и знал вашего отца. При каких обстоятельствах, не имеет значения. Откровенно говоря, я не знаю, достаточно ли это для объяснения настойчивости, с которой я добивался свидания с вами, — невольно в его словах прозвучала теплота признания.

«Он сказал “откровенно говоря”. Так говорят, когда нужно что-то утаить. Этот серый господин никогда не был другом Брона, иначе бы он интересовался его судьбой». — Она пристально взглянула в лицо своего собеседника и дрогнула: она его раньше где-то видела.

— Вы смотрите с испугом, — продолжал он, — но я вас уверяю, что не следует меня бояться. У меня по отношению к вам самые лучшие намерения.

Лили кивнула.

«Она вполне конвенциональна¹, — подумал граф. — Что ж, это меня устраивает».

— Мне неприятно видеть вас в таком одеянии. И еще неприятнее представлять себе вас в условиях лагеря. Я хотел бы видеть вас хорошо одетой и в подобающем окружении. Это не только дань памяти моих прежних отношений к вашим родителям, но и мое личное стремление. Не всегда положение, которое люди считают предосудительным, действительно таково, но и не

¹ Конвенциональный — соответствующий традициям.

всякое действие, которому они воздают хвалу, действительно благородно.

Эти слова резанули слух Лили, и ей захотелось сказать, что она еще не составила себе мнения о его действиях. Вместо этого она промолчала.

— Я хотел сказать, что мы часто судим об адресате по месту его жительства.

— Однако меня нашли по адресу, чтобы предложить отказаться от наследства.

Граф сожалеюще развел руками.

— Это все происки недостойных нашего внимания людей. Я хочу отгородить вас от них.

Лили продолжала рассматривать своего собеседника, как химик пробирку в ожидании реакции. Графа снова смутил ее взгляд. Он показался ему непочтительным. Несмотря на то, что сам он избегал выставлять напоказ свое благородство, подозрительность Лили его покорила. Он решил идти напрямик:

— Я вам предлагаю жизнь на воле в полной свободе. Вы будете связаны только некоторыми условностями света. Я не думаю, что вы можете предпочесть эту хламиду бальному платью.

— Для кого я буду блистать в нем?

— Это покажет будущее.

Ей вспомнился давний разговор с опекуном. Тогда это был барышнический торг. Чем отличается щеголеватый пожилой господин от Абрабанеля?

— Каково при этом будет мое положение?

Граф кивнул, будто ожидал такого вопроса.

— Я прошу вашего согласия удочерить вас.

Если правда, что этот человек был знаком с ее родителями, обман раскроется. Он не должен видеть нового Брона. Этому нужно помешать любым способом.

— У меня есть ребенок, — сказала она, глядя графу прямо в глаза.

— Мы сделаем для него все возможное.

— Я — коммунистка.

— Но вы здравомыслящий человек. Вы не обязаны объявлять об этом направо и налево.

— Меня арестовали случайно, но держат в лагере как коммунистку. Как же это будет выглядеть, если вы меня удочерите?

– Вы, конечно, отречетесь, это пустая формальность, она вас ни к чему не обяжет.

– Как это?

– Напечатаем объявление в газете, можно выступить по радио.

– Я этого не сделаю.

– Помилуйте! Я не допускаю мысли, что это всерьез.

– Всерьез, – подтвердила Лили и прибавила: – иначе невозможно.

10

Протокол об обследовании лагеря был изготовлен в трех экземплярах и подписан всеми членами комиссии. Некоторые пункты удалось согласовать с трудом. Пастор Лундквист выдвигал все новые возражения, однако с помощью графа Чакки были найдены формулировки, которые всех удовлетворили. Транспортный самолет Ю-54 принял комиссию на борт. Все лагерное начальство явилось на аэродром. Были даже произнесены краткие речи, в которых подчеркивалась добрая воля лагерного начальства и объективность комиссии. Самолет взмыл вверх и вскоре пропал из вида.

В газетах Рейха появилась заметка: «Транспортный самолет Ю-54, следовавший в Цюрих, недалеко от баварско-швейцарской границы был обстрелян истребителем, не имевшим опознавательных знаков. Транспортный самолет загорелся в воздухе и упал в двадцати километрах от Констанца. На его борту находилась делегация Красного креста, обследовавшая один из концентрационных лагерей в восточной части Рейха. Экипаж и все члены комиссии погибли».

Другое событие, о котором в печати не сообщалось, произошло в тот же день. Из лагеря смерти, который недавно обследовала комиссия Красного креста, была выведена на транспорт группа восточных работниц. Группу как на подбор крепких и рослых женщин сопровождала врач Бронислава Патек.

Этапников погрузили в товарный вагон. Через сутки ночью вагон отвели около Лейпцига на запасной путь. Заключенные видели сквозь щели вагона зарницы. До них доносился непрерывный гул взрывов. Было жарко, и хотелось пить. Женщины стали стучать в стенки вагона в надежде, что их услышат.

Послышался звук, как от удара молота по наковальне. Вагон пришел в движение. По стуку колес угадывалась стремительно нарастающая скорость. Последовал страшный удар. Из разбитого вагона вывалилось кровавое месиво. Кое-где из груды досок раздавались стоны. Двое эсэсовцев прошли вагон автоматными очередями. Стоны прекратились.

Глава 3. Падение

1

Каждое утро завод встречал Жака сосредоточенной тишиной. Лишь постепенно в ней рождались звуки. Жаку приятно было пройтись по цехам, где все подчинялось единому ритму. Он ловил себя на чувстве некоторой гордости: он был винтиком в механизме, создававшем какие-то реальные ценности. Он попищал себя за это чувство — ведь ценности создаются для врага, но не мог побороть его.

Жак взял себе за привычку проверять по утрам демонтированные машины. Он входил в длинную пристройку, где они стояли, тесно прижавшись друг к другу. Было трудно поверить, что они когда-нибудь оживут. И хотя это повторялось каждый день, Жаку казалось, что вышедшие из ремонта машины подменили.

Раньше машины были ему чуждыми. Теперь он встречал их, как старых знакомых. Когда перед пробным выездом машина давала гудок, у Жака немного щемило сердце.

Человек привыкает не только к людям, но и к предметам.

Однажды Жака задержал на утреннем обходе бывший торговец механическими игрушками Мориц Вассерглас.

— Кажется, у меня для вас что-то есть. — У Морица на лице появилась хитрая улыбка.

«Удивительное дело, — подумал Жак. — Люди улыбаются, разговаривают о пустяках, а через несколько часов их подбирают мертвыми в газовой камере».

— Да? — переспросил он неопределенно.

— Это насчет ручной гранаты. Я придумал одну штучку вместо запала. Я, конечно, шучу.

– Что вы придумали?

– Вместо запала можно вставить камешек от зажигалки. С пружиной. Когда граната ударится обо что-нибудь, пружинка сработает – и пожалуйста!

– Вы думаете, одной искры будет достаточно?

– Что значит «достаточно»? Вам что, фейерверк нужен?

– Хорошо, я подумаю.

Мориц Вассерглас разочарованно взглянул на Жака.

– Что здесь думать?

Жаку не хотелось признаваться самому себе, что в военной технике он ничего не понимает. Возможно, Вассерглас и прав, его изобретение может пригодиться, а может быть, все это абсурд.

Он был расстроен. Со дня свидания с Лили прошло несколько недель. Он сознавал, что из-за своих внутренних неурядиц подвел товарищей. А созданная Яшей с таким трудом подпольная организация медленно, но верно разваливалась. Жак чувствовал это по тому, что все реже получал информацию о политических событиях, о положении на фронте от товарищей, работающих в тепличном хозяйстве. (В одной из теплиц был установлен самодельный приемник.) Товарищи избегали встреч, а когда случайно с ним сталкивались, искали предлога, чтобы улизнуть. Жак предавался размышлениям, он вновь и вновь создавал образ пленивший его воображение молодой женщины. Лили казалась ему таким же призраком, каким был он сам: тот Жак Берзелин, который находится в лагере и живет под именем Самуила Брона, – плод его фантазии. А настоящий Жак Берзелин живет совершенно другой жизнью. Это раздвоение казалось ему настолько удивительным, что он стал думать о себе в третьем лице, удивляясь своим поступкам и будучи неспособным их осознать.

2

Моросил мелкий дождик. Заводские постройки были покрыты пеленой. Жак вышел во двор принимать машину. Это была чужая машина с неизвестным номером, ее притащил на буксире один из знакомых водителей. Его называли «шутником», но Жака раздражали его шутки. Бывало, шутник протянет кому-нибудь из заключенных буханку хлеба, и только тот себе-

рется ее взять, тычет ему в нос кулаком. Или же поднимет крик, что заключенные портят инструмент. В основе его «шуток» лежало глумление над заключенными.

В кузове сломанной машины громоздились сбитые из планок клетки. Сквозь их щели змеились гусиные шеи. Из кабины водителя (это был обшарпанный «опель», переоборудованный на газогенератор) выглянул пожилой эсэсовец. Таких стариков в последнее время развелось немало: молодых шоферов угнали на фронт, вместо них брали на службу пожилых.

— Главное начальство на подходе, — провозгласил «шутник».

Старик-водитель, приняв эти слова всерьез, стал подробно объяснять, что произошло с его машиной:

— Везу я живую птицу. На двадцать пятом километре от Мериш-Острау машину словно кто-то подменил. Она стала прыгать, как козел, фыркать. Гуси кричат, одним словом, еврейский кагал. Проклятый газогенератор, с ним всегда такая морока! Был бы нормальный бензиновый мотор, и все в порядке. А тут леса, а в лесу бандиты, ну, словом... Хорошо, что камрад подоспел, а то бы мне в лесу ночевать.

— Молчи, — прервал его «шутник». — Надо знать, с кем разговариваешь. Это первый жидовский комиссар Сталина. Он таких, как ты, тысячами расстреливал, пока его наши не сцапали. Его держат здесь, чтобы на Паулюса обменять. Ставь машину в гараж и айда в забегаловку. Ты забыл, что обязан бутылку коньяку мне поставить?

— Разбойник, — проворчал пожилой эсэсовец. — Гуся у меня взял, а теперь еще и бутылку требует. Вот из-за таких нам и приходится пропадать.

Он стал что-то искать под сидением. Сошел с машины, держа пояс с кобурой пистолета в руке.

— Это правда, что он про вас сказал? — спросил он, подступив близко к Жаку. (Подходить к эсэсовцам ближе, чем на три шага, заключенным было запрещено.)

— Глупости.

— Я так и думал. А за что вас осудили?

— Меня никто не судил.

— Так как же вы сюда попали?

— Таких, как я — тысячи. Для евреев суда не существует.

Эсэсовец обошел машину и, став по другую сторону мотора, как бы отгораживаясь от Жака, продолжал допытываться:

— А как вы думаете, как с нашими по ту сторону обращаются? Вы можете не бояться и говорить со мной откровенно.

— Вы имеете в виду пленных?

— Ну да, кого ж еще?

— Я думаю, с ними обращаются неплохо, за исключением, конечно, эсэсовцев.

— Почему «за исключением эсэсовцев»? Есть разные. Возьмите этого: он уже восемь лет служит, не одного человека на тот свет отправил. Сам мне говорил. А туда же! Гусей ему подавай! А взять меня — сам бы я никогда в эсэсовские части не пошел. Я мирный человек, у меня жена, дети. А мне говорят: это твоя обязанность, раз ты член национал-социалистической партии. А по правде сказать, какой я член? Вступил в партию, чтобы получать государственные подряды. А так на что мне эта партия сдалась? Вот я и говорю: есть разные эсэсовцы. Нельзя всех под одну гребенку. Придут русские, вы должны будете им это разъяснить. Они вас послушают. Вы ведь из-за них страдаете.

У Жака или у того «другого», кем он был в настоящий момент, мелькнула мысль, от которой он поскользнулся. Он бы и упал, если б не ухватился за крыло машины.

— То, что среди эсэсовцев могут быть исключения, вполне возможно, но это надо доказать.

— Как докажешь? Раз надел эту форму — все!

— Почему? Важно, зачем ее надел... Идемте в контору, нужно оформить заказ.

Выписывая предварительный заказ, Жак продолжал зондировать почву.

— Вы говорите, в лесу бандиты. Неужели?

— Я этого не говорил, но всем известно: где леса, где можно спрятаться, там и партизаны.

— А что было бы, если бы вы к ним в руки попали?

— Как что? Вздернули бы меня, конечно. Им моя одежонка пригодилась бы. Да и оружие тоже.

— Ну, а если бы вы им сказали то, что вы мне говорили?

— Так бы они мне и поверили!

— Был случай, когда один эсэсовец получил от заключенных удостоверение, что он им помогал. И этот эсэсовец пришел к пар-

тизанам, и они ему отвалили порядочный куш. И сказали: ничего не бойся. Иди с нами. Кончится война, и ты откроешь дело.

Эсэсовец вскинул подбородок.

– Свидетельство! Откуда ж я такое возьму?

– Тот эсэсовец заслужил его.

– Чем?

– Оказывал заключенным кое-какие услуги.

– Но такое свидетельство каждый может написать.

– Наверно, на нем были условный знак и подпись.

Эсэсовец покачал головой.

– Если бы была печать, я бы еще поверил. А без печати что это? Клочок бумаги!

– Не говорите, – Жак как будто с ним соглашался.

– Мне что? Мне это не мешает. Но пока что – начальство!

– Можно устроить.

– Только чтобы не пришлось отвечать.

– Вы сами напишете, а я подпишу.

– Что?

– Свидетельство.

Эсэсовец помялся, Жак встал и показал на табуретку. Тот положил пояс с кобурой на стол, сел и нерешительно взял в руку перо.

– Что писать?

– Я, такой-то, согласен на предложение, сделанное мне Яковом Берзелиным, Москва, Сивцев Вражек, 15, кв 8, и готов выполнить его требования.

– Нет, такого я писать не буду. Договорились – и хорошо, но такое писать...

– Вы же согласились.

– Все равно, такое свидетельство не имеет силы.

Пояс с пистолетом находился на одном расстоянии от Жака и от эсэсовца. Стоит только протянуть руку. Открыть кобуру можно и левой рукой. А если эсэсовец поднимет крик?

– Вы спрашиваете, сколько времени машина простоит? Не могу сказать.

– У меня гуси!

– Понимаю, конечно. Их кормить надо. Все-таки птица, а не гефтлиги.

– Да-да, но мы не об этом...

Все произошло в одно мгновение. Пистолет оказался в руках Жака. Эсэсовец издал звук, напоминающий писк настигнутого борзой зайца. Положив магазин в карман, Жак спокойно засунул пистолет обратно в кобуру:

– Под залог.

Он сделал это вовремя. Вошел Зибальд.

– Что тут такое?

Теперь все поставлено на карту. Что ответит эсэсовец?

– Живая птица у меня. Я ее на вес принимал. Чем мне птицу кормить, если ремонт затянется? И кто мне за это заплатит?

– Ничего не могу сделать: срочный заказ.

Зибальд выпроводил приунывшего эсэсовца. Тот на ходу застегивал на себе пояс.

– Нечего с ним цацкаться. А то понаедут, а нам только и дела, что им машины чинить.

3

Руди жил в отдельной кабине во втором бараке под борделем. Заведующая Эрна сама наводила у него порядок. На окнах появились занавески. Стол всегда был накрыт белой скатертью, а на койке стояли ребром две взбитые подушки.

С видом хозяина Руди предложил Жаку чашку кофе. «Натуральный», – прибавил он многозначительно. Поставив кофейник на спиртовку, он подсел к столу, внимательно разглядывая Жака:

– Ты пришел в себя после всех потрясений?

– Ты о чем?

– Ну, как же! Переменил фамилию, имел свидание со своей «дочерью», на заводе ты теперь главный. Можно сказать, тебе повезло.

Он снова выжидающе посмотрел на Жака. Но тот молчал.

– Ты достаточно долго в лагере, чтобы понять. Без помощи товарищей тебе бы не выжить. И на завод ты попал не по шучьему велению. Я тебя предупреждал: долг платежом красен. Так-то, милая балерина!

– Я не понимаю, к чему ты клонишь.

Руди встал и залил кофейный порошок бурлящей водой. Некоторое время он стоял над кофейником с поднятой к уху чайной ложечкой, словно прислушиваясь к звуку камертона.

– Я до сих пор тебя не торопил. Ты видишь, я терпеливый кредитор.

– А я не припомню, чтобы брал у тебя займы.

Руди деланно рассмеялся.

– Я, конечно, шучу. Ты должен понять и без объяснений.

– Ты мне это уже второй раз говоришь.

– Ну, если хочешь, я могу яснее: от всей созданной блаженным Яшей организации остались я да ты. Поэтому мы можем говорить откровенно. Золото у тебя есть? Есть. Зачем оно? Ты мне на это не отвечаешь. Между тем оно нужно. Кому? Нам.

– Может быть, ты скажешь, зачем оно нужно?

– Я всегда считал, что единственной нашей задачей может быть только организация побега. Понятно? Но для этого нужны деньги. Нужно подкупить кого-нибудь из водителей, чтобы нас вывезли из лагеря. В кузовах машин, оборудованных газогенераторами, стоят ящики для чурок. В таком ящике мы сможем вдвоем поместиться. Остальное зависит от нашей сообразительности. Располагая валютой, мы не пропадем.

Жак думал долго, может быть дольше, чем следовало. Мешая ложечкой в кружке, он сказал:

– Ты да я – вся организация. Все равно что заготовительная организация, занимающаяся самоснабжением.

– Воротись, возница, заехал в трясины! Что значит самоснабжение? А кого нам снабжать? Не придурков ли, которые околачиваются возле кухни? Это наша задача, что ли?

– По соглашению с Зибальдом половина ценностей принадлежит ему. Если он обнаружит пропажу...

– Черт с ним! Тогда мы будем уже далеко...

Снова Жак задумался.

– Послушай, Руди. Я тебе помогу в этом деле. Охотно помогу. И золото тебе дам. Половину. Ты ведь не станешь возражать, что я и себе оставлю. Но в побеге я участвовать не стану.

Руди вздохнул с облегчением.

– Дело твое, как хочешь. Была бы честь предложена.

– Найди предлог, чтобы выбраться к нам на завод. Там я передам тебе часть золота. В лагерь таскать не стану.

Странное дело, прежней скованности Жака не было и в помине. Инициатива была в его руках.

– Хорошо, – Руди кивнул и с чувством пожал ему руку.

Выходя из кабины, Жак с удивлением заметил, что вытирает руку о полу куртки.

4

Несколькими днями раньше Руди вызвали в комендатуру. Это его не удивило, так как по утрам его довольно часто вызывали. Он вошел в переднюю, где сидела Лили. У него был весьма бравый вид: это всегда производило хорошее впечатление на начальство. Указав подбородком на дверь Губера и получив от Лили отрицательный ответ, Руди прислонился к дверцам электрического шкафа и стал рассказывать, обращаясь попеременно то к Лили, то к стругавшему палку эсэсовцу:

— В восемнадцатом бараке был такой случай: у одного парня стали отекают ноги. Парня вызвали в больницу на осмотр. У него оказался порок сердца. А это известно, что значит. Фьють!.. — и Руди поднял указательный палец вверх. — Вернувшись в барак, парень предложил своему соседу взять его хорошее одеяло взамен рваного, которым тот прикрывался. Сосед, конечно, выразил соболезнование, но охотно согласился. Но получилось так, что в больнице или забыли про больного или засунули его карточку куда-то. В большом хозяйстве это бывает. Прошла неделя, другая, а его на газ не берут. И вот он просит соседа вернуть ему одеяло. Не тут-то было! Тот не только не отдал, но даже пригрозил, что скажет, где надо, у кого порок сердца. Остался бедняга с худым одеялом.

— Дурак, потому что добрый, — сказал эсэсовец.

Руди взглянул на Лили. У нее был отсутствующий вид. Лили, не отрывая глаз от текста на машинке, поправила на виске волосы. Ему хотелось вызвать ее на откровенность, сказать ей нечто такое, что заставило бы ее реагировать. Но он не нашелся, что сказать, и стал тихо посвистывать.

Эсэсовец и Лили молчали. Дверь открылась, вошел Губер. Он молча прошагал в свой кабинет и уже оттуда громко позвал старосту. Руди почему-то на цыпочках подошел у двери кабинета. Эсэсовец и Лили переглянулись.

— Закрой дверь на ключ, а ключ дай сюда, — приказал Губер Руди. И когда тот выполнил приказание, посмотрел на него взглядом удава:

— Назначение старостой надо отработать!

Руди выжидающе посмотрел на гауптштурмфюрера.

— Кто этот тип, отец секретарши?

— Я его плохо знаю, — увливая от ответа, пробормотал Руди.

— Пора бы с ним познакомиться. Можно заставить работать на нас?

Хотя эти слова были высказаны с вопросительной интонацией, Руди понял их как приказание и только кивнул в ответ.

— Ты мне отвечай, а не то развяжу язык!

— Я вам, господин гауптштурмфюрер, докладываю обо всем, что мне поручено узнать. Но для выполнения приказа нужен какой-то срок.

— Срок? Хватит тебе сроку. Если ты не зашевелишься, то мы тебя того, ликвиднем. Достаточно распусть слух, что ты «стучишь», — и, внезапно приподнявшись над столом, Губер тихо, но внятно спросил: — Кто состоит в головной пятерке?

У Руди заходили желваки. Он выдержал взгляд Губера и ответил так же, как он, медленно и внятно:

— После смерти писаря Якова Быстрица и врача Марка Гинзбурга головная пятерка перестала существовать.

— Ты мне на мертвых не выезжай! Мне живые люди нужны, корешки твои. Давай их сюда, или я буду с тобой разговаривать, — и он, открыв боковой ящик письменного стола, вынул оттуда еще белый, а значит не бывший в употреблении резиновый кнут фирмы «Мерц». — Ну?!

— Поляк Здислав Купец.

Губер засмеялся.

— Ты мне назови своих, а не моих людей.

— Больше никого не знаю.

Губер указал на стоящий в углу деревянный станок. Высокая его спинка поднималась и опускалась, чтобы зажимать туловище.

Некоторое время скулы Руди боролись с волнением. Постепенно желваки исчезли, и лицо его размякло.

— Господин гауптштурмфюрер, дайте мне время, ведь ничто с кондачка не делается. Я держу в руках нити заговора. Я вам докладывал. Взрывчатка... Разрешите мне съездить на завод Крупп-Унион и взять с собой Эрну Грюэль, заведующую борделем. Я вам доставлю доказательства, господин гауптштурмфюрер.

Губер свернул кнут и положил его обратно в ящик.

– Если ты на этот раз подведешь, я тебе такой протокол напишу, что все знатоки санскрита не расшифруют, – и, довольный своим остроумием, гауптштурмфюрер потер себе бока.

Руди вышел из кабинета, почему-то прихрамывая, и прошел к двери ни на кого не оглядываясь.

– Староста из-под ног рыбку ловит, – заметил эсэсовец.

Лили дописала текст приказа, предписывающего нижним чинам войск СС сдавать не числящееся по арматурной книжке лишнее обмундирование, и поставила точку, продырявив все пять экземпляров.

5

Руди и Эрна прибыли на завод в обеденный перерыв. Во дворе выстроилась длинная очередь работниц, ожидающих похлебки.

Возле бочек обрюзгшая, свирепого вида женщина кричала на напирających заключенных, размахивая половником:

– Назад, сволочи! А то я вам не в миску, а в морду налью.

Сопровождающий Руди и Эрну представитель заводской администрации подошел и шепнул ей что-то на ухо. Женщина-капо с удивлением посмотрела на Эрну и положила половник на крышку бочки.

– Все идите обратно в раздевалку. Обед никуда не убежит.

Но под напором стоящих сзади очередь скомкалась, и женщины сбились в кучу. Поднялся крик: «В чем дело? Что случилось? Почему?»

Эрна с решительным видом подошла к самым активным женщинам. Те внезапно смолкли. Одна из них что-то сказала Эрне. Поднялся хохот. Эрна кивнула капо, и они вместе прошли в здание заводского корпуса. Следом повалили работницы.

Заводской двор опустел. Представитель администрации предложил Руди пройти с ним в контору. Руди с рассеянным видом подошел ко входу. Вдруг он остановился и посмотрел себе под ноги: у входа был разбросан какой-то светлый порошок. Руди, прикусив губу, незаметно растер серую кучку сапогом.

6

Жаку постоянно казалось, что за него действует кто-то другой. Этот другой был находчив и смел. Жак с изумлением наблюдал за самим собой.

Несмотря на свою неудачу со взрывчаткой, Руди появился на авторемонтном заводе тоже в обеденное время.

— Капо! — крикнул он Милицу. — Диспетчеру оставишь двойную порцию.

Войдя, он оставил дверь открытой. С порога была видна половина моторосборочного цеха. В это время он пустовал: рабочие стояли в очереди за обедом.

Жак разгреб бинты на дне аптечки и извлек из тайника ящик из-под инсулина.

— Я думаю, целесообразнее будет взять с собой деньги, а украшения оставить.

Руди кивнул. Попеременно поглядывая то в полуоткрытую дверь, то на Жака, он принялся рассовывать деньги по карманам.

— С водителем я договорился. Это перепуганный донельзя старик. Он согласился вывезти из лагеря. Ты денег ему не давай. Он на «заслугу» напирает. Ты найдешь его у дверей забегаловки. Ни пуха ни пера!

В глазах Руди мелькнул злой огонек.

— К дьяволу! — он шел по цеху, стараясь не спешить. Жак смотрел ему вслед, как на «гражданке» смотрят на людей, идущих под конвоем. «Алиа якта эст¹, — пришла ему в голову латинская фраза, — кости брошены».

Но играл ведь не он, играл другой. Поэтому он был удивлен, когда, выйдя на заводской двор, услышал:

— Эй, ящик, поди-ка сюда! — дорогу ему преградил «шутник». С наигранной улыбкой он продолжил. — Будьте так благосклонны и выслушайте почтительнейшую жалобу на невнимательное отношение технического персонала к нуждам и тяготам водителей машин, — он показал на стоящий поодаль пятнистый «зульцер».

На Жака уставились две синие льдинки. В окне кабины было видно лицо, кожа которого казалась натянутой до отказа.

¹ *Alea jacta est* (лат.) — жребий брошен, принято бесповоротное решение. По преданию, это слова сказал Юлий Цезарь, когда решил выступить против сената.

Голова могла в любое время взорваться. Он приблизился к машине, словно загипнотизированный. Его охватила смутная тревога. Померещилось, что он смотрит в лицо своего палача.

— Помой машину! — приказал водитель с головой-бомбой, ставя ногу на подножку и направляя машину задним ходом к гаражу. — Где шеф?

Жак указал головой на стоящий посреди двора двухэтажный кирпичный дом. В нижнем этаже помещался буфет, в верхнем — общежитие и квартира Зибальда.

Тем временем эсэсовцы, машины которых находились на ремонте, осматривавшие вырытые накануне во дворе щели, переключили свое внимание на «зульцер».

— Откуда?

— Оттуда. Отсюда не видать, — ответил водитель с глазами-льдинками.

— Во всяком случае, грязи там хватает, — заметил один из эсэсовцев, оглядывая доверху заляпанный кузов машины.

Машина подрулила к мойке. Жак шел рядом, показывая шоферу дорогу. Странно, но ему показалось, что эсэсовец с льдинками взглянул на него с выражением симпатии. Тонкий в талии, с широкими плечами атлета, он ушел в сторону буфета, слегка покачиваясь.

Жак взял шланг, нацелил его наконечник на машину и открыл кран. С урчанием потекла вода. Жак невольно вздрогнул, когда струя вырвалась из шланга и ударила по кузову. На сиденье лежали рукавицы, из одной торчала бумажка. Что-то побудило Жака взять эту бумажку. Каково было его удивление, чтобы не сказать, потрясение, когда он прочел выведенные русскими буквами слова: «Привет от Пашки, тети Ани, сестер Гали и Веры, а также брата Сергея».

Жак почувствовал, как кровь наполнила его сердце и вновь отхлынула. Конец страданиям и мукам. Он не одинок, с ним друзья.

Брошенный на цементный пол шланг продолжал выбрасывать мощную струю воды. Вода стекала в яму. Жак наступил на шланг ногой. Шланг стал набухать, как шея кобры, наконец, вырвался из-под каблука, обдав ногу холодом.

«А что, если это провокация? — подумал Жак. — Ведь эти слова мог услышать кто-нибудь из уехавших вместе с Пашкой».

«Не считай врага глупее себя», — слышал он предостерегающий голос Гётца. Радость открытия делает неосторожным, всякое волнение ослабляет внимание.

Но нет, необходима мера доверия, чтобы жить, чтобы действовать. Пашка не мог выдать товарищей. Будь что будет! Жак хочет верить, он будет верить в людей, в товарищей, в дружбу!

— Ну, как? — прервал его мысли появившийся неизвестно откуда эсэсовец. Он поднял с земли шланг и принялся сам смывать грязь со своего грузовика. Льдинки потептели. От них теперь исходил жар. Снова бурная радость захлестнула Жака. Свой! Но тут же он услышал чей-то голос, произнесенный со злой ехидцей: «Колосок колоску рознь. Ты — семя в чужой земле. На каком основании ты причисляешь себя к народу, к которому примкнул поздно и случайно? Ты вычеркнут из списка живых, и, когда вернешься, это всплывет».

— Я должен знать, — сказал он, вглядываясь во внезапно потеплевшие льдинки, — зачем вы здесь и чего я могу от вас ожидать.

— Я здесь, — ответил мнимый эсэсовец, — чтобы выяснить, чего мы можем ожидать от вас.

— Кто это «мы»?

— Мы, люди переднего края.

— Нельзя ли пояснее?

Водитель «зульцера» заговорил, перейдя на русский язык с заметным украинским выговором. Не отвечая прямо, он сказал:

— Я выполняю задание, и в него входит повидать вас и узнать, в каких условиях придется здесь работать.

— Пойдемте.

Жак пошел вперед, показывая дорогу. Он обернулся: приезжий шел за ним. Его глаза просвечивали Жака насквозь.

Оформляя заказ на ремонт, Жак обрисовал положение в лагере. Он порывался рассказать о складе оружия, о накопленных драгоценностях, но ему казалось, что товарищ слушает его рассказ рассеянно. Заполнив бланк, он взглянул на гостя вопросительно. Человек с лицом-бомбой внимательно рассматривал разложенные на полках части автомобильных моторов. Внезапно он обернулся и посмотрел на Жака пристально и, как тому показалось, враждебно:

- Расскажи лучше, как ты попал в плен.
- Я??
- Да, ты. Говори начистую. Тебе лучше будет.
- Что это, допрос?
- От твоего ответа будет зависеть, допрос это или нет.
- Хорошо, – и Жак добросовестно, может быть, даже с излишними подробностями стал рассказывать.
- Тех двух офицеров, которые спасли тебя, ты знал раньше?
- Я уже сказал. Они меня знали. Я знал только одного из них, журналиста.
- Какой им был интерес спасти тебя?
- Жак пожал плечами.
- Они тебя вербовали?
- Жак с минуту глядел, не отвечая, на этого человека, который здесь, в тылу врага, вел себя с ним, как следователь. Нет, не может быть, чтобы не существовало логических доказательств, опровергающих это чудовищное обвинение.
- Предположим, – ответил он медленно, – меня завербовали. Так неужели бы меня держали сначала в тюрьме, чтобы потом отправить в лагерь смерти?
- Где ты, однако, сумел сравнительно неплохо устроиться.
- Это подпольная организация меня устроила, а вы – как вы можете это говорить! – воскликнул Жак, более не сдерживая себя.
- Ты словами не бросайся, брат. До выяснения подробностей я тебя от работы отстраняю. Нам нужно знать, кому мы поручаем дело.
- А кто это распоряжается мной и делом?
- Партия.
- Лично?
- Помощник начальника Смерша дивизии, наступающей на этом участке фронта.
- Смерш?
- Да, «Смерть шпионам». Так называются органы контрразведки.
- Павел Бойко знает, что меня отстраняют?
- Когда нужно будет, узнает. Это не должно вас беспокоить. Снова «вы».
- Павлу удалось?..

Человек в эсэсовской форме сделал устраняющий жест. По проходу между станками шел шеф. Зибальд бросил, как показалось Жаку, общинческий взгляд на псевдоэсэсовца.

«Неужели и он?» – подумал Жак.

– Порядок? – спросил Зибальд.

– Наилучшим образом, – ответил водитель «зульцера», поправляя ремень на отлично подогнанной форме.

7

Вечерняя поверка затянулась до отбоя. Дежурные эсэсовцы в который раз обошли все бараки в поисках беглеца.

Предыдущей ночью по нарам поползли слухи, один фантастичнее другого. Со смешанным чувством надежды и опасения Жак ждал утра. Когда колонну авторемонтного завода выводили на работу, он стал искать глазами Лили, но не нашел. Он вглядывался в лица конвоиров, окружавших со всех сторон колонну. Нет, это были обыкновенные солдаты, невыспавшиеся, загнанные до одури. Напряжение Жака достигло предела, когда в контору один за другим стали заходить эсэсовцы. Ему приходилось отвечать на сотни вопросов.

В полдень на завод доставили бочку с супом. Раздатчик рассказал Милицу под строгим секретом, что старосту «накрыли» у заставы. Он спрятался в ящике из-под чурок. Машина была чужая, везла птицу. Водитель остановил машину и сообщил вахтенному, что кроме живой птицы он везет и живого гефтлинга; староста был доставлен в лагерь страшно избитый. Милиц тут же под строгим секретом сообщил эту новость Жаку. Жак молчал, впившись взглядом в Милица. Нет, он ничего не знал. Морда неандертальца выражала сладострастное упоение. Зверь хочет, чтобы все люди были на него похожи. Уничтожив человека, он торжествует. «Нет, трижды нет, – доказывал себе Жак, – человек сильнее зверя. Зверь не победит человека, только надо стать человеком».

Обычно, когда Зибальд заходил в контору, он садился за письменный стол, извлекал какие-то бумаги, сидел над ними, пока глаза его не слипались. На этот раз он задержался у порога, запер дверь и, когда Жак стал ему докладывать, прервал его и с недоброй усмешкой приказал:

– Покажи кассу.

Жак стал на колени и, приподняв доску на дне шкафчика, вынул из углубления ящик из-под инсулина. Он видел начищенные до блеска сапоги Зибальда и, не поднимая глаз, открыл крышку. Зибальд нагнулся, чтобы получше разглядеть содержимое. В ящике лежало с десяток обручальных колец, серьги, пара браслетов и деньги в банкнотах.

– Это все?

– Ваша половина, шеф.

– Моя половина? Негодяй!

Удар сапога отшвырнул Жака в угол конторы. У него перехватило дыхание. Со спокойствием, которое его самого удивило, Жак стал думать: «Нужно переждать, дыхание вернется». Зибальд медленными шагами подошел к нему. Сейчас он ударит меня еще раз, и тогда... Дыхание должно вернуться!

И оно вернулось. Жак приподнялся, сначала на кисти рук, потом поднялся на ноги. Его плечи налились силой, он это почувствовал, напрягая мускулы. Ударить надо прямо кистью, прямо по подбородку, всем весом тела, как его учили. Он отступил назад, затем бросился вперед. Его удар попал в цель. Зибальд отлетел к стене и ударился головой о стеллаж. Жак отступил к двери и, навалившись на нее плечом, стал ждать, когда Зибальд придет в себя. Он был полон решимости дорого продать свою жизнь.

Зибальд стал поворачиваться с боку на бок, потом встал на колени. Его блуждающий взгляд остановился на Жаке. Жак показал головой на ящик из-под инсулина.

– Забирайте все это!

Зибальд подполз к шкафчику и стал собирать рассыпанные украшения. Жак ждал. Эсэсовец поднял на него глаза. Жак кивнул.

– Ладно, – сказал Зибальд, вытирая подбородок, и колеблясь, потянулся к двери.

Он не успел ее открыть. Дверь распахнулась. На пороге стоял Губер, сзади маячила фигура его рыжего подручного.

– Так-так, – сказал Губер. – Так-так, – повторил он, войдя в контору и усевшись за письменный стол Зибальда.

Тот поднял свой мертвый взгляд на гауптштурмфюрера.

– Положи-ка эту коробочку сюда. А ты составляй опись, – прибавил он, указывая пальцем на Жака. – Раз, два, три – восемь обручальных колец. Серьги. С жемчугом. Еще раз серьги. С бриллиантами. Браслет. В форме змеи. С синим камнем. Ну, а это чепуха. Перечислять не стоит. Пошли. И ты тоже, – показал он на Жака.

8

Позднее события этого дня и последующей ночи представлялись Жаку сплошным сумбуром. Он не помнил, как попал вместе с Зибальдом в комендатуру. Рыжий подручный Губера указал ему на табурет у окна, а сам, проводив Зибальда в кабинет, стал у дверей и, нахолясь, скрестил руки на груди. Только через три четверти часа Зибальд появился на пороге. У него был вид вытасенной из воды мочалки.

Глаза должны не только видеть, глаза должны говорить. Разговор между Жаком и Лили состоял из беззвучных восклицаний. Лили говорила: «Будь тверд, ни в чем не признавайся». Жак ей ответил: «Не бойся, им ничего не удастся выведать». Когда рыжий эсэсовец толкнул его в кабинет Губера, он почувствовал облегчение: она не видит и никогда не узнает, как он боялся.

Губер поднялся с места и, положив на стол лист бумаги, прикрыл его рукой.

– Кто ты такой?

Жак увидел не прикрытую волосатой рукой фотографию незнакомого лица.

– Не знаю.

– Мне говорили, ты умеешь фокусы делать. Но такой у тебя не выйдет: самого себя не узнаешь?

Он снял руку с листа. Фотография была приклеена к формуляру Самуила Брона, 1900 года рождения, из Лемберга, вдовца свободной профессии, проживающего временно в Париже и задержанного при облаве на бульваре Сен-Мишель. В графе «Преступление и мера наказания» стоял крючковатый прочерк. «Само существование еврея – его преступление и мера наказания», – подумал Жак.

– Может быть, ты мне скажешь, кто ты такой, – спросил Губер с деланно заискивающей улыбкой.

В передней сидит Лили. Он не может, не имеет права сказать правду.

— Не знаю, каким образом чужая фотография попала в мой формуляр.

— А знаешь, что это такое? — спросил Губер, показывая на стенку шкафа.

Жак пожал плечами.

— Скидывай башмаки.

Когда Жак выполнил это приказание, Губер пинком ноги отправил ботинки Жака в угол. Ударившись о стенку, один из деревянных каблучков отскочил. Из выемки в каблучке выпал какой-то предмет. Губер заметил, нагнулся, поднял его.

— Что это?

Внутри Жака вспыхнуло что-то, как магний.

— Это перстень царя Давида. Я, Самуил Брон, — его потомок. В Берлине, я слышал, существует институт по расследованию еврейского вопроса. Там вам подтвердят то, что я говорю.

— А как эта штука попала в твой каблук?

— Перстень нашли среди вещей, оставшихся после сожженных. Мне его принесли, чтобы обменять на еду. Для многих она важнее реликвий. Я этот перстень сразу узнал. Когда-то я продал его, чтобы помочь одной женщине. Этот перстень — единственное мое удостоверение личности. Покажи я его любому верующему еврею, и он меня узнает. Из рода Давида еврейский народ ждет мессию.

Кто это говорит? Жак или кто-то другой, сидящий в нем? Сила и убедительность, с которой были произнесены это слова, исходили от другого, а у Жака дрожали колени.

Губер с недоумением взглянул на него. В глазах гауптштурмфюрера появилось выражение какого-то суеверного опасения. Он тряхнул головой. Одновременно мелькнула мысль, происхождение которой он не признавал: «Еврейский мессия? Кто знает... Он может стать моим щитом». Губер в мыслях выражался высокопарно.

Несомненно, перед ним человек, принадлежащий к высшей еврейской касте. Фюрер обещал уничтожить евреев во всей Европе, но они останутся, это теперь видно. А в Америке они

представляют собой немалую силу. Взяв этого «потомка царя Давида» под защиту, он, Губер, сумеет его использовать.

— У меня было много знакомых евреев. С некоторыми я даже дружил. У них много практического ума, и они стоят друг за друга. Потом, они умеют быть благодарными... Вот ваш формуляр, я с ним могу сделать, что захочу. И ничего не стоит выписать другой формуляр. Вы снимитесь завтра у лагерного фотографа, печать у меня, и все в порядке. Но для этого вы должны поклясться: когда придет день, которого некоторые опасаются, вы скажете то, что есть: этот человек спас мне жизнь. И перстень я вам верну. Но пока он останется у меня, как залог.

Губер встал и порвал формуляр. Затем, открыв дверь в переднюю, крикнул:

— Отведи отца и дочь в бункер и возвращайся. Уже поздно.

«Если государство имеет право брать заложников, то и я могу, а время такое, что никакой шанс нельзя отбрасывать», — подумал Губер, возвращаясь в свой кабинет после того, как Жак, Лили и эсэсовец исчезли за дверью.

Время было после отбоя. Эсэсовец вел их по главной улице лагеря. Он шел медленно, как будто обдумывая что-то. Поравнявшись с борделем, он остановился и взглянул вверх. Во втором этаже вспыхнул огонек. Возможно, какая-нибудь из девиц провожала своего гостя. Эсэсовец подождал немного, затем подошел к двери и постучал.

Лили взглянула на Жака. Жак отрицательно покачал головой. Он ждал, чтобы ситуация прояснилась. Наконец, на повторный стук открылась дверь, на пороге показалась Эрна. Эсэсовец подтолкнул Жака и, поглядев на Лили, сказал, усмехнувшись:

— Пополнение что надо!

Вчетвером они поднялись на второй этаж и вошли в «салон». Комната была освещена из коридора, и Жаку показалось, что он вошел без спроса в чужую квартиру. Эрна повернула выключатель и спросила:

— Товарищ?

Лили кивнула. Тогда Эрна, задумавшись на мгновение, сказала:

- Ладно. Утро вечера мудренее.
И, обращаясь к эсэсовцу, добавила:
– Полный порядок, господин оша.

9

Жак проснулся и взглянул в окно. За окном стояло усталое мглистое утро. На его руке лежала голова Лили, и ему казалось, что она смотрит на него из-под опущенных век. Чувство нежности и благодарности охватило Жака. Товарищ. Жена. Лили не спала. Она следила за ним с каким-то новым ощущением влечения, чудесно прозрачного и неопределенного до боли. Внезапно ей захотелось коснуться кончиками пальцев его лица. Она не шевельнулась, но мысленно ощутила его прикосновение.

До сих пор Лили повиновалась стечению обстоятельств, как чужой воле, иногда восставая против них, иногда споря со своей судьбой. Впервые ее воля текла в одном потоке с другой волей, и покорность судьбе показалась сладостной.

Звук гонга донесся издали, словно приглушенный туманом. Послышались торопливые шаги. Вошла Эрна.

– Вам, товарищ, надо исчезнуть. Лили пока что может остаться.

Еще один товарищ. Жак почувствовал вдруг острую жалость к Лили. Оставить ее здесь, в этой комнате с розовыми обоями, аляповатым рисунком на скатерти и бумажными цветами на столе казалось ему оскорблением их чувств. Он обнял Лили в последний раз и устремился к двери, как будто бежал.

10

Оркестр гремел, но ворота остались запертыми. В комендатуре происходило что-то странное. То и дело выглядывала голова то одного, то другого эсэсовца. Они смотрели на дорогу, словно ожидая кого-то. К комендатуре подъехала санитарная машина, из нее вышел главврач, вошел в здание, но через минуту появился вновь, разводя руками. Двое эсэсовцев снесли с крыльца носилки. На носилках лежало тело, офицерские сапоги торчали из-под одеяла. Появился лягерфюрер. Его окружали эсэсовцы, чего раньше никогда не было. Собаки дергали за поводки, визжали, позевывая и скуля. Их хозяева стояли, потупившись, словно стыдились своего безделья.

Наконец открылись ворота. С полчаса в комендатуре дребезжал телефон. Клиенты возмущенно требовали доставки рабочей силы. Лягерфюрер объяснил, что случилось непредвиденное: ночью в комендатуре было совершено покушение на первого рапортфюрера.

Губера нашли в шкафу для пыток электричеством. Шкаф стоял под током. На теле рапортфюрера не нашли никаких следов насилия. Оставалось предположить, что он сам добровольно ушел в шкаф, предварительно включив ток.

Ха-ха-ха!

А рыжий оша? Он скрылся, захватив с собой драгоценности, отнятые у Зибальда.

С этим известием в полдень явился капо. Жака позвали к старосте. Новый блокэльтестер, пришедший на смену Гётца, был человек желчный и близорукий. Сквозь толстые стекла очков на Жака глядели крысиные глазки.

— Приказано, — сказал утробным голосом блокэльтестер, — перевести тебя в семнадцатый барак.

В семнадцатом бараке находилась команда БАУ-1, «негров», как их называли в лагере. За пару месяцев эта команда сменялась несколько раз. За исключением административного персонала, рабочие команды БАУ-1 периодически уничтожались.

Сознание, что он не успел придать своей жизни смысл и значение, охватило Жака глубокой печалью. Зачисление в команду БАУ-1 означало конец. Он ненавидел себя, обзывал медузой, кляня свою бесхребетность, фантазии и непрерывные сомнения. Он старался думать что, в конце концов, повидал и кое-что хорошее в жизни, и пора и честь знать. Многим, умирая, даже нечего вспомнить по-настоящему хорошего. И ему стало жаль не себя, а те тысячи молодых, превращенных здесь в пепел для удобрения.

Глава 4. Подводные землетрясения

1

Заклученные подталкивают к хранилищу груженные цементом вагоны. Вагоны тяжело стучат на стыках. Заклученные каждый раз вздрагивают. Мутными от усталости глазами они смотрят вперед и наблюдают, как в лучах осеннего солнца порхает бабочка. Это простая капустница, но она непостижимо легка и свободна. Глаза людей светлеют. Чуть-чуть, и в них воскреснет улыбка.

На красной стенке вагона мелом написано: «*Ce ne sont pas les chenes, qui m'accablent, c'est l'ame d'esclave, qui m'ecrase*»¹.

Может быть, это начальные слова стихотворения (поэзия — это переключка родственных душ), может, автор пытался воскресить человеческое достоинство (каждый поэт — в известной мере проповедник), но даже те, кто знал французский, не воспринимали этих слов. Они слишком устали. Вот и предел воздействия.

Рабочий день близится к концу. Заклученные поднимают лица к безоблачному небу. Оно хранит свою непорочность и безжалостно к ним, мучимым жаждой. Но все же они счастливы, что избежали участи работающих в хранилище цемента. Там царит крошечная тьма. Ноги утопают в податливой цементной пудре. Цемент набивается в рот, смешавшись со слюной, превращается в корку. Он заполняет нос и уши, преследует даже ночью во сне мертвящим запахом пыли. Люди стараются не дышать, не разговаривать. Разговор грозит удушьем.

¹ Это не собаки меня терзают, а рабская душа меня давит (*фр.*).

И вот целую ночь нужно отгребать длинными лопатами цемент от люков, куда его ссыпали из вагонов. Ночь днем. Постепенно мрак рассеивается, в погреб проникает серый рассвет. Люди становятся похожими на утопленников, их движения будто вызваны колыханием воды. Стоящие ближе к люкам вырастают в исполинов с острова Пасхи. Но даже здесь, где они предоставлены сами себе (ни капо, ни бригадир не спускаются в этот ад), люди остаются разобщенными, каждый враг другого, потому что он своими движениями поднимает удушливую цементную пыль. Всякая жизнь теснит другую, только мертвецы могут стать друзьями.

Вой сирены. Сверху доносится приглушенное жужжание. От взрывов бомб дрожат стены.

Восторженный крик: «Во, дают!»

Жгите, взрывайте, ломайте! В руинах спасение! В хаосе первозданном душа свободна! Даешь хаос первозданный!

Пусть погибнуть, но свобода!

Все явственнее, все ближе доносятся взрывы, удары зенитных пушек, стук пулеметов. Звуки смешиваются с гулом в ушах.

Потом все затихает. Люди возвращаются к себе. Шорох. Снова движутся лопаты. И снова люди разобщены, ничем не связаны друг с другом. Мир далек и глух.

Работа на складе цемента – вторая ступень ада. Первая – штабелевка кирпичей. С утра до вечера люди переносят кирпичи с одного места на другое, штабелируют, чтобы затем разобрать штабель и перенести его в другое место. И все это под крики эсэсовцев и капо: «Шнель!» Под удары дубинок, под лай собак, под мучительный стук в висках. Бессмыслица!

Бессмысленный труд – пытка. Бессмысленный труд – издевательство над человеком. Бессмысленный труд делает бессмысленным само существование. Им калечат людей, убивают людей, превращают в рабов...

Ад имеет много ступеней. По ним заключенные спускаются вниз. Только одна ступень ведет вверх. К свободе. К жизни. Чтобы ступить на нее, нужно сперва умертвить честолюбие, тщеславие, стремление к успеху, надежду на благополучие, на улыбку судьбы. Нужно глубоко осознать: ты – песчинка, но и помнить, что ты – часть мироздания.

Только когда впереди ничего не остается, когда смерть, и та по сравнению с ничем кажется каким-то лунным ландшафтом, в людях набухает ярость, их охватывает всепоглощающая воля к действию. Может, в предчувствии того, что эта лава перельется через край, медленным и вязким движением зальет низины, начальство предпринимает меры предосторожности. В район расположения лагеря стянуты эсэсовские части. Усиливается стража. Учащаются обыски. Лагерь наводнен эсэсовцами, они следят за каждым шагом заключенных, присматриваются ко всему

Но лаву остановить нельзя.

Покуда человек был человеком, со стремлениями, надеждами и волей, он мог воображать, что его действия и мысли в какой-то мере влияют на движение людского потока. Но, убив в нем человека, фашизм вызвал к жизни гораздо более грозную силу, чем интегрированная воля единиц, силу, подобную той, которая освобождается при расщеплении атомного ядра. Она и привела в движение полосатую массу.

Чтобы придать направление стихии, нужна другая сила, но не чуждая, а зародившаяся в самой стихии.

2

Мифы возникают стихийно. Подручный Гитлера Альфред Розенберг¹ сочинил «Миф двадцатого века», чтобы дать возможность Гитлеру войти в историю героем. Но он вошел в историю оборотнем, каким его видела значительная часть немцев.

Странно, что этот, в общем трезвый народ мог воспринять истерические вопли Гитлера как призыв. Но дело в том, что фашистская идеология порождена мещанством. Мещанин не способен отличить подделку от подлинного. Она выглядит почти так же, как настоящее, и стоит недорого. Дешевый пафос Гитлера и его любовь к мишуре воспринимались как воодушевление, как выражение истинно германского духа.

Облачившегося в поддельные доспехи немецкого мещанина терзало чувство неполноценности: Когда-нибудь народы распознают подделку, история заклеит попытку достичь величия негодными средствами. Чтобы этого не случилось, фашизм

¹ *Альфред Розенберг* (1893–1946) – главный идеолог фашизма, заместитель Гитлера. В 1930 опубликовал книгу «Миф XX века», считавшуюся теоретическим обоснованием национал-социализма.

создал лагеря смерти: здесь умерщвлялись критики, и в первую очередь, потенциальные разрушители героического мифа – евреи, марксисты и франкмасоны.

Больше чем проигранная битва на Волге, на немецкого мещанина подействовал разгром германских армий на Курской дуге. Вину за пленение Шестой армии можно было еще свалить на итальянцев и румын. Начатая по инициативе германского командования и закончившаяся разгромом немцев Курская битва показала бездарность германского генералитета. Один из командующих богов Валгаллы упал и разбился. С тем большим упорством фашизм стал противопоставлять разьедающим народ сомнениям утверждение незыблемости своей власти. Памятниками эпохи стали лагеря смерти с их комбинатами уничтожения.

Фашизм бросил вызов гуманизму. Когда-то Геббельс в своем, к счастью, единственном романе писал: «Когда я слышу слово “гуманизм”, я хватаюсь за револьвер». Теперь немецкий фашизм, уже не скрываясь под рыцарскими доспехами, решил показать, кто он, задушить всех, кто осмеливается оспаривать его господство. Как символ своей власти он решил построить великолепный храм уничтожения. Здесь были учтены все достижения в области техники умерщвления. Эскизный проект храма был выставлен в штаб-квартире Гестапо на Принц-Альбрехтштрассе в Берлине и получил одобрение высшего начальства. К проекту был присовокуплен проспект, восхвалявший преимущества нового комбината смерти. Внешнее сходство архитектурных форм с греческим храмом должно было придавать уничтожению людей обрядовый характер. За коринфской колоннадой скрывались глухие стены, замыкающие выдержанное в стиле римских терм помещение, в котором производилась «газофикация» людей. Мощные вентиляторы нагнетали газ «циклон». Газофикация должна была длиться двенадцать минут, после чего трупы при помощи опрокидывающего устройства сбрасывались в нижние помещения, где подвергались обработке, в то время как наверху вытяжные вентиляторы приготавливали помещение для приема новой партии. (К сожалению разработчиков, процесс обработки трупов не удавалось механизировать, так как не в каждой челюсти попадают золотые зубы и не все волосы годятся на парики.) После обработки трупы должны были гру-

зиться на передвигаемые по монорельсам вагонетки и поступать в крематорий, а там сжигаться в электрических печах, благодаря чему снаружи ни огня ни дыма не будет видно. Здание душегубки крематория должно быть окружено платановыми аллеями, газонами, цветниками.

Команда БАУ-1 работала на строительстве такого комбината. Строительство подходило к концу, и можно было предполагать, что строители станут первыми его жертвами.

3

Как все новички в команде БАУ-1, Жак сначала перетаскивал с места на место кирпичи, толкал груженные цементом вагоны, отгребал от люков сыпанный в хранилище цемент. Рядом с ним работали преимущественно евреи: лодзинские текстильщики, львовские сапожники, венские мебельщики и будапештские портные. Они говорили на странном жаргоне, удивительно приспособившемся, как показалось Жаку, к их духу и быту. Были среди них и представители других наций, безликие и будто стертые от постоянного употребления. К ним всем Жак никакого отношения не имел. Ему казалось, что он потонул среди них, как в цементной пыли.

Капо двухтысячной колонны БАУ-1 Герман Родескоп, стройный и красивый брюнет с голубыми глазами, относился к своим подчиненным с добродушной снисходительностью. Герман Родерскоп был сторонником Грегора Штрассера¹, принявшего социальную демагогию Гитлера всерьез. Он принадлежал к тем еретикам фашизма, которые, проповедуя освобождение от плутократии, возмутились появлением нацистских спекулянтов: те, воспользовавшись приходом к власти «истинных арийцев», набили себе карманы отнюдь не арийскими деньгами. Не желая мириться с недостойным нордической расы стяжательством, он в поисках сторонников среди германских викингов попался на провокацию гестапо, подсунувшего ему голубоглазых евреев и затем обвинившего его в создании маккавейской² организации.

¹ *Грегор Штрассер* (1892–1934) — один из основателей и лидеров НСДАП, убитый во время Ночи длинных ножей.

² Еврейские юношеские организации назывались «маккаби» или «маккавеи».

Жаку было известно, какая участь его ожидает. Мысль о смерти уже не пугала его. Эта беспросветная тьма, бесцельный труд, безликость окружающего все нивелировали, стирали ужас перед смертью. Сознание того, что жизнь будет прервана, не казалось уже угрозой, это событие стало слишком незначительным.

Только одно: вдохнуть бы хоть один раз запах осеннего леса! Но где тот лес? Кругом болотные кочки. Жак сам принадлежит к этому лишенному растительности ландшафту. Он вспоминает выгравированное на перстне царя Соломона изречение, о котором рассказал ему косой еврей: «Все проходит». От этих слов исходила радость избавления, как от засыпанного цементом люка, когда удавалось пробиться сквозь его толщу к свету.

Что стало с ним, с представителем погибающей нации? Что стало со всеми, с кем он сталкивался раньше? Руди ведут по лагерю. Он не может удержать привязанного к его рукам плаката: «Hurra, ich bin schon wieder da!»¹ Плакат колеблется, то падает, то поднимается вновь, и вместе с ним нагибается и выпрямляется Руди, словно челнок под парусом. И в такт этому нырянию к горлу подкатывает комок. Страшно умирать одному!

Однажды под самый конец рабочего дня Жака вызвали из цементохранилища, дали в руки лопату, черенок которой оказался до смешного коротким, и велели перемешивать песок с цементом. Цемент был насыпан поверх кучи песка, и Жак стал усердно работать лопатой, радуясь избавлению от сизифова труда в цементохранилище.

К нему подошел форарбайтер Иржи Нейман. Он некоторое время наблюдал за работой Жака, затем взял у него лопату из рук и показал, как с меньшей затратой сил мешать цемент. Достаточно поворотом лопаты сделать лунку в песке, более тяжелый цемент посыплется сверху и смешается с песком.

— Зачем экономить силы, все равно скоро конец? — сказал Жак

Тот испытующе посмотрел на него:

— Ты еще рассуждаешь?

Жак пожал плечами. Нейман, конечно, прав, бессмысленны все разговоры. Жак снова принялся за работу, используя указа-

¹ Ура! Я опять тут! (нем.)

ния фоторайтера. «Чего он не уходит?» — думал Жак, поглядывая сбоку на засунутые в ботинки полосатые брюки Иржи, на которых ровными стежками был пришит номер политического заключенного.

— Силы могут тебе еще пригодиться.

Смысл этих слов дошел до Жака только тогда, когда неприметная фигура фоторайтера скрылась за колонной подвозивших кирпичи грузовиков. Жаку показалось, что одна из этих машин — знакомый ему «зульцер». Он вспомнил роковой для него день, когда он столкнулся с водителем этой машины, синеокиим посланцем «оттуда». Его все время мучила мысль, что он ничего не сказал про склад с оружием. Жаку теперь казалось, что он нарочно утаил это, что тогдашняя его готовность передать дела подпольной организации в более опытные руки была не вполне искренней. Он хотел побежать за «зульцером», но вдруг перед ним появилась статная фигура оберкапо, и он не посмел этого сделать.

Через час на обратном пути в лагерь Жак горько упрекал себя в трусости.

4

Жак встряхнулся, чтобы прогнать наваждение. Ему послышался назойливый, как писк комара, вопрос: «Знаешь?» Было непонятно, что он должен знать. Потом он увидел несомненно принадлежащие ответу слова. Слова бились, как выловленная рыба в сети. «Это моя рыба», — сказал Давид Корнблат, сосед Жака по койке. Сначала Жак думал, что Давид читает молитву, но оказалось, что он сочиняет стихи. Одно стихотворение было такое:

«Нас убивают двадцать лет. Мы знаем, дольше нам не жить. Мы не успели полюбить, мы не успели пожалеть, что не любимы. И сложить стихи. Нам некогда перебирать мякину слов. Мир от нас услышит не размеренный стих, мир от нас услышит смертельный крик. Родиться, чтобы не жить? Родиться, чтоб умереть? Жить двадцать лет, не живя? Кто этого хочет, кто отвечает? Нет, не жить тому, кто даст себя убить!»

Стихи были на еврейском языке. Давид переводил их Жаку на польский. Переводил, прямо сказать, плохо. Слова казались

Жаку живыми рыбешками, потом они всплывали на воде маленькими трупиками...

Что с ним происходит? Неделю тому назад он отдал Познаньскому свою порцию маргарина, сказав, что маргарин вызывает у него изжогу. Когда кто-то заговорил с ним о Лили, он сказал, что ее не знает. Вот уж сколько времени, как он ее не видит! Лили исчезла, он даже не пытался узнать, что с ней.

5

На второй или третий день после загадочной смерти Губера и бегства его подручного к Жаку подрулил какой-то незнакомый гефтлиг и сказал, чтобы он шел к фотографу. Когда Жак спросил, зачем, тот невразумительно ответил, что надо. Жак кивнул, хотя и не понял, что тот хочет сказать. Да он и сам знал, что ему надо делать.

Он перестал бояться смерти. И теперь его отношение к смерти не изменилось. Не смерти он боялся, а людей. Он смотрел на товарищей с единственной мыслью избежать неприятностей, которые они могли причинить. Остальное было безразлично. Он устал, безмерно устал. Если подумать, что завтра то же самое...

Дверь секции была открыта. Поминутно входили и выходили люди. Жак не заметил, как перед ним остановился Давид.

— Фе! — сказал он, вытирая руки о штаны. — Фе! Я этого от пана не ожидал.

Жак уронил щетку. Жгучее чувство стыда заполонило его.

— Не хочет пан послушать, что я скажу? — спросил Давид Корнблют и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Это будут горькие слова о предателях, о тех, кто виноват, что молодые люди, не пожив, умирают. Пан скажет, в этом виноваты фашисты. Но я отвечу пану, что да, фашисты убивают, но виноваты еще больше те, кто выдает им людей. Не было бы таких предателей, слово хонору, фашисты бы ничего сделать не могли.

— Кто они такие? — повторил Давид свой вопрос задумчиво, словно проверяя его звучание. — Когда дела идут хорошо, они самые большие патриоты. Но когда наступает опасность, они прошем пана, готовы продать все, чтобы откупиться от врага. Хотя они, конечно, торгуются. Эти панове в Польше первыми упаковали свои большие чемоданы. И это не только в Польше,

уж поверьте. Об этом мне говорили французы, бельгийцы, голландцы, и еще не знаю кто. Пан думает, в гетто было иначе? Я сам был в гетто и могу сказать: немцы учредили юденрат¹, евреи были в юденрате. Что они делали? Они делали то, что им приказывали немцы. Почему они это делали? Они имели выгоду. Их предприятия работали, хотя больше им не принадлежали. Все равно приятно быть паном фабрикантом. Я сам на одном таком предприятии работал. Нам платили в десять раз меньше, чем полякам. Фабрикантам также кое-что перепало. Так что они с голоду не умирали. А когда надо было отправлять людей в Германию, — пожалуйста! Я сам попал на транспорт, я могу сказать. Хорошо, я остался жив. Но что, мне благодарить этих предателей? Когда моя мать бросилась в ноги члену юденрата господину Эпштейну, умоляя оставить меня, он велел полицейским вывести ее: она мешала ему завтракать. Вы хотите знать, что стало с Эпштейном? Он здесь, в соседней секции. Если пойдете туда, можете его увидеть. Вы думаете, он работает? Ничего подобного. Эпштейн сидит в секции и угощает капо, шрайбера, всех, кто имеет власть. Откуда он берет угощение? Он, единственный еврей, получает посылки Красного креста. Каким образом? Откуда я знаю? Может, он и пана угостит шпротами и куском шоколада. Ведь у пана Юлиуса Эпштейна добрая душа. Спросите дневального Познаньского, он знает. За его праздничным столом всегда не один, а несколько бедных евреев. Вот какие будут мои горькие слова о тех, кто предал нас в час роковой. Как вы думаете, это будет звучать? Наш оберкапо назвал нас международным сбродом. Я такие слова отвергаю. Я — польский еврей и останусь им до могилы. Но таких пиявок, как Эпштейн, можно назвать международным сбродом, я с этим согласен. Я с ними одной нации? Нет, я с ними разных наций, если пан хочет знать. Это не для стихов. В стихах одна нация получается очень красиво. Я пану говорю, потому что пан — еврей и, надеюсь, одной нации со мной.

¹ *Юденрат* (нем. *Judenrat* — «еврейский совет») — еврейский административный орган самоуправления, который по инициативе немецких оккупационных властей в 1939 создан при Генерал-губернаторстве Польши.

6

Жак боялся новых знакомств, но все же пошел в соседнюю секцию посмотреть на «пиявку» Эпштейна. Тот оказался дородным мужчиной с мягким выражением карих глаз, резко контрастирующих со злыми тонкими губами. Казалось, лагерь не повлиял на его внешность. Когда Жак вошел, Эпштейн сидел за столом и ужинал с Капо и Валентином. Возможно, Давид преувеличивал обилие съестных продуктов, которыми располагал бывший член юденрата, однако Жак не мог не заметить большую картонную коробку снеди явно не лагерного происхождения. Но не это его поразило. Поразило то, что лицо Эпштейна не выражало никакого смущения по поводу яств. Эпштейн и в лагере выглядел хозяином.

Удостоверившись, что замечания неистового поэта имели под собой почву, Жак хотел было ретироваться, когда Валентин наклонился к Эпштейну и, показывая взглядом на Жака, что-то шепнул ему на ухо. Эпштейн повел бровями и кивнул.

— Пожалуйста, не захотите ли вы составить нам компанию? — произнес он приятным баритоном, обращаясь к Жаку. — Прошу, никаких церемоний, мы здесь все свои, — и, предупреждая возражения Жака, он, отодвинув Валентина, освободил ему место на скамейке.

Хозяин протянул руку за настоящей тарелкой, которую движением марионетки подал ему стоящий сзади гефтлинг. Не спрашивая согласия Жака, он разложил в живописном порядке на тарелке несколько кусков колбасы, украсив их маринованным огурцом и половинкой помидора, две сардинки, кусочек сыра и, налив чашку какой-то пахучей жидкости, дружелюбно кивнул Жаку:

— Все кошерное, — указав на тарелку вилкой, сказал он. — Если вас это беспокоит.

Отвыкший от вкусной еды Жак вдыхал аромат яств, но не дотрагивался до них.

Видимо, не желая его смутить, Эпштейн отвернулся от Жака и продолжил начатый до его прихода разговор с Валентином.

— Я не могу сейчас вспомнить, когда это было, не то в тридцать шестом, не то в тридцать седьмом году. Н-да, вероятно,

в тридцать седьмом, незадолго до смерти маршалка¹. Я прошу вас верить, маршалек никогда антисемитом не был, он придерживался в отношении евреев очень либеральных взглядов. Конечно, пани Эстер была польщена его вниманием, да и сам маршалек был мужчиной того типа, который нравится женщинам. У него был этакий грубовато-фамильярный и вместе с тем галантный тон, который обезоруживает самых недоступных женщин, а как я уже сказал, пани Эстер к ним вовсе не принадлежала. Но вы понимаете положение мужа?!

Присутствующие залились смехом.

— Нет, я определенно утверждаю: некоторые варшавские салоны не уступали парижским. Это заслуга тех, кто в национальных и государственных барьерах перестал видеть препятствие общению людей. Но что такое! Вы ничего не кушаете, — повернувшись к Жаку, произнес он с видимым огорчением. И продолжал, уже непосредственно обращаясь к нему:

— В этом общении существенную роль сыграло искусство, литература... Мало кто из образованных людей в Польше не знал французского. Музыка... Язык ее интернационален. Живопись — тут новые веяния окончательно взяли верх над отжившей академической формой. Я это говорю, несмотря на то, что я сам несколько консервативен. Уличные типы, прачки и тому подобное — я не нахожу, что они заслуживают внимания художника. И все же — Ренуар!

Он, довольный, откинулся на вагонку, которая под тяжестью его тела обиженно заскрипела.

— Все это так, — отозвался молчавший до сих пор капо. — Общение. Но какое может быть общение с такой страной, как Россия. Сталин заявил, что пленных не признает, и не присоединился к Красному кресту. Оттого здесь русские все голодные сидят. — Он впился глазами в Жака: — Правду я говорю?

Жак пожал плечами:

— Я не знаю.

— Но какая может быть еще причина? — настаивал капо.

Что-то перевернулось в Жаке, он не мог уклониться от ответа.

¹ Имеется в виду маршал Пилсудский.

– Я думаю, – сказал он, – Сталин не верит в патриотизм советских людей. Сталин боится, что многие перейдут к врагу. В плену русские столкнутся с качественно иной культурой, она может им показаться выше. Не случайно на многих советских дипломатических представителях обрушились репрессии. Сталин исходил из предположения, что они под влиянием европейской культуры должны разложиться. Он прибегнул, если так можно выразиться, к профилактическим средствам.

Все внимательно прислушивались к его словам. Жак приподнялся:

– Простите, мне нехорошо... я не привык...

Пан Эпштейн проводил его сожаляющим взглядом.

7

Жаку давно не случалось общаться с «культурными людьми». Атмосфера учтивости и кажущейся простоты, которую сумел создать вокруг себя Эпштейн, была для Жака бальзамом на нанесенные ему лагерной жизнью раны. Узнав, что он играет в шахматы, Эпштейн пригласил его сыграть партию. Он сумел проиграть изящно и с юмором. Жаку показалось, что у него восстанавливается утраченная способность быстрой ориентации в духовных вопросах. Он находил словечки и выражения, освобождавшие его от необходимости думать, и умел придерживаться здравого смысла, чтобы не впасть в преувеличение. Он уже не помнил, вернее, не хотел помнить свои неудачные, как ему казалось, высказывания в день знакомства с новыми друзьями.

– Вы знаете, что мне про вас сказал Эпштейн? – с радушным выражением лица спросил его Валентин. – Он сказал, что не ожидал встретить в лагере такого культурного, умного и просвещенного человека.

Жак стал сторониться Давида Корнблюта. Не было ли все, что тот говорил про Эпштейна, клеветой, злословием неудачника, завидующего богатому человеку, который в трудных условиях сумел устроиться? Какой ценой? Да, Боже мой, довольно этих грубых подозрений! Только люди, не видевшие в жизни ничего хорошего, подозревают всех в низости и предательстве. Неужели в высшем обществе нельзя встретить людей достой-

ных, порядочных и восприимчивых к мысли как таковой? Да бросьте, это говорит узкое сектантство!

Эпштейн завел однажды разговор о прошлом Жака. Жак пытался отделаться общими фразами и замолчал, когда тот захотел узнать, где и каким образом он научился так блестяще владеть языками.

— Вы говорите по-немецки, по-французски совершенно без акцента. Это меня сразу поразило и продолжает интриговать. Настоящий космополит.

Жак чувствовал нечто вроде благодарности к Юлиусу, как он с некоторых пор стал называть Эпштейна, и признавался, что ему приятно находиться в его обществе. Почему он должен оторваться от близких ему по духу людей только потому, что они принадлежат к другому классу? Может быть, как раз роль интеллигенции состоит в том, чтобы примирить классы, найти то общее, что объединяет людей? Вражда, как национальная, так и классовая, всегда казалась Жаку чем-то низменным. Он понимал необходимость борьбы, классовый антагонизм был исторически обусловленным явлением, но ведь не исключено, что в личных отношениях люди могли оставаться просто людьми! Если я потребую у моего хозяина повышения заработной платы, это вовсе не значит, что я должен его ненавидеть.

— Безусловно! — подтвердил Эпштейн.

8

— Номер 104231 — в комендатуру!

— Не знаю, ничего не понимаю, — уверял Жака Валентин, провожая его до кабинки старосты, где его ожидал хмурого вида эсэсовец.

Было рано, и Жак еще не успел придти в себя после сна. Все же он не мог не заметить, что эсэсовец вел его в комендатуру окольным путем, избегая мест, где толпились заключенные. Они обошли стороной своеобразный базар возле кухни, где заключенные обменивали хлеб, маргарин и будущую похлебку на понюшку табаку, покупали и продавали связанные в лагере вещи. Когда они поравнялись с каптеркой, Жак заметил «зульцер». С машины сгружали байковые одеяла. Жак украдкой искал глазами водителя, но его нигде не было видно.

Эсэсовец ввел Жака в комендатуру и велел ему стать лицом к стене. Так было принято ставить заключенных в местах присутствия начальства. По коридору прошел другой эсэсовец. Он почему-то остановился за спиной Жака.

— Стоять, тихо! — Жак вздрогнул, как от удара кнута. Он узнал голос водителя «зульцера».

— Пошел! — голова-бомба кивнула в сторону двери.

Мнимый эсэсовец пропустил Жака в кабинет, затем запер дверь, прислонился к ней плечом. Жаку казалось, что он физически ощущает, как в кабинете сгущается атмосфера. Чтобы прервать это ощущение, он выпалил:

— Если вы меня будете спрашивать, как я попал в плен, я отвечать не буду: это не имеет отношения...

— К чему? — человек с льдинками подошел к столу и сел. — Не можете ли вы сказать, что стало с вашим формуляром?

— С моим формуляром? — удивился Жак. — Губер его уничтожил.

— Как уничтожил?

— Разорвал на части.

— Хм...

— С тех пор прошло больше двух месяцев, со мной ничего не случилось.

— Это как раз заставляет задуматься.

— Меня на днях снимали и заставили «на рояле играть»¹, — проговорил Жак.

Человек с льдинками кивнул. Мысль Жака продолжала работать. Что все это значит? За ним следят? Его оберегают? Он, значит, для чего-то нужен? Иначе тот, с льдинками, не стал бы рисковать.

— Я не успел вам сказать: на заводе, во втором гараже, в четвертой яме от входа — склад оружия. Склад прикрыт досками.

— Все это нам известно. Ежи Енджиховский бежал вместе с Павлом Бойко. Он теперь на «Яке» летает. — Это был и ответ и уведомление.

Значит, ему доверяют.

— А я мучился, что вам не сказал.

— Только это вас мучило?

¹ «Игра на рояле» — снятие отпечатков пальцев.

— Не знаю, — растерянно проговорил Жак. — Я думал, что я совсем один и меня никто не услышит.

— Вероятно, потому вы и занялись клеветой на вождя народов, на партию, на советское правительство. А вы знаете, что за Сталина люди идут на смерть? С кем вы якшаетесь? С кем откровенничаете? Кто ваши новые друзья? Враги пролетариата и революции!

Жак стал уверять, что это люди весьма приличные, он не понимает, почему им наклеивают такие ярлыки. Человек с льдинками взял со стола лист бумаги и протянул его Жаку. На листе корявым почерком было выведено:

«Третьего десятого Б. сказал, что Сталин не верит в патриотизм русских, поэтому Сталин объявил, что кто сдается в плен, все изменники. Б. сказал также, что немцы теперь наверняка проиграют войну и погибнут, потому что они верят фюреру. Прошу ваших дальнейших указаний, потому что к Б. подойти нельзя. Он очень подозрительный и мало разговаривает».

— Вот, — сказал человек с льдинками. — Вот куда вы зашли.

Жак думал о другом. Его сверлила мысль, кто это мог написать. Не Эпштейн и не Валентин, конечно. Он вспомнил человека, стоявшего за спиной Эпштейна, который подавал тарелки. Вот кто автор доноса! Ничего не сделаешь.

— Может быть, не следовало говорить так откровенно...

— Значит, это ваши откровенные мысли? Сталин не верит в патриотизм русских?! Вы знаете, на кого вы замахнулись? Как вы смеете! Кто вы такой!

— Это долго объяснять.

— Вы давали присягу, да или нет?

— Не давал. Но если б дал, так что же? У меня, наверно, нет стадного инстинкта.

— Какого инстинкта? Нужно знать, за что берешься.

— Может быть, это травма. Я доверился, отдался, а меня выгнали.

— Видно, вас не зря выгнали!

— Я добровольцем пошел на фронт в гражданку.

— Это прошлое. Нечего ссылаться на былые заслуги.

— Я не ссылаюсь, я просто хотел сказать, что когда нужно было, шел за советскую власть в бой.

— Мать накажет, мать и пожалеет.

– В том-то и дело, что она меня никогда своим ребенком не считала.

– Из всего, что вы здесь наговорили, я понял, что вы шаткий элемент.

– Зачем тогда вы меня позвали?

– Чтобы посмотреть, на что вы еще годитесь.

Оба замолчали. Жаку казалось, что какая-то его часть умерла и теперь легко, без боли от него отделилась. Как это ни странно, он почувствовал облегчение и вздохнул свободнее.

– Гожусь? Предоставьте мне возможность, и я докажу, на что я гожусь.

– Если вы сами не верите в себя...

– В том-то и дело, что в себя веришь, когда другие в тебя верят. А если в тебе сомневаются, то и сам начинаешь сомневаться.

Человек с льдинками в первый раз внимательно посмотрел на Жака.

– Ладно, посмотрим.

– Вы говорите: ладно. Но не могу же я разыскивать вас в комендатуре.

– Понятно, вы бы меня здесь и не нашли. Помните, вы меня не видели и знать не знаете. Нужно будет, мы вас найдем.

9

Вблизи стройплощадки появилась женская бригада. Женщины копали канавы, отводя гнилую воду от строящихся зданий. Рабочие команды БАУ-1 мгновенно об этом узнали. Как только выдавалась свободная минута, они приникали к щелям дощатого забора и смотрели, как женщины роют канавы. Рабочие наседали друг на друга, многим не удавалось бросить взгляд по ту сторону забора, происходили свалки. Женщины с трудом поднимали лопаты. Если они долго стояли на месте, то погружались в глинистую почву, поэтому им приходилось все время переступать с ноги на ногу. Это делало их похожими на увязших на липучке мух. Все они были одеты в коричневые закатанные до колен шаровары.

Одна из рывших канаву женщин не работала. Она смотрела вокруг удивленными глазами. Цветом эти глаза были похожи на северное море в непогоду. На дне его лежали потерпевшие крушение корабли. Там было тихо. Осьминоги вплелись в ванты.

Рыбы с выпученными глазами, шевеля плавниками, огибали мачту. Женщина оперлась о лопату. Лопата все глубже уходила в землю. Наконец на поверхности трясины осталась одна рукоятка. Тогда, найдя какой-то сучок, женщина стала соскабливать с ног прилипшую к ним грязь.

Молодой эсэсовец с почти детским лицом остановился у канавы и посмотрел на женщину, счищавшую с ног грязь.

— Ты чего? — спросил он.

Она ничего не ответила.

— Оглохла?

Женщина повернулась спиной к эсэсовцу и стала вылезать из канавы. У нее были очень красивые сильные ноги, и молодой эсэсовец, прикусив губы, посмотрел на них, вздохнул и проговорил:

— Не будешь букой, я тебе головной платок подарю.

Она снова не ответила, даже не обернулась на его голос.

— Эй, ты! — крикнул эсэсовец. — Кому я говорю?!

Только теперь женщина повернулась к нему.

— Я не слышала, что вы сказали.

По ней было видно, что она действительно не слышала. Повторить свое предложение эсэсовец уже не мог. Он со злобой стал сбивать комья грязи, прилипшие к сапогу.

— Почему ты не работаешь? — накинулась капо на женщину.

— Я свое отработала, — сказала та.

— Где твоя лопата?

— Провалилась сквозь землю.

Капо перелезла через канаву и подошла к женщине, но перед ее взглядом отступила.

— Я уже сказала, — проговорила та вполголоса. — Мы свое отработали.

— А в бункер не хочешь? — прошипела капо.

— Нет, я в бункер не хочу, — сказала женщина, — но я свое отработала, и ты, капо, наверно, тоже устала с нами возиться.

— Будет тебе, — сказала примирительно капо. — Если работать не хочешь — полезай в канаву, чтоб тебя не видели.

— Зачем? Пускай меня видят. Скажут: вот одна устала, она уже работать не будет. Чего бояться? Совсем нечего. Бить будут? Пускай. Не так уж страшно. Пристрелят? Одна смерть. Вот

я видела: бросились, как голодные суки на кость, и кости не получили. Чем дорожите? Детьми, которых не родили и не родите? У меня одного ребенка отобрали, другой у меня в животе. Куда я — туда и он.

— Чей это у нее ребенок? — спросил кто-то из женщин.

— Да ведь она секретарем была у рапортфюрера в мужском лагере. Вот откуда! Сука.

Женщины напирали друг на друга, но в канаве было слишком тесно. Они ухватились за ноги Лили и стащили ее в канаву. В один момент она была покрыта телами. Толпа шевелилась, как куча навозных жуков.

Эсэсовцы собрались у канавы полюбоваться зрелищем.

— Они ее задушат, — сказал молодой, который недавно говорил с Лили.

Так как остальные не реагировали на его замечание, он стал пинать подкованным сапогом тяжело ворочавшихся в канаве женщин. Одна за другой они стали подниматься. Их лица были испачканы глиной, рты перекошены, в них не было ничего женского, ни даже человеческого.

— Уже и с этим снюхалась, — прошипела вставшая последней женщина.

Лили села. Руки ее были скрещены на животе. Она посмотрела на эсэсовца, выплюнула набившуюся в рот землю, вытерла губы и сказала:

— Может быть, не стоило, а?

10

На обратном пути в лагерь враждебность женщин утасла. Они пустили Лили на ее место в пятерке. Одна пробормотала:

— Взбесились, что ли?

Они шли, понутив головы, тяжело ступая в заскорузлых чоботах.

Лили с трудом собирала мысли. То, что произошло, произошло помимо ее воли. Она даже не помнила, как все это началось и почему. Она чем-то вызвала недовольство женщин, они выместили на ней свою злобу. За что? Она вспомнила, что сказала им про ребенка.

— Девчата! Как вы могли подумать, что я с эсэсовцем?! Ребенок от заключенного, вот от кого!

В бараке Лили забралась на койку и легла, скрестив руки под затылком. Она вспомнила, что от утренней пайки остался хлеб, но тотчас забыла об этом. Покинута всеми, никому не нужна... После того, как ее перевели в окопную команду и поместили в этом бараке, ее два или три раза посетила Мария, но не нашлась, что сказать, и ушла, похлопав по спине. Это обидело Лили больше, чем любая грубость.

Она просила товарищей узнать о Жаке. Она вспоминала, как он был с нею нежен в ту ночь, каким он был тогда, отец ее ребенка.

Она не может к нему пробраться. Они разлучены навсегда. И снова назойливо, как зубная боль, вернулась мысль, что она никому не нужна. Никому? А ребенку? Она мать! Без нее он жить не сможет. Жить? Здесь? В лагере? Под этой крышей? На этих нарах? Она будет делить с ним пайку?

Мысли забуксовали, потом остановились. Была пустота, кругом пустота.

Лили выбежала из барака. Было темно. На вышках светили прожектора. Один луч осветил ее сзади, ее тело отбросило тень на барак. Лили двинулась, и тень сместилась с крыши на укатанную дорогу. По дороге ехала машина.

Лили вспоминала: вчера это было или позавчера? Подъехал к канаве грузовик, из машины вышли четверо, трое заключенных и один эсэсовец. Они привезли теодолит и шесты. Двое заключенных ушли с шестами. Один установил теодолит и стал смотреть в объектив. Он давал знаки рукой: правее, левее. Лили взглянула вверх кучи набросанного грунта. У канавы стоял эсэсовец. Он смотрел на нее синими, очень синими глазами. Эсэсовец сказал, не шевеля губами, — или ей послышалось?

— Все скоро кончится.

Он отвернулся. Лили увидела его широкую спину. Спина заканчивалась тонкой талией. Потом эсэсовец нагнулся над капотом машины и как будто замер.

Лили бежала к двадцать второму барaku. Там жила Мария. Мария знает больше других. Откуда она знает — все равно, лишь бы ответила. Мария, может быть, и знает, кто такой Самуил Брон. Но ведь настоящей его фамилии она знать не может. Все равно. Все это выяснится. Может быть, он уже знает про ребен-

ка и не хочет, чтобы он жил? Тогда она сама. Она должна своего ребенка спасти.

Запахавшись, Лили прочесала весь барак, прежде чем нашла Марию. Та сидела на корточках возле железной печурки и поворачивала нечто похожее на сковородку, распространяя вокруг запах жареного.

Увидев Лили, Мария приподнялась. Лили, наоборот, присела. Она вдыхала аромат жареной картошки и грелась у печки, отогревая свои мысли, пока они не стали коричневыми и пахучими, как нарезанная ломтями картошка.

– Ты слышала? – спросила Лили тихо. – Они уже близко.

Мария пригнулась так, что Лили ощутила на щеке ее волосы, сняла с огня сковородку, обхватив ее полосками картона, и сказала:

– Пошли.

Маруся забралась на верхнюю койку и свесила ноги. Когда Лили подала ей оставленную на полу сковородку, она заметила, что Мария не носит больше сапог, а надела туфли, и ноги ее обтянуты тонкими чулками.

– Что так принарядилась? – спросила Лили.

– Скоро праздник.

– А меня сегодня девчата избили, – радостно сообщила Лили. – Я им сказала, что у меня будет ребенок. Они думали, что от эсэсовца, дурехи. Теперь все хорошо.

Обе принялись за картошку.

11

Но надежда на быстрое освобождение не сбылась. Ничто в лагере не изменилось. Правда, издали все время был слышен гул канонады. Этот гул то приближался, то удалялся приливами и отливами. К полудню собирались тяжелые тучи, а к вечеру поднимающийся откуда-то ветер их разгонял. Очевидно, у русских были другие заботы, кроме судьбы нескольких тысяч заключенных.

И все же, по некоторым признакам, положение в лагере казалось неустойчивым. Лили наблюдала, как конвоиры собирались вместе и что-то обсуждали, косясь на работающих женщин. То и дело поглядывали на небо, откуда часто доносилась пулеметная стрекотня и молниями вспыхивали огни. Иногда

гул канонады заглушался недалекими взрывами, и над лагерем с ревом проносились самолеты с английскими и американскими опознавательными знаками. Эсэсовцы теряли свой начальственный вид и, спрыгивая в вырытую женщинами канаву, теснили их, сумрачно поглядывая друг на друга. В таких случаях Лили принималась громко разговаривать.

— Тише! — шипели на нее эсэсовцы, как будто сверху, с самолетов, можно было ее услышать. Их окрики теперь все чаще звучали, как просьбы.

Однажды к ним подъехал раскрашенный маскировочными пятнами «зульцер», и его водитель подошел к будке начальника конвоя. Вскоре тот в сопровождении водителя подошел к канаве и, тыча пальцем то в одну, то в другую женщину, приказал:

— Ты, ты и ты — разгружать цемент.

Лили с другими отобранными женщинами забралась в кузов машины. Машина была полна многослойными бумажными мешками с цементом. Женщины сели на мешки. Напоследок в кузов прыгнул молодой эсэсовец, несколько дней тому назад заговаривавший с Лили.

Перед машиной раскрылись ворота строительной площадки. Стоявший у ворот эсэсовец что-то долго объяснял водителю. Лили задумалась, почему их взяли для разгрузки цемента, когда на стройплощадке было достаточно мужчин. Этот вопрос Лили вновь задала себе, когда их ввели в здание душегубки. Двое заключенных орудовали здесь малярными кистями. Зачем было превращать этот «храм» в склад цемента, если для этой цели существовал специально оборудованный бункер? Воистину, неисповедимы распоряжения эсэсовского начальства!

Внезапно Лили полоснула мысль: не привезли ли их сюда, чтобы с ними позабавиться? Это опасение еще более усилилось, когда водитель закрыл за ними обитую железом дверь. Настоящая мышеловка!

Очевидно, и у остальных женщин возникли те же опасения. Они поднялись вверх по лестнице, ведущей к пристроенному на высоте второго этажа балкону. Они походили теперь на стайку домашних птиц, когда в курятник забрался хорек. Лили осталась внизу, готовая защищаться.

Дверь снаружи открылась и пропустила двоих: брюнета в черном берете и такой же куртке, на рукаве которой желтела повязка оберкапо, и невысокого человека с повязкой форарбайтера.

— Вам нечего опасаться, — сказал оберкапо, поднимая голову к балкону. — Ты объясни своим подругам, — прибавил он, обращаясь к Лили, — что мы пришли помочь вам укладывать мешки.

В течение получаса все разгружали грузовик и укладывали мешки в углу здания.

— Завтра мы закончим работу, — сказал им на прощание оберкапо.

Лили и ее товарок доставили к месту работы на канаве. Вернувшись в лагерь, Лили не удержалась и рассказала Марии о происшедшем. К ее удивлению, та только улыбнулась. «Это какой-то заговор, — подумала Лили. — Мария что-то знает». Лили прониклась уважением к ее таинственной осведомленности.

12

Как всегда во сне, Жак знал, что будет дальше, а все же не мог поступить иначе, чем поступал. Ему снилось, что он и Иржи Нейман идут вдвоем к скрытому в ущелье источнику. Жак почему-то не может отказаться идти и только допытывается у Иржи, знает ли тот дорогу. Иржи отвечает, что знает, ибо партия возложила на него руководство. Они спускаются вниз. Первым идет Жак, за ним идет Иржи, и Жак чувствует спиной его взгляд. Он хочет обернуться и не может. Они встречают группу бандитов. Бандиты не пускают их к источнику. У Жака имеется оружие и, вероятно, у Иржи тоже. Но Жак сомневается, сумеет ли он им воспользоваться. И действительно, в перестрелке с бандитами его пистолет разряжается искрами, в то время как вражеские пули сражают его. Жак сознает, что убит, но все же продолжает надеяться, что Иржи его спасет.

Этот сон в какой-то мере подготовил Жака к последующим событиям. Утром, перед выходом на работу Иржи отозвал его в сторону и сообщил, что сегодня он будет работать в здании душегубки.

— А что я там должен делать? — спросил Жак.

— Когда нужно будет, тебе скажут.

Жак с удивлением взглянул на Иржи. Тот же почерк, что у того, с льдинками.

У прохода на стройплощадку сидел на табурете ээсовец и что-то записывал в коленкоровую книжку. Возле него стоял оберкапо. У него был вид полководца, диктующего своему адъютанту какой-то приказ.

— А, подопытный кролик, — сказал ээсовец. — Проходи.

Жаку стало не по себе. А вдруг его действительно ведут на убой? Иржи продолжал его вести, как будто ничего не слышал. Только когда они отошли на некоторое расстояние, он сказал:

— Не обращай внимания. Начальство, правда, собирается опробовать установки для нагнетания газа, но ты для этого не предназначен.

Они подходили к «храму», когда Жак увидел «зульцер» и каких-то женщин. Одна из них остановилась и, не двигаясь с места, поглядела в сторону Иржи и Жака.

— Подожди меня здесь, — сказал Иржи и отошел в сторону грузовика.

Жаку было видно, как он встал на подножку кабины и говорил с водителем. Все это показалось Жаку странным. Он даже подумал, не уйти ли ему. В этот момент Иржи посмотрел в его сторону.

Женские фигуры исчезли в здании душегубки. Видимо, они были привезены сюда для замены снятых с работы мужчин. Жак подумал, что ему придется работать в женском обществе, и это его почему-то смутило.

Наконец, после длительных переговоров с водителем «зульцера», Иржи вернулся к Жаку. Он посмотрел на него испытующим взглядом:

— Мы решили поручить тебе важное дело. Сегодня в двенадцать нужно поднять людей. Ты дашь сигнал.

Он замолчал, наблюдая, какое впечатление произведут его слова.

— Ладно.

— Но это вовсе небезопасно. Тебе придется взорвать душегубку.

— Да? — спросил Жак. Все это было как бы продолжением сна. Он знал наперед, что согласится.

– В душегубке сложены мешки с взрывчаткой. Будет налет авиации...

– Откуда ты знаешь?

– Поменьше спрашивай. Бомбы упадут вблизи стройплощадки. Вероятнее всего конвой получит приказ вернуть заключенных в лагерь. При подсчете двоих не хватит: тебя и еще одного. В общем, вероятно, эсэсовцы будут вас искать, но с воздуха им дадут жару, им станет не до вас, и они махнут на вас рукой. Когда услышишь гонг, подожжешь бикфордов шнур. Он спрятан между мешками. Дверь внизу может оказаться запертой. Тогда вылезешь через балкон. Там есть лестница. На это должно уйти не больше двух минут. У тебя будут еще три минуты, чтобы укрыться в траншее у входа на стройплощадку. К тебе должны присоединиться товарищи, которые будут действовать в крематории. Вы переждете налет, а к вечеру, когда все будет кончено...

– А если что-нибудь будет не так?

Иржи мотнул головой.

– Все будет так. Главное – точность. Как ударят в гонг, сразу подожжешь шнур. Ясно?

– Яснее некуда.

– Вот тебе... – Иржи порылся в кармане и протянул Жаку несколько спичек и пустой коробок (спички в лагере – дефицит).

Жак взял спички.

– Как себя чувствуешь?

– Нормально.

Они вошли в здание душегубки. Помещение освещалось сверху. На высоте второго этажа оно было украшено фресками, изображавшими нагих мужчин и женщин, разгуливающих по живописной местности. Но внимание Жака привлекли не фрески, а укладывающаяся мешки женщина.

Лили!

Она смотрела на него огромными, как ему показалось, застывшими глазами. Он пытался к ней подойти, но она отшатнулась, словно боясь, что он к ней притронется. Он произнес ее имя, она отрицательно покачала головой и, обратившись к Иржи, спросила:

– Зачем его привели сюда?

Иржи сделал неопределенный жест.

— Кому он тут нужен?

— Успокойся, пожалуйста, — Иржи говорил так, будто они на вокзале, и Лили, опоздав на поезд, закатывает истерику.

— Вы его не знаете! Он обманет. Ему нельзя доверять: это актер. Ему все равно, какую роль играть, лишь бы вышло убедительно. Он может товарища оставить в беде, женщину сделать матерью и потом забыть. Я не о себе. Но вы-то с кем связались!

И вдруг, словно почувствовав ненужность этого разговора, она повернулась к двери, где ее подруги, делая вид, что эта семейная сцена их не касается, встретили ее «утешительными» словами:

— Да все они такие!

Иржи посмотрел на Жака с упреком: хоть бы слово ей сказал! Но, исключенный словами Лили, Жак потерял представление о том, где находится и что с ним происходит.

13

Спохватившись, Жак внезапно ощутил всю тяжесть взваленных на себя обязательств. Он стал искать выход из созданного им самим положения, но найти его не мог: всякое решение тянет за собой цепь других, неизбежных решений.

Превозмогая охватившую его вдруг усталость, Жак вспомнил предложенный Иржи план действий. И снова, как это часто случалось за последнее время, его мысли вдруг переменяли направление, нарисовав перед ним картину, совсем не схожую с той, которая ему только что представилась.

Весна. Липкие от волнения листья тополя раскрываются навстречу весеннему солнцу. В эту пору природа трепещет от ожидания... В воздухе раздается гул миллионной армады майских жуков. Скоро они облепят деревья и кусты и сожрут только что народившиеся побеги. Вслед за сотворением идет уничтожение, смерть преследует жизнь с самого ее возникновения.

Гул нарастал, приближаясь к лагерю. Это бомбардировщики, о которых говорил Иржи. Вот и характерный звук падающих бомб и их взрывы. Со стороны ээсовского городка!

В ушах Жака прозвучал набат: час настал! Он будет тем, кем хочет быть. Обстоятельства — чушь! Он покажет, что все это чушь!!

Гонг! На этот раз подвешенный рельс издал какой-то особенно надорванный звук. Когда прозвучит гонг, он, Жак должен поджечь бикфордов шнур. Шнур будет гореть пять минут, за эти пять минут Жаку следует выбраться из здания через верхнюю площадку, если нижняя дверь окажется на замке. Так-так, ну, а если... Ведь гонг — это сигнал к сбору. Если при проверке обнаружится, что кого-то не хватает, эсэсовцы бросятся искать и найдут его. Тут какой-то логический просчет. Что делать?

План не его, но он обязан выполнять. Вся беда в том, что он не чувствует себя солдатом. Жак думает, всегда думает. Он почему-то убежден, что действия должны следовать за мыслью, и только так.

Сколько же прошло времени? Две минуты, три? Эти две минуты могут быть роковыми. Медлить нельзя. Где спички? Где спички?!

Жак шарит в карманах. Кроме наружного, еще два в брюках. Спички! Он получил от Иржи коробку и десяток спичек. Он засунул все это в карман, он помнит. Но ведь он мог.. У него плохая привычка надламывать спичечные головки. Неужели он мог?! Что делать? Из-за такой ерунды может сорваться весь план! В соседнем крематории засел товарищ. Если у него... Если... Боже мой, где взять спичек?!

Жаку послышался шум на верхней площадке. Он спрятался за мешки, но так, чтобы видеть все помещение.

Вот дверь на балкон распахнулась... Давид? У Давида искаженное от возбуждения лицо, его глаза блуждают.

Жак подбегает к лестнице и хватается ее обеими руками:

— Спички!

— Мотай отсюда!

День как будто поблек, откуда-то взявшийся зеленоватый туман обволакивает стройплощадку, никого не видно. Жак ступает по засохшему цементу, цемент крошится под его ногами. Все кругом кажется неряшливым нагромождением вещей, не имеющих к Жаку никакого отношения. И вот

земля разверзлась, и «храм», приподнявшись, рухнул и исчез, словно поглощенный утробой земли. Взрывной волной Жака швырнуло на груды мусора. Не прошло и десяти секунд, как видневшийся сквозь оседающую пыль крематорий покосился и оттуда донесся звук, словно кто-то вздохнул. Новый столб пыли взметнулся вверх.

Жак не слышал ни второго, ни первого взрыва. Он вообще перестал слышать и ощущать. Второй взрывной волной Жака приподняло вместе с мусором и смело по направлению к яме, в которой гасили известь и откуда все еще шел злой и едкий запах.

Глава 5. Победители и побежденные

1

В этот день, неизвестно каким образом, в лагерь проник рыжий короткошерстный пес. Он оказался не сродни овчаркам, натасканным на полосатых обитателей лагеря. Пес был преисполнен восторга от встречи с гефтлингами и доверчиво последовал за ними на кухню. И он не был обманут в своих ожиданиях: ему скормили кусочек конской колбасы.

Появление приبلудного пса было замечено на вышках. Однако не существовало инструкций, предусматривавших подобный случай. Вахтенные запросили комендатуру, как быть. Дежурный рапортфюрер распорядился смотреть за передвижением пса, а сам в сопровождении двух эсэсовцев отправился на кухню. Здесь в его присутствии был открыт котел, в котором плавали куски мяса. Капо кухни с подобострастием объяснил, что кухонные работники, решив разнообразить меню, заправили суп мясом пойманного пса. Рапортфюрер высказал некоторые соображения по поводу возможностей сделать суп более питательным, а для поддержания своего авторитета обещал капо «двадцать пять в задницу».

В это время пес спал блаженным сном в ящике из-под маргарина. Он проснулся, когда в склад стали заносить какие-то предметы, завернутые в промасленную бумагу. Для гражданского пса их назначение было непонятно. Он с сомнением лизнул бумагу, и хвост его опустился.

Водитель «зульцера» отправился в барак, где помещалась лагерная больница. Парижский хирург с мировым именем, выполнявший здесь роль фельдшера, провел водителя в ордина-

торскую. Около тридцати отобранных накануне больных ждали отправки «на газ». Водитель «зульцера» поздоровался с ними и предложил следовать за собой. Он провел их на продовольственный склад, откуда они поднялись на сложенную из буттового камня башню. На ней обычно восседал «правитель» кухни, кюхенфюрер. Ящики его письменного стола были выдвинуты, на полу валялись патронташ, рваные носки, смятая фуражка. Привезенное водителем оружие было мгновенно разобрано. Смертники установили два пулемета в напоминающих бойницы узких окнах башни. Отсюда был виден весь лагерь. Башня находилась на одном уровне с вышками, и можно было видеть лица вахтенных, вглядывавшихся в голубое небо.

Водитель «зульцера» стал вполголоса объяснять:

– Отсюда вы сможете простреливать весь лагерь. Нужно использовать преимущество внезапности. Когда услышите два взрыва со стороны стройплощадки, откройте огонь по вышкам. Увидите бегущих на выручку эсэсовцев – заградительный огонь по подходам к броне.

Без двадцати двенадцать над лагерем послышался гул приближающихся самолетов. Он шел словно из-под земли. Самолеты двигались по безоблачному небу, но вряд ли были досягаемы для зениток. Один из них отделился и, сделав круг над лагерем, оставил за собой длинный облачный след. Над лагерем заколыхались два парашюта. Ветра не было. Парашюты спускались прямо на лагерные постройки. Сбежавшиеся гефтлинги отцепили от одного парашюта огромную буханку белого хлеба, а от другого ручной пулемет. Пулемет бесследно исчез. Пролетев над лагерем, самолеты удалились на восток, к месту расположения эсэсовской дивизии «Викинг». Скоро оттуда послышались разрывы. За каждым сильным взрывом следовала серия более мелких: это были особые, кассетные, как их называли, бомбы, предназначенные для поражения живой силы противника. Зенитные орудия молчали, то ли от боязни раскрыть свое местоположение, то ли не успев подготовиться к отражению атаки.

Бомбившие лагерь самолеты представляли лишь передовой отряд. Север небосвода был испещрен черточками других машин. Воздушная армада направила свой основной удар на эсэсовский поселок, расположенный в нескольких сотнях метров от центрального лагеря. Ни одна из построек, в которых нахо-

дились заключенные, не пострадала. Восемь домов, в том числе две казармы, были разрушены, отдыхавший после утренней смены батальон был полностью уничтожен. Оставшиеся в живых бросились к лагерю, куда не упала ни одна бомба. Самолеты с бреющего полета стали расстреливать бегущих. Только теперь командование лагеря догадалось прикрыть лагерь дымовой завесой. Но еще до того, как эсэсовцы разбросали дымовые шашки, вахтенные на вышках и эсэсовцы, оказавшиеся вне стен комендатуры, были сняты один за другим неизвестно откуда направленным огнем. Может быть, это был первый и единственный случай, когда охранники изменили уставу, навлекая на себя смертельную кару: вахтенные стали спускаться с вышек.

Водитель «зульцера» в несколько прыжков очутился в помещении бывшего кюхенфюрера:

— Кто дал приказ стрелять? Преждевременно обнаруживаете огневую точку. Судить вас за такое надо!

Однако несоблюдение его указаний никаких дурных последствий не имело. Охрана практически оставила лагерь, началась неразбериха. Кто-то из почувствовавших волю устремился к продскладу. Но их встретил отпор: из башни раздались выстрелы.

— Своих бьете! — взвизгнул кто-то.

— Тот, кто грабит, не свои, а враги!

Толпа стала постепенно рассеиваться. Водитель воспользовался этим. Он сбежал вниз с тридцатью бывшими смертниками. Они побросали оружие в кузов «зульцера», и машина рванула с места.

2

Команда БАУ-1 выстроилась у навеса, под которым отливали железобетонные изделия. Третий раз начальник конвоя проверял численность команды. Двоих не хватало.

Над строем заключенных поднялись дымки. Кто-то курил. В другое время конвоиры стали бы искать виновных. Большинство подвергавшихся порке по пятницам наказывались за курение в строю или в помещениях. Однако на этот раз начальник конвоя махнул рукой:

— Отставить! — И юмористически заключил: — Это только усилит дымовую завесу.

Над строем взвыл самолет. Толпа заключенных метнулась в сторону. Конвоиры пригнули головы. Два сильных взрыва потрясли воздух. Строй заключенных распался, многие побежали к проходу в окружающем стройку заборе. Начальник конвоя действовал, как его учили: первым бросился навстречу бегущим — и был сразу же смят. Толпа поглотила и сорок орудующих прикладами и сапогами эсэсовцев. Они падали вместе с теми, кого сразили их пули. Толпа прошла по ним ураганом. Ворота были сорваны с петель, и заключенные устремились в лагерь, как кони, сбросившие седоков.

Крики, треск выстрелов, топот бегущих остановили эсэсовцев, шедших на поиски двух недосчитанных заключенных. Они поспешили на выручку товарищам. У оказавшегося немного позади оберкапо каким-то образом в руках оказался автомат. Двумя-тремя очередями он припечатал эсэсовцев к земле.

— Стройся! — раздался его властный, с хрипотцой голос.

Из-за штабеля кирпичей показалась шапка, затем голова Иржи.

— Нас ждут в женском лагере! — Иржи во главе части отряда свернул в сторону кочковатого поля, на которое тыльной стороной выходил женский лагерь.

На днях женщины рыли здесь канавы. Используя их в качестве ходов сообщения, Иржи с отрядом подкрался к проводочным ограждениям женского лагеря. Сверху его прикрывала дымовая завеса. Здесь она была особенно густая, с одной вышки не было видно, что делается у другой. Без единого выстрела охрана нескольких вышек была снята.

Женщины этого ждали. Они собрались в двух бараках и махали руками, приветствуя своих освободителей. Через колючую проволоку перебросили доски. Вахтенные на оставшихся вышках заметили случившееся только когда на них обрушился шквал автоматных очередей. В эти минуты женский лагерь напоминал кипящий котел.

Однако котел не перекипел. Женщины высыпали из бараков, что-то кричали, но лишь незначительные группы стремились к прорванным ограждениям. В мужском лагере произошло то же самое: на вышках никого не оказалось, лагерь не охранялся, но заключенные не покидали зону. Может быть, это была сила привычки: в полдень баланда, вечером поверка,

ужин в бараках, потом до десяти — ах! — свободное время, отбой, сон, побудка, терпкий травяной чай по утрам, который пили по несколько человек из одной миски, построение колонн, выход на работу...

Теперь, предоставленные самим себе, заключенные не знали что делать. Свобода их страшила.

Возбужденная Мария вместе с Лили и еще десятком девчат вышла навстречу Иржи. Что такое? Ведь они ожидали этого дня, этого часа со всем напряжением души, а когда он наступил, растерялись. Лили спросила: «Где он?» Иржи понял, кого она имеет в виду, но не знал, что ответить.

3

Мотор давал все, что мог: восемьдесят километров, девяносто, сто. Дорога прямая, одна из тех вылизанных дорог, которые составляют особенность немецкого пейзажа. Впереди показался шлагбаум. Нажимая на педаль тормоза, водитель внутренне готовился к разговору. Он знал, что в кузове сидят тридцать ребят, готовых подкрепить каждое его слово действием.

Машина осела от резкого торможения. Из придорожной будки вышли два эсэсовца. Они подошли к машине с сонным безразличием, как будто не было ни бомбежки, ни выстрелов со стороны лагеря. В верхнем кармане водителя лежало удостоверение, пистолет оттягивал карман брюк. Ему казалось, что он вот-вот выстрелит.

— Куда везешь гефтлингов? — спросил старший из эсэсовцев.

Водитель как бы нехотя протянул ему документ.

— Что там делается?

Водитель пожал плечами.

— Какие-то болваны взбунтовались. Скоро их усмирят. У меня наряд, остальное меня не касается.

Он потянулся за удостоверением. Эсэсовец махнул рукой, его помощник поднял шлагбаум. Все же старший решил заглянуть в кузов. Машина была покрыта брезентом. Он приподнял полотнище и тут же упал. Пуля попала ему в висок. Машина рванула с места, как конь, которому всадили в бок шпоры. Второй эсэсовец отбежал от шлагбаума шагов на двадцать и припал к земле.

«Зульцер» мчался на восток. Дорога взбиралась на холмы и спускалась, но водитель не снимал ноги с педали газа. Въехав на один из холмов, он остановил машину и, не глуша мотор, вышел из кабины. Вдали были видны фонтаны взрывов от артобстрела. Водитель встал на подножку и, схватив руль, перевалил через канаву и съехал в овраг, по краям которого рос орешник.

— Разбирай оружие, вылезай!

Он повел людей к кустарнику. Справа были видны крыши фольварка¹. Снаряды взрывались вдоль поднимавшейся на холм дороги, окруженной столетними деревьями. Посередине был виден дворец, в котором находился штаб или командный пункт: у подъезда стояли легковые машины и мотоциклы.

Вскоре в фольварке началось движение. Один за другим на дорогу выехали бронетранспортеры, потом съехали с дороги, минуя место обстрела. Но у дворца все было тихо.

«Притворяются мертвыми, — подумал водитель, — только им это не поможет».

Артиллерия перенесла огонь ближе к орешнику. «Вероятно, думают, что здесь стоят резервы, — подумал водитель. — Тогда это заградительный огонь».

Колонна бронетранспортеров приближалась, ее возглавляла легковая машина. Из машины вылез офицер и показал стеклом в сторону оврага. Видимо, решил там укрыть свою колонну. Внизу она была бы недосыгаема для снарядов.

Машины стали спускаться по откосу, грузно переваливаясь с боку на бок. Водитель шепнул что-то стоящему возле пулемета парню. Тот испуганно схватил его за рукав. Водитель отвел руку парня и, отгибая ветки орешника, побежал навстречу колонне.

Окно легковой машины приспустилось, из него высунулась голова офицера. Водитель подбежал к машине и взял под козырек. Офицер открыл дверцу и спустил ногу в до блеска начищенном сапоге. Водитель показал в сторону стоящего на дне оврага «зульцера». Офицер выслушал его молча, кивнул и, сделав знак бронетранспортерам следовать за ним, влез обратно в машину и захлопнул дверцы.

Колыхаясь на рессорах, четыре бронетранспортера последовали за легковой машиной, таща за собой пушки. На

¹ *Фольварк* (польск. folwark, от нем. Vorwerk — хутор) — помещичье хозяйство, усадьба.

каждом сидели в четыре ряда эсэсовцы из разгромленной час назад дивизии «Викинг». Дивизия была набрана из фашистов разных национальностей, но эсэсовцы были поразительно похожи друг на друга каким-то туповато-наглым выражением лиц с похожими на веснушки глазами. Водитель приветствовал шофера передней машины, но тут же опустил руку. Когда последний бронетранспортер проковылял мимо него, водитель отряхнулся и тройными прыжками сбежал вниз к своему «зульцеру». Колонна бронетранспортеров остановилась выше метров на двадцать. Водитель присел на корточки. И тут же, как будто огрызаясь, из кустарника ударили пулеметные очереди.

Передвигайся эсэсовцы на обычных грузовиках, они, возможно, сильно пострадали бы от огня. Но они находились под защитой высоких стальных бортов. Оправившись от неожиданного нападения, солдаты повыскакивали из машин и открыли ответный огонь. Четыре пушки подняли свои хоботы. Пушки казались надменными, они угрожали. Что значит тридцать штатских, недавно обученных владеть оружием, к тому же в условиях лагеря, против роты защищенных броней и пушками эсэсовцев? Если те сообразят, в чем дело, недавним заключенным придет конец. Нужно было действовать немедленно, пока эсэсовцы не рассыпались и не пошли в атаку.

Водитель подполз к своему «зульцеру» и открыл ящик для инструментов. Вместо домкрата и гаечных ключей в ящике были аккуратно уложенные на солому мины. Водитель пошарил сзади них и вытащил ракетницу, отполз шагов на 10, прицелился и выстрелил. Мины начали взрываться. Его расчет оказался правильным: взрывная волна и осколки пронеслись мимо, поражая расположившихся выше эсэсовцев. Дело было не столько в том, много ли пострадало, сколько в психологическом эффекте: ошеломленные непрекращающимися взрывами, не понимая, что происходит, эсэсовцы разбежались, представляя удобную мишень для заключенных.

Однако выстрелы из кустарника становились все реже, и наконец вовсе затихли. Обогнув парк, появились танки, а на полотне автомобильной дороги, с противоположной стороны — длинная вереница зеленых машин. Танки перевалили через дорогу и взяли направление на кустарник. Отряд в ореш-

нике очутился между молотом и наковальней. По склонам оврага карабкались эсэсовцы, а с тыла приближались танки. Чьи они, никто не знал. Только когда передовой танк, напоровшись гусеницей на валун, повернулся боком, на его башне стала видна пятиконечная звезда. Тогда, покинув свое укрытие, люди побежали к танку. Теперь они были похожи на пчел, сгрудившихся вокруг матки.

Выйдя на край оврага, зеленовато-серые фигуры остановились. Эсэсовский офицер выхватил из кармана носовой платок и помахал им три раза.

— Шайссе, — сказал он, словно установив результат неудавшегося эксперимента. — Антретен¹!

Эсэсовцы построились и, сложив в кучу автоматы, пошли с поднятыми руками сдаваться в плен.

Между тем соскочившие со своих машин советские пехотинцы окружили дворец. Он сразу ожил. Окна и двери открылись. По ступенькам, окруженный свитой и блистая орденами, спустился какой-то высокий чин. Повернувшись к своим, он что-то сказал. Потом вынул блестящий никелем пистолет и поднес его к виску. Однако выстрелить не успел: кто-то из приближенных вырвал из его рук оружие и отбросил в сторону. Тогда генерал кивнул и, скрестив руки на груди, стал дожидаться своей участи. Он продолжал стоять, когда его окружили советские солдаты.

4

Крича и размахивая оружием, приехавшие на танке заключенные влились в толпу солдат у подъезда. Как крупинки соли, они быстро растворились среди советских военных.

Из дворца раздались выстрелы.

— Прекратить безобразие! Марш по машинам! — какой-то офицер в плащ-палатке пытался удержать солдат, действуя автоматом, как буфером.

Его никто не слушал.

В толпе появился танкист с головного танка. Пришитые к комбинезону матерчатые погоны капитана топорщились по краям. Была ли причиной физическая сила или выражение

¹ Дерьмо! Стройся! (нем.)

спокойной уверенности на лице, но люди перед ним расступились. Он вошел в здание.

В вестибюле солдаты разбивали прикладами статуэтки и вазы. Один, с дичинкой в глазах, расстреливал из автомата висящие вдоль стен портреты вельмож в припудренных париках. Капитан остановился посреди вестибюля и, как будто оценивая проделанную работу, сказал:

– Чем вы занимаетесь? В лагере вас ждут, как освободителей, а вы здесь с париками воюете.

Кто-то рассмеялся. Солдаты опустили автоматы. А тот, с дичинкой, вытянулся перед танкистом:

– Виноват, товарищ капитан, – и, обернувшись к своим товарищам, добавил, – службу забыли, черти!

Он вскинул свой автомат.

– А ну-ка, разойдись!

Вид у него был решительный. Ввалившиеся в помещение попятились назад. Солдат теснил их шаг за шагом. Когда в вестибюле кроме него и капитана не осталось никого, он снял с головы пилотку, отер пот со лба, надел ее снова и доложил:

– Задание выполнено. Разрешите идти?

– Идите, – капитан одобрительно кивнул.

Капитан подождал немного, потом поднялся по широкому крылу мраморной лестницы. Пройдя несколько пустых, похожих на музейные помещения комнат, он открыл двери в просторный зал высотой в два этажа и с двумя рядами окон.

Посреди зала стоял большой овальный стол, покрытый черной зеркальной плитой. Вокруг сидели в креслах немецкие офицеры с генералом во главе. Их окружала толпа солдат и вооруженных вчерашних заключенных в полосатых куртках. Они стояли, не двигаясь, и смотрели на офицеров, как на что-то очень далекое и чуждое.

– Вы не имеете права мешать мне застрелиться! – генерал сказал это обиженным тоном, как ребенок, у которого отняли игрушку. Его челюсть дрожала, дергающейся рукой он пытался завести ручные часы.

– Вы не имеете права...

Только теперь он заметил вошедшего капитана.

– Господа, мы должны... – генерал приподнялся, вместе с ним приподнялись офицеры.

Но заключенные не расступились.

— Чего вы хотите? — генерал осторожно пытался придать своему лицу прежнее властное выражение.

Невысокого роста коренастый заключенный придвинулся к генералу.

— Мы, гефтлинги... — начал он и запнулся.

Генерал посмотрел на него свысока. У парня была голова, напоминающая обглоданную с обеих сторон репу.

— Сволочи! — прошипел он сквозь зубы.

Генерал обратился к капитану:

— Переведите им!

— Чего вы хотите? — спросил танкист заключенных.

— Мы хотим их судить, — коренастый приставил свой пистолет к зеркальной плите стола. — Это продлится недолго, — прибавил он угрожающе.

— Мы солдаты, и выполняем приказ, — сказал кто-то из офицеров.

Коренастый пропустил это замечание мимо ушей. Он поднял глаза к танкисту, как будто приглашая его в свидетели.

— Моего товарища задушили за то, что он курил во время работы. Его бросили на землю, положили лопату через горло. По одну сторону стал капо, по другую — писарь. Каждый из них весил не меньше восьми пудов. Меня три раза выписывали на газ. Если бы товарищи не подменили мой номер, я бы уже... Потом я работал на кухне и жрал по четыре миски супа. У меня ноги опухли. Однажды я заболел рожей. Я не пошел в больницу: там бы меня убили. Я ходил на работу с температурой выше сорока. Товарищи прятали меня. Я выздоровел, но кто-то донес, что я был болен. Я получил двадцать пять, потому что мог заразить других.

— Мы тут ни при чем, — возразил генерал.

— Как так? Я должен был отвечать за вас, а вы не хотите отвечать за своих?

Танкист обратился к полосатому:

— Мы должны их судить по всем правилам, а то они вообразят, что стали жертвами насилия... Я хотел вас спросить, не знаете ли заключенного Самуила Брона? Его привезли берлинским транспортом в начале этого года.

Никто не ответил.

– Это мой товарищ, – пытался объяснить танкист. – Я с ним вместе сидел.

– Товарищи – те, кто здесь. Хотя есть еще и в других отрядах, – буркнул взъерошенный парень. – Если вам нужно узнать, обратитесь к водителю «зульцера».

– Водителю?

– К товарищу, который руководил восстанием.

Танкист уставился в одну точку.

– Где я смогу его найти?

Тот пожал плечами:

– Он взорвал свою машину там, внизу.

Танкиста передернуло. Как это? Он говорит о своем товарище, как о задавленной машиной курице. Случайное сборище не знающих и не связанных друг с другом людей?

– Среди вас есть коммунисты?

– А что?

Ведь должна быть примета, по которой можно узнать своих. Он вспомнил, как их часть стояла в Казахстане, три дня дул буря, и чтобы попасть в столовую, нужно было идти, держась за веревку. В этом хаосе тоже надо ухватиться за что-нибудь.

Молчание.

Это молчание, последовавшее за непонятным для него разговором, показалось генералу угрожающим. Он испугался.

– Вы можете с нами сделать что угодно, но...

Танкист отвернулся. Это еще больше встревожило генерала.

– Вы не имеете права с нами так обращаться!

Генерал не мог сказать ничего менее подходящего.

– Так?! – Танкист просунул пальцы под подшлемник. Ему стягивало голову, как обручем. – Так обращаться? – повторил он, и его глаза налились кровью. – Тянули жилы, пока могли, а теперь святоши! Но кончилось! Раздавим, – плевок, – и разотрем!

Он сорвал с плеча автомат. Заключение отпрыгнули от стола. Только солдаты не шевельнулись: это сделать должны не они...

В разбитое окно дохнуло воздухом. В зал влилась песня. Женские голоса пели «Катюшу». Пели освобожденные женщины. Они приехали на грузовиках встречать победителей.

Песня веяла родной землей, мягкостью родной речи, свободой. В ее звуках все раздирающие людей страсти показались какими-то неестественными, им стыдно было поддаться, как

пороку. И хотя противоестественное было порождено теми, кто сейчас дрожал перед расплатой, ненависть к ним испарилась, как вода в лужице под лучами солнца, оставив только немного мути на дне.

Танкист опустил свой автомат.

— Стерегите их. Мы еще увидимся, — сказал он, поворачиваясь к двери. — Мы — свидетели. Без нас суда не будет.

5

Ринувшись в лагерь, команда БАУ-1 уничтожала все, созданное руками заключенных. Ворвавшись в барак, люди разносили в щепки нары, срывали арматуру, крошили полы.

Вошедший в жилую секцию староста барака был осыпан штукатуркой.

— Вам же негде будет жить, не на чем спать, обалдуи!

Никто не удостоил его ответом.

— Возьмите хоть миски и одеяла.

— Нам ничего не надо.

Кто-то крикнул:

— Шкаф в окно не лезет.

— Ломай!

Вновь обретенная свобода дала возможность выражать свои чувства.

6

Гётца окликнул капо БАУ-1 Герман Родерскоп.

— Надо прекратить! — сказал он, указывая на барак №17, из двери которого языком вываливались скомканные одеяла, подушки, матрацы. — Лагерь надо передать русским в полном порядке, а то они могут подумать, что здесь анархия.

— Лучше всего выстроить всех на поверку и встретить русских с музыкой и рапортом, — с сарказмом ответил Гётц.

Родерскоп взглянул на него неодобрительно.

— Ты просидел в бункере и ничего не знаешь. Русские — наши союзники. Временно. С их помощью мы восстановим порядок. Нужно только, чтобы они поняли: союз с нами может быть только на равных. Мы можем стать для них солидной подмогой. Наш лагерь выставит полк.

— Евреев?

– И евреев тоже. Я их видел сегодня в действии.

Эрна следила за их разговором. Она отвернулась и поглядела на барак. Доносящиеся изнутри крики и шум не прекращались. Приняв решение, она повернулась к Гётцу.

– Я пойду.

Она подошла к двери и крикнула:

– Эй, вы там?

Ее не услышали. При общем шуме это было просто невозможно. Отшвырнув ногами одеяла, Эрна проникла в барак. Какой-то заключенный, перегнувшись через перила лестницы, с любопытством стал ее разглядывать.

– Убери это барахло, а мне метлу какую-нибудь.

– Метлу? – засмеялся заключенный и, подняв голову, крикнул: – Метлу сюда!

Кто-то сверху протянул метлу.

– Готовьтесь, ребята. – Эрна поднялась на второй этаж. – Что вы тут наделали! – сокрушенно проговорила она. – Ведь за такое вам понадавать надо.

По коридору гулко пронесся смех.

– Успеете, не успеете, а до прихода товарищей нужно все привести в порядок.

– Зачем? – послышался чей-то издевательский голос.

– А затем, чтобы они увидели, кто здесь хозяин.

– Может, ты? – спросил тот же голос.

– Я – хозяйка.

– А метлу не отдашь?

– И метлу не отдам. Кто там спрашивает?

Из толпы выступил круглолицый заключенный с заломленной набекрень медицинской шапочкой.

– Санитар или лекпом?

– Главврач!

Хохот.

– А ну-ка, главврач, наводи порядок.

– Сама наводи, если тебе это нужно.

Эрна решительно шагнула к нему и взмахнула метлой. Парень исчез в поднятом облаке пыли, кругом закашляли, зачихали. Наступая шаг за шагом, Эрна продолжала выметать сор.

Как-то незаметно заключенные перешли на сторону Эрны. Послышались возгласы одобрения, смех, кто-то схватил лопату,

стал сгребать мусор. Другие выносили разбитые вагонки. В секции стало светлее, просторнее.

– Ну, а теперь – в баню!

Еще до того, как у ворот появился первый советский танк, в лагере был наведен порядок. Заключенные встретили освободителей с радушием хозяев, принимавших дорогих гостей.

7

– По бара-а-акам! – вопила староста женского лагеря.

В сопровождении группы надзирательниц она шла по центральной улице лагеря, раскинув руки, словно сгоняла цыплят с грядки. Заключенные неохотно подчинялись ей, пытались улизнуть. Многие были заляпаны грязью: их в срочном порядке с земляных работ отвели в лагерь. В районе эсэсовского городка рвались бомбы.

– Шнель! Лос!

Совсем близко, заглушая разрывы бомб, раздался, словно сопровождающий извержение вулкана, взрыв. Здание душегубки, а за ним здание крематория как-то лениво поднялись и рухнули в облаках пыли и дыма. В один миг было уничтожено все созданное руками заключенных в течение года. Их труда словно не было. Запыхавшиеся от бега женщины вздохнули с облегчением.

Нет душегубки! Нет крематория!

Лили остановилась. Ее волосы поднялись на затылке, как шерсть у разъяренной собаки. Мария схватила ее за руку.

– Пусти!

– Не пушу. Ведь все равно не поможет. Да он и не обязательно там.

– Сам хотел! – рыдала Лили. – Я его поносила. Задела его самолюбие. Я видела по его глазам. Он хотел умереть.

– А, глупости! Пойдем.

Лили поплелась за подругой. Теперь они уже бежали беспорядочной толпой вместе с конвоирами, как бегут вспугнутые лесным пожаром звери, хищники, травоядные.

Теперь на Лили напало какое-то сонное состояние. Она покорно шла за Марией. Только сев на нары, она спохватилась, что находится в чужом бараке. Взмолванный голос бубнил:

– Говорю, все кончено.

В дверях появилась надзирательница.

– Ведь я вас не обижала, правда? Придут ваши, скажите, что я к вам хорошо относилась!

Она повторяла одно и то же, как слова молитвы.

Мария подошла к Лили:

– Идем.

– Куда?

– Увидишь.

И так как Лили медлила, она схватила ее за руку и потащила за собой.

Баракы были окутаны дымом. Яркий солнечный день поблек. Лили казалось все до жути незнакомым. Шагая по привычке длинными шагами, но все же отставая, она двигалась за Марией. Лили не открыла бы глаза, если бы Мария не выпустила ее руку. У самой вышки вверх проволочного ограждения были перекинута доски. На вышке стоял заключенный и дирижировал толпой:

– Передвинуть доски направо! Идите гуськом, по одной, – кричал он.

Когда женщины вместе с Лили очутились по ту сторону проволочного ограждения, заключенный сбежал с вышки и тут же попал в объятия женщин.

– Пойдите, чертовки, – кричал он, задыхаясь. – Вас ждут машины.

– Где?

– У брамы.

Лили приняла решение. Она подошла к Марии.

– Давай прощаемся.

– Ты что?

– Я остаюсь... – она хотела сказать ей что-то очень хорошее, очень теплое, но чувствовала, что не получится. – Спасибо за все.

– Брось глупости. Идем.

Мария потянула Лили за собой.

– Не могу.

– Смотри, пропадешь.

Лили отрицательно покачала головой:

– Не пропаду.

Лили сама хорошенько не понимала, чего хочет. Мысль кружила на месте, как кутенок. Нужно найти Жака. От этого зависит все. Жизнь ребенка. Как будто отзываясь на ее мысли, он толкнул ее изнутри. Лили замерла. Еще толчок. Еще.

Она пошла по полю к месту, где вчера еще поднимались здания храма-душегубки и крематория. Оказалось совсем близко. Забор на всем протяжении был опрокинут взрывной волной. Лили бродила по обломкам здания, взгляд ее блуждал, не задерживаясь на предметах. Он был здесь. Она ощущала его присутствие: он здесь, иначе быть не может. Она поскользнулась, упала, разбила колено. Боль вернула ее к действительности. Прихрамывая, она подошла к воротам, там была яма для гашения извести. В яме – присыпанное известью тело. Став коленями на край ямы, Лили притронулась к телу. Оно было мягкое, еще не успело заоченеть. Лили соскользнула в яму. Ее ноги погрузились по щиколотку в известь. Она обхватила тело руками, пытаясь приподнять его. Тело оказалось неожиданно тяжелым. Лили стала тащить, ухватив его под мышки.

Жак.

Она припала к телу, почувствовала вкус извести во рту.

Утром ее нашли рядом с еще живым Жаком. Там, где их тела соприкасались, известь сожгла одежду, и оба получили ожоги.

Лили очнулась в больнице. Она приподнялась на подушке:

– Где он?

Ей сказали, что Жак лежит в мужском отделении. Лили в первый раз встала на колени и сложила руки. Потом, постеснявшись присутствующих, села на кровать и, спустив ноги с постели, стала искать больничные шлепанцы:

– Можно мне к нему?

Глава 6. Берег жизни

1

Жак осторожно приходил в себя, боясь вспугнуть притаившееся где-то сознание. Обрывки воспоминаний проносились облачными видениями в его оцепеневшем мозгу, не оставляя следов, но возбуждая лишь неясное стремление найти потерянное и соединиться с ним.

Иногда он открывал глаза. Он видел склоненную над собой женскую фигуру. Как он догадался, что это женщина? Он ленился искать ответ.

Однажды он повернул голову. Это стоило ему большого труда. Сквозь наполовину занавешенное окно он увидел серый квадрат неба. С неба спускались, капризная, белые хлопья снега. Снег означал зиму.

Сознание вспыхнуло и погасло. Жак снова погрузился в сумерки.

2

— Кто вы такая? — спросил Борис Львович, когда Лили в напрасных поисках главврача натолкнулась, наконец, в коридоре на жестикулирующего, потеющего человека в больничном халате. — Кто вы такая? — повторил Криницкий, вытирая засученным рукавом пот со лба. — Эй, вы там, нельзя ли поосторожнее?

— Я больная, — оправдывалась Лили.

— Если больная, то почему не в кровати?

— Мне уже лучше.

— Это значит, что можно толкаться в коридоре, когда черт знает что здесь творится! Что вам нужно? — спросил он, сняв очки и подслеповато щурясь.

– У меня здесь муж.

– Я вас спрашиваю, что вам нужно, а вы мне про вашего мужа.

– Я прошу разрешения за ним ухаживать.

– Вы не доверяете сестрам? Очень ему нужно ваше ухаживание!.. Идите, скажите, что я разрешил. Пойдите. – Лили была уже у дверей. – А ваш муж – кто? Офицер? раненый?

– Он бывший заключенный. Его подобрали у душегубки.

– Ах, вот что! Мне рассказывали. Его подобрали вместе с вами?

Лили кивнула.

– Что вы там делали? Взрывали душегубку, а?

Она не ответила. «Ей почему-то стыдно, – подумал Криницкий. – Делают такие вещи, а потом стыдятся». Его взгляд стал ласковым, он хотел погладить Лили по плечу, но почему-то передумал.

– Я посмотрю. Если можно, помешу вас вместе.

3

Криницкий придвинул посетителю стул, а сам, став спиной к окну, окинул его остро-внимательным взглядом. Федор Николаевич Ковальчук лишь недавно был его пациентом. Контуженный в сражении на подступах к лагерю, он, не в пример этому Берзелину, быстро оправился.

– Как состояние Берзелина?

– Без изменений. Вы вернулись в дивизию?

Подчеркивая разницу между больным, с которым врач мог говорить фамильярным тоном, и сотрудником СМЕРШ, Ковальчук пропустил вопрос Криницкого мимо ушей.

– Вы должны понять – это очень важно. Он знает много очень ценного.

– Для нас все больные одинаковы.

– Это может быть правильно с точки зрения медицины, но политически это неверно.

Доктор Криницкий хмыкнул.

– Мы имеем дело с повреждением нервных центров.

– Это значит?

Криницкий пожал плечами:

– То, что он не узнает свою жену, заставляет задуматься.

Ковальчук качнулся всем своим ладным туловищем.

— Какая она ему жена...

Доктор Криницкий помнил, с какой антипатией Лили относилась к Ковальчуку. Он как-то спросил ее, почему. Она ответила, что во всем, что случилось, виноват «этот». Иначе она Ковальчука не называла.

— Она считает его своим мужем. Формальная сторона меня не интересует. К тому же у меня не хватает санитарок, а она выполняет все поручения. Вы были моим пациентом, а он им остался, вот и вся разница.

Это было явной ошибкой. Криницкий осознал это слишком поздно.

— У меня есть родина, и я в плен не сдавался, — резко сказал Ковальчук. Он встал. — Известите меня, если будут перемены. Вы знаете, где меня найти.

4

Едва оправившись после контузии, Ковальчук, тогда еще в звании подполковника, развернул кипучую деятельность. Он составил список заключенных, активно принимавших участие в освобождении лагеря. В центральном управлении нашли картотеку. Ковальчук тщательно изучил ее, дополняя сведения опросами самих заключенных. Против имени каждого он ставил порядковый номер и зашифрованную пометку, — ключ к агентурным сведениям. С особым интересом Федор Николаевич изучал данные о Жаке Берзелине.

Борис Львович решил дать Ковальчуку отпор. Здесь, в госпитале, он хозяин. «Я не позволю, чтобы он превращал госпиталь в следственную камеру». Он представлял себе, как он это скажет! Но в разговорах с Ковальчуком отступал: не выдерживал его взгляда. Казалось, смотрит не человек, а патологоанатом. «Будто вскрывает трупы», — подумал Криницкий. Не имея на то прямых оснований, он считал Ковальчука антисемитом. Не лежит ли в основе его непрекращающихся попыток прощупать Берзелина именно это?

Он убедился, что это не так, самым неожиданным образом. В госпиталь ввалился, именно ввалился, приехавший на джипе капитан Бойко. Он заявил, что приехал по вызову Ковальчука дать о Берзелине показания.

– Какие показания? Здесь госпиталь! – Криницкий остановил его на пороге. Несмотря на это, все склянки в шкафчике задребезжали. Не хватало еще, чтобы по госпиталю разгуливали слоны! Показания... Все же любопытство взяло верх. – Вы знаете Берзелина?

– Знаю.

– Откуда?

– Знаю по лагерю. Мы жили и работали вместе.

– Ну, и что он за человек?

– Хороший человек. Товарищ.

– Скажите еще – герой!

– Может, и герой.

– Почему-то полковник Ковальчук не считает его таким.

– Я не знаю, что происходило в лагере в последнее время.

Но то, что знаю, говорит в пользу Брона.

– Какого Брона?

– Под этой фамилией он был в лагере. Какая разница.

– Действительно, какая разница. Еврей остается евреем.

– Почему евреем? Он не еврей.

– Как не еврей?? Кто же он тогда?

– Это очень сложно.

– Сложно?

– Я говорю то, что знаю.

Криницкий молчал. Это было так неожиданно. Потом сказал:

– Вы хотите видеть Берзелина?

– Если можно.

Они пошли вместе. У постели больного дежурила Лили. Капитан вытянулся перед ней во весь свой рост и протянул руку лопатой:

– Здравствуйте, товарищ Брон.

«Брон?» Криницкий уже ничего не понимал. Он не решился спросить, но, не в силах сдержаться, сделал свой взгляд предельно вопросительным. Увы, этого никто не заметил.

Жак лежал неподвижно, смотрел неживым взглядом сквозь щели ресниц. Жизнь в нем таилась. И потому, что она не проявлялась, она казалась еще более таинственной.

Доктор почувствовал себя лишним и повернул к двери.

5

Праздничный репортаж с Красной площади Федор Николаевич выслушал стоя. Приемник был трофейный «Телефункен», и Федор Николаевич со злорадством подумал, что немецкий аппарат вынужден принимать теперь слова торжественной присяги и возгласы «Смерть фашистам!»

Он цыкнул на санитаря, обронившего какую-то посудину. Увидел ничуть не сосредоточенные лица медсестер, занятых будничными делами. Конечно, нельзя даже на праздники отстранивать работу в госпитале, но невнимание его покорило. Однако Федор Николаевич постарался придать своему лицу добродушное выражение. Он даже улыбнулся сестре, которая принялась прихорашиваться перед никелированным титаном. И тут же осудил себя.

Хотя был день отдыха, Федор Николаевич принялся за составление рапорта. Своим четким каллиграфическим почерком он вывел заголовок, но затем задумался. Слишком много было приводящих обстоятельств, не затронуть которых он не мог, а затрагивая, ударялся в какие-то дебри. Как уточнить положение, в котором он находился в качестве эсэсовца? Долго ли его бумаги и присущая ему самоуверенность смогут служить ему щитом? Каким образом ему удавалось вести организационную работу в лагере? Там в основном находились евреи, но не в этом была трудность. Дело было в их разобщенности: голландские евреи охотнее общались с земляками, чем с выходцами из Чехословакии. Принадлежащие к зажиточным слоям австрийские и немецкие евреи смотрели свысока на нищих восточных евреев. После эвакуации советских и польских военнопленных в лагере остались только люди, никогда не державшие в руках оружия.

Связь с заключенными Ковальчук должен был осуществлять через некоего Якова Берзелина, бывшего театрального деятеля, носившего в лагере фамилию Брон. Но что это был за человек? Судя по всему, Брон-Берзелин представлял собой деклассированный элемент, что-то вроде космополита. Сдался в плен и вел себя недостойным образом, упросив немцев сохранить ему жизнь, — так, по крайней мере, Ковальчук представлял себе это дело.

Брон-Берзелин был беспартийным, и вообще сомнительно, можно ли было доверять ему руководство подпольной организацией. В лагере он согласился на выполнение административных функций, был связан с контрреволюционерами, в беседах порочил имя вождя. Он вырос в буржуазной Швейцарии, приехал в Россию в зрелом возрасте... Все это внушало сомнения. Поэтому Ковальчук считал себя вправе, более того, обязанным отстранить Берзелина от руководства, но сделать это так, чтобы сохранить его для организации. Нужно было заменить его кем-то другим.

К счастью, удалось найти среди заключенных помощника, с некоторыми оговорками отвечающего требованиям. Им оказался тридцатидвухлетний чешский рабочий Иржи Нейман. Нейман воевал в Испании в составе интернациональной бригады имени Яна Гуса и был еще до прихода немцев репрессирован буржуазным чешским правительством. Он был человек спокойный и положительный, к тому же работал в самой многочисленной бригаде БАУ-1 в качестве фотоработчика.

Иржи Нейману удалось сколотить боевую группу из 30 – 40 человек. В бараках были созданы группы содействия, своеобразный актив, который окружал боевые отряды и помогал им в осуществлении восстания. Брон-Берзелин, который к тому времени с помощью людей из канцелярии был переведен в команду БАУ-1 под наблюдение Неймана, согласился выполнить диверсионный акт, требовавший от него большого мужества и самообладания. Он доказал этим, что при правильном руководстве из него может получиться полезный товарищ.

Этими словами полковник Ковальчук закончил свой рапорт во фронтовую контрразведку.

6

Между тем Брон-Берзелин стал проявлять признаки жизни. На третий или четвертый день после октябрьских праздников он обратил внимание на раздающиеся из динамика звуки: главврач Криницкий, большой любитель радио, в первую очередь позаботился о радиофикации госпиталя. Из Москвы передавалась какая-то театральная постановка. Берзелин скривил рот, когда актриса, явно шаржируя, стала изображать горевавшую по случаю потери мебели мещанку.

Лили Жак не узнавал, принимая ее за одну из сестер. Он помнил свое прошлое до момента, когда он попал в плен. Весь последующий период: тюрьма, гестапо, лагерь — выпал из его памяти. Криницкий считал, что это защитная реакция: сознание освобождалось от тяжелых воспоминаний.

Все же недавнее прошлое держало Жака в своих когтях: ему снились какие-то кошмары, он часто вскрикивал во сне и однажды, вскочив, разбил стакан на тумбочке. Лили пыталась его успокоить, Жак уткнулся в ее подол и стал плакать, как ребенок.

Вообще восстановительный период проходил с перебоями. То Жак вставал, ходил по палате, то целыми днями лежал, уставившись в одну точку. При незнакомых старался оставаться незамеченным, ел тайком, собирая крошки и пряча хлеб под подушку.

Ковальчук вошел в палату Жака как будто невзначай. Рассматривая его форму, Жак спросил, в какой пьесе он занят. Видимо, погоны ввели его в заблуждение. Ковальчук пытался с ним заговорить, но напрасно. Жак с досадой что-то бурчал. Из этого полуоцепенения вывел его вторичный визит капитана Бойко. Увидев его, Жак бросился ему навстречу:

— Пашка! — потом, обернувшись, нащупал рукой кровать и погрустнел. — Простите, я принял вас за кого-то другого

— Какой же ты друг, забыл, значит? А помнишь, как обрадовался, когда я принес тебе буханку белого хлеба? Ты смог уплатить долг косому еврею?

Жак кивнул, но по его лицу было видно, что он не помнит.

— Тетя Аня, брат Сергей, сестры Галя и Вера спрашивали, как ты себя чувствуешь, шлют тебе привет.

Жак вскинул глаза:

— Где они?

— Дома. Ждут конца войны, чтобы приехать.

— Войны? — глаза Жака приняли испуганное выражение.

— Война идет к концу, немцы разбиты наголову, американцы и англичане форсировали Рейн. Мы стоим на Одере.

Доктор Криницкий прервал его:

— Может быть, принести газету?

Принесли «Правду». Жак почувствовал себя как человек, которому предлагают принять участие в попойке; он не хочет

пить, но отказать неудобно. Он уселся на постели и стал читать. На первой странице была сводка Совинформбюро. Жак вдруг опустил газету и улегся на постель. Он вспомнил.

7

С памятью Жака происходило то же, что часто происходит со зрением пожилых людей: дальние предметы они видят лучше близких. Воспоминания о лагере спутались в его голове. Он не понимал, что было раньше, что позже. Только когда Лили напомнила ему об их встрече, он догадался, кто она. Жак нервничал, разговаривая с ней. Ему казалось, что прошлое предъявило ему свой счет. Он сказал, что она не должна считать себя связанной. Тогда Лили заявила, что она беременна. Сколько он ее ни уговаривал, она наотрез отказалась сделать аборт. Жак решил, что попал в сети. Протягивая ему руку, она лишала его свободы. Он не мог понять, что в ней его когда-то привлекало. Теперь ее скуластое лицо, невысокий лоб и тяжелый подбородок казались ему вульгарными, приглушенный голос отдавал притворством, медленные движения напоминали движения спрута.

Лили мешала ему осуществить свои планы. Он хотел вернуться в Москву, чтобы отдаться целиком работе в театре. Ему казалось, что он прожил жизнь многих людей и теперь сможет черпать из пережитого, это придаст создаваемым им образам силу и убедительность. Может быть, смысл его существования в том, чтобы, родившись вновь, он, умудренный опытом, мог показать, куда заведут вырвавшиеся из оков морали инстинкты. Он не повторит ошибок прошлого: искусство и жизнь подчинены строжайшим законам. Не может и не должно быть свободы, даже свободы прозрения, она противоречит разуму, и потому опасна. Человечество должно идти дорогой познания, а не интуиции.

8

Лили приписывала его отчужденность болезненному состоянию. Этот немолодой человек, далекий от того, чтобы стать героем ее романа, был каким-то чудесным образом неразрывно связан с ней. Она пыталась развлечь его, рассказывала ему разные, по ее мнению забавные, истории — Жак ни разу не улыбнулся. Уходя от него, Лили вытирала слезы.

Тогда она затеяла другую игру. Из трофейного материала сшила себе платье, надела туфли на высоких каблуках, старалась двигаться изящно, хотя живот ей мешал. Она устроила вечер танцев. Сестры, весь медицинский персонал, истосковавшиеся по развлечениям, были ей благодарны. Жака пригласили, но Лили весь вечер была занята одним молодым капитаном. Она флиртowała напрапую. В последующие дни они прятались по коридорам, никто не мог сказать, как далеко это зашло. Какая-то из сердобольных санитарок донесла Жаку о разговорах, ходящих по госпиталю. Жак спросил Лили, что у нее с этим капитаном. Лили просияла. Но тут же поникла, когда он сказал, что она вольна делать что хочет, он мешать не будет.

Утром, после бессонной ночи, она явилась в палату бледная, измученная.

— Что ты все смотришь. Могла бы оставить меня в покое!

Он был несправедлив к ней и признавал это, но ничего не мог поделать. Он попросил доктора, чтобы его перевели на «другую половину». Так называлась общая палата. Она была полна раненых. Их беспрестанно привозили и вывозили умерших.

Все его раздражало. Вдобавок этот, с синими глазами. Полковник! У него фуражка василькового цвета с красным околышем. Все носят полевую форму, только не он! Чего он к нему лезет?

Жак решил взять быка за рога.

— В чем дело? Чего вы от меня хотите?

Ковальчук в ответ улыбнулся:

— Мы находимся на вражеской территории, никакая предосторожность не лишняя. Мы не знаем, кто попал к нам под видом заключенных.

— Заключенные знают друг друга, как облупленных, дайте им только разобраться.

— Как бы они не стали сводить личные счета.

— Так кого вы защищаете, заключенных от фашистов или фашистов от заключенных?

— Не волнуйтесь, дайте срок, мы во всем разберемся.

Лили присутствовала при этом разговоре и несколько раз пыталась его прервать. Уходя, Ковальчук дружелюбно кивнул ей. Он действительно относился к ней хорошо, не называл иначе, как «товарищ Лили». Как-то он стал объяснять ей, что все

изменения в обществе происходят в результате классовой борьбы. Лили фыркнула:

– Просто у людей разные характеры.

– Вы столько сделали для нас, что мы считаем вас своей.

– Я делала это не для того, чтобы меня считали своей, а потому, что считала правильным.

Положительно, к ним нужен особый подход. Под «ними» Федор Николаевич подразумевал иностранных товарищей. Что делать! Они не виноваты в том, что не имеют опыта советских людей.

– У него глаза тигра, – заметила Лили. – Я где-то читала, что у тигров-людоедов бывают голубые глаза.

Жак привскочил:

– Вздор! Вовсе не голубые, а синие! Все ты какую-то чепуху городишь.

Вечером он заговорил с Криницким о выписке. У него чесались руки и ноги. На другой день он стал желтым, как лимон. О выписке не могло быть и речи.

Жак потребовал бумаги и написал длинное заявление в политотдел. Он доказывал, что медицинский персонал относится бездушно к больным. Это был глас вопиющего в пустыне. Он не помешал Ковальчуку появляться и допытываться у Жака, с кем из немцев он был знаком в Москве до войны. Лили плакала, она не понимала, что происходит. Ее вызвали в особый отдел, заявили, что ей, как французской подданной, нечего опасаться. «Мы ждем инструкции, как быть с освобожденными из лагерей гражданами союзных держав». Лили сказала, что хочет зарегистрировать свой брак с Жаком. Ей ответили, что время военное и «нужно поступиться своими гражданскими интересами».

– Все равно, – сказала она. – Где он, там буду и я. Вы мне этого запретить не можете.

9

Под вечер Лили уходила отдыхать в узкое помещение, отведенное для дежурных сестер. Там стояли шкаф для халатов, стол и топчан. Как-то Лили прилегла на него и задремала.

Когда она проснулась, в ее ногах сидела медсестра и писала. Лили подтянула ноги, чтобы ей не мешать. Вероятно она это за-

метила, потому что прервала свою писанину, повернулась боком и сказала:

— А твоего увезли.

Лили сначала не поняла, о ком идет речь, потом у нее не оказалось сил подняться. Сердце колотилось у самого горла.

— За ним приехал Ковальчук. Я сказала, что без ведома главного врача я больного не выпущу. Тогда Ковальчуку показал мне приказ за подписью Криницкого. Я пишу рапорт, что в таких условиях работать не буду. Пусть отправляют на передовую!

Ковальчук увез Жака не без его согласия. Они сговорились сыграть эту штуку. В заговор был посвящен и Криницкий. Он согласился выписать Жака под его ответственность.

10

Жак катил в легковой машине на запад. Три года назад его везли по той же автостраде. Как будто только вчера он попал в плен. Правда, теперь рядом с ним сидел не оберлейтенант Байер, а полковник Ковальчук. Он рассказывал Жаку, как ему удалось разоблачить немецкого шпиона, который проник в штаб из-за ротозейства начальника разведки. Ковальчук смаковал подробности этой поучительной истории.

— Куда вы меня везете? — спросил Жак.

— Пока у меня приказ доставить вас в штаб.

— В тот самый, где вы поймали шпиона?

Автострада тонула в сером мареве. Местами она была разбита. Приходилось объезжать. Сорок месяцев тому назад она была целехонькая, аккуратная, по ней двигались немецкие машины...

Ковальчук замолчал, глядя в запотевшее окно. О чем думает Жак? О семье? Да ведь нет у него никакой семьи. Его единственный сын воспитывается у тетки. Этот сын показал, что его отец был всегда глубоко преданным советской власти человеком. Но какой советский человек станет клеветать на вождя народов?

Жаку пришло на ум, что он не демобилизован и может быть использован, как заглагорассудится начальству. Сейчас по множеству дорог движутся на запад отряды солдат, автомашины и танки. Люди сознают, что «так надо». Не командирам отрядов, не водителям автомашин и танков решать вопрос, зачем так надо. Это знает только командование. Жак подумал, что

в подчинении есть доля достоинства. Я маленький винтик, но без меня машина может остановиться. Не оригинально, правда. И черт с ней, с оригинальностью! Интеллигент склонен считать, что ему пристало быть вождем. Но мало считать себя способным управлять людьми, это нужно уметь. А умеет лишь тот, кто был в подчинении. И как будто в подтверждение своего отказа от оригинальности Жак сказал себе, что учиться никогда не поздно, что тоже не оригинально. «Буду рядовым и научусь ходить в упряжке».

Они въехали в небольшой, со следами артиллерийского обстрела городок. На приставленных к простреленным снарядами стенам лестницах стояли люди, пытаясь заделать пробоины. Машина остановилась у ограды старого, разросшегося парка. В глубине был виден особняк современного вида. Ковальчук пошел вперед, открыл дверь двойным ключом. На начищенной до блеска латунной дощечке у входа Жак прочел имя владельца: доктор Вайссман. Все внутри выглядело так, будто хозяева только что уехали. В вестибюле стояли круглый столик с придвинутыми к нему кожаными креслами и книжный шкаф. Жак взглянул на корешки книг. Выстроившись в два ряда, стояли упитанные тома энциклопедического словаря Мейера, десяток томов медицинского ежегодника и английский справочник «Who is who?»

— Особняк господина доктора Вайссмана, который, несмотря на еврейскую фамилию — истый ариец и как таковой принимал участие в «изучении еврейского вопроса». Он собирал коллекцию еврейских черепов и предметов еврейского обихода. На втором этаже своего рода антисемитский музей.

Эти пояснения Ковальчук давал тоном гида. Жак хотел его спросить, откуда он это знает, но сдержался. Ковальчук всегда поражал его своей осведомленностью. Это началось еще в лагере. Прибыв туда, он уже знал о складе оружия, о драгоценностях в коробке из-под инсулина. Если он что-нибудь спрашивал, то лишь затем, чтобы проверить свои сведения.

— Теперь это наша с вами резиденция, — сказал Ковальчук. — Располагайтесь наверху, а я останусь здесь. Возможно, перехвачу кого-нибудь из посетителей доктора Вайссмана. А завтра возьмемся за работу.

За работу? Еще одна загадка.

Жак поднялся на второй этаж. Помещение напоминало кунсткамеру. На стеллажах лежали гипсовые слепки, чуть выше на пружинах качались черепа. В отдельных ящиках хранились препараты мозга с указанием места, даты, фамилии и возраста. В особой нише было оборудовано нечто напоминающее средневековую камеру пыток. В застекленных шкафах стояла синагогальная утварь. На стенах висели портреты евреев всех времен и картины, изображающие сцены еврейского быта и культа. Две двери вели налево и направо. Жак толкнул одну из них и очутился в спальне. В этом соседстве спальни и «кунсткамеры» было что-то жуткое, уродливое. Жак подумал, что уродливое и жуткое свойственно нацизму, оно пристало его идеологии, практике. Восторгаясь белокурами bestиями, фашисты повсюду и во всем насаждали уродство, способствовали вырождению.

Великолепная кровать приглашала к отдыху, но Жак предпочел провести ночь на обтянутом белой клеенкой топчане. Топчан, очевидно, служил для массажа, он пропах какими-то мазями, и Жаку чудилось, что от клеенки несет трупным запахом. Наутро Ковальчук нашел его невыспавшимся и еще желтее вчерашнего.

— Пошли завтракать. Я вам заказал диету. К десяти придет врач и вас осмотрит

— А как с работой?

— Время терпит.

В вестибюле на одном из круглых столиков был сервирован завтрак. Жак не высказал особой признательности, но все же забота Ковальчука настроила его на дружеский лад. Он немного оттаял и даже, посмеиваясь над собой, подумал, что, независимо от того, почему человек попал в беду, он сам в этом виноват.

Пришел врач и нашел, что два часа в день умственной работы Жаку не повредят.

Они поднялись в библиотеку. Жаку бросились в глаза два опечатанных шкафа. Ковальчук подошел к одному из них и сорвал сургуч. Внутри оказались сложенные папки: манускрипты и печатные материалы.

— Было бы это только на немецком языке, я бы справился, а так мне нужна ваша помощь. Все надо конспектировать. Особое внимание обратите на материалы, касающиеся международных связей еврейства: могут попасться известные вам

имена. У евреев повсюду свои шупальца. Возможно, есть их агенты и у нас. Пусть вас не смущает, если кое-кто из них занимает высокий пост.

По мере того как слова Ковальчука доходили до Жака, в нем росло возмущение: Вот что от него требовалось! Его вчерашняя готовность повиноваться испарилась. Использование антисемитских документов немца-расиста казалось Жаку глубоко аморальным. Он хотел отказаться, но... не даст ли это Ковальчуку повод считать его врагом? В конце концов, о каких международных связях идет речь, о связях банковских воротил и прочих спекулянтов? Что, он собирается их защищать? Ведь если бы это им было выгодно и они бы имели возможность, то поддержали бы и фашистов.

Хотя Жак чувствовал, что в его рассуждениях была какая-то фальшь, он поддался. Что если поговорить с Ковальчуком по-человечески? Ведь не дубина же он, чтобы не понять... Что понять? Что еврейские капиталисты не отличаются от прочих? Вряд ли Жак сам думал иначе. Так против чего же он возражает?

— Этой работой вы докажете, что вы советский человек, — отозвался на его мысли Ковальчук. — За доверие платят доверием, и это небезразлично для вашей дальнейшей судьбы.

— Хорошо, — сказал Жак, — хорошо. Только нужно иметь в виду, что источник этих сведений отравлен.

— Это уж не наша с вами забота.

11

Есть люди, которые принимают факты как они есть. Для других оценка важнее фактов. Ковальчук относился к фактам, как хозяин к скотине. Жак не мог с этим мириться.

Одним из камней преткновения стали попавшиеся среди материалов Вайссмана так называемые «Протоколы сионских мудрецов», известная фальшивка, использованная нацистской пропагандой. В ней говорилось о тайном заговоре еврейства с целью установления своего господства на земном шаре путем морального разложения народов и подкупа правителей. Жак наотрез отказался конспектировать «протоколы» или даже переводить из них отдельные места. Ковальчук не понимал, почему Жак так взъерепенился.

– Ну, что вам дались так эти протоколы! Работали до сих пор!

– Но ведь это же явная ложь, фальшивка, состряпанная еще царской охранкой, – возмутился Жак. – Это не просто ложь, это преступление, вы же сами видите!

– Но я не видел, как эти протоколы писались... Раз мне поручено заняться ими, это неспроста.

– На этом-то и играли фашисты!

12

Когда работа подходила к концу, Жака и Ковальчука вызвали в штаб фронта. Штаб находился в предместье подвергнувшегося недавно беспощадной бомбардировке города, знаменитого художественной галереей и единством архитектурного стиля. По некоторым улицам нельзя было ехать, не столько потому, что путь преграждали обломки зданий, но из-за трупной вони, исходящей от погребенных под ними.

Машину остановил патруль. Их направили к центральному вокзалу, вернее, к месту, где он когда-то был. Вопросительными знаками извивались сорванные рельсы. Стеклянная крыша вокзала была снесена, сиротливо торчали столбы, на которых она когда-то покоилась.

Нужно было перебраться на другую сторону реки. Мост еще не был разминирован, пришлось ехать кругом, через временный понтон.

В штабе их приняли, как непрошенных гостей, заставив ждать в накуренной до сумрака комнате. То и дело пробегали, хлопая сумками и планшетами, напускавшие на себя деловой вид адъютанты. Наконец появился какой-то пожилой полковник с двумя значками парашютиста. Первым он вызвал Жака. Кожа на голове Ковальчука натянулась, он презрительно ухмыльнулся.

В конце выложенного мраморными плитами коридора виднелось напоминающее царские врата сооружение: четыре ангела трубили над огромной резной дверью. Дверь вела в зал с хорами. На хорах никого не было, зато на эстрадном возвышении стоял заставленный сервисом концертный рояль. Несколько военных с лампасами и крупными звездами на погонах пили что-то из чашек. Подполковник примостился в нише с бюстом Иоганна

Себастьяна Баха. Знаком головы он указал вошедшему Жаку на помост. Еще молодой, высокий и немного сутулый генерал выступил вперед и произнес неожиданно громоподобным голосом:

– Располагайтесь.

За отсутствием сидений располагаться было не на чем.

Генерал обратился к Жаку:

– Вы были в лагере смерти? Расскажите, как вам удалось организовать там подпольную работу.

Жак начал рассказывать. По мере того как он говорил, присутствующие генералы стали собираться у края помоста. На Жака нашла непреодолимая потребность говорить, оправдываться – в чем, он и сам не знал. Почему-то ему казалось, что он находится в кругу людей близких, созвучных. Говорил он о том, что в лагере еще до его прибытия существовала организация, даже две: антифашистская и польская националистическая. Каждая из них вела работу отдельно, но иногда они объединялись. Так, например, случилось, когда нужно было встретить приезд комиссии Красного креста. Жак рассказал о том, как подпольная организация спасла ему жизнь, как, очутившись один после смерти товарищей и эвакуации польских и советских военнопленных, он пытался дальше работать на подготовку вооруженного восстания...

Его мысли запутались, он не мог восстановить в памяти последовательность событий и замолчал. У него мелькнула мысль, что все было не совсем так, как он рассказывал. Время представляло собой фикцию, люди расставляли силки, чтобы поймать в них события, потом выдумывали какую-то последовательность... Может быть, все это вовсе не происходило, а произойдет в каком-то отдаленном будущем... Он напрасно пытался навести порядок в возникшем в его голове сумбуре.

– Что вас остановило? – спросил сутуловатый генерал-лейтенант.

– Я... я не подготовлен, не помню.

– Вы отдохните, может быть, вспомните. Пусть войдет полковник Ковальчук, – обратился он в сторону ниши.

Когда Ковальчук вошел и остановился у дверей, щелкнув каблуками, Жак обернулся. Его товарищ выглядел великолепно, не то, что он!

– Ваш рапорт получен, – сказал сутуловатый генерал, обращаясь к Ковальчуку. – Но в нем есть неясности...

Ковальчук слегка повел плечами.

– Какими сведениями вы располагали до прибытия в лагерь, и из каких источников вы их черпали?

Ковальчук очень долго собирался с мыслями. Генерал повернулся к другим своим товарищам: видите, полковник не знает, что ответить.

– Может, кое-что высосано из пальца? А?

– Разрешите, товарищ генерал? – Жак задрал голову, чтобы посмотреть генералу в лицо. – Товарищ Ковальчук получил сведения от товарищей по лагерю: от капитана Бойко и от польского летчика Енджеховского. Оба бежали с этапа и присоединились к нашим частям. Об этом мне сообщил сам Ковальчук.

– Полковник Ковальчук, – поправил чем-то недовольный генерал. – Эти сведения могли быть неблагоприятными для вас.

Генерал произнес эти слова утвердительно, но Жак почему-то счел нужным ответить.

– Все можно истолковать по-разному. Моя биография может показаться странной, даже подозрительной.

– А вы бы стали оправдывать полковника, если б он сознательно искажал факты? – прервал его генерал.

– Я не имею оснований подозревать такое.

– Так откуда он взял, что, попав в плен, вы вымаливали свою жизнь у немецких офицеров? Полковник присутствовал при этом?

Федор Николаевич кашлянул в кулак:

– Немцы всех евреев уничтожали.

– Они бы и его уничтожили.

– Он мог сообщить им какие-нибудь секретные сведения.

– Они и таких не миловали. Не так ли? – спросил генерал, снова обращаясь к Жаку.

– Тут какая-то ошибка, – ответил Жак. – По крайней мере, тогда я не знал того, что знаю теперь.

– Вы что-то хотели сказать, полковник?

– Нет, ничего.

– Возможно, мои предки были евреями.

– По Библии мы все приходим от Адама.

– Моя фамилия Берзелин. Во времена Наполеона в Гродно жил как будто один хлеботорговец Бер Зеель. Мой отец из Гродно. Возможно, это случайное совпадение, но не исключено...

– Постойте, сколько поколений прошло с тех пор? Пять, шесть? Даже фашисты, и те не сочли бы вас евреем.

Жак пожал плечами.

– Евреи остаются евреями.

– Всегда?

– Возможно, им удалось сохранить себя благодаря идее...

Близости к Богу.

– Вы – верующий?

– Пожалуй, нет.

– Тогда вы должны считать эту идею пустой.

– Какой бы она ни была, она их спасла.

– А вы не темните, Берзелин? – Ковальчук ухмыльнулся. – Я знаю евреев, которые скрывают это, бывает трудно доказать, кто они такие.

– Если бы я был уверен, я бы гордился своим происхождением.

– Почему?

– Это давало бы мне основание считать себя причастным к идее.

– Как вас понимать? Вы заявляете, что вы неверующий, и в то же время хотели бы верить? Может быть, из-за какой-нибудь выгоды?

– Какая может быть выгода?

– Тогда у меня будет к вам еще один вопрос: вам не было выгодно признать себя евреем?

– Ни с какой стороны.

– Так почему вы согласились?

– У меня не было выбора. Меня выписали на газ. В тот день в палате, где я лежал, умер еврей Самуил Брон. Товарищи подменили мой номер. Я стал Броном и принял его наследство.

– Ах, вот оно что, я об этом и говорил, – генерал оглянулся с торжествующим видом.

– В лагере была его дочь, приемная дочь. Не еврейка.

– Путаная история.

– Это не я запутываю. Судьбы людей и народов бывают еще более путаными. Нужно было бы закрепить за людьми право на исключительность.

– А кто у них это право отнимает?

– Есть такие.

– Но нельзя же ориентироваться на исключение.

– Я понимаю. Но каждый человек в чем-нибудь исключение. Сама жизнь, вероятно, великое исключение в мертвых космических пространствах.

– Вон куда загнул! – весело откликнулся генерал. Потом, прищурился, уставился на Жака: – В штабе получено заявление медицинской сестры Лилианы Брон с просьбой оформить ее брак с вами. Это приемная дочь того самого Самуила Брона?

– Да.

– Так что же нам ответить?

– Во-первых, она не медицинская сестра...

Брови генерала поднялись и образовали крышу над переносицей.

– Но она вам жена или нет?

– В лагере мы вместе...

– Понимаю, курортное, так сказать, знакомство.

Жак посмотрел в сторону.

– Дело ваше, можете идти.

Генерал подождал, пока дверь закрылась.

– Нужно разбираться в людях, полковник.

– Так точно, разбираться в людях.

– Что вас угораздило наводить тень на ясный день, да еще обвинять этого недоноска во всех смертных грехах?

– Разрешите, товарищ генерал-лейтенант, задать вам один вопрос.

– Спрашивайте.

– Приказ номер два остается в силе?

– Насколько мне известно, он не отменен.

– Я придерживался духа и буквы приказа и действовал соответствующим образом.

– И совесть у вас чиста?

– Я солдат, товарищ генерал-лейтенант. Органами мне было дано задание.

– Не забывайте, органы подчиняются центральной нервной системе, – делая вид, что не понимает, о каких органах речь, сказал генерал. – А мысль управляется корой головного мозга. Ставьте на место нервной системы советскую власть, а на место головного мозга – партию. Пойдите, – прибавил он, когда Ковальчук шелкнул каблуками. – Завтра в 19-00 партсобрание. В числе прочих будет разбираться ваше личное дело. Вы просили откомандировать вас в распоряжение центра?

– Так точно, товарищ генерал-лейтенант. У меня накопился большой материал, его целесообразно проработать в центре.

Генерал-лейтенант кивнул.

– Итак, до завтра.

13

Партсобрание затянулось, и Федор Николаевич, шагая по неубранным и неосвещенным улицам незнакомого города, перебирал в памяти все, что на нем говорилось. У него было приятное ощущение человека, который нашел нужный тон и сумел вставить в нужный момент веское слово.

Член военного совета фронта, сутуловатый генерал-лейтенант сделал доклад на тему: «Задачи парторганизации на занятой советскими войсками немецкой территории». Он неплохо выразился, ничего не скажешь: «Задача коммунистов состоит не только в том, чтобы личным примером поддерживать боевой дух армии, но и служить ассенизаторами на загаженной фашистской идеологией территории». Докладчик делил немцев на три категории: активных фашистов, обывателей и антифашистов. По мнению полковника, докладчик разницу между этими категориями смазал. Выходило, что нельзя вполне доверять тем, кто с энтузиазмом приветствует приход советской власти. Однако и сдержанность не следует принимать за вражду: она естественна у людей, которые в течение столь длительного времени были под воздействием нацистской пропаганды и слышали черт знает чего о большевиках. Предстоит, мол, большая работа по завоеванию доверия одурманенных людей. Ничто не может быть вреднее лозунга: «Кто не снами, тот против нас». Но не следует и выворачивать его наизнанку: «Кто не против нас, тот с нами». После этого вступления докладчик перешел к конкретным политическим вопросам.

По мнению Федора Николаевича, он слишком углублялся в детали, ведь победа решает большинство проблем. Немцев следует разоружить и сделать так, чтобы они никогда больше не смогли подняться. Что касается Советского Союза, то переход на мирные рельсы потребует жесткой политики по отношению ко всяким безродным элементам. Несмотря на то, что Федор Николаевич по отцу был украинцем, он считал себя русским и гордился этим: ведь Советскую власть создал русский народ!

Развивая основную мысль своего доклада, генерал-лейтенант говорил о различии психологии русских и немцев, обосновав это различие историческим развитием. Это вполне соответствовало концепции Федора Николаевича.

Докладчик коснулся так же еврейского вопроса. Отношение Федора Николаевича к евреям определялось тремя факторами: в семье приглушенный антисемитизм был нормой поведения, в комсомоле он слегка выветрился, встречи с евреями утвердили его во мнении, что евреи народ интеллигентный, но нахальный. Как бы то ни было, он держался с ними запросто, любил еврейские анекдоты и не слишком утрировал, рассказывая их.

А тут этот политотделец стал ломиться в открытую дверь: евреи, мол, выработали в себе черты характера, помогающие им в борьбе за существование. Классовое расслоение среди них сказалось в меньшей степени, чем у других народов. Это следствие запрета для них приобретать средства производства. Отсутствие производительных классов не вина евреев, а их историческая беда. Беззащитные, они защищались деньгами, деньги стали их фетишем. В то же время гонения вызвали у них протест против угнетения. Это сближало их с передовым отрядом революции, с пролетариатом. Умом они были с революцией, а сердцем с ней спорили....

Генерал поднял глаза над бумагой, с которой считывал свои тезисы:

– Многие евреи склонны видеть в нас своих вчерашних гонителей. Казалось бы, спасенные нами от гибели, они должны быть нам благодарны. Однако это не так просто...

Последняя фраза вызвала возражения. Раздались возгласы: «А почему они прячутся?», «На фронте, если попадетсЯ еврей, то не солдат, а офицер», «Почему они всегда устраиваются в санбат или в интендантскую часть?»

Генерал-лейтенант поднял руку.

— Товарищи, у меня недавно в руках была статистика. Евреи составляют приблизительно 2% населения Советского Союза. Среди награжденных Золотой звездой героев их 4%. А вспомните о многих товарищах в революцию, они были евреями. И главное: не исключайте из числа евреев ваших знакомых.

Начались прения. Федор Николаевич попросил слова. Он говорил о том, что большевики всегда умели использовать любые категории людей в революционных целях. В качестве примера он сослался на эпизод из биографии товарища Сталина, когда, находясь в бакинской тюрьме, он сумел поднять уголовников на поддержку требований политических заключенных и этим добился успеха.

Генерал-лейтенант кивнул в знак согласия. Раздались аплодисменты. Федор Николаевич удовлетворенно огляделся кругом.

14

— У тебя есть спички? — спросил Ковальчук, оставшись с Жаком наедине.

Впервые, если не считать дня появления Ковальчука в лагере, он назвал Жака на ты.

— Спички? — переспросил Жак. — Спички? Нет..

— Что с тобой? — Ковальчук заметил, что у Жака исказилось лицо.

— Ничего. Так... Пройдет. Все проходит, — и прибавил: — Позади остаются только никем не опознанные трупы.

Ковальчук сочувственно похлопал его по спине.

— Ничего там, мало ли что!

Жаку казалось, что вокруг собираются тени. Тени ступились и приняли очертания Давида Корнблюта. Потом Корнблют побелел, у него появились глаза и рот.

— Я не взрывал душегубку, — сказал Жак.

— Ты что? — Ковальчук положил ему руку на плечо. — Я сам видел, как она взлетела на воздух.

Он видел, как душегубка взлетела на воздух. Берзелин не помнит, он был оглушен взрывом и контужен.

— Я не взорвал.

– Кто же ее взорвал, если не ты?

– Давид Корнблют.

– Что ты пугаешь? Корнблют был в крематории, а в душегубке ты!

Жак отрицательно покачал головой.

– Я не знаю, как было, но Корнблют появился в душегубке. У меня куда-то делись спички, я ничего не мог сделать.

– Ерунда! Сначала была взорвана душегубка, а крематорий потом.

– Тогда Корнблют подорвался вместе с душегубкой. Может быть... Да, наверно, он поджег бикфордов шнур в крематории раньше.

У Ковальчука возникло желание уберечь Жак от самого себя.

– К чему ты?! Много говорят, когда что-то скрывают, а тебе нечего скрывать. Потом, изменить ты ничего не можешь. Тебе все равно не поверят, а неприятности могут быть. Кто там знает, как что было! Я говорю тебе, как друг. Ты думаешь, все было так, как пишут? Историю делают.

– Я думал, ты человек честный, убежденный, – Жак сказал это без тени упрёка, скорее с огорчением.

– При чем тут «честный, убежденный»? Я убежден, что наша генеральная линия правильная, а если где-нибудь нужно приналечь, я приналягу. А был там поп попом или действовал кадиллом – дело второе.

– Как ты можешь знать, что твои действия правильны, если сомневаешься в истории?

– Брось ты это! Я командир, а командиру сомневаться не положено. Командир берет ответственность на себя. Товарищ Сталин командир, и все идет правильно. Вот доведем войну до победного конца, и никто не спросит, кто как воевал. Он нам скажет спасибо, и мы ему спасибо скажем: без него мы бы ничего не сделали.

– А если бы Гитлер выиграл войну, не было бы ни лагерей смерти, ни Герники, ни Варшавы, не было бы Сталинграда?

– Чего кричишь! Теперь ясно, кто победит, и мы остались живы. Потому и хочу, чтоб ты молчал. Остальное за мной.

15

Бритоголовый генерал-полковник, он же верховный начальник СМЕРШ, поднес к глазам очередную бумагу. Он был близорук и, скрывая это, на людях не надевал очков. Сегодня он забыл очки дома, был не в духе и, орудуя своим напоминающим булаву красным карандашом, часто ставил в верхнем левом углу две буквы: ВМ¹.

Бумагу, которую он теперь взял со стола, подписал полковник Ковальчук Ф.Н. Генерал-полковник знал Ковальчука как исполнительного, исключительно одаренного, храброго и преданного делу сотрудника. Недавно он подписал приказ о его внеочередном продвижении по службе и награждении третьим орденом Красного знамени. Тем большим было его удивление, когда он ознакомился с составленным по всей форме представлением о награждении. «Что это такое? – пробурчал он. – Кого это он представляет? Какого-то майора интендантской службы Берзелина. Какое отношение этот интендант Берзелин имеет к СМЕРШ? Посмотрим».

«Майор интендантской службы Берзелин Яков Антонович, – читал генерал-полковник, – оказал ценные услуги в расшифровке документов фашистской разведки, касающихся советских граждан-евреев». Неплохо. Но кто же он? «...Бывший заключенный нацистского лагеря смерти, попавший в плен в августе 1941-го года, но впоследствии своими патриотическими действиями искупивший вину перед Родиной». Нет, положительно, этот Ковальчук слабеет, нужно взять его под непосредственное наблюдение.

И своим карандашом-булавой генерал-полковник написал в левом верхнем углу: «отклонить». Затем перечеркнул и поставил резолюцию: «передать на расследование».

16

Был апрель, шли бои за Берлин. Война, можно было считать, отгремела. Боязливо озираясь, крестьяне пахали землю. Горожане устраивались в развалинах. Домохозяйки выстаивали очереди за кониной, которую им изредка выдавали. Все постепенно налаживалось. Нарождались надежды.

¹ Высшая мера.

Скручивая в трубку доставленную из комендатуры бумажку, Федор Николаевич смотрел вслед удаляющимся по парковой аллее Жаку и Лили. Они шли рядом, не касаясь друг друга. Казалось, мирно беседовали. Неделию назад Лили явилась на виллу Вайссмана в сопровождении доктора Криницкого. Ковальчук знал, с какой дипломатической ловкостью Лили попытала у начштаба дивизии, где находится Жак, и каких трудов ей стоило добиться разрешения встретиться с ним.

Федор Николаевич не понимал Жака. Лили была, несмотря на свое состояние, «чертовски интересной бабой». То, что Жак и она сошлись в лагере смерти, придавало их связи романтическую окраску и должно было связывать их крепче обычной влюбленности. К тому же Лили была беременна от Жака, и он этого не отрицал. Все это вызывало к Жаку недоброе чувство, как к человеку черствому, изменившему своему слову, которого он, возможно, и не давал. От Федора Николаевича не ускользнуло, что генерал, который вначале так благосклонно выслушал Жака, сразу же переменял свое отношение к нему, узнав, что Жак не собирается жениться на очевидно соблазненной им девушке. Федор Николаевич не был подхалимом, но умел прислушиваться к голосу начальства.

Что на самом деле было причиной странного отношения Жака к Лили, он и сам вряд ли смог бы ответить. Много позже, размышляя об этом, Жак думал, что в то время Лили была для него чужой. Но разве не чужое нас-то и привлекает? Кто-то сказал, что мужчины чувствуют за потомство ответственность моральную, а женщины физическую. Но это утверждение ничего не объясняло. Лили мешала Жаку в осуществлении его каких-то планов? Но его охлаждение к ней началось еще в лагере, когда никаких планов не было и не могло быть. Возможно, все заключалось в искусственности их сближения и связи, которая была построена на фикции и питалась самообманом. Настоящее чувство не терпит искусственного. Оно может развиваться только в естественных условиях. Противоестественность лагерной жизни убила их только еще нарождавшееся чувство, как убила много живых и жизнеспособных организмов.

А может быть, их любовь воскреснет? Не подсказывал ли Лили инстинкт, что в нормальных условиях их любовь обретет жизненную силу? Но каким будет ее ребенок, зачатый в таких

условиях? Доктор Криницкий утверждал, что все нормально, но сама она боялась...

17

Жак и Лили подошли к ограде парка. Сквозь нежную зелень листвы был виден холм, словно сошедший с гравюры Дюрера: вокруг холма вилась обсаженная деревьями дорога. Она вела к рыцарскому замку на вершине холма.

— Вроде театрального задника, — сказал Жак.

Лили прижала руку к животу. Ребенок давал о себе знать нетерпеливыми толчками.

— Я думаю о том, — сказала Лили, — как я с маленьким ребенком устроюсь в Москве.

— Там есть ясли.

— Чтоб я своего ребенка отдала в ясли?! — с искренним возмущением воскликнула Лили.

— Многие матери так делают.

— Одного ребенка у меня отняли, другого... — она не закончила фразы. — Я все сделаю, чтобы найти моего маленького Поля, если только он жив. Не знаю, как я это сделаю из Москвы. Я, пожалуй, напишу Полю-Антуану в Париж. У меня есть его довоенный адрес. Вряд ли он сдвинулся с места.

— Какой это Поль-Антуан?

— Маленький, толстенький, с большой головой.

— Да, но кто он такой, что делает?

— Устраивает спектакли.

— Что значит «устраивает»? Режиссер?

— Да.

— Ты знаешь режиссера Поля-Антуана?

— Конечно знаю. А что?

— Но это же всемирно известный режиссер!

— Ну, и что из этого?

— Ты понимаешь, что с его помощью ты могла бы...

— Что, родить?

Жак с недоумением взглянул на Лили. Она невозмутимо смотрела вперед. На ее лице не было и тени улыбки.

— Иногда я сомневаюсь, что ты была танцовщицей. Настоящей танцовщицей.

- Я тоже сомневаюсь.
- Скажи, это было для тебя целью жизни?
- Что?
- Танец.
- Вот еще!
- Так чем же он был для тебя?

– Ну, чем? Ну... профессией. Только я очень мало работала, всего два года. Два выступления, по одному в год. Чтобы быть настоящей танцовщицей, нужно годами работать, постоянно выступать. Потом Поль-Антуан говорил мне, что у меня нет в танце идеи. Может быть, теперь бы он так не сказал.

- У тебя появилась идея?
- Трудно сказать. Я давно не слышала музыки.
- Там наверху есть приемник. Может быть, поймаем что-нибудь.

...Она не драматическая актриса, а танцовщица. Но ведь бывает так, что танец органически вплетается в драматическую ткань. Взять хотя бы Саломею. Она могла бы быть великолепной Саломеей. Жак в первый раз почувствовал духовную близость к ней.

Федор Николаевич встретил их на крыльце. Он кивнул Лили и, взяв Жака за локоть, повел в вестибюль. Лили поднялась наверх.

Когда она скрылась, Федор Николаевич протянул Жаку свернутую в трубку бумагу. Бумага содержала предписание майору Берзелину, Якову Антоновичу, явиться в комендатуру, имея при себе выданное ему вещдоловствие и запас провизии на два дня.

– Я уже звонил в комендатуру. Начальника не было. А из сотрудников никто не знает, куда тебя переводят. Но будь спокоен, ничего не будет.

- Не нужно ей говорить.
- Потом.
- Да, потом. Я не хочу объяснений.
- Мы тебя не оставим.
- Мы?
- Я говорю о себе, но уверен, что и она.
- Пусть она лучше сейчас думает о себе и ребенке.

18

Жак сидел на скамье рядом с такими же, как он, полувоенными-полугражданскими. На стенах висели портреты вождей и плакат. На плакате был изображен длинный состав теплушек. Из теплушек вылезают раненые, калеки. Их встречают женщины, старики и дети. Слева зеленеют три овейные весенним ветерком березы. Под ними полукругом надпись: «Родина ждет вас».

Лекция еще не началась. Кругом слышен говор, покашливание. Слева какой-то товарищ в выцветшей гимнастерке наклонился к Жаку и бросил: «Буза!»

– Что буза?

– Все. Нас запрут, как миленьких, увидишь. Может, лучше было там остаться?

Жак с возмущением отодвинулся от соседа.

– В Финскую ни один пленный домой не вернулся. Я знаю, сам там был, мерз вместе с другими.

– Да будет вам, все это буржуазная пропаганда, – возмутился Жак.

Сосед поднял кверху свой небритый подбородок:

– Конечно.

Он насыпал махорки в самокрутку и протянул пачку Жаку.

– Я так: будь что будет. Пусть лучше уж свои, а не фрицы над нами издеваются.

На трибуне появился молоденький майор. Он обвел собравшихся взглядом, улыбнулся и заговорил. Он начал читать с листа, но потом отошел от текста и стал говорить увлекательно и свободно. Товарищи, мол, подолгу были оторваны от Родины и не знают, что там происходило. Он рассказывал о проявленном советскими людьми героизме, о девушках и стариках, о солдатах и гражданских людях, отдавших свои жизни в борьбе за победу. Великая Отечественная война стала подлинно народной. Для народа и каждого человека в отдельности стоял вопрос: быть или не быть. Неожиданно майор остановился на полуслове и, достав из кармана брюк очки и какую-то бумажку, сказал:

– То, что теперь я вам скажу, это не мои слова, это слова вождя: «Не только те, кто попал в плен и испытал на себе всю тяжесть фашистской неволи, остаются дорогими сынами Родины. Родина прощает даже тем, кто поднял на нее руку. Забывшие

честь и достоинство советских людей смогут честным трудом загладить свою вину перед Родиной». — Взглянув поверх очков, он добавил: — Вы здесь находитесь, так сказать, в чистилище. Отсюда ведут, как вы сами понимаете, две дороги: одна вправо, другая влево. Кому будет хорошо, а кому и неважно.

Это было ясное предупреждение, однако Жак не придавал ему значения. Конечно, среди них могли затесаться предатели. Обязательно нужно выявить этих бациллоносителей фашизма, чтобы не дать распространиться заразе. Сам очаг заразы казался Жаку обезвреженным. День победы он отпраздновал вместе с другими полузаклоченными фильтрационного лагеря, как праздник восторжествовавшей справедливости. Утром состоялся митинг. Выступавший говорил о том, что отныне Советский Союз станет гарантом мира. Он произнес слово «гарант» с явным удовольствием, будто только что усвоил его, но умеет уже без труда произносить. После него выступили еще двое из числа «фильтруемых». Они говорили о страданиях, которые принес фашизм людям, о том, что ненависть к фашизму надо передать молодому поколению. Жаку казалось, что все эти речи бледны и унылы.

19

В красном уголке были разложены газеты. Жак накинулся на них, как изголодавшийся на кусок хлеба: успехи горняков Донбасса, новые фильмы, индустриализация Казахстана... Казалось, ничего не переменилось, все, как до войны. «Что это, нарочитое успокоение или действительность?» — спрашивал себя Жак.

День был строго размерен. С утра их выводили на зарядку. После завтрака два часа шагистики, как будто никто из них в армии не служил. Политчас. Его проводил тот же молоденький майор. Он утверждал, что в стране, куда они вернутся, многое изменилось. Жак хотел узнать, что именно. Вместо ответа майор стал говорить о великом русском народе, вынесшем на своих плечах основную тяжесть войны. Кто-то из сидевших рядом спросил: «Как с колхозами?» Майор вынул из голенища сапога брошюру и стал читать: «Партия и правительство постоянно стремятся к тому, чтобы устранить причины, вызвавшие в начале войны законное негодование русского человека». Все повер-

нулись к Жаку, когда тот спросил, изменилась ли национальная политика правительства. Майор покачал головой: откуда такие мысли? Жак ответил, что майор дважды упоминал русских и не говорил о других народах Советского Союза. Правда ли, что представители некоторых национальных меньшинств приветствовали немцев? Что он хочет этим сказать, спросил майор. Жак ответил, что ему показалось, будто другие народы не оказались на высоте положения. Подумав, он прибавил, что нельзя давать себя сбить с толку всяким суфлерам. Немцы наследили, нужно вооружиться большой тряпкой, это всем понятно. Но, моя половицы, надо следить за тем, чтобы самому не натоптать. Майор, видимо, решил, что Жак – большой путаник, и отвернулся от него.

Большинство фильтруемых принадлежало к кадровым военным. Они ждали распределения по ротам и батальонам. Каждое утро возникали разные слухи, к вечеру они выдыхались. Война кончилась, но все равно без кадровых не обойтись. Чистка, которую они проходили, была непременным условием продолжения службы. Все покорялись необходимости ходить на занятия.

Возвращаясь с занятий по строевой подготовке, Жак встретил на лестнице майора. Тот смерил его любопытным взглядом.

– Ваша фамилия Берзелин?

Жак утвердительно кивнул головой. Он никак не мог привыкнуть к военному церемониалу.

– Могу вас поздравить: ваша жена родила девочку. Вес – три с половиной кило, рост – пятьдесят два сантиметра.

– Где она? – Жак встрепенулся, ему не терпелось ее увидеть.

Нет, майор ничего не знает, он только получил извещение из политотдела. Жак вспомнил, что не написал Лили ни разу. И он хочет, чтоб она... Что он для нее? Ни муж, ни любовник. Говорят, женщины во время родов ругают мужчин. Ругала ли она его? Вряд ли. Лили скупа на выражение своих чувств. Ах, если б ругала! Как она могла отдаться ему? Ведь он не молод, не красив, и она его совершенно не знала. Почему женщина отдается мужчине – тайна.

Он с волнением думал о ней. Именно о ней, не о ребенке. Что такое три с половиной кило: кусок мяса, больше ничего! Но она! Ведь она родила, она мать.

Его вызвали в особый отдел. Такой же молодой, как и политрук, майор, предложил ему написать, как он попал в плен и что с ним в дальнейшем случилось. А также какие у него будут пожелания. Жак кивнул: ему ясно, что от него требуется. Он писал шесть часов подряд. Ему казалось, что он упускает что-то очень важное. Майор не стал при нем читать, сказал только:

– Хорошо, можете идти. Если будут нужны пояснения, мы вас вызовем.

Пояснения не понадобились. Жак чувствовал угрызения совести. Он написал 25 страниц и ни одной строчки Лили. В общепитии не нашлось ни чернил, ни бумаги. Это могло служить предлогом, но ведь он не писал совсем не по этой причине. Жак не знал, что писать. Что он любит ее? Как он мог признаваться в любви после всего, что случилось? Писать, что гордится своим отцовством? Это была бы неправда. А какое писать обращение? «Дорогая»? «Милая»? Или «любимая»? Каждое в чем-то обманывает. Или написать просто: «Хочу тебя видеть»? Можно свистеть собаке, но не ей. Она горда, сильна, сильнее его. Она ему и ребенка не навязывает. С него только требуется зарегистрировать брак, а там катись на все четыре стороны! Вот кто он ей: одна формальность! Он чувствует себя обиженным? Он чувствует себя выпоротым. И поделом!

На этот раз майор сух и официален:

– Собирайте вещи и будьте готовы к отправке.

– Куда?

– В Москву. Вы три с половиной года семьи не видели.

– У меня нет семьи.

– Но близкие люди есть?

Близкие? Нет, нет у Жака близких людей. За всю свою жизнь он не сумел приобрести друзей.

– Если можно, я прошу дать мне свидание с матерью моего ребенка.

– Фамилия?

Майор записал адрес.

– Писать туда бесполезно, она не успеет приехать. Но я позвоню в комендатуру. Если дадут машину, она через четыре часа будет здесь.

Жак поблагодарил. Ему оставалось только ждать.

Ему выдали три отреза на летнее и зимнее обмундирование, ремень, сапоги. Все это он оставит ей: может быть, пригодится. Он останется в том, что на нем и что ему выдали в лагере: темно-синий гражданский костюм, зеленоватая тирольская шляпа и пара подбитых гвоздями ботинок. В чемодане у него белье и три книги, взятые из библиотеки доктора Вайссмана.

Четыре часа. Лили нужно четыре часа, чтобы приехать сюда. При условии, что ей дадут машину. Если Ковальчук еще там, он постарается. Он все может сделать, если захочет. Жак слышал, что в Москву отправляют самолетом. Самолеты вылетают по утрам. А до аэродрома ведь тоже надо еще добраться.

Что он скажет Лили, если она приедет? Он ей ничего не скажет, не может сказать.

Обед. Товарищи строят предположения, куда кого назначат. Жак знает: его никуда не назначат. Может быть, демобилизуют? Это было бы лучше всего. Он мог бы заняться делом.

Жак садится на койку и углубляется в книгу.

Уже вечер, а Жака все не вызывают. И Лили нет. Может быть, завтра?

После ужина Жак бродит по лагерю с чувством расставания. Когда-то здесь находилась эсэсовская часть. Говорят, в подвале была обнаружена камера пыток. Жака этим не удивишь, но некоторые из его товарищей обходят окна подвала с суеверным страхом.

20

Уже стемнело, когда за Жаком пришел вестовой. В передней особого отдела никого не было. Сквозь приоткрытую дверь Жак увидел майора в соседней комнате. Тот перебирал какие-то бумаги. Он вышел и, запирая за собой дверь, сказал, что звонил в комендатуру. Там ответили, что если можно будет, жену отправят, но если не удастся, пусть Жак оставит ходатайство на буфете. Не успел Жак поставить свою подпись, как за ним пришли. Внизу грузили на машину какие-то ящики. Потом

привели группу бледных граждан без галстуков, ремней и подтяжек. Их усадили на ящики. В кузов к ним забрались трое автоматчиков. Жак стоял, не зная что делать. Появился лейтенант с портфелем.

— А вас это не касается? — прикрикнул он на Жака.

Жак понял, что и ему нужно забираться в кузов. Он поднял свои чемоданы, ему никто не помог. Он не успел усесться, как машина тронулась. Попутчики молчали, но Жак узнал в них немцев.

Ехали долго, часа два, на полном газу. В темноте появились какие-то постройки. Жак различил в свете фар мачты радиостанции. Появились солдаты с голубыми погонами и стали выгружать ящики. С пассажирами они обращались бесцеремонно, толкая их во все стороны. Когда ящики были выгружены, им велели слезать.

Их повели в какое-то помещение, где на полу валялось человек двадцать таких же демонтированных субъектов. Они приветствовали пришельцев негромкими возгласами удивления и сочувствия. К Жаку они отнеслись дружелюбно, освободив ему место в углу и называя «камерадом». Он не стал с ними говорить, сидел, понурившись, и курил одну папиросу за другой. Немцы выпрашивали у него окурки и были безмерно удивлены его щедростью, когда он, вынув пачку папирос, раздал их.

Когда дверь открылась, светало. Двое солдат внесли корзину с хлебом и колбасой. Немцы ели, чавкая, и издавали звуки удовлетворения. Жаку есть не хотелось, он отдал свою порцию соседу. Тот провозгласил его своим благодетелем. Эта лесть показалась Жаку противной, и он отодвинулся от немца.

Их вывели в поле. На взлетной полосе стоял двухмоторный «Дуглас». Откуда-то появился взвод автоматчиков, они оцепили посадочную площадку.

К одноэтажному зданию радиостанции подрулила машина. Из нее вышел военный и женщина с ребенком на руках. Жак обернулся, когда сзади услышал голос Лили. Он бросился к ней, но его остановил один из автоматчиков: «Куда!» Сопровождавший Лили незнакомый Жаку лейтенант подошел к распоряжавшемуся посадкой майору. Он показал ему какую-то бумагу. Майор прочитал бумагу и посмотрел на Жака.

Автоматчики не мешали Лили подойти Жаку. Он стоял, тяжело дыша и опустив голову. Лили взяла его за руку и откинула прикрывавший личико ребенка кончик одеяла. Девочка почувствовав прикосновение руки, чихнула, ее ротик растянулся, появились две ямочки на щеках. Ребенок улыбался. Жак склонился над этим улыбающимся личиком. С чувством радостной благодарности он обнял мать и ребенка. Жак благодарил ее за то, что она дала жизнь ребенку, а ребенка – за то, что он жив.

– Мы летим с тобой, – сказала Лили. – У меня есть разрешение.

Тяжелое предчувствие свалилось на Жака. У него защипало в глазах.

Часть третья

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глава 1. Смещенные горизонты

1

Земля, как подстреленная куропатка, переваливалась с боку на бок. Самолет шел на посадку.

Под крылом появилась запруженная баржами и плотами река. К реке сбегались, как на водопой, дома. Жаку захтелось провести рукой по загривкам их крыш. Он взглянул на Лили. Ее лицо ничего кроме усталости не выражало, под глазами синели круги. Ей стоило огромного труда получить разрешение сопровождать Жака в Москву, теперь напряжение сменилось апатией. Она плохо переносила качку. Когда над Польшей самолет попал в кучевые облака, его швыряло вверх и вниз. Жак взял ребенка на руки, иначе бы она его уронила.

Он вспомнил, что у ребенка должно быть имя, но он стеснялся спросить Лили. «Безымянная. Хорошее имя», — подумалось ему.

— Дай мне Иренку, — сказала Лили, как будто угадав его мысль.

Толчок о землю прервал его размышления. Жак не думал, что его ждет. Он пытался только внести порядок в сумятицу мыслей и ощущений последних дней, последних часов. Это ему плохо удавалось.

Самолет подрулил к зданию аэровокзала. Жак слышал, как снаружи приставили трап, видел, как открылись дверцы, но не поднимался с места. Лили смотрела на него остановившимися как будто в испуге глазами. Немцы повалили гурьбой, внизу их окружили стрелки и отвели в сторону. Жак ждал, пока они сошли, взял чемодан и, спустившись на несколько ступеней по

трапу, подал Лили руку. Лили ее не взяла и сбежала вниз, почти танцуя. У Жака мелькнула мысль, что ее усталость была притворной, но он устыдился, вспомнив ее появление на аэродроме в Германии. Тяжело ступая под своей ношей, Жак спустился вниз. Внизу подошли двое в кепках. Один из них вынул какую-то бумажку и спросил, не обращая внимания на остановившуюся в нескольких шагах Лили:

– Берзелин Яков Антонович?

– Да...

– Пройдемте с нами.

– Чего им? – спросила Лили, перебрасывая взгляд с одного кепкастого на другого.

– Он говорит, что нужно выполнить какие-то формальности, – солгал Жак.

У Лили было выражение лица, будто она решала сложную задачу.

– Я пойду тоже, – сказала она, с трудом выговаривая слова.

– Минутку, – сказал тот, который читал бумажку. Он потянул Жака за рукав. – Мы ненадолго задержим вашего...

Жак кивнул. Пусть она думает, что он идет с ними добровольно и ничего не опасается. Не прибавлять же к ее естественному беспокойству еще и тревогу за его судьбу.

Они быстро прошли к зданию аэровокзала. Лили рванулась вслед за ними, но васильковые фуражки преградили ей путь.

– Скорей, – оперативник незаметно ткнул Жака в спину. На верхней ступеньке лестницы он схватил его за руку.

– Оружие!

Оружия у Жака не оказалось.

– Объясните...

– Идите, там объяснят.

2

Перед ним открылась дверь. Он очутился в комнате, единственным убранством которой был некрашенный стол и два стула. Снаружи на окнах виднелась фигурная решетка. Она была желтая и выглядела бутафорски. Жак присел на один из стульев, но тут же встал и прошелся по комнате. Ясно. Его задержали. Теперь ему казалось, что он этого ожидал. Не должен ли он был предупредить Лили? Жак вспомнил Корнблюта. Сколько раз

странная нерешительность делала его повинным в несчастьях других!

Ключ в двери повернулся, и те же двое повели Жака вниз. Возле здания аэровокзала стояла обитая черной жстью грузовая машина с единственным зарешеченным окошком позади. Жака засунули в один из металлических отсеков, расположенных по обе стороны коридорчика, и машина тронулась.

«Везут на Лубянку», — сообразил он. Дорога заняла, однако, больше времени, чем он предполагал. Когда, наконец, открылся металлический ящик, Жаку показалось, что он очутился на дне колодца: зеленоватые, покрытые плесенью стены поднимались вверх, где темнел подсвеченный звездами клочок неба. На дне колодца фыркали машины. Кругом, на высоте второго этажа, горело ожерелье электрических лампочек в сетчатых намордниках.

Жак тут не был новичком. Только тогда, в 38-м, он попал прямо в кабинет следователя. Теперь его ввели, так сказать, с заднего хода, мимо пахнущего баней помещения в вестибюль, из которого веером расходились коридоры. К стенам были прикреплены напоминающие шкафы боксы. В один из них заперли Жака. Через час накормили обедом и повели на шмон. Обыск производил пожилой медлительный старшина. Жак нашел свой чемодан нераспакованным, вынул ключ и стал вместе со старшиной проверять его содержимое. Старшина одобрительно крикнул, когда Жак, сняв ремень, положил его в чемодан и, связав три носовых платка, подпоясался ими. Старшина долго размышлял над подбитыми башмаками Жака, затем вынул из кармана кусачки и принялся методически откусывать головки гвоздей. Жак уселся на скамью и с вздохами наблюдал, как от башмаков отходили подошвы.

— Вы, я вижу, опыт уже имеете, — сказал старшина. — Тапочки надо было захватить.

— Меня забрали на аэродроме.

Старшина не высказал удивления; закончив свою операцию и подслеповато шурясь, он подsunул Жаку какую-то бумажку и показал где расписаться.

Затем Жака снова отвели в бокс, но ненадолго. Осматривавшая его женщина-врач нашла Жака «в полном порядке» Она посмотрела на выколотый на руке номер и записала его в рубри-

ку «особые приметы». Потом Жак несколько часов смотрел на раскаленную нить элетролампочки. У него отобрали часы, но он угадывал время: было два часа, когда его повели на допрос. Следователь, молодой еще человек, назвав Жака по имени и отчеству, осведомился о его самочувствии, затем принялся сверять персональные данные. Жак отвечал с величайшей готовностью исправить малейшую неточность. В боковую дверь вошли двое: полковник и некто в гражданском. Полковник уставился на Жака и кивнул гражданскому: «тот самый».

— Раз вы попались, Берзелин, я бы посоветовал вам чисто-сердечно сознаться в ваших преступлениях.

Жак поблагодарил полковника за добрый совет, но заметил, что за вою жизнь он совершил столько преступлений, что ему трудно сообразить, в каком именно он должен сознаться.

Полковник казался вначале озадаченным, затем налился кровью и крикнул:

- Не забывайте, где находитесь!
- К сожалению, я этого забыть не могу.
- Выпишите ему четверо суток!

Полковник повернулся к двери, пропустив сопровождавшего его штатского.

Следователь с сожалением покачал головой:

- Не ожидал от вас, Берзелин.

Жак удивился, когда из комнаты следователя его спустили на лифте на четвертый этаж и выдали постельное белье. Камера напоминала номер провинциальной гостиницы. Вдоль стен стояли койки. С одной из них поднялся человек, будто посыпанный пылью. Он указал Жаку свободную койку и спросил шепотом, чтобы не разбудить других, кто он, откуда, за что и когда. «Мы здесь все военные», — пояснил он.

В эту первую ночь в тюрьме Жак долго разглядывал разложенное на койке постельное белье. Белье хранило запах стирки, свободно гуляющего ветра. Было паршиво.

3

Лишь месяц спустя Жаку показали под расписку ордер на арест. Товарищи по камере отсоветовали ему заявлять протест: «Ничего не выйдет». Все же Жак написал заявление прокурору. Он писал: «У меня такое впечатление, будто я переплыл

бурную реку с множеством подводных камней и водоворотов, и когда выбрался, наконец, на спасительный берег, он оказался болотом».

В следующий раз во время допроса в кабинет то и дело заходили какие-то молодчики и, показывая на Жака пальцами, хохотали: «Поэт?!» Следователь каждый раз подтверждал: «Он самый».

Однажды по окончании допроса следователь, устало уставясь на спинку кресла, сказал, не глядя на Жака:

– Возможно, в другое время вы отделались бы легким испугом, а теперь придется загорать.

– Почему? – поинтересовался Жак.

– Наши успехи вызывают противодействие со стороны классового врага.

– Я – классовый враг?

Следователь ничего не ответил и, подняв трубку, проговорил:

– Увести...

В другой раз следователь объявил:

– Так называемая подпольная антифашистская группа в лагере была на самом деле не чем иным, как созданной с провокационной целью по указанию гестапо организацией. Во главе ее стоял заведомый провокатор Гезельхер.

Он просверлил глазами Жака и добавил:

– Ваша же позорная роль заключалась в том, что, выдавая себя за еврея, вы втирались в доверие к заключенным еврейской национальности и устанавливали за ними слежку. По прибытии в лагерь вас поместили в так называемый оздоровительный барак, где вы получили усиленное питание и были освобождены от работы. После выписки вас назначили диспетчером авторемонтного завода, хотя у вас не было надлежащей квалификации. Не только ваша измена родине, но и предательство по отношению к вашим товарищам очевидны и совершенно беспорны.

Жаку показалось, что какая-то птица опустила на его голову и клевала мозг. Масляным пятном всплыла соглашательская мысль: «А вдруг организация была действительно создана гестапо, а мы об этом не знали?»

Яркий свет настольной лампы слепил глаза. Жаку показалось, что за его спиной стоят Яша, Пашка, Руди, Корнблют,

толпа гефтлингов. Жак испуганно повернулся. Следователь поставил перед ним стакан воды.

До сих пор история представлялась Жаку отвлеченной. Вдруг он обнаружил, что участвует в ней. Раньше отступление от исторической правды казалась Жаку допустимой художественной вольностью. Теперь эта вольность ударила по нему. Из абстрактной истории недавнее прошлое превращалось в его собственную судьбу.

– Историю нельзя толковать как угодно, – сказал он вслух и замолк.

Следователь пожал плечами:

– Ерунду говорите.

4

К мнению следователя присоединились товарищи Жака по камере. «Пыльная голова» – нещедрый на высказывания староста камеры – заявил, что при существующей системе следствия шансы на выявление истины ничтожны. Бюрократизм цепко держит следователей в своих разграфленных когтях. «Пыльная голова» говорил со знанием дела – он был военным юристом первого ранга.

Другим соседом Жака был румынский генерал. Он цеплялся за Жака и рассказывал ему скабрзные истории: один Жак понимал его французскую тарабарщину. Младшим по званию в камере был капитан танковых войск. В сорок втором он попал в плен, бежал и сражался в одном из партизанских отрядов Белоруссии. После демобилизации его арестовали, обвинив в том, что он был подослан немцами. Жак чувствовал к этому морально раздавленному человеку глубокую симпатию не только из-за сходства их судеб, но и потому, что капитан невыносимо страдал от крушения своих представлений о советском правосудии и непогрешимости советских чекистов. Пятым в камере был болтливый начштаба дивизии. Хвастаясь своими связями в высших сферах, он выставлял напоказ продажность и бездарность «некоторых руководящих товарищей». Захлебываясь от восторга, он повествовал, как один военачальник тащил с собой в обозе десятки пианино, тюки ковров и в придачу целый гарем. Начштаба был Жаку глубоко противен.

Однажды под вечер двери открылись, и сержант вызвал заключенного на «Б». Жак собрал свои пожитки и, попрощавшись, стал себя подбадривать: «Хуже, чем было, не будет».

Новое место заключения – новый мир. Где-то совсем близко была аэродинамическая труба. С утра и до вечера она исторгала страшный вой, превращая все остальные звуки в пыль. Эта пыль оседала и грозила удушьем каждому.

Полукруглый свод над головой и маленькое высоко встроенное оконце действовали угнетающе. В камере оказались двое – генерал-майор и полковник. Они принадлежали к числу «законсервированных». Следствие по их делам было закончено, их держали «до особого распоряжения». Иногда то одного, то другого вызывали к следователю, тогда оставшийся в камере предупреждал Жака о грозящей ему со стороны отсутствующего опасности: «Наседка!» Жак был уверен, что когда его вызывали к следователю, те двое так же называли его.

В тридцать восьмом году генерал-майор, еще в звании полковника, был обвинен в участии в так называемом офицерском заговоре. Продержав год в тюрьме и допросив с пристрастием, полковника освободили. В сорок третьем он командовал корпусом, отличился и был награжден орденом Ленина. С фронта его откомандировали в академию. Кто-то донес, что он, не стесняясь в выражениях, высказывался по адресу верховного командования. В те годы такая бдительность вменялась в обязанность.

Что касается полковника, то с ним обращались жестоко, требуя признания, что он был подкуплен немцами. Отягощающей уликой служила его немецкая фамилия. На самом деле он был сыном чешского краснодеревщика и родился в Питере. Он был крупным специалистом по зенитной артиллерии, талантливым математиком. Время пребывания в тюрьме он использовал для изысканий в области теории чисел. В сороковом году он, как член коллегии военных специалистов, посетил Германию. После войны членов делегации арестовали по обвинению в преднамеренной дезинформации советского правительства.

Несмотря на все примеры обратного, Жак верил, что правда восторжествует. Крушение Третьего Рейха укрепляло его в этой вере.

Сквозь посиневшее от времени тюремное оконце в погожие летние дни в камеру проникал и двигался по стене луч света. Что бы ни происходило, луч продолжал свое путешествие, пока не исчезал в простенке. Это было и утешением, и предостережением: поступь времени одинакова и в счастье и в несчастье.

5

Следствие продолжалось. На смену подверженному иногда приступам чувствительности молодому следователю пришел представитель карающей Фемиды в ранге подполковника. Он восседал за своим письменным столом наподобие Будды, которому земные страсти и страдания нипочем. Своими квадратными челюстями он разламывал в труху любые возражения и оправдания. Разрозненные факты он свел к системе: выходило, что преступление Жака было подготовлено его воспитанием, а идеологические шатания присущи ему как представителю мелкобуржуазного класса. Тот, кто мог клеветать на вождя народов, способен на все. Подлинные слова Жака о Сталине в протоколе приведены не были: слишком кощунственно они звучали.

– Вы откровенны только в мелочах, а основное утаиваете, – кричал следователь.

Он по десять раз переделывал протоколы. Когда в камере Жак высказал недоумение, более опытные товарищи подняли его на смех: «Ведь он за каждый лишний час получает сверхурочные!»

Жака допрашивали каждую ночь, а днем ему не давали спать. Он был доведен до такого состояния, что все стало ему безразличным. Не моргнув глазом, он мог бы подписать и свой смертный приговор.

Жак тешил себя мыслью, что каждый новый протокол опровергает предыдущие. Он не знал, что по мере того как появлялись новые редакции, старые уничтожались. В конце концов выяснилось, что Жак чуть ли не с пеленок был контрреволюционером. Все это было настолько несуразно, что, пожалуй, любой судья, прочитав показания, должен был придти к выводу, что либо Жак, либо следователь спятил с ума. Жак и здесь ошибался: никакой судья не читал протоколов. Жак был осужден заочно Особым Совещанием.

Когда Жака известили, что он приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) «за измену родине», у него возникло ощущение, что он участвует в фарсе, разыгрываемом трагедийными актерами. Он иронически поклонился сотруднику, предложившему ему подписать извещение, и сказал:

– Теперь я знаю, кто я есть.

6

Старшина схватил чемоданы Лили и понес их к легковой машине. Она не удостоила его взглядом и пружинистым шагом направилась к зданию аэровокзала, куда кепкастые увели Жака. Старшина бросил чемоданы на полпути и поспешил за ней. К счастью, на крыльце аэровокзала появилось начальство.

– Кэскэ ву вуле?¹ – запальчиво спросила Лили старшину.

Тот отступил, давая начальству место для разбега.

Но кепкастые не воспользовались этой возможностью. Они вежливо поклонились.

– Вы навлекаете на себя неприятности, – сказал старший из них, вынимая руку из кармана пальто. Рука была влажной. «Какой дурак предписал носить летом плащи!» Громко он сказал:

– Полковник Ковальчук ждет вас у себя дома.

– О! Колонэль Ковальчук! – с радостным оживлением подхватила Лили, – коман се порт иль? Же не ле вю депкуи...²

– Уй³, – сказал тот в явном замешательстве.

– Где он есть? – подбирая слова, спросила Лили.

Интуитивно тот понял, что Лили валяет дурака. Он тронул пальцем козырек кепки.

– Хорошо, – сказала она.

Ее усадили в машину. Один из оперативников сел рядом, другой возле водителя. «Эмка» тронулась. Они выехали на бульвар. Полуразвалившиеся двухэтажные домишки чередовались с высокими зданиями современного типа. На площади стояли неубранные противотанковые «ежи». Лили с любопытством

¹ Что вам надо? (фр.)

² Как он себя чувствует? Я не видела его с тех пор... (фр.)

³ Да (фр.).

оглядывалась, запоминая каждую деталь, как мальчик из сказки: были бы камешки, она бы побросала их, чтобы отметить дорогу. Улицы становились теснее. Они въехали в поднимающийся в гору переулок и остановились у пятиэтажного дома. Сидевший возле водителя оперативник взял чемодан Лили, а молчавший всю дорогу ее сосед, открыв дверцу, сказал:

– Пожалуйста.

Они поднялись на третий этаж. Оперативник вынул из кармана ключ и отпер дверь. В первое мгновение Лили заколебалась, но оперативник повторил свое «пожалуйста» на этот раз более настойчиво. Она вошла.

Квартира казалась необитаемой. Столовая была обставлена мебелью светлого дуба, которая казалась только что доставленной из магазина. На столе лежала сохранившая складки скатерть. Занавески на окнах топорщились от крахмала.

Воспользовавшись тем, что оперативники удалились на кухню, Лили села на диван, развернула ребенка и дала ему грудь.

Она не заметила, как дверь в квартиру открылась. Кто-то прошагал по коридору, вошел в кухню. Потом вернулся и постучал, хотя дверь была открыта.

– Прошу прощения. Все это было для меня полной неожиданностью. Предупредить я не мог.

– А, мсье Ковальчук, – не выказав никакого удивления, произнесла Лили и прикрыла грудь.

Молчание. Оно позволило Лили привести себя внутренне в порядок. Она взглянула на Ковальчука и поиграла пальцами.

– Вы мне как-то сказали, мсье Ковальчук, что не следует ничего начинать, если не представляешь себе конца. Мне кажется, что о конце вы не задумывались. И потом: вы знали не хуже меня, что ожидает Берзелина. Вы приложили руку к тому, чтобы было так, а не иначе. Вы сбились с пути, мсье Ковальчук, это на вас не похоже.

Она была рада, что может говорить с этим человеком по-французски. Федор Николаевич подошел к окну, опустил шторы и закурил.

– Вы хотите знать правду? Правда, дорогой товарищ, это бедная невеста. Давайте соберем ей приданое. Вы сообщите то, что вы знаете, я свое уже сообщил, а там разберутся, из какого материала шить фату.

– Мсье Ковальчук, – не унималась Лили. – Вы начинаете меня пугать. Вы шутите, а это у вас не получается.

– Я не шучу. Было бы можно шутить, я бы это сделал, чтобы вас успокоить.

– Вы можете обижаться на меня, но я вам скажу: вы бываете храбрым там, где требуется действие, но в мыслях вы трус. Вы даже боитесь высказать свое мнение. И еще хочу сказать вам: я буду добиваться освобождения Берзелина. Я пошла на то, чтобы сопровождать его в Россию, потому что хотела защитить его.

Федор Николаевич взглянул на Лили.

– Ваши люди привезли меня сюда и сказали, что это ваша квартира. Зачем все это? Когда Берзелина отправили в фильтрационный лагерь, вы мне сказали, что это ничего, что все военнопленные должны пройти проверку. Как это называть?

– Все это не так просто, как вам кажется. На судьбу Берзелина я никакого влияния оказать не мог. Что касается квартиры, то она действительно моя. В том смысле, что предоставлена в мое распоряжение. Правда, я ею редко пользуюсь. У меня много работы, я, можно сказать, не выхожу из кабинета.

– Какая работа? Невинных сажать?

– Лилиана Самуиловна, вы заблуждаетесь и меня оскорбляете. Я никакого отношения к арестам не имею.

– И к аресту Берзелина?

Он двинул плечом.

– Вся беда в том, что им заинтересовались. Вы его, конечно, знаете с хорошей стороны, но это не все. Человек может оказаться и таким и сяким.

– Почему вы пытаетесь очернить его, мсье Ковальчук?

– Напрасно вы так думаете.

– Послушайте, я знаю Берзелина не только с хорошей стороны. Но знаю также, что он не предатель. И самое страшное, что вы делаете вид, будто не убеждены в этом.

– Даже если бы я был уверен в его невинности, я бы ничего сделать не мог.

– Почему?

– В отношении таких, как Берзелин, есть установка.

– Какая?

– Лес рубят – щепки летят.

– А почему лес рубят?

– Видно, так надо.

– Вы не знаете? Но хотя бы догадываетесь?

– Я гадать не люблю, Лилиана Самуиловна. Я жду, пока мне разъяснят. Так меня воспитали.

– И вы всегда ждете разъяснений?

Он помолчал, потом сказал:

– Боюсь, вы этого не поймете. Есть слепое послушание, но есть и послушание, основанное на доверии. Я доверяю человеку, который руководит страной, который привел нас к победе и направляет все наши усилия. Я не могу ему не доверять. Иначе мне пришлось бы усомниться во всем, даже в самом себе.

– Вы хотите сказать, что Сталин знает все?

– Товарищ Сталин знает все существенное.

– Сталин знает и про арест Берзелина?

– Берзелин не такая личность, чтобы им интересовался товарищ Сталин. Берзелин в числе тех, которых велено изолировать. Не нам с вами судить, правильно это или нет. Для меня совершенно достаточно, что это делается с ведома товарища Сталина.

– Значит, о действиях Сталина мы не имеем права судить?

– С вами опасно говорить. Вы еще станете утверждать, что товарищ Сталин ошибается.

– Вы очень боитесь такого предположения?

Ковальчук не ответил. Он прикидывал в уме, во что ему обойдется эта женщина. Не в деньгах, конечно, дело. Но что будет, если вскроется, что он, прикрываясь своим служебным положением, прятал ее в своей казенной квартире. Ведь и сама она довольно сомнительная личность. Роясь в архивах лагерной администрации, он наткнулся на предписание Гимmlера щадить заключенную Шаригёс, урожденную Брон. Что означает эта забота о еврейке, обвиненной к тому же в связи с движением Сопротивления во Франции? К тому же еврейка ли она? Ведь из другого документа следовало, что ее отцом был венгерский магнат граф Чакки. И чего он сам от нее хочет? Он упорно не признавался себе в том, что ни одна женщина не производила на него такого впечатления, как эта. Она неотступно занимала его воображение, мешала ему работать. Он впитал в себя ее голос, движения, весь ее облик. Не запутался ли он вконец?

Он с опаской взглянул на Лили: как бы она своим женским чутьем не догадалась о его смятении. Что еще могло придать ей смелости так говорить с ним?

— Я хотела бы знать, — снова заговорила Лили, — чего я могу ожидать от вас. Но я хочу предупредить: не думайте, что я нахожусь в вашей власти. Насколько мне известно, в Москве имеется французское посольство.

Ковальчука аж передернуло.

— Если у вас есть намерение обратиться за защитой в представительство пока еще буржуазного государства, то нам с вами не о чем говорить. Я не намерен вам доказывать, что такой шаг был бы бесполезен, я хочу только сказать, что вы выбрали неправильный путь. Что касается меня, то я прошу считать меня посторонним лицом. Я интересовался вами, не Берзелиным. По отношению к вам я не чувствую никакой вины. Я передаю эту квартиру в ваше распоряжение. В Москве это много значит. В правом ящике буфета лежат деньги. Обеды вам будут приносить на дом, молоко тоже. Больше я ничего для вас сделать не могу. Обычно говорят «хочу, но не могу», но я этого не скажу. Вам это нужно знать, чтобы не ошибаться.

— Я не говорю «спасибо». Ведь я не знаю, зачем вы это делаете.

Он кивнул, не то в знак согласия, не то прощаясь.

7

Варвара Николаевна, немолодая женщина, прибирала в квартире и приносила молоко по утрам и обед и ужин из столовой. Она делала вид, что отношение Ковальчука к хозяйке ее не касается. Лили понимала, что она приставлена к ней еще и для наблюдения, но ей это не мешало относиться к женщине просто, искренне. Та, казалось, платила ей взаимностью. Маленькую Иренку Варвара Николаевна полюбила и приносила ей леденцы, пока Лили, опасаясь за желудок ребенка, не запретила ей этого.

— Не бойся, я таких пятерых вырастила, — возразила та. — Тоже без мужика. Старшему теперь двадцать два. Воевал, под Берлином стоял. Теперь врагов народа стережет. Младшая в четвертый класс ходит. Парнишка в ремесленном. Еще одна дочка на заводе. И все они у меня от разных хахалей.

Варвара Николаевна испытующе поглядела на Лили. Та поежилась.

— С моим мужем произошло несчастье.

Варвара Николаевна вздохнула.

— Жив?

Лили кивнула.

— А как если встретить придется? Ты же к другому ушла!

— Нет, сказала Лили, — ни к кому я не ушла и не уйду.

— Не зарекайся. С молодостью и гордость проходит. Будешь ждать, состаришься, а там — кому нужна? Опять же, дочку воспитывать придется. Одной-то тяжко.

— Вы же смогли.

— Я? Ты себя не равняй. Ты хоть и ученая, а в жизни что понимаешь?

Лили задумалась. Жизни она действительно не знала. Детство, юность, краткая влюбленность. Все это протекло, как за окном вагона. Тюрьма, лагерь, борьба за Жака. Вот и весь ее опыт. Боже мой, хватит ли его! А может, она слишком понадеялась на себя, чтобы приехать в эту страну, которая поглотила Жака и, чего доброго, поглотит и ее?

Ей сделалось страшно.

8

Федор Николаевич появлялся нерегулярно, один-два раза в неделю, приносил книжки, в основном французские романы, изданные столетие назад. На книгах стоял штамп: «Клуб работников НКВД — НКГБ». Когда он приходил, Лили ставила чай и шла переодеваться. Даже когда они не выходили, она одевалась так, будто собиралась в гости. Выходное платье служило ей броней, которая позволяла чувствовать себя менее уязвимой. Несколько раз Ковальчук возил ее в театр, на оперные и балетные спектакли. Оперы казались ей скучноватыми, действия нужно было дожидаться уж слишком подолгу. Что касается балета, то Лили была поражена техническим совершенством танцовщиц, но в целом и балет оставлял ее равнодушной.

— Красиво, но бездумно, — сказала она Федору Николаевичу, долго подбирая слова на русском языке.

Был антракт. Они прогуливались по широкому коридору, окружавшему ложи. Сквозь застекленные двери фойе видне-

лись плывущие, как в аквариуме, фигуры. Лили подумала, что с той стороны и они кажутся какими-то рыбами.

Она заговорила о своей бездеятельности.

– А что вы умеете делать? – спросил Федор Николаевич.

– Я училась танцу, потом работала секретаршей...

Не совсем уверенная, какое впечатление произведут ее слова, она подняла глаза. Ковальчук внимательно смотрел на нее.

– Об этом надо подумать, – сказал он наконец.

Лили кивнула. Она была благодарна Федору Николаевичу хотя бы за то, что он старается ее понять.

Из театра возвращались пешком. Была гололедица, и Лили, поскользнувшись, схватила Федора Николаевича за руку. Он поддержал ее за локоть, как ей показалось, дольше, чем следовало бы.

– Не надо, – сказала она, пытаясь освободиться.

Он прижал ее локоть еще сильнее.

– Вы ожидаете от меня платы за ваше обещание помочь мне найти работу? – спросила Лили.

Он отпустил локоть.

– Во-первых, я вам не обещал, а во-вторых... Послушайте, Лили...

Первый раз Федор Николаевич назвал ее по имени.

– У меня обычно не хватает времени, чтобы разобраться в моих чувствах. Вы мне просто нужны. И очень.

Она ждала, что он еще скажет, но Федор Николаевич молчал.

– Это накладывает на меня какие-нибудь обязательства?

– Не обязательства, но, если можете, помогите мне... Это было бы просто по-человечески.

– А вы всегда относились ко мне «просто по-человечески»?

– С вами в мою жизнь вошло что-то, чего мне не хватало. Я даже думаю, что без этого жить чрезвычайно трудно. Неудивительно, что я пытаюсь задержать вас, пересадить в свою почву.

Она задвигала нижней челюстью и тихо сказала:

– Не смейте. Вообще. Между нами Берзелин.

– Берзелин – это призрак. Он не может стоять между нами.

– Однако это удобно – превратить человека в призрак, а потом...

Ее голос прозвучал на морозе звонко и резко, как разбивающееся стекло.

— Я уже говорил вам, я тут ни при чем. Но я вам не мешаю предпринимать что хотите для его освобождения.

— Не мешаете, но и не помогаете?

— Если я добиваюсь чего-нибудь, то рассчитываю только на себя.

Он подвел ее к дому и остановился. Лили равнодушно встретила его вопросительный взгляд и сказала, глядя поверх него:

— Я постараюсь следовать вашему примеру.

9

Она узнала адрес приемной председателя Президиума Верховного Совета. Записалась. В день приема она нервничала. Иренка капризничала. В сердцах она ткнула ей соску.

— Так не годится. Может задохнуться.

Варвара Николаевна взяла девочку на руки. Та сразу притихла. Лили ревниво глянула на домработницу.

Ее принял один из секретарей в полувоенной форме. Рассеянно выслушав, заявил, что нужно ждать окончания следствия. Лили обратилась к генеральному прокурору. В ответ она получила письмо на бланке. Только фамилия была вписана от руки. Содержание было то же.

Бланк остался лежать на столе, когда вечером пришел Федор Николаевич. Лили была на кухне. Федор Николаевич взял письмо, стиснул зубы, сделал несколько шагов к двери.

— Что это такое? — спросил он, когда Лили вернулась в комнату.

— Вы же обещали, что не будете мешать!

— Письмо пришло на мой адрес.

— Ну и что?

— Как вы не понимаете? Я — государственный служащий, и квартира эта казенная.

— А ходить со мной в театр, это вы можете?

— На это я могу ответить. А тут квартира.

— Простите, — сказала она. — Я попытаюсь найти другую квартиру.

— Я вам запрещаю, слышите?

— Что?

Ночь она провела за письмом к Сталину. Она сначала написала по-русски, потом разорвала это письмо. Ей казалось, что она путается в каких-то языковых дебрях. Решила написать по-французски.

Следующий день прошел в поисках комнаты. Когда вечером она, измученная, вернулась домой, на столе лежала записка от Федора Николаевича: «Я погорячился. Все равно завяз. Простите. Оставайтесь на месте. Между прочим, квартиры вы все равно не найдете. Только если будете писать, дайте обратный адрес до востребования».

На третий день она получила повестку: «Явиться в бюро пропусков НКГБ»

Что это могло значить? Она пошла по указанному адресу. В бюро пропусков долго сверяли повестку с какими-то списками, куда-то звонили. У окошка стоял человек в шинели без погон, потом придвинулся, как будто нечаянно, и спросил со школьным произношением:

– Парле ву франсэ?¹

– Бьен сюр².

Человек сдвинул фуражку на голове, лоб был прорезан шрамом. Он сделал ей знак отойти в сторону.

– Вы хотите что-нибудь узнать или вас вызвали? – спросил он по-русски. Очевидно, запас французских слов у него иссяк.

– Я вас не понимаю, – ответила Лили. – Кто вы?

– Я партизанил в Лотарингии. По произношению понял, что вы француженка.

– Так что?

– Если можете, сматывайтесь отсюда. Если нельзя – вы ничего не знаете. Это будет лучше для вас и для тех, с кем вы имели дело.

– Не понимаю, – повторила Лили на этот раз искренне и настойчиво. – Что вы хотите этим сказать?

Человек со шрамом махнул рукой.

– Ну вас к черту!

Лили оглянулась. Помещение было полно людей. В окошко высунулась голова дежурного.

– Фамилия?

¹ Вы говорите по-французски? (*фр.*)

² Конечно (*фр.*).

– Шеригёс.

В ее руках был пропуск.

Лили оглянулась. Партизана не было. Она вышла на улицу. После грязного, затоптанного помещения улица оказалась ей опрятной. С тихим шелестом сновали троллейбусы. Остановленные на перекрестке легковые машины нетерпеливо хрюкали, как стадо свиней. Стоит ли туда идти, может, вернуться? За дверью внушительного здания в стиле ренессанса гладко выбритый сержант проверил ее пропуск. Потом передал другому. Тот повел ее по лестнице, на каждом этаже менялась эстафета. По обе стороны стояли, как изваяния, солдаты с винтовками. На пятом или шестом этаже провожатый остановился. Он открыл перед нею дверь:

– Проходите.

Сержант подошел к письменному столу, за которым сидел человек в штатском, что-то сказал и положил пропуск на стол. Человек в штатском бегло взглянул на Лили и вышел в соседнюю комнату. Через некоторое время он вернулся и сказал:

– Посидите.

Он углубился в какие-то бумаги. Тишина. Внезапно он вскинул голову и спросил, как будто обращаясь к стене:

– За что вас арестовали в Париже?

– Вы меня спрашиваете?

– Отвечайте, – тем же тоном, не глядя на Лили, бросил он.

– Меня арестовали за еврейскую фамилию, которую я носила.

– На квартире режиссера Поля-Антуана?

– Да.

– Что вы там делали?

– Я работала у него секретаршей.

– Он делился с вами своими политическими взглядами?

Лили пожала плечами.

– О политике он со мною не говорил.

– Вы знали, что Поль-Антуан – участник движения Сопротивления?

– Не знала.

– Кто вам дал задание следить за режиссером Полем-Антуаном?

И снова Лили ничего не понимала.

– Не прикидывайтесь дурочкой.

Сзади шевельнулся солдат. Следователь остановил его взглядом.

– Я вас вызвал не для того, чтобы с вами в бирюльки играть. Отвечайте, или я вас задержу, пока не добьюсь ответа.

– Никто не давал мне никаких заданий.

– У нас есть сведения, что вы были в гестапо своим человеком.

– Это клевета.

– Чем вы докажете?

– Хотя бы тем, что меня арестовали и долго держали в тюрьме. Больше года держали, а оттуда отправили в лагерь смерти.

Он присвистнул.

– Секретаршей гауптштурмфюрера!

– Подпольная антифашистская организация поставила меня на эту работу.

– Организация была лавочкой гестапо.

– Ложь.

– Вы словами не бросайтесь. Мы можем заставить вас говорить правду.

– Я французская подданная. И потом, какое вы имеете право допрашивать меня о вещах, которые вас не касаются!

– Нас все касается.

– Я расскажу полковнику Ковальчуку, как вы со мной обращаетесь.

– Вам не спрятаться за его спиной. Кстати, она запятнана близостью с вами.

– Легче всего бросать обвинения.

Лили сказала это по-французски, но ей показалось, что она говорит на чужом языке. Она взглянула на лицо следователя, испугавшись собственной дерзости. Его глаза словно вытекли, оставив на дне глазниц мутный осадок. Что все это значит? Зачем ее спрашивают про Париж, про Поля-Антуана? Ее хотят загнать в сети. Как избежать этого? Беспомощно оглядывая помещение с выцветшими обоями, она заметила, как сзади открылась дверь и человек в генеральском мундире с выбритым наголо черепом проследовал в смежную комнату, оставив в кильватере подобострастно склонившегося над письменным столом следователя.

– Жду, – бросил он на ходу.

Следователь сорвался с места и, догнав генерала, протянул ему какой-то лист бумаги.

– Ладно, потом. А с этой долго не возись.

Он исчез за обитой клеенкой дверью.

Следователь вернулся к письменному столу, достал из ящика бумагу большого формата в клетку, ручку и школьную чернильницу и положил все это на стол перед Лили.

– Вы внебрачная дочь венгерского магната, графа Чакки?

Лили пожала плечами.

– Да или нет?

– Я этого не знаю.

– Пишите.

– Что писать?

– Все. Кто вы, откуда, как вы дошли до жизни такой.

– Какой?

– Вы сами знаете.

Следователь прошел в дверь генеральского кабинета, оставив Лили вдвоем с солдатом. Она не знала, что подвергается испытанию. Может быть, сунуть солдату какую-нибудь записку? Попытаться передать ему адрес или деньги?

Лили обмакнула перо и, склонившись над бумагой, вывела на всю страницу одно слово: «Merde»¹.

10

У блеснувшего красным глазом светофора остановилась легковая машина, рядом стоял переполненный автобус. Между сидениями протиснулся майор танковых войск в парадной форме и принялся барабанить в стекло. В легковой машине рядом с водителем сидел полковник в фуражке с малиновым околышем и васильковым верхом. Он взглянул в окно автобуса и кивнул. Красный свет сменился желтым. У автобуса, видимо, было испорчено сцепление, он рванул так, что пассажиры попадали друг на друга. Майор навалился на сидевшую передним женщиной. Та гневно отодвинулась. Майор почему-то взял под козырек и стал пробираться к выходу. Очутившись на тротуаре, он оглянулся. Легковая машина стояла в нескольких шагах впереди.

¹ Дерьмо (фр.).

Полковник открыл дверцы и, как только майор подошел, спросил, не меняя выражения лица:

– В Москве?

Танкист кивнул. Ему не терпелось сообщить:

– Вызвали в Москву. Орденом Отечественной войны наградили. Осенью в академию.

Полковник слушал рассеянно:

– Садись.

Машина тронулась.

– Что там говорят в провинции? – обратился полковник к севшему на заднее сидение майору.

– Люди испуганы, – ответил тот. – Сначала гитлеровцы, а теперь... Не понимают. Уж больно их много развелось, всех этих полицаев, бургомистров. И меня пугали, когда я в Москву собирался. Попадают и невиновные.

– Будто, – иронически бросил полковник через плечо.

Майор помолчал, потом сказал со вздохом:

– Точно говорю. Братишку арестовали. На флоте служил. Немец миноносец потопил. Вся команда погибла, спаслись только боцман и брат. Обоих взяли.

Полковник на это ничего не сказал. Потом, повернувшись, спросил:

– Хлопотал?

– Чего там!.. Но хорошо, что встретились. Самуила Брона помните?

– Берзелина? – спросил полковник, как будто вспоминая.

– Говорят, его арестовали.

– Откуда это известно?

– Я с ребятами встречался, они и сказали.

– Ну и что?

– Как что? Такой человек, себя не жалел, и на тебе!

Полковник повернулся к водителю:

– На Сретенку.

Выйдя из машины, полковник взглянул на окна третьего этажа. В окнах было темно. Мысленно он выругал себя за привычку смотреть на окна. Последний раз видел ее полтора месяца тому назад...

– Вот и приехали. Зайдем сперва в продовольственный. Ты мне больше не нужен, – бросил он в сторону шофера.

Взяв майора за рукав, он повел его к двери тускло освещенного магазина. Вскоре появилась бутылка водки, сыр, свинина, тушенка. Все это было завернуто в чертежную бумагу. Могло сойти и за сверток с запчастями.

Поднимаясь на третий этаж, полковник что-то бубнил, постукивая на ходу по перилам. Он открыл дверь, нащупал выключатель и, не снимая шинели, прошел в столовую. В буфете он искал стаканы, нож и вилки, но, не найдя ничего, выругался.

– Придется так. Давай, выпьем.

Несмотря на подчеркнуто радушный жест, предложение прозвучало не очень приветливо.

– Насчет ареста Берзелина ничего сказать не могу. – Он доверительно тронул руку майора. – Сейчас речь идет не о том, кто что сделал. Важно обезопасить страну на будущее. А для этого нужно иметь на прицеле людей, которые могут нам навредить. Если хочешь знать, Берзелин – человек, который при известных обстоятельствах может не только соскочить на ходу, но и нагадить. Я его взял под сомнение еще там, в лагере. Ты должен знать: отправной точкой были сведения, которые я получил от тебя. Человек, который не знает, где его родина, какой он нации, не может вызывать доверия. Если не знает, то я за него отвечу: космополит! После освобождения – ты же был в больнице и помнишь – я решил взять его под свое личное наблюдение. И я его вывел на чистую воду: политически он никто. Сегодня может быть антифашистом, а завтра найдет для фашистов оправдание. Сегодня он атеист, завтра окажется, что в Бога верит... В штабе фронта к нему отнеслись как к жертве фашизма и участнику движения сопротивления, а он нес такую галиматью, что сказать трудно. Может быть, именно тогда он навлек на себя подозрение. А ты был с ним вместе, в одной организации, и ничего не замечал?

Майор растерянно смотрел перед собой.

– Вот видишь. Тут есть еще другое. Во главе этой организации стоял провокатор.

– Что? Кто? – майор приподнялся со стула и уставился на полковника.

Тот спокойно выдержал его взгляд.

– Я разбирал лагерный архив. Там есть документ, изобличающий этого... Руди Гезельхера.

- За то же тогда его немцы казнили?
 - Ничего не значит. Они казнили не одного своего человека, когда он переставал быть им полезным.
 - Руди не был предателем, тут я руку дам на отсечение!
 - Ты лучше ее побереги. Пригодится отечеству.
- Федор Николаевич тяжело вздохнул:
- В сложное время мы живем. Дорога видна, как будто далеко вперед, но каждый шаг вводит в заблуждение... Бывает трудно разобраться. Каша!

11

Июльская жара растапливала мозги. Мысли оседали на дне сознания.

В камере было душно. Раздетые люди лежали на мокрых от пота нарах. Взад и вперед сновали малолетки, крутили вату, выдергивая ее из ватных штанов и телогреек, рисовали пики и червы на склеенных из газетной бумаги картах. Играли с утра до вечера, проигрывая вещи фраеров. Во время сна их сидоры подозрительно тощали. Хозяева, боясь мести, не осмеливались протестовать, будить или предупреждать товарищей. Каждый был сам по себе.

Большинство было осуждено «за язык». Передача каких-нибудь слухов, пересказ анекдота карались десятью годами. Были здесь и изменники родины, в кавычках и без кавычек, военные и штатские. Возможно, кто-нибудь из них действительно был предателем, но в большинстве случаев это были полуграмотные люди, которых заподозрить в сознательных действиях было трудно. Среди фраеров выделялись жители Прибалтики. Они крепко держались друг за друга, а ночью выставляли караул. Их мешки были набиты салом и теплыми носками. Здоровенные, как на подбор, они уже этим внушали уважение шпане.

Временами тюрьма напоминала детский дом. Жак был удивлен, узнав, что несовершеннолетние наказываются наравне со взрослыми. Никто не пытался оказать на них влияние, кроме старых урок. Жак задавал себе вопрос, что было причиной роста детской преступности. Конечно, война сыграла свою роль, ослабляя семейные узы, дав пример жестокости, пренебрежения к человеческой личности.

Конфликт между блатными и фраерами Жака не касался. У него не было набитых продовольствием сидоров или вызывающей вожделиние одежды. В первый день его перевода в пересыльную тюрьму, вернувшись от врача в прихожую, где он разделся, Жак не нашел своей одежды. Сначала подумал, что ее взяли на дезинфекцию. Посидев голышом, Жак решил выглянуть в коридор. По коридору прохаживался попка. Жак робко поинтересовался, куда делась его одежда.

— Откуда я знаю, — буркнул тот в ответ.

— Другого выхода тут ведь нет.

— Ну и что? Мы вам здесь не няньки.

Попка захлопнул дверь перед носом Жака. Через некоторое время дверь приоткрылась и кто-то бросил ему бумазейные брюки, рубаху из мешковины и матерчатые туфли на веревочной подошве. Это вместо великолепного бостонового костюма и подкованных горных ботинок, правда, с еле державшимися подметками.

Спустя несколько дней, когда Жак вышел на прогулку, он увидел свой костюм на лоснившемся от жира и самодовольства тюремном придурке. Тот поманил Жака пальцем. Оценив его, он заявил, что барахло купил, но согласен выплачивать Жаку ежедневно до отправления в лагерь по миске супа, если тот согласится расписаться в получении часов и паркера, числящихся за ним по квитанции. Квитанцию придурок нашел в кармане пиджака. У Жака моментально созрел далеко идущий стратегический план.

— Хорошо, мне все это не нужно. Ты здесь как, на привязи?

— Я через месяц кончаю срок, два раза в неделю ночую дома.

— Мне нужно узнать, где моя жена. В прошлом году 16 августа мы вместе прилетели в Москву. Меня арестовали на аэродроме, а ее — не знаю.

— Можно будет. Распишешься?

«Авось удастся», — подумал Жак. Несколько раз он пытался узнать через следователя, что случилось с Лили. Следователь брал его заявление и обещал справиться. Но кроме того, что она жива и здорова, Жаку не удавалось узнать ничего.

Он расписался.

12

Прошло несколько дней. Вдруг в обеденное время Жака вызвали на свидание. Сердце его забилось так, что он был вынужден присесть. Сейчас он ее увидит. Что ей сказать? В голове полнейший сумбур. Повторится ли их свидание в том лагере, как в немецком лагере смерти? Нет, это невозможно. Жизнь стала реальностью. Жаку порой казалось, что прошлое выдуманно бездарно и теперь кто-то силится придумать конец. Лили – реальность, единственная реальность в этой неразберихе. Сказать, что он ее любит? Таким, как она, не говорят о любви. Жак напряжением воли пытался сбросить с себя патетическую взвинченность и встретить Лили как можно спокойнее и проще.

Он последовал за надзирателем в полуподвал, где находилась комната свиданий. Сначала Жак ничего не видел. Только привыкнув к полумраку, он заметил тонкий луч света, неизвестно откуда проникавший в помещение, разделенное проволоочной сеткой на две части.

В коридоре послышались шаги. Нет, это не она, ее шаги звучат, как ксилофон.

Из дверей выплыла до странности знакомая, но почему-то неузнаваемая фигура. Туман постепенно рассеялся: лагерь, авторемонтный завод. В дверях детина в обтягивающем его мощную фигуру засаленном комбинезоне. «Будем знакомы. Пашка, электрик». Но Пашка как будто только что вышел из парикмахерской. На нем вместо полосатой одежды гефтлинга парадный, обвешанный орденами мундир...

Жак почувствовал себя уязвленным: этот зачем явился? Неужели нужны объяснения: нашелся товарищ, он пришел к тебе, хочет помочь... Или ты перестал верить в дружбу, в хорошие человеческие отношения, и тебе, как недавней старухе кажется, что все люди враги и только и ждут твоей гибели?

– Как живешь, старина?

Вопрос прозвучал нарочито бодро. Или Жаку так показалось? Он улыбнулся.

– Я? – переспросил он. – Я? Ничего.

– Если хочешь знать, мы тебя все время искали. Семенов Гришка, Степан Гаврилюк. Ты их помнишь? Ничего бы не вышло, если бы я не встретил Ковальчука. Он теперь где-то в верхах, но все же товарищ оказался, помог. И, – снизив го-

лос, — ты не падай духом. Все выяснится. Доберутся до настоящих виновных.

Жак снова кивнул.

— Ты скажи мне, как товарищу, в чем дело? — спросил Пашка тем же тоном, словно стесняясь вопроса.

— Меня обвинили в соучастии в преступлениях гестапо, — Жак скривил рот, будто хлебнул уксуса. — И осудили, то есть не осудили, а приговорили. К десяти годам. Особое совещание.

Прислонившись к углу, надзиратель всхрипнул. Пашка оглянулся. Он долго и внимательно разглядывал надзирателя.

— Как же это так? — спросил он, не глядя Жаку в лицо.

— А вот так, — продолжал Жак, чувствуя, что все больше удаляется от товарища. — Все так запутано, что иногда и сам начинаешь сомневаться, не виноват ли ты и на самом деле. Я так говорю, не потому, что согласен с обвинением. Видишь ли... Правду легко превратить в ложь, ее надо только чуть-чуть повернуть.

— Тебя... били? — спросил Пашка.

— Бить не били, но спать не давали.

— Спа-ать? Смеешься.

Жак подумал: «Он не понимает, не может понять. Зачем говорить? Не лучше ли поздравить его с успешным продвижением по службе и с награждением?»

Проникший через окошко в полуподвал луч света разросся. Пашку нанизало на него, как на вертел. Бока даже казались поджаренными.

— Я рад за тебя. Майор! Орден Красного знамени, медали.

— В следующем году в академию буду держать. Но не думай, что все сразу удалось устроить. Три месяца в фильтрационном сидел. Допросы, черт его знает. Ведь как бывает: человек идет своей дорогой, думает домой попасть, а не заметил, что погода переменилась. Гроза, ливень и все такое. Но потом проходит. Ясно. Я пришел тебе сказать: ребята собрали немного денег. Они в конторе на твоё имя.

— У меня единственная просьба. У меня жена, Лили. Товарищ Лили. Ребенок у нее, — его голос как будто споткнулся. — Мне нужно узнать, где она, что с ней. Если бы ты...

Лицо Пашки вдруг стало сумрачным.

– Все не так просто. Ты и сам сказал, что иногда тебе кажется... Нужно верить, Верить! Увидишь, разберутся.

– Послушай, Пашка. Если ты убедился, что то, во что ты верил, – неправда, ты бы пошел против этого?

– Против чего?

– Видишь ли, ты меня как будто уговариваешь, что разберутся. А если не хотят? Да что об этом говорить. Я тебя спрашивал о Лили.

– Мне просто не успеть. У меня в кармане назначение в Казахстан. Возможно, я уже завтра тю-тю.

– Ну что же, спасибо, что навестил.

– Да, деньги для тебя в конторе. А если что, запомни адрес. Все образуется, старина, увидишь!

– Нет, Пашка, оно само не образуется. Прощай.

– Почему «прощай»? Мы еще увидимся.

Жак пожал плечами.

– Будем надеяться. Кто-то мне в том лагере сказал, что надеются одни невесты.

– Выходит, мы с тобой на выданье?

13

Каждую неделю заключенных перетасовывали. Администрация ничего сильнее не боялась, чем возможности сговора между заключенными. В дни перетасовки их выгоняли из камер в длинные, казавшиеся запутанными коридоры. Шпана не упускала случая нажиться. В общей суматохе нетрудно было «притасовать» вещи фраеров. Часто возникали драки, нередко переходившие в поножовщину. Но не из-за дележа награбленного, а потому, что фраеры сопротивлялись. Странное дело, при обыске ножей не обнаруживали, но стоило заключенным выйти в коридор или собраться в уборной, как у каждого из шпаны оказывался припрятанный нож.

Это случилось в один из дней перетасовки. Теснимые партиями выгоняемых из камер заключенных, передние ряды были опрокинуты в лестничный проем. Напрасно надзиратели пытались восстановить порядок. Они были смяты, и уже кто-то устремился к выходу. Один из надзирателей выхватил наган и выстрелил в беглецов. Сверху спускался «Пупс», как прозвали

в тюрьме придурка, «купившего» у Жака костюм. Увидев Жака, он сложил руки рупором и прокричал: «Твоя здесь. Просись на работу!» Надзиратель выстрелил вторично и попал в него. Лоснящееся лицо Пупса исказила гримаса не то удивления, не то боли. Толпа подхватила Жака и увлекла в сторону лестницы. Он чуть не наступил на Пупса. Из груди придурка сочилась кровь. Пупс смотрел на Жака вылупленными от страха глазами.

– Неделя срока осталась!

– Врача! – крикнул Жак.

Близстоящие оглянулись, словно ожидая немедленного появления врача.

Прошло немало времени, пока начальнику тюрьмы с помощью надзирателей удалось установить порядок. К выходу на носилках пронесли Пупса. Его рука свисала, и шедший рядом человек в белом халате в такт шагам санитаров приговаривал: «Тише, тише». Жаку показалось, что Пупс поглядывает в его сторону. Жака почему-то подташнивало.

Очутившись в камере среди незнакомых, он попытался осмыслить случившееся. Что за безумие охватило заключенных? Может быть, действительно некоторые пытались бежать? Что означало предупреждение Пупса: «Твоя здесь, просись на работу».

Реакция Жака нередко опаздывала и уходила в русло общих рассуждений. И Жак воспользовался советом Пупса с опозданием.

Каждое утро после завтрака дежурный записывал желающих идти на работу. «Работягам» платили дополнительной порцией каши и ста пятьюдесятью граммами хлеба. Для некоторых работа представляла собой развлечение, для других служила поддержкой жизненного тонуса. Блатные на работу не ходили. До сих пор Жак предпочитал их общество. В отсутствие большинства фраеров блатные становились как-то человечнее и проще.

На этот раз, к их удивлению, Жак последовал призыву надзирателя и пошел на работу. Работяг повели вдоль длинного одноэтажного барака с вполонину вкопанными окнами. Внутри раздавались детские голоса. Жак заглянул в окно. Внизу оказалось выкрашенное голубой краской помещение с висевшим на стене лозунгом: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Вокруг повязанной платком женщины ходили ребя-

тишки, пели речитативом какую-то песенку, хлопали в ладоши и приседали. В углу самые маленькие возились с кубиками. Жаку почудилось, что в одной девчужке двух-трех лет он узнал Иренку. Он нагнулся и окликнул ее. И действительно чернявая девочка с двумя торчащими рожками косичек оглянулась в его сторону. Возможно, ее испугало глазающее в окно лицо, она бросилась с плачем к воспитательнице, зацепив по дороге какого-то малыша. Тот упал. Все залились плачем. Воспитательница пыталась успокоить детей, но напрасно. Она подошла к окну и крикнула: «Гражданин, отойдите от окна, не пугайте детей».

Кто-то толкнул Жака в спину:

– Своего ублюдка высматриваешь?

Подталкивая Жака в спину, надзиратель повел его к камнедробилке и передал десятинику из заключенных. Задачей Жака было наполнять ковш камнедробилки булыжником. Сквозь скрежет стальных шестерен и стук падающего вниз камня до Жака доносилось пение.

По ту сторону строящейся стены под толевым навесом стояла огороженная дощатым забором бетономешалка. Пение шло оттуда. Пели «Рябинушку». В истасканном мотиве слышалось столько взволнованной тоски по мужчине-защитнику, что Жак устыдился.

14

Он ее увидел. Лили сыпала в бетономешалку цемент. Вероятно, она его тоже заметила, но не подала вида. Когда он подошел, она аккуратно приставила лопату к дощатому забору и подала ему запорошенную цементом руку. Пение женщин усилилось. Кто-то из них крикнул: «Целуйтесь!»

– Как ты сюда попала?

Лили сделала знак глазами.

– Я видел только что Иренку.

Лили отрицательно покачала головой.

– Она там, среди детишек, – настаивал Жак.

– Ее здесь нет. Иренка в хороших руках, – прошептала Лили, но так, чтобы было слышно.

Жак не понял, почему Лили молчит.

– Приходи в обед, – снова шепотом сказала она. Жак обернулся. В нескольких шагах от него стояла надзирательница.

Но в обеденный перерыв Жак был почему-то глух к ее рассказу. Он пустился в рассуждения:

– Они стреляют из пушек по воробьям. Воробей, мол, замышляет государственный переворот!

– Здесь как и повсюду есть хорошие люди, – возразила Лили.

– Какое это имеет отношение к тому, что я сказал? – возмутился Жак. – Придумывать несуществующее, чтобы потом защищать свою выдумку всеми средствами, вплоть до преступления!

– Нас скоро отправят в Казахстан, я узнавала. А вас?

Жак пожал плечами.

– Там холодно? – спросила Лили.

– Само собой, – нетерпеливо ответил Жак и продолжил свои рассуждения. – Нацисты истребляли евреев, считая их неполноценной расой, здесь выискивают классовых врагов. Буржуазные страны выдумывают коммунистическую опасность, чтобы вооружаться. Здесь придумали контрреволюционеров.

Лили отвернулась. Она смотрела на сидевших к ним спиной женщин. Женщины хлебали суп, ограждая Лили и Жака от посторонних взглядов.

Глава 2. Встречи, расставанья

1

Чтобы забраться в стоящие на высокой насыпи вагоны, нужна была акробатическая ловкость. Жака подсадили сзади, стянув с ног приобретенные за пайку хлеба галоши.

Взобравшись в вагон, он оглянулся кругом. По обе стороны от дверей высились нары. Верхние были заняты. Когда попытался на них подняться, его грубо спихнули: «Куда прешь!»

Дверь вагона задвинулась. Вечерело. С верхней полки поднялся какой-то голый по пояс, разукрашенный разноцветной татуировкой детина.

– Старосту выбирать, старосту!

Старостой был избран худой веснушчатый мужчина средних лет. Он оказался кооперативным работником, срок получил за растрату. Староста говорил на «интеллигентском» языке, однако был среди блатных своим человеком. Он приступил к распределению мест. С верхних нар была согнана часть шпаны, на ее место староста водворил фраеров с туго набитыми мешками. За «уважение» им пришлось, конечно, платить.

Поезд тронулся только через сутки.

С самого начала пути староста со свойственной всем ренегатам злостью обрушился на заключенных с интеллигентной внешностью. Особенно он невзлюбил Жака. Жаку досталось место у стены возле самого стульчака. Боковая стенка раскачивалась, толкала Жака в бок, под спиной ощущалась стальная рама вагона. Она вибрировала и издавала звуки, напоминающие лопающиеся струны. Первые ночи Жак не мог спать, но потом привык.

2

Уже вечер, и при свете качающегося фонаря все становится призрачным. Призрачной кажется Жаку и сама его жизнь. Это путешествие в теплушке, люди на нарах, все, что с ним происходит. Жак ждет утра, может быть, тогда что-нибудь прояснится.

Ему вспомнилось морозное утро...

Их везли в вагоне третьего класса. Вагон не отапливался, стены были покрыты инеем. От дыхания пассажиров иней таял, со стен и потолка капало. На полу натекла лужа.

Поговаривали, что там, куда их везут, уничтожают евреев. Всех без исключения? Да, всех. В вагоне большинство — евреи. В дверях появляется фигура раскачивающегося на коротких ногах эсэсовца.

— Это вы, жида, здесь насс...?

И к сидящему на чемодане у ног Жака старичку в вельветовой, натянутой от холода на уши шляпе:

— Вылижь мне пол!

Старик встает и с усилием стягивает шляпу с головы:

— Простите, я не расслышал.

Эсэсовец смотрит на него иронически.

— Моя фамилия Вуль. Я Теодор Вуль, профессор берлинского политехникума по кафедре прикладной химии. Участвовал в первой мировой войне как капитан запаса. Награжден орденами Железного креста третьей и второй степени.

Лицо эсэсовца наливаётся кровью:

— Ах ты, жидовская образина, я тебе покажу награды!

Пинком ноги он сбрасывает старика под скамью и продолжает его избивать своими коваными сапогами. Профессор не пытается защищаться. Он прижимается лицом к грязным доскам вагонного пола и смотрит одним расширенным от ужаса глазом на поднимающийся и опускающийся на его тело сапог. Когда он перестает шевелиться, эсэсовец тычет пальцем на элгантного, по моде тридцатых годов одетого молодого еврея.

— Ты вылижь мне пол!

Молодой еврей оглядывается. Все отворачиваются. Тогда тот опускается на колени и начинает слизывать грязь с пола.

— Так-так, хорошо-о. Ну а теперь делай мне приседания!

Молодой человек делает приседания. От толчка вагона он падает. Эсэсовец поднимает его пинком.

– Ну вот...

Плачущая улыбка. Видимо, издевательствам пришел конец?

Эсэсовец вынимает из нагрудного кармана записную книжку.

– Твоя фамилия?

– Эрнст Лер.

– Израиль, – поправляет эсэсовец.

Лицо молодого франта выражает готовность все разъяснить.

– Кто твой отец?

– Мой отец? У нас был конфискован конфекционный магазин на Лейпцигерштрассе.

– Ах, вот оно что! Немцев грабили, понятно! Ну, а теперь кричи, чтоб все слышали: «Я самый лучший еврей во всей Германии!»

– Я самый лучший...

Удар кулака прерывает его спотыкающийся речитатив.

– Кто?? Ты – грязная свинья! Повтори!

– Я грязная...

Жак думает: «Как бы он не принял меня за еврея».

Когда эсэсовец ушел и все утихло, под скамьей валялось тело избитого профессора, а молодой еврей в элегантной одежде довоенного образца рыдал, пряча лицо. Жак стал думать не об избиении, а о возможности в дальнейшем его избежать.

Теперь, когда Жак вспоминает этот случай, его заливает жгучий стыд.

3

Неотапливаемый вагон третьего класса и издевательства над ехавшим с ним евреем... Тогда его старания скрыться могли быть объяснены инстинктом самосохранения. Военная форма защитного цвета в прямом смысле способствовала его мимикрии. Но почему Жак и раньше оправдывал свое равнодушие к евреям ссылкой на то, что его родители были крещены? Он использовал в качестве ширмы то, что втайне сам ощущал как предательство.

Жак спорил с самим собой: ведь ничто не связывало его с еврейским народом, если не считать тонкой струйки крови.

Но вот в нем произошло нечто непонятное: немцы вонзили нож в сердце еврейской нации, и он почувствовал себя плывущим в этом потоке по воле стихии.

Жак помнит и другое: в тесной городской квартире, незадолго до смерти отца он случайно подслушал разговор родителей. Мать сказала: «Я бы тебя не уважала, если бы ты принял христианство из-за любви ко мне. Это то же самое, как если бы я пошла служить в охранку. Я, конечно, не приравниваю церковь к жандармскому управлению, но в принципе это одно и то же. Другое дело, если кто-то принимает христианство, потому что он стал верить».

Два раза в сутки, а то и чаще, конвоиры обстукивали деревянными молотками обшивку вагонов. Потом они залезали в теплушки и сгоняли заключенных с нар.

— А ну-ка, пулей!

Заключенных перегоняли с одной стороны на другую, пересчитывая ударами молотка по спине. Потом конвоиры залезали на нары и проверяли, не спрятаны ли где ножи, карты и выструганные из березовых брусков ложки. Ложки они продавали на базаре. Это служило дополнением к их скудному «денежному довольствию». Заключенные вырезали новые ложки. Материалом для производства их снабжали те же солдаты.

— Начальничек! (Все солдаты производились заключенными в «начальнички»). Отдай ложку! Мы же не свиньи, чтобы жрать из корыта.

— Ничего, обойдетесь.

Кто-то из блатных совал конвоирам деньги, те удалялись. Иногда сквозь завязанное колючей проволокой оконце просовывалась бутылка. Наутро другая смена конвоиров забирала самых буйных пьянчуг. Раздавались вопли. Кое-кому надевали наручники. Все делалось «в пределах закона».

4

У входа в приземистый барак Жаку показалось, что он стал выше ростом.

В сизом полумраке уходящих вдаль рядов вагонок передвигались какие-то фигуры. В окна намело снега, он застилал их подушками, заглушая все звуки. Тишина прерывалась только мертвенным стуком костяшек. Возле печки забивали козла.

– Меня направили сюда...

Жак нерешительно скользнул взглядом по вагонкам¹.

– Фамилиё?

– Берзелин, Яков Антонович.

Рыжий скосил голову не то от удивления, не то в испуге. Через некоторое время, как будто опомнясь, он показал Жаку верхнюю полку. Жак свалил на нее свою ношу: наполненный трухой матрас, туго набитую опилками подушку с жирными пятнами на наволочке, рваное со стертým ворсом одеяло, бушлат, телогрейку, брюки ватные. Позднее Жак убедился, что эти брюки могли стоять без подпорок, такие они были латаные-перелатанные.

– Двоя места у бечка.

Рыжий кивнул и задвигал челюстями. Жак стал укладывать свою постель.

Он подошел к печке, поискал в простенке, вернулся с гвоздем и железным утюгом.

– Брибит надо, – пояснил он, показывая на доски вагонки.

Жак взглянул на покрытую рыжей шерстью руку великана, скосил глаза не его лицо. На верхней губе топорщилась щеточка усов, выбритый подбородок двигался, как маховик на подшипниках.

Внезапно он вспомнил.

Рыжий эсэсовец из того лагеря. Но как он попал сюда? Кем он здесь?

– Альте беканте!² – эсэсовец засмеялся и хлопнул Жака по плечу.

Жак пожал плечами.

Эсэсовец отошел в сторону. Жак залез на верхнюю полку и вытянулся во всю длину. После БУРа Жак мог только мечтать о таких удобствах.

5

Третьего дня в пересылке его повели к начальнику лагерного управления. Каково же было его удивление, когда в подтянутом моложавом генерал-майоре он узнал Федора Николаевича

¹ Вагонка – система нар, устроенная как вагон поезда. Каждая вагонка рассчитана на четырех человек и обращена торцом к стене.

² Старый знакомый! (нем.)

Ковальчука. Ковальчук отнюдь не подчеркивал своего высокого положения и почти дружелюбно кивнул Жаку, показывая ему стул возле письменного стола.

— Садитесь, — сказал он, подняв на Жака свои глазальдинки. — Как ваше здоровье?

Хотя это было невежливо, но Жак промолчал.

— Я вызвал вас, — сказал Ковальчук, откидываясь в кресле, — не как следователь и не как прокурор, а как старый знакомый.

Он помолчал немного, изучая, какое впечатление произведут его слова. Но Жак продолжал молчать.

— Судьба захотела, чтобы мы встретились и какой-то отрезок пути шли вместе. Теперь мы тоже в какой-то мере связаны друг с другом.

«В какой-то мере, какой-то отрезок пути — что это все значит?»

— О чем вы хотели говорить со мной?

Его голос звучал хрипловато. Он откашлялся.

Лицо Ковальчука стало каменным.

— У вас путаница в голове, Берзелин. Правда, я другого и не ожидал. Я хотел поговорить с вами, чтобы вы не чувствовали себя жертвой несправедливости. Идет борьба. Во время боев случается, что кто-то невольно попадает в расположение противника. Такого горе-вояку обычно разоружают, а если он сопротивляется, с ним могут поступить еще и не так. Судя по всему, вы принадлежите именно к таким заблудившимся...

«Куда он клонит?» — думал Жак, выжидая, что еще скажет Ковальчук. Но тот, как будто сожалея, что высказался слишком откровенно, уткнулся в бумаги и стал подчеркивать синим карандашом какие-то места.

— Вот так, — сказал он, откладывая карандаш в сторону. — Вам теперь представляется возможность доказать, что по отношению к вам была допущена ошибка.

— Чем я могу доказать?

— Тем, что вы окажете нам помощь.

— Когда-то я помогал вам в разборке нацистского архива.

А что получилось?

Но Ковальчук как будто его не слышал.

— Хотя вы и изолированы, до вас будут доноситься отзвуки той битвы, о которой я говорил. Подчас от заключенных мож-

но узнать то, что неизвестно на воле. Да и в самом лагере есть люди враждебные нам и такие, которые при известных условиях могли бы стать нашими союзниками. И здесь вы могли бы нам помочь.

– Вы хотите, чтобы я доносил вам?

– Лилиану Самуиловну вы давно не видели?

Жак приподнялся со стула.

– Я не вижу ничего общего...

– Возможно, вы скоро ее увидите.

– Господин генерал...

Жак обмолвился случайно, но, спохватившись, решил, что не будет исправлять ошибку.

– Господин генерал, я боюсь спутать этот лагерь с тем!

Льдинки блеснули зловеще.

– Остерегайтесь, Берзелин, путать формы обращения. Это вас выдает с головой.

6

Препровожденный обратно в БУР, где он находился вместе с другими «ненадежными» заключенными, Жак после допроса у генерала еще долго не мог придти в себя. «За кого меня принимают? Думают, что могут ловить меня на такую дешевку?»

Но потом он остыл. «Ну и что? — думал он. — Ведь Ковальчук не сказал ничего обидного. Ведь и я сказал, что боюсь спутать».

Все же Жак сознавал, что его сносит, как корабль с неисправным рулевым управлением. Когда его выбросит на берег? Если вообще выбросит. Неужели правы те, кто ему не доверяют? Он вспомнил Лили. Его отношение к ней было примером его переменчивости. Ковальчук сказал, что, может быть, он ее скоро увидит. Жаку показалось, что в словах генерала прозвучало не обещание, а предостережение.

Последний раз Жак видел Лили в день отправки на этап. В этот день от пересыльной тюрьмы в разные концы Советского Союза отправлялись десятки эшелонов. Стояла осень. В воздухе плыли нити паутинок, как воспоминания о чем-то несказанно нежном, что было порвано, изгажено... Жак увидел Лили в другом конце двора. Она жмурилась от солнца и, вероятно, не заметила его.

Хорошая погода, близость Лили настроила его на д'артаньяновский лад. Он сделал несколько танцевальных па по направлению к столику, за которым сидел офицер, просматривающий разложенные стопками формуляры. Офицер прищурил глаза и смерил Жака взглядом:

– Садитесь.

Жак оглянулся. Сесть было не на что.

– Садитесь на землю, – приказал офицер.

Жак присел, как дрессированная собака.

Вероятно, в этот момент Лили увидела Жака. Он услышал ее голос:

– Тю а дю савон?

Напрасно Лили ждала ответа. Ей показалось или действительно он махнул рукой: нечего, мол, тянуть лямку, если она перерезана!

7

На полках вагонок сидят напоминающие дергающихся дервишей люди. Двери секции распахиваются, из сеней валит пар. В секцию вваливается толпа заключенных. Прибывшие быстро расходятся по местам. В первую очередь они прячут хлебные сумки под подушки. Лишь потом стягивают бушлаты и кладут их у изголовья.

На верхнюю полку, рядом с Жаком, взбирается коренастый смуглый парень. Взглянув на Жака, он как-то неловко снимает ушанку. Парень оказывается лысым. У него несколько приплюснутый нос и глаза с прищуринкой. «На Ленина похож», – думает Жак.

– Копченый! – раздается снизу голос.

Сосед Жака нагибается и принимает завернутый в глянцевую бумагу сверток. В нем оказывается сало, хлеб, вобла. Не меняя позы, он сует свою руку под подушку, извлекает оттуда флакон из-под одеколона, отвинчивает пробку, делает глоток и протягивает флакон Жаку:

– Чистый спирт, не бойся.

Жак чувствует себя усталым, не мешает встряхнуться. Кивком выражая благодарность, он прикладывается к горлышку флакона. Обжигающая жидкость течет по пищеводу, вливается в вены. Жак ощущает прилив энергии и дружелюбия.

– Закусывай. – Копченый придвигает Жаку бумагу с нарезанным ломтями салом.

...Как это похоже... Руди, прачечная. Тогда Жак сплеховал, разболтался. На этот раз он подобной оплошности не допустит.

– Хорош, – говорит он одобрительно.

– На работе сказали, что место возле меня занято, – отзывается сосед Жака. – Думал, кого это ко мне подложат? Не фраера ведь. Для таких я слишком того. Блатного тоже. Для двоих таких места не хватит. – Эй, Фриц! – он свешивается вниз. – Это ты придумал?

Рыжий, не поворачивая головы, скашивает взгляд на Копченого.

– Вас вильст?

– Ваш глист, – передразнивает его Копченый. – У нас разговор, как у Сэсэсэрэ с капиталистическим окружением.

Жак хохочет. Это Копченому почему-то не нравится. Он сплевывает на разрисованный узорами глинобитный пол.

– Если хочешь быть моим соседом, ты это брось, не люблю, когда шестерят.

Рыжий внизу что-то рычит.

– Все утро провозился. Наводил красоту, – не унимался Копченый, – вон какие ковры пишет. Он ночью, падла, не спит, все новые придумывает. Свой кровный паек на краски меняет. Арти-ист! Потому староста его сюда определил, хотя фрицев в дневальные ставить не положено. А надбавки его жрет. Мне-то что, моего не убудет. Сапоги шью, мне на спасибо сальца и воблы отваливают. Кроме спирту. Спирт у меня по технической линии. Вообще мне на тебя, морковная голова, наплевать

Хотя эти слова были обращены к рыжему, Жак понял, что они сказаны немного и по его адресу.

Между тем то один то другой заключенный подходил к Копченому и что-то ему шептал. Жак заметил на вечерней поверке, что Копченый до самой переключки продолжал лежать на койке. Место его в строю было «забронировано».

Жак всю ночь проспал как убитый. Уже светало, когда он вышел во двор. Сквозь оголенные ветки посаженных для защиты от суховея тополей светился, многоцветно переливаясь, стеклянный казахский восход.

– Красота-то какая!

Жак обернулся. Рядом стоял, подтягивая штаны, Колька Копченый. Он подмигнул Жаку, словно приглашая его в свидетели.

8

Много позже, познакомившись поближе с Николаем, Жак не переставал удивляться, откуда этот дичок, бывший беспризорник, сохранил здравый смысл и положительность суждений, ту гордость, которая позволила ему подняться над своим окружением, не теряя его симпатии. Колька был «паханом», советником блатных, к которому они обращались в трудные минуты. Он знал законы и умел оградить своих приятелей от произвола начальства. «Тамады», вожаки блатных были исполнительной властью, Копченый был наделен властью законодательной.

Оказалось, он ухитрился прочесть на своем веку, пожалуй, все плохие романы, которые только печатались с начала века. О классиках русской и мировой литературы у Кольки были самые смутные представления. «Мура», — заявил он однажды. Зато он прочел классиков социализма: «Маркс хорошо написал, как в городе Лондоне эксплуатируют малолеток, а Ленин написал о кипятке, чтобы кипятик был».

Жак убедился, что лагерь представляет собой своеобразную реторту, где можно было наблюдать становление классового общества. Безликая масса заключенных, попадая в нее, постепенно расслаивалась. В верхней части реторты созревала аристократия, она делилась на воров и «сук». Воры, как правило, не работали и жили освоением чужих вещей. Они стригли фраеров как овец. Это была буржуазия. Суки были блатные, продававшиеся начальству. Их назначали на должности дневальных, старост, каптеров, хлеборезов, кухонных работников, нарядчиков. Большинство из них только числилось на работе, за них работали «шестерки». Лагерная аристократия, как чиновничья — суки, так и родовая — воры, строго изолировалась администрацией друг от друга. Столкновения воров и сук походили на междоусобные войны. Их непримиримость была поразительна и кровава. Блатные носили сапоги гармошкой, рубаху навывпуск, их кожа была татуирована.

Основная масса заключенных оседала в работагах. Большинство работало за зоной, меньшая часть — в лагере.

Среди них выделялись учетчики, прорабы, экономисты – техническая интеллигенция. Другую ее часть составлял медицинский персонал, а также заключенные, занятые на культмассовой работе – участники самодеятельности, библиотекари и прочие. Если начальство им благоволило, они могли добиться положения, мало отличавшегося от положения вольняшек. Но над ними всегда висел дамоклов меч: в любой момент они могли быть перемещены, переведены в другой лагерь и низвергнуты до положения работяг.

Колька Копченый занимал особое положение. Он был вором, но работал. Его обувь славилась далеко за пределами лагеря. Он не продался начальству и не заставлял других работать, а был самостоятельным мастером. Время от времени он устраивал пир горой. Это означало, что Кольке удалось провернуть «стоящее дело». Все его большие операции – очистка лагерной почты, изъятие из каптерки байковых одеял – совершались в воскресенье. Начальство об этом знало, но поймать Копченого не могло. У него всегда было приготовлено алиби, да такое, против которого «не попрешь».

– Опер меня сколько раз уговаривал завязать, а я ему отвечаю: «А почему видно, что я не завязал?» – «По твоим, – говорит, – бельмам». А я ему: «Глаза, извиняюсь, не юридическое доказательство».

Когда-то Колька был домушником. О своих похождениях он рассказывал Жаку с видимым удовольствием, но без хвастовства. Однажды в то время, когда он в пустой квартире опустошал шкафы, его застала на месте преступления девушка. Она стала качать головой, произнося одно и то же: «Нет. Нет».

– Что со мной случилось, – рассказывал Колька, – не знаю. Я высыпал из мешка все, что напихал туда. И девушка еще раз сказала «нет». Я обнял ее, и она задрожала. У меня голова пошла кругом. Я вырвался и что есть духу бежал несколько кварталов, будто за мной гнались.

Он говорил:

– Вот каждый хочет перехитрить другого. Только глупые показывают свой ум, а умные прячут его. Хорошее всегда на глупине лежит, потому что тяжелее.

Он любил всякие небывлицы и готов был слушать их без конца. Жаку думалось, что у него нездоровая фантазия. Колька как-то сказал:

– Разве можно все понять? Есть такое, что никак понять нельзя. До него и рукой не дотянут.

– Кто не дотянет? – спросил Жак.

– Да вот эти, умные.

Суеверие Кольки можно было отнести на счет его невежества, но Жак чувствовал в нем что-то другое. Копченый как будто ощущал пульсирующие в мире силы. Он рассказывал Жаку про взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Он знал много подробностей и рассказывал так, как будто был свидетелем взрыва. Из желания обуздать безудержную фантазию Кольки у Жака родилась мысль рассказать ему какой-нибудь настоящий роман. Он выбрал для опыта «Отверженных» Гюго, роман, который произвел на него самого когда-то глубокое впечатление.

В один из субботних вечеров, когда жители барака пребывали в приподнятом настроении, Жак принялся рассказывать. Сначала его слушал только Колька. Но постепенно вагонку окружили. У дверей секции был выставлен караул, чтобы надзиратель не мог их застукать. Так продолжалось недели две-три. Каждый вечер заключенные собирались возле вагонки и слушали историю Жана Вальжана.

Так Жак стал «тискать романы».

Среди заключенных ходило много рассказов собственного сочинения. Схема примерно одинакова: дочь банкира влюбляется в вора, тот использует ее для своих целей, затем, заподозрив в неверности, убивает. Ее хоронят в фамильном склепе со всеми ее украшениями, вор пробирается в склеп и снимает драгоценности с мертвой. Тут оказывается, что она спала летаргическим сном, от прикосновения она пробуждается и обнимает вора. Банкир соглашается на брак дочери; по ходу действия идет посрамление детектива, который все время попадает впросак и в конце с позором изгоняется.

По сравнению с такими историями пересказ «Отверженных» отличался правдоподобием. Жака все время прерывали расспросами по поводу тех или иных деталей. Он отвечал, прибегая к собственной фантазии. Слушатели все принимали на веру. Жак начал понимать, как много должен знать автор, прежде чем сесть за письменный стол.

Когда роман был «дотискан» до конца, в секции воцарилась тишина. Колька подвел итоги:

— Вот, не дают жить, гады! К примеру сказать, разве у нас по-другому? Вот я или кто-нибудь выйдет на волю, нигде не прописывают, работы нет, что остается делать? Воровать? Во Франции честному вору можно еще податься в революцию. А нашим куда?

Окрыленный своим успехом, Жак принялся за другой роман, на этот раз «Сагу о Форсайтах». Он думал, что следует придерживаться тонкой иронии и ненавязчивого нравоучения английского писателя, чтобы роман дошел до слушателей, но он ошибся. Их ряды стали редеть. Будничные дела и обыкновенные события их не устраивали. Наконец Колька прервал рассказ:

— Буза! — заявил он безапелляционно.

«Тискать романы» оказалось вовсе не простым делом.

9

Пересказ романов снискал Жаку славу «грамотного». К нему стали обращаться с просьбами составить заявление, жалобу, предлагали писать «ксивы» — любовные письма лагерным девицам. Жак долго отказывался, но как-то не устоял перед настойчивыми просьбами одного заключенного, изнывавшего от любви к своей «марухе». Маруха, по его словам, была страшно гордая, но, получив письмо, стала сговорчивее. С тех пор у Жака не стало отбоя от клиентов. Он впервые поверил в свои литературные способности.

Вместе с успехом возросла и ответственность. Когда однажды Колька попросил написать ксиву и ему, Жак отказался. Копченый прищурил свои монгольские глаза, силясь понять, какая муха укусила Жака. Тот стал пространно объяснять. Колька подождал, пока он успокоится, извлек из-под подушки огрызок чернильного карандаша и вырванную, вероятно, из конторской книги разграфленную красными и черными линиями бумагу.

— Тогда пиши. Уважаемая Валя. Мне нужно снять мерку с вашей ноги. У колена.

— Брось, я этого писать не буду.

– Да понимаешь, протез должен быть точно по ноге. Осенью ей ногу отняли, обморозила.

– Она тебя просила?

– Просить она еще будет! Зачем, я сам придумал. Я видел протезы, что делают в центре. Говно! Я ей сошью протез – будьте уверены! Она еще танцевать будет. Когда-то она танцовщицей была, на сцене.

Жак с сомнением посмотрел на своего соседа.

– Я удивлялся, ногу ей потерять – все равно что не знаю что. Сапоги одной рукой не сошьешь, а она ничего, говорит: обойдусь. Больно строга к себе. Такой я еще не видал. Настоящая.

Жак написал: «Многоуважаемая Валентина, вашего отчества я не знаю и пишу запросто...»

Колька аж привскочил.

– Как это запросто? Может быть, я ночей не спал перед тем, как предложить, а ты запросто! Попробуй с ней запросто! Хоть бы как выставляйся, она тебя своими серыми глазищами спеленает. Запросто!

10

Как-то в обеденный перерыв к Жаку подсел рыжий ээсовец. Положив в миску Жака топленого масла и прислонив к ней свою деревянную ложку, он многозначительно спросил:

– Где ты есть? Ты есть в советский тюрьма? Нет, ты есть в гости у Франц Шуберт.

Жак с удивлением взглянул на рыжего.

У ээсовца оказались те же имя и фамилия, что и у обаятельного, грустно-светлого венского композитора, Франца Шуберта. Бывает же такое!

– Говори, – сказал Жак, несколько оправившись от изумления.

– Ты тольшен набисат бисмо Сталин. Я сакопал в одно место айнен шац¹, который стоиль восемдесят тысяч марок. Ты этот шац сналь. Это солото, котрый отобраль от жиды.

Он вздохнул и продолжал по-немецки:

– Я согласен передать часть моего клада русскому правительству при условии, что меня выпустят на свободу. Имей в виду, никто кроме меня не может достать этот клад.

¹ Клад (нем.).

Он оглянулся кругом, будто опасаясь, что кто-нибудь может подслушать.

Жаку стало ясно, о каком кладе шла речь. Как будто в подтверждение его догадки, Шуберт шепотом прибавил:

— Я нашел кольцо с большим рубином. Если хорошо напишешь заявление и все выгорит, я отдам тебе эту вещицу. Я знаю, это твой перстень. Только в завлении должно быть сказано, что я спас тебе жизнь. Это произведет хорошее впечатление на ваше начальство. Ну, давай, пиши!

Он придвинул Жаку чернильницу и ручку с пером.

Но Жак не шевелился. Он взглянул в глаза Шуберту. Только теперь он заметил, что у него желтые звериные глаза. «Он другой породы», — подумал Жак.

Шуберт даже не мог предположить, что Жак откажется написать заявление. Ведь он принял его так хорошо, даже проявил великодушие, предложив ему отдать перстень.

«Нет, — сказал себе Жак. — Ты мой враг с рождения. Я буду с тобой биться, где бы ты ни был, кем бы ты ни был. Я не могу иначе».

Жак всегда ощущал высокопарность других, ему чудилась в ней какая-то фальшь, но в таких случаях, как этот, он сам становился высокопарным. Это была форма самозащиты, вернее — благородной агрессии.

Жак не знал, что своим отказом он вызовет лютую ненависть немца. Тот стал его допекать с изобретательностью и злобой обманутой в своих лучших надеждах старухи. То на тщательно выведенном у подножья вагонки «ковре» появились какие-то пятна, то под подушкой у Жака была найдена казенная алюминиевая миска. Староста барака вызвал Жака к себе. Но разговор получился мягкий. Староста избегал огласки. Он деликатно попросил Жака не давать в дальнейшем поводов для нареканий.

В бараке была целая группа немцев, арестованных во время наступления Советской армии. До конфликта с Шубертом они относились к Жаку с подчеркнутой любезностью, теперь же стали его игнорировать, что Жаку, по правде сказать, было совершенно безразлично.

После очередного шмона надзиратель вызвал тех, у кого были найдены недозволенные вещи. К своему удивлению, Жак услышал свою фамилию. В его постели был найден сапожный

нож. В тот же день его вызвали к оперуполномоченному, полагерному, к куму. Осведомившись о здоровье Жака, кум пригласил его сесть. Ему хотелось знать, откуда у Жака оружие. Ведь держать ножи в лагере запрещено.

Да, Жак это знает, но ему непонятно, каким образом нож попал в его постель. Нож ему совершенно не нужен. Рыжий немец, который лежит под ним, сколько раз обращался к нему за ножом, но каждый раз отвечал, что ножа у него нет. И хотя это не доказательство, его слова могут подтвердить соседи...

Как будто удовлетворенный этим ответом, кум кивнул и перевел разговор на другую тему. Он, мол, не может понять, как пострадавший от немцев Жак может общаться с ними. Жак ответил, что он не может не обращаться к дневальному.

— Тогда почему вы отказались написать письмо вашему соседу?

Ах, вот где собака зарыта! История с ножом была лишь предлогом. Но что знал оперуполномоченный о предполагаемом содержании письма? И откуда у него сведения о предложении Шуберта и его, Жака, отказе?

Жак решил ничего не скрывать.

— С Францем Шубертом я знаком по немецкому лагерю. Правда, тогда я не знал его фамилии, она меня не интересовала. Там в лагере меня арестовали за то, что на месте моей работы были найдены драгоценности, собранные для приобретения оружия и помощи тем, кто собирался бежать.

Он взглянул на оперуполномоченного, надеясь, что тот заинтересуется, но лицо кума ничего не выражало, кроме рассеянного внимания.

— Шуберт должен был отвести меня в бункер, откуда живыми не возвращались. Но он дал мне возможность скрыться. Его мотивы выяснились позже: под утро гауптштурмфюрера, у которого остались драгоценности, нашли мертвым, а Шуберт исчез. Вместе с ним исчезли и драгоценности. Это спасло мне жизнь. Никто из посторонних об этом не знал.

— Вы допускаете, что эти драгоценности могут существовать и сейчас?

— Возможно.

— А где они?

— Я не знаю.

– Шуберт предлагал вам отыскать клад, поделиться с вами?

– Этого он мне не предлагал. Шуберт предложил мне написать письмо на имя...

Кум смял недокуренную папиросу. Имя Сталина было священо.

– Почему вы отказались написать письмо, ничем собственнорисечно не рискуя?

– Мне казалось чудовищным, что этот эсэсовец может откупиться.

– Ну, это бабушка надвое сказала. Главное, чтобы он сказал, где зарыл клад. Помириться с ним, попытайтесь узнать. Если это вам удастся, мы постараемся, чтобы вам сократили срок.

Жак покачал головой. Молодой чекист оказался озадаченным.

– Ну, тогда пеняйте на себя. Если вы об этом разговоре кому-нибудь проговоритесь, то попадете туда, куда Макар телят не гонял.

– Что ж, я в ваших руках.

Жак встал. Это было второе предупреждение. Жак знал, что третьего не будет.

11

Жак был признан годным только для легкой работы. «Я все устрою», — обещал Копченый. И действительно, Жак стал сетевязальщиком.

Цех помещался в полуподвале, служившем ранее складом. В помещении могли одновременно работать человек сорок, сетевязальщиков же развелось свыше сотни. Большинство работало «на дому». К ним принадлежал и Жак. Несмотря на свою искаленную руку, он научился быстро вязать сети. Ему выписывали дополнительную порцию каши и восемьсот грамм хлеба. Имя Жака красовалось на почетной доске ударников. Жак этой доски не видел. Он не покидал барака. Каждая минута была ему дорога.

Как ни странно, но работа в цеху считалась привилегией. Туда попадали только лучшие вязальщики. Жак давно должен был быть в их числе, но его почему-то не переводили. Наконец он попал в число избранных. Теперь для него начнется новая жизнь! Он освободится от постоянных придинок рыжего, смо-

жет утром уходить на работу и возвращаться, отработав положенное время, с сознанием, что он кум королю! Можно будет посидеть за столом, забить козла и даже пойти в кино. Можно будет забраться в постель, закинуть ноги и плевать в потолок. У него будет жизнь почти как у вольняшки.

В назначенный для перевода в цех день Жак задолго до ухода прибрал свою койку и вышел в тамбур покурить. День выдался морозный, но солнечный и удивительно тихий. В марте такие дни наступают после бурана. Мело почти две недели, и возле барака выросли сугробы снега. Жаку они были теперь нипочем: накануне ему, как работяге, вместо прежних чувяков из автомобильных шин выдали пару валенок. В руке у него был талон на кухню, и другой – в хлеборезку. До вчерашнего дня он получал пищу в бараке. Талоны были вроде увольнительных билетов.

Жак ни за что не признался бы, если бы ему сказали, что его прельщало еще другое. В сетевязальном цехе работали женщины. Жак не был женолюбом, и подавно донжуаном. Неудачный брак и пережитый им сложный, непонятный ему самому роман с Лили, сделали его невосприимчивым к женским чарам. Так он, по крайней мере, думал. Но ему казалось, что присутствие женщин изменит и как-то очистит атмосферу, в которой он живет, сделает ее светлее.

12

Перед домом, в котором помещалась сетевязалка, стоял разутый «додж» с выдвинутым матрасом от сидения. Жак обошел грузовик и спустился по скрипучей деревянной лестнице в полуподвал. Когда он открыл дверь, его обдало замешенным на тепле гулом голосов. По обе стороны длинного помещения стояли верстаки – простые едва обструганные доски с забитыми в них гвоздями. Перед верстаками сидели сетевязальщики, женщины слева, мужчины справа. Они переговаривались, вернее, перекрикивались, не слушая друг друга. Частично это были монологи, в которых плоские шутки чередовались с наивными признаниями.

Большая изразцовая печь распространяла тепло и отгораживала закуток, в котором сидели мастер и учетчица. Девушка взвешивала нити. Слюнявя карандаш, мастер заносил приход и расход в большую конторскую книгу. Жак знал обоих: они при-

ходили в барак принимать работу. Похожую на Мэри Пикфорд девушку сетевязальщики встречали приветливо. Она всегда была дружелюбно настроена и снисходительна к их шуткам. Вот и сейчас, при виде Жака, она закивала ему, показывая в сторону занавешенного входа в закуток. Жак почему-то взглянул на потолок. Он не хотел сразу приступить к делу, решив, что так будет солиднее.

Жак регистрировал мельчайшие детали с обостренным вниманием. Так было в то раннее утро, когда эсэсовцы повели его на расстрел. Но почему теперь?

Его внимание привлек низкий женский голос. Он произнес с акцентом:

— Я не зналь, что вы хотель, но я зналь, что вы глупый.

Мужской голос проворчал:

— Зазнаешься.

— А что если она Копченому скажет? — пропищала из-за печи Мэри Пикфорд.

Жак, как загипнотизированный, тарасил глаза в сторону, откуда донесся женский голос. Сомнений не могло быть: спиной к нему сидела Лили. Возле нее в углу стоял костыль. Лили сняла с гвоздя свою работу и потянулась за костылем. В этот момент он и она встретились взглядами. Костыль упал, Лили оперлась рукой о стену. Жак подбежал к ней, нагнулся, чтобы поднять костыль. Лили увидела, как он нагибается, вскрикнула и упала. Все это произошло в одно мгновение и осталось бы незамеченным, если бы Жак не схватил упавший костыль и не стал кричать, размахивая им:

— Кто это сделал?

Девушка-учетчица вскочила с табурета и показала пальцем на дверь. Хотя никто к ней не притронулся, дверь почему-то открылась. В общей суматохе только мастер сохранил спокойствие. Он отдернул занавеску и прогудел неожиданно мощным басом:

— По местам!

Припадая на деревянную ногу, он подошел к Жаку и схватил его за руку:

— Ты что?

Жак не ответил. Он показал головой на лежавшую около верстака Лили. Вокруг нее суетились женщины.

– Ты ее ударил?

– Нет, нет, – закричали женщины, – она сама упала.

– Несите ее туда, – мастер показал на закуток. – А ты, – крикнул он учетчице, которая, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной, – сбегай в амбулаторию за врачом, живо!

Жак, задыхаясь, поспешил за женщинами. Одна нога Лили была вывернута пяткой вверх. Позже, когда с нее сняли валенки и положили в закуток на топчан, Жак увидел сшитый из желтой кожи протез. Протез был прикреплен к ноге ниже колена. При падении он повернулся ступней. «Ей отняли ногу. Как же она теперь?» Жак притормозил свою мысль. Он вновь почувствовал, как в нем поднимается ярость против тех, кто был виновен. Как он мог быть с ними заодно хоть один час, хоть одну минуту? И этот, с генеральскими погонами, равнодушно упомянувший о ней! Вдруг он мысленно отшатнулся от самого себя. Где был он, когда все это с ней случилось? Чем помог ей? Да, он сидел в тюрьме. Но внутренне он виноват.

Мастер о чем-то спросил. Он не расслышал, но сказал:

– При аресте нас разлучили. Я ее видел в тюрьме на пересылке, но тогда... Каждый был занят своим, я ничего не заметил.

Лили пришла в себя. Жак боялся этого момента. Усилием воли он заставил себя остаться на месте, не бежать. Лили первая окликнула его?

– Жак!

На него смотрели большие серые знакомые глаза. Ему показалось, что в них выражение жалости. Жак отвернулся, он не мог вынести ее взгляда.

– Ты давно здесь?

– Месяца два.

– А я с новембр.

– Ногу у тебя отняли?

– Стопу. Немного выше. Потому что, начилсья гангрэн. На транспорт обморозиль.

«Вот сволочи!»

Она больше ничего не сказала, отвернулась.

Дверь открылась. Вошел врач. Он пощупал пульс, измерил давление.

– Ничего, завтра будет в порядке.

Мастер подал Жаку костыль.

– Проводи ее. В женскую зону тебя не пустят, но...

Он не договорил.

В мастерскую влетел Колька Копченый, бледный, с блуждающими глазами. Не обращая ни на кого внимания, он подбежал к Лили, схватил ее за руку. Лицо его передернулось. Взгляд Копченого обжег Жака.

– Кто тебя обидел?

– Никто.

Колька положил ее руку себе на шею, подхватил ее. Жак последовал за ними, неся костыль.

На дворе таяло. Ноги глубоко увязали в снегу. Лили остановилась.

– Жак.

Что-то блеснуло в глазах Кольки. Жак подошел. Лили оперлась на его плечо.

– Вы не знаком? – спросила она Жака.

– Как не знакомы, спим рядом, – радостно откликнулся Жак и устыдился.

– Ты сналь, что я сдес? – спросила Лили. Жак отрицательно покачал головой.

Они шли вдоль какого-то забора. Жак механически стал отсчитывать столбы, постукивая по ним рукой.

– А письмо писал? – с едкой, как ему показалось, иронией, произнес Колька.

– Кому?

– Ей, Вале.

– Так я не знал, что это она.

– Меня так сдес звань: сначала Валяй, потом Валя. Ты писал?

Рука Лили соскользнула с плеча Жака.

– Он много для меня сделал, – оказывая головой на Кольку, сказала Лили. – Иль э мон ами¹.

Колька как будто понял.

– Что там, я муж. А кто он тебе – не знаю.

Лили закусила губы.

– Я тебе говорил. У меня есть ребенок. Он папа Иренка.

¹ Он мой друг (фр.).

– Ах, вот что. Это тот, что был там у фрицев в лагере... Не думал, что такой... Байки хорошо рассказывает, ксивы пишет, но чтоб с фашистами драться... Изменился, что ли?

Жак кивнул.

– Видно так. Без этого не понять. Ну так что, как мы теперь будем?

– Он папа Иренка, – повторила Лили.

Колька швырнул свою ушанку об землю.

– Колька! – крикнул она, ее голос сломался.

Он не слушал. Ушел, не поворачиваясь, слегка переваливаясь с ноги на ногу, будто желая этим показать свое равнодушие.

Жак смотрел ему вслед с чувством облегчения. Так, вероятно, уцелевшие от облавы негры смотрели вслед удаляющемуся судну работоторговцев.

– Пойдем, – сказал он тихо.

Он пытался обнять Лили за талию, но та отстранилась резким движением.

– Пойдем, – просительно повторил он.

Она кивнула, но не сдвинулась с места.

– Мне, может быть, не следовало этого говорить, но я чувствую себя виноватым.

Она сделала несколько шагов, вернее, перебросила свое тело, опираясь на костыль.

– Я живу в барак. Все знают, что я с Колька.

– Разве так не бывает? Поймут.

– Что поймут? У меня муж, а я с другим?

– Кто муж? Кто другой?

– Они тебя не видель никогда.

– Ну, мало ли что. Увидят.

Она вздохнула.

– Тебе не все равно? – спросил он, настаивая.

– Слушай, – она перешла на французский. – Он меня не видит так, как ты. Он меня видит, какая я есть. С ним я могу быть собой. С тобой я все время должна или стоять на цыпочках или сидеть на карачках.

– Я не могу иначе. Но я тебе сказал, что почувствовал себя другим. Это не значит, что я сам другой. Но мои действия стали другими.

Он удивился, заметив, что она не понимает.

– Кроме того, ты не сумеешь, как Колька.

Видно, она его вообще не слушала.

– Что Колька? – спросил он с горьким чувством. Зря он все это ей говорил!

– Да, вот так, – повторила она. – Слушай, что я тебе скажу: у тебя нет самолюбия, – и она прокричала со слезами на глазах. – Ты меня не жалея, мне не нужна твоя жалость!

Она ушла. Он стоял, опершись на забор, иначе бы он упал: он стар, его показывают в банке со спиртом для учебных целей, на него пялят глаза, его изучают. Какой-то пижон цедит сквозь зубы: «Не на что смотреть». Ему хочется сказать во всеуслышание, кто он такой. Что им прожита жизнь, тяжелая жизнь. Что он не заслужил этого...

Сам он не скажет. Силы не хватит.

Но ведь никому нет до этого дела.

Глава 3. РЫТВИНЫ

1

Тогда, на пересылке, когда Лили спросила, нет ли у него мыла, а он махнул рукой, она восприняла его жест как отказ не только от помощи ей, но и от нее самой. «Вот как! — возмутилась она, — я столько для него делала. Эгоист. Только такие могут выжить здесь. О, теперь я понимаю, что это за страна! Странно, что ее могли перевозносить люди, которых я уважала. Хотя ни Поль-Антуан, ни Пьер, ни Яша в России не были. Но Марта Зейлер, ведь она здесь была! Она мне рассказывала про Москву и про Ленинград... Мария, та даже родилась здесь, хотя не совсем, на Украине. Но все же... Неужели привычка застит глаза на очевидное? Или свое кажется всегда лучше, чем есть на самом деле?»

Ее возмущение постепенно улеглось, вину за свои злоключения она свалила на порядки в этой стране. Она вспомнила Иренку, ее перевязочки на руках... Ребенок остался у Варвары Николаевны. Та приходила на свидания, говорила, что все в порядке и что с ней самой все устроится. Лили кивала в ответ. Что она могла ей сказать? О каком порядке могла идти речь? Ведь все нарушено. Все так запутано, что голова кругом идет.

У нее с самого начала жизнь какая-то не такая... Ни с Пьером, ни с Жаком она не была соединена настоящим браком. Может быть, в церковном браке что-то есть. И поэтому у нее ничего не получается? С Жаком... Но ведь Жак не стал бы венчаться — он еврей. И она тоже... ах, да, забыла, что она не еврейка, она дочь Чакки.

2

Нагруженные своими пожитками, женщины спускались, скользя по укатанной дороге к длинной веренице розвальней. В морозном воздухе застыл пряный запах сена и лошадиного пота. Термометр показывал минус 22 градуса по Цельсию. Зима в этом году установилась ранняя, мороз делал воздух стеклянновозвонким.

От лошадей шел пар. Солдаты конвоя перебрасывались шутками, приглашая женщин занимать места на санях. Женщины расселись по трое, и под звон бубенцов и гиканье конвоиров сани понеслись по прямой обсаженной редким кустарником дороге вниз, к чернеющей полосе лесонасаждений. С вершины сопки, где стояли мужские бараки, еще долго была видна ползущая по степи вереница саней. Но вот она скрылась в искрящемся снежном тумане, будто была им поглощена.

С сопки за отъезжающими следили мужчины. За время пребывания на пересылке многие из них перезнакомились с женщинами. Теперь эти связи внезапно оборвались.

Лили оглянулась. Сопки с раскинутыми по ним бараками слабо различались в густеющем тумане. Лили клонило ко сну. Вдруг она проснулась, как от удара. Она представила себе бревном, расщепившимся под топором. Теперь будет новая жизнь. От старой ничего не останется. Одновременно возникло любопытство: что же там впереди?

Все-таки холодно. Она спрятала свои обутые в чувяки из автомобильных шин ноги под толстую юбку сидевшей перед ней женщины и сбоку прикрыла их сеном. Полозья саней тихо шуршали по снегу, их удары об мерзлые ухабы отдавались мягко и приглушенно. Снег слепил глаза. Вероятно, она снова вздремнула. Проснулась оттого, что почувствовала, как ледяной холод пополз по ногам вверх. Она с ужасом подумала, что может замерзнуть «изнутри», и ухватилась за сидевшую впереди женщину. Та оглянулась и, увидев ее лицо, закричала:

- Стойте, окаянные!
- Тпррр! Чего там?
- Чего! Смотри, белая вся.

Солдат, молодой круглолицый парень поглядел на Лили и замотал головой:

– Уже немного осталось, потерпит.

– Ты что, обалдел? Она непривычная, француженка. Замерзнет, будешь отвечать, – взволнованно затараторили женщины.

– Скорее бы добраться до места. Что по дороге сделаешь, – сказала одна.

– Что, я ей свой тулуп отдам? – возразил солдат.

– А что с тобой станется, когда и отдашь! Вон харя-то какая.

Солдат присвистнул, скинул тулуп и бросил его Лили. Женщины помогли ей одеться. Она исчезла в тулупе и свалилась мешком в сани.

Заплетаясь ногами в тулупе, к саням, на которых ехала Лили, подошел начальник конвоя.

– Снова свои штучки крутишь, Барщевский! Взвод вымораживаешь! Вишь, врага народа пожалел, казенное добро раздает.

– Замерзнет, – буркнул Барщевский.

– Смотри, за это тебя по головке не поглядят...

– А мне что.

– Разговорчики! Хватит! – старшина ударил лошадь по крупу.

Дождавшись, пока подтянутся его сани, он достал из кармана кисет и скрутил сигарку. «Везут, везут. Здесь народу скоро будет больше, чем на воле». И закричал на возницу:

– Жопой к тракту примерз, что ли?

Слова убаюкивали Лили и как будто успокаивали. Боль в левой ноге утихла. У нее было ощущение, будто она переходит из одного состояния в другое, и это даже приятно. Она упала навзничь. Спутницы принялись над ней хлопотать, стали бить по щекам и тереть ее руки. Одна из женщин положила голову Лили к себе на колени.

– Потерпи, Валюша. Скоро приедем, а там отогрееешься.

Солдат повернулся, он казался озадаченным: «В тулупе замерзает?» Он привстал и погнал лошадей, обгоняя ехавших впереди. Местами ветер сдул снежный покров, и полозья выбивали искры из промерзшей земли.

«До чего мягкие и удобные колени у этой женщины, – подумала Лили. – Удивительно, при близком соприкосновении эти русские бабы оказываются добрыми и отзывчивыми, но пока

нет соприкосновения, они злые и грубые. Барщевский. Кто такой Барщевский? Ах, этот малый впереди с широкой спиной. Но кто-то еще...» Внезапно мелькнуло лицо Варвары Николаевны и исчезло. Лили зашевелила головой.

— Неудобно? — спросила женщина, которая держала ее голову на коленях.

— Удобный, очень удобный. — Она пыталась улыбнуться, но улыбки не получилось.

«У меня, видно, замерзло лицо», — подумала она и погрузилась в сон. Ей почудились прогретые вечерним солнцем сосны. Между ними проглядывало море. Море вобрало в себя все краски мира, но отдавало их скупно, таясь в своем богатстве. Лили никогда моря не видела, но в ней каким-то образом сложился его образ.

3

Уже вечерело, когда они въехали в большое село. Сани остановились у каменного здания с колоннадой. Сзади были видны сад и фонтан.

Начальник конвоя, обметая снег с валенок, поднялся на крыльцо. Женщины слезли с саней, стояли группами и гоготали как гуси. Солдаты стаскивали с саней сено, бросали его кучами перед лошадьми. Низкорослые мохнатые лошади с выражением грусти и покорности принялись за сено, приятно похрустывая.

Лили проснулась от толчка. Кто-то уговаривал ее встать. Она приподнялась на локтях и с удивлением взглянула в наклонившееся над ней лицо брюнета с тонкими ниточками усов. Брюнет попытался ее приподнять, но тут же отказался от этого намерения. Он вынул из кармана ватных брюк папиросницу, постучал папиросой по крышке и с удивлением взглянул на женщину, перед которой возница размахивал руками.

— Господи, неужели она? — проговорила женщина и жалостливо прислонила руку к щеке. — Отстань, я сама.

Она обняла Лили за шею и, просунув руку под ее коленки, приподняла ее и положила на стоявшие рядом с санями носилки. Вдвоем с брюнетом они понесли Лили. Тесемки белого халата женщины оборвались и торчали в разные стороны. Лили устала на них. Лица женщины она не разглядела, но голос показался ей знакомым.

Лили внесли в завешенное простыней помещение. Красавчик с усами куда-то исчез, а перед Лили возникла, как фигура из сказки, Варвара Николаевна. Она придвинула стоявшую в углу комнаты табуретку и села возле Лили.

— Вот и приехала, — сказала она, положив свою большую теплую руку Лили на колени

Лили хотелось заплакать, но слезы замерзли и кололи ей глаза. Ей даже казалось, что она слышит, как они звенят.

— Теперь все будет хорошо, — продолжала Варвара Николаевна, — не сомневайся. Иринка здесь, с ней полный порядок. Она на пятнадцатке в яслях. Здоровенькая, веселенькая, как птичка. Тебя она знает, я ей твою карточку показывала. Ты на ней после Германии в платье с вырезом и в туфлях. Я ее спрашиваю: кто это? Говорит — мама. Ты, говорит, моя мама, а это — просто мама.

Лили не заплакала. Заплакала Варвара Николаевна. Шмыгая носом, она говорила:

— Помнишь, я передачу тебе носила? Прихожу, а Федор Николаевич укладывается. Он говорит: «У меня назначение в Казахстан. Тебя не уговариваю, но если хочешь, езжай со мной. Сын у тебя там, будете жить вместе». Я ему говорю, как же мне ехать, а квартира, а прописка, а младшая, что в школе? Школа и там есть, говорит, а прописка — не твоя забота. Квартиру старшей дочери оставь, она тебя только поблагодарит. Ей замуж хочется, а без квартиры-то как? Еще с неделю поваландалась, а потом собралась, поехала. У нас домик свой, ничего. Сын у меня хозяйственный. Куры, гуси, поросята. Коза есть. Молоко у козы жирное. Иринка кушает. А Федор Николаевич здесь все-му голова. Он тебя в обиду не даст. Твою карточку с собой носит, а он тут все может — хозяин!

В комнату ворвался шквал голосов. Простыни на стенах вздулись, как паруса. Комната сразу переполнилась белыми халатами. Всеми командовала маленькая женщина с мордочкой мопса. Поверх мундира капитана медицинской службы она накинула халат без тесемок, сильно накрахмаленный и суженный в талии. Женщина придерживала его на груди. Красавчик услужливо придвинул ей табуретку. Женщина-мопс уселась, подтягивая сползавшие с ее тощих икр бурки, и стала методично хлестать красавчика словами:

– Вы, доктор Шéнази, наверно, забыли, что не петухи заводят курятник. В курятнике петухи распоряжаются только до поры до времени. Они могут в любой момент очутиться в кастрюле.

Призывая присутствующих в свидетели, она продолжала:

– Вхожу я сегодня в женский корпус и что вижу? У окна стоит наш уважаемый доктор и разъясняет сестричкам и санитарочкам, как уберечься от беременности. Мы ему, конечно, благодарны за его просветительское рвение, но должны предупредить: ему грозит опасность очутиться в кастрюле. Понятно вам, доктор Шéнази?

– Позвольте, – попытался возразить красавец, красный как рак.

– Не позволю! – притопнув ногой, взвизгнула женщина.

Она запахнула халат и сказала ледяным голосом:

– Поскольку вы пока что врач, я вам разрешаю осмотреть больную.

Красавчик подошел к Лили и спросил ее, борясь с дрожью в голосе:

– Что у вас бóлит?

– Теперь ничего не бóлит.

Взрыв смеха. Получилось, будто она передразнивает красавчика. Капитан медицинской службы презрительно скривила рот.

– Снимай шульки! – прикрикнул на Лили красавчик.

Лили пыталась развязать веревки, которыми были подвязаны ее чулки, но пальцы плохо слушались. Красавчик сдернул с нее чулки, но тут же застыл. Губы женщины-мопса сузились.

– Довольно, – выдавила она из себя, послав красавчику уничтожающий взгляд. – Несите больную в палату.

Доктор Шéнази стал перебирать в уме свой запас бранных русских слов, но, не найдя ничего, что удовлетворяло бы его злобу, процедил сквозь зубы:

– Мегера.

4

Утром в больничный городок приехал генерал. Весь медперсонал сбился с ног, наводя порядок. Начальницы санчасти не было на месте, и генерал послал своего адъютанта за ней на

квартиру. Доктор Шéнази встретил генерала у дверей стационара, извиняясь со светской учтивостью за беспорядок. Генерал смерил красавчика ироническим взглядом, ничего не сказал, а войдя в ординаторскую, присел возле письменного стола и распахнул полушубок. На его кителе пестрели орденские ленточки.

Генерал взял со стола карандаш, стал его пристально рассматривать.

— К вам привезли вчера обмороженную женщину. Как это могло случиться?

— Кто не имель обув, на пёресылка даваль рёзиновы га'леш. Рёзина в мóроз еще хóлодней делается.

— Вы считаете, что это и было причиной обморожения?

— Да, я считаю.

— Но вчера было не так уж холодно.

— Прóшу йзвинения. Вчера былъ очень холодно. Двадцать чéтыре градус Цельсий.

— Вы не русский?

— Я мадьяр.

— В таком случае обмороженная ваша землячка.

— О!

Несмотря на восклицание, доктор Шéнази был сдержан. Снобизм не позволял ему выражать удивление.

Неизвестно, что побудило генерала сказать:

— Эта женщина провела в нацистском лагере смерти год, а до этого сидела в гестапо. Немцы приняли ее за еврейку.

Лицо доктора Шéнази стало абстрактным.

— По отцу она венгерка. Отец ее граф Чакки. Может быть, эта фамилия вам что-нибудь говорит?

На этот раз доктор Ференц Шéнази вскинул руки, затем, прижав их к сердцу, наклонился.

— Для нас, советских людей, это значения не имеет, но нам бы не хотелось, чтобы человек, который был узником фашизма, страдал от нашей нерадивости.

Боже мой, что с ним, он выдает себя!

— Я бы мог, конечно, распорядиться, чтобы больную перевели в гарнизонный госпиталь, но при наличии здесь хороших врачей это, пожалуй, излишне.

Он был сам поражен заискивающим тоном, которым произнес эту фразу. Может быть, поэтому он вдруг прикрикнул на Шенази:

– Что вы здесь стоите? Идите.

Сам встал, захлопнул полушубок и, подойдя к окну, забарабанил пальцами по стеклу.

Доктор Шэнази вбежал в палату и стал искать глазами Лили. Она прикрыла лицо одеялом. Шэнази быстро заговорил по-венгерски. Не понимая, что он говорит, она ждала. Сквозь шквал восклицаний с ударением на первом слоге, что звучало, как удары бубна, она услышала фамилию Чакки.

– Что Чакки? – спросила она по-русски.

Красавчик объяснил, что знает ее отца. Она скривила рот.

– Вам лютше смотреть моя нога, – сказала она, приводя его в чувство.

Он схватил ее руку и поцеловал. Она не успела ее отдернуть.

– И это все? – спросила она в обычном смешливом тоне, хотя ей было не до смеха: нога отчаянно болела.

Он осмотрел ногу, покачал головой и сказал:

– Такая ножка.

«Балбес», – подумала Лили. Ей показалось, что Шэнази заговорил по-французски. Лили затараторила, пряча страх за словами. Красавчик мог не объяснять: нога пропала.

Из передней она услышала резкий дискант начальницы санчасти. Дискант оседал, как изморозь. Изморозь быстро таяла в знакомом Лили мужском голосе. В палату вошел генерал. Он шагал, как по отобранным у врага знаменам. Сзади семенила Кира Васильевна, ее глаза мопса были сильно подведены, веки подкрашены. Поравнявшись с койкой, у которой стоял красавчик, она сказала:

– Вчера я должна была напомнить доктору, что он не скульптор, а врач.

– Вчэра нáчальница не даль мне óсмотреть бóльная. Теперь прíдется áмпутировать голень.

– Кто он? – спросил генерал Киру Васильевну, как будто увидев Шэнази впервые.

– Врач из Будапешта, – начальница санчасти пожала плечами. – Я отобрала его при медицинском осмотре.

– Вы начальница санчасти и капитан медицинской службы. Вам надлежит приказывать. Они, – он кивнул в сторону Шéнази, – обязаны выполнять ваши приказания.

Генерал полностью овладел ситуацией.

– Вы сможете временно замещать доктора Кравцову? – обратился он к Шéнази. Но, не дождавшись ответа, повернулся к Кире Васильевне:

– Вы поедете со мной, – сказал он. – Нам есть о чем поговорить.

«Он только что стоял здесь, – думала Лили, – почему я ничего не сказала? Но зачем? Прошрое в прошлом. Настоящее в настоящем».

Да, время необратимо, как необратима взвившаяся к звездам и погибающая в сверкающей вспышке ракета.

Когда генерал и Кравцова ушли, доктор Шéнази выпрямился. В его голосе звучали металлические нотки.

– Несите больная в операционная.

Он им теперь покажет!

5

Операция длилась долго и была не совсем удачной. Красавчику с трудом удалось справиться с кровеносными сосудами.

Измочаленный, он побрел в ординаторскую и повалился на топчан. Ему захотелось курить. Он пошарил в кармане брюк, но папиросницы не нашел. Вспомнил, что оставил ее на подоконнике в операционной. Встать и вернуться туда было лень.

В конце концов, он мог быть доволен собой: он ампутировал ногу дочери графа Чакки. И где! В советском концентрационном лагере. Обязательно, если ему удастся вернуться в Будапешт, нужно будет об этом рассказать. Описать эту больницу в самом бараке, этот «обслуживающий персонал», да и генерала не забыть. В Будапеште все это будет звучать, как анекдот. Он, Ференц Шéнази, в ватных брюках и в стеганой фуфайке!

В дверь постучали. Вошел Колька Копченый. Он нес под мышкой завернутые в тряпку сапоги. Доктор Шéнази заказал у него пару кавалерийских сапог с твердым и высоким задником для шпор. Сапоги должны были напомнить ему о прошлом, восстановить размытое событиями самоуважение.

При виде развалившегося на топчане доктора Колька Копченый остановился в дверях и стал разворачивать сапоги. Ференц Шенази взял сапоги и осмотрел, подняв кверху, как котенка.

Копченый тряхнул головой:

– Можете не сомневаться.

Не понимая, что Колька сказал, Шéнази все же кивнул головой. Вдруг ему показалось, что Колька ведет себя недостаточно почтительно.

– Что еще?

– Мое дело шить, ваше платить, – сказал Колька.

– У мéня сéйчас нет, приходи через пару дня.

У доктора Шéнази был высокий тенор, и он чувствовал, что тенор не приличествует разговору с таким человеком.

Колька сплюнул себе под ноги.

– Ты у меня не шуткуй, – спокойно сказал он.

Шенази промолчал. Он чувствовал себя обиженным, но не хотел этого показать. Закрыв глаза в знак того, что для него разговор окончен.

Колька подошел к нему. Он знал, что Шéнази на него смотрит, сделал из пальцев вилку и подвел к глазам лежащего. У Шéнази дрогнули веки.

– У меня не было время. Утром óперация.

– Ну уж и операция. Какой-нибудь чирий на заду соскребал.

Есть чем хвастать.

– Нет, – сказал Шéнази. – Я опéрировала нóга. Нóга у дочь вéнгерский граф.

– Ты мне зубы не заговаривай.

– Я сказала. Дочь венгерский граф. Он мой знакомый из Будапешт. Не веришь? Хочешь, покажу?

– Ну давай.

– Одевай хóлят. Висит на дверь. Только с ней гóворить нельзя и бóдит нельзя.

Колька прищурил глаза. Он все еще ожидал подвоха.

Шéнази спустил ноги на землю, отодвинув сапоги. Он их заказывал, но не знал теперь, как расплатиться. Он хотел попросить сухой паек, якобы для больных, идущих на выписку, но побоялся отказа. Завхоз больницы страшила его своей честностью.

Колька надел халат и тщательно расправил его на своей коренастой фигуре.

Они вошли в палату. Доктор Шенази спросил что-то у дежурной сестры. В это время Колька рассматривал потолок. Они оба подошли к постели больной. Шенази хотел приподнять одеяло, но Колька его почему-то оттеснил.

Он всматривался в лицо лежавшей перед ним женщины, как всматриваются в лицо знаменитости, пытаясь узнать, чем она отличается от других людей. Как бы отвечая на его немой вопрос, Шенази сказал:

— Она была в немецкий лагерь смерти. Немцы думали, что она еврейка

В памяти Кольки всплыло все, что он слышал о евреях, об их судьбе в Германии, о лагерях смерти, о душегубках.

— Гады, — сказал он тихо. И прибавил необычно просительно. — Можно будет к ней приходиться?

— Пожалуйста! — с готовностью ответил Шенази. — Пожалуйста, только хлять одевай.

Колька, не отводя глаз, смотрел на прикрытую до подбородка серым байковым одеялом «венгерскую графиню». Взбитые папашой темные волосы, кожа, как молочное стекло, стиснутые бледные губы, две складки над переносицей. Что здесь особенного? Это, значит, и есть аристократка?

Он вспомнил, как Шенази сказал, что немцы приняли ее за еврейку.

Евреи, аристократы... Кольке пришло на ум, что они чем-то похожи на блатных. Только блатными не появляются на свет, а тем на роду написано. А можно узнать по виду, кто аристократ, а кто еврей? С евреями проще, у них нос. Колька слышал что-то про голубую кровь. Но ему никогда не приходилось видеть такой крови. А у евреев кровь красная, это он видел не раз.

«Во Франции, — думал он, — аристократам голову чикали за то, что они аристократы. В Германии евреев газом травили. Это все равно, как если бы всех курносых или рыжих к ногтю».

Больная зашевелилась. Колька посмотрел на Шенази. Лили открыла глаза и попыталась приподняться.

— Ох! — вскрикнула она. Потом жалобно: — Мне плёхо.

Колька налил из стоявшего на тумбочке графина стакан воды и поднес его к губам графини. Она сказала глазами спа-

сибо, попыталась глотнуть, но пролила воду. Приняв Кольку за врача, она спросила:

– Я умру?

– Да что ты, что ты, – пытался успокоить ее Колька. – Разве такие умирают? Будь покойненькая.

Больная нахмурила брови и посмотрела сквозь Кольку.

«Сболтнул что-то не так? – подумал он и выругал себя. – Лучше бы я молчал. Кто их знает, как с ними говорить!»

– Все будет в наилучшем виде, – сказал он вслух.

Но больная глубоко всхлипнула и отвернула лицо.

С Колькой случилось что-то странное: он почувствовал одновременно угрызения совести и жалость, да и еще что-то такое, что можно было бы принять за желание помочь, если бы не боязнь впутаться в непонятное и чужое. Чувствительный к необычному, Колька увидел в Лили какую-то жар-птицу. Она прекрасна с ногами и без ног, это не меняет ее сущности. Заколдованная и превращенная в жабу принцесса остается принцессой.

С просветленными от восторга глазами Колька покосился на Шенази. Тот стоял у окна и, вертя пальцами, смотрел на них. Он ничего не понимал, и понимать не мог. Для него самым важным в женщине были ее руки, ноги, плечи, грудь. Малейший изъян делал ее непригодной. Но пользу из Колькиного восторга он извлечет: за сапоги не надо будет платить.

6

Варвара Николаевна принесла Лили книжку на французском языке. Это были какие-то трогательные рассказы для детей. Она положила книгу на одеяло. У нее был вид заговорщицы.

В палату вошла, твердо ступая полными ножками, маленькая девочка. Ее круглое личико сияло от проказливого удовольствия. Не обращая внимания на лежавших на койках «теток», она прошла между двумя рядами кроватей, спеша к месту, где на табуретке у постели Лили сидела Варвара Николаевна. При виде девочки она приветливо всплеснула руками и сделала изумленное лицо. Девочка ткнула свой носик в колени Варвары Николаевны. Она, видимо, сочла свою миссию выполненной.

– Вот твоя мама, – сказала Варвара Николаевна.

Девочка качнула головой.

– А кто же? – спросила одна из соседок.

– Тетя.

Девочка засмеялась.

– Нет. Не тетя, а мама, – настаивала Варвара Николаевна. –

Поди, скажи: здравствуй, мама.

Девочка молчала, искоса поглядывая на «тетю». Потом вдруг испуганно отвернулась. Лицо Лили выражало крайнее напряжение. Еле слышно она сказала:

– Не надо...

Девочка поджала губки, ее глаза наполнились слезами. Варвара Николаевна принялась ее успокаивать:

– Не надо плакать. Сколько здесь тетя, все они будут смеяться, если Ириночка будет плакать.

Лили уперлась взглядом в потолок. У нее больше нет ребенка. Добрые люди взяли его воспитывать. Одного она оставила в Германии. И вот еще...

Потолок подпирали деревянные столбы. Поперек тянулись изогнутые от тяжести крыши балки. Лили видела на пересылке, как засыпали крышу глиной и песком. Что если потолок обвалится? Все они будут погребены заживо.

Лили удивилась, с каким равнодушием она об этом подумала.

7

Колька весь сиял. Он принес протез.

– Спасибо, – сказала Лили.

– Чего? – спросил Колька.

– Спасибо, – повторила она почти беззвучно.

Она отказалась примерять протез. Колька был, видимо, разочарован. Она положила свою новую кожаную ногу на постель, стараясь себе представить, как она будет ею пользоваться. Воображение ее пасовало. Вообще, как она будет жить?

В ней зрело решение предостеречь Кольку от опасного сближения. Она расскажет ему о себе. О себе такой, какой может показаться со стороны. Возможно, какой есть. Испорченной, циничной и грубой...

Прошло еще две недели. Она стала помаленьку передвигаться. Доктор Шёнази предоставил ей ординаторскую для

свидания с Колькой. Шéнази был к ней пренебрежительно снисходителен.

Лили рассказала Кольке свою жизнь, начиная с раннего детства и выпячивая свои «падения». Ее честность была неожиданно вознаграждена восторгом Кольки. Ему ничего подобного не приходилось слышать! Чего стоили все романы по сравнению с романом Лили? Опекун, фон Вевис, тюрьма, Марта Зейлер, концлагерь, Жак, приезд в Россию... Колька входил в ее мир, как в покинутую жильцами квартиру, не представляя себе, что может в ней обосноваться. Временами в его взгляде полыхало отчаяние.

Доктор Шéнази торопился ее выписать. Первый раз она надела протез. Ее движения казались глумлением над природой. Она сбросила протез, схватила костыли. Так проще.

8

Ее поместили в лучший из женских барачков. Женщины принимали своих «мужиков» в занавешенных простынями вагонках. Они обстирывали их, кормили... Редко кто из мужчин оказывался благодарным. Большинство из них обращались со своими лагерными женами, как со шлюхами. Что находили женщины в таком сожительстве, неизвестно, только от «любви» глаза у них становились большими, блестящими и бесстыжими.

Старостиха барака благоговейно относилась к Кольке. Она предложила Лили пользоваться ее «кабинкой» когда она пожелает. Договорились на два раза в неделю. Старостиха удивилась ее скромности. Она еще больше бы удивилась, если бы знала, что Лили согласилась на предложение, лишь бы не компрометировать Кольку. Они просиживали часами молча и не двигаясь. Она была для Кольки чем-то вроде музейного экспоната с надписью «Руками не трогать».

Достаточно было одного слова Кольки, чтобы устроить Лили на «блатную» работу в сетевязалку. При этом за нее работали другие, а Лили только присутствовала. То, что она могла связать за смену, другие, не напрягаясь, делали за час.

Колька приходил к ней по вечерам. Он садился у верстака, забавлял всех своими байками. Мужчины и женщины уходили парами устраиваться на сидении демонтированного «доджа».

Многие косились на Лили: чего она, мол, ломается. Но опередивший ее появление слух о том, что она чуть ли не княжеского рода, оберегал ее в отсутствие Кольки от назойливых приставаний. Он же был ее «законным».

...Когда она увидела Жака, мир показался ей опрокинутым. И, чтобы не выпасть из него, нужно было следовать его движениям. Лили упала возле верстака в момент, когда собиралась встать, чтобы отнести мастеру работу. Протез при падении подвернулся, она придавила его тяжестью своего тела.

Очнувшись, она притворилась, что еще не пришла в себя. Нужно было выиграть время, чтобы сообразить, как поступать в дальнейшем. Объяснение с Жаком неминуемо, это ясно. Что ему сказать? Как объяснить, что она не прежняя? Не потому, что у нее отняли ногу, а потому, что она угасла. Одно мгновение сверкнула мысль, не свалить ли все на увечье, но она была слишком усталой, чтобы ломать комедию.

Она сказала себе, что с Жаком все кончено, и тут же почувствовала облегчение.

— Чего ты от меня хочешь? Я жена Кольки Копченого, мы муж и жена. Ну, сом марие¹, понятно?

¹ Мы женаты (фр.).

Глава 4. Оазис

1

Что бы ни говорили, самое изменчивое в характере человека — это его вкусы и увлечения. Кто бы мог подумать, что боевой офицер, смелый талантливый разведчик, очутившись в роли начальника исправительно-трудовых лагерей, увлечется разведением цветов и организацией кружков хорового пения?

Федор Николаевич все время был в разъездах. Ничто не ускользало от его внимания. Отныне ни один валенок, ни одна пара рукавиц не пропадала. Всякие связи между вольняшками и заключенными были прекращены.

В один из наездов в ближайший к пересылке лагерь Федор Николаевич узнал, что накануне туда привезли Лили с отмороженной ногой. Федор Николаевич вскочил в свой не успевший остынуть виллис и помчался в больницу. Однако он скоро опомнился. Больше того, показал прозорливость и принципиальность. Он действовал, как подобает облеченному властью и доверием чекисту.

Ему 38 лет, и он уже генерал. Правда, во время войны такое быстрое продвижение не было редкостью. Все же чтобы продвинуться, нужно было оставаться твердокаменным и подавлять возникающие иногда сомнения... В подавлении их Федор Николаевич открыл для себя новый источник гордости и упоения властью. На этот раз над самим собой...

2

Весной по лагерю пополз слух об организации спецлагерей, куда будут переведены зеки, обремененные статьями 58–59.

Заклученные быстро усваивают правило, что сопротивление решениям администрации бесполезно, и единственное, что можно сделать, это приспособиться к изменившейся обстановке. Естественно, что «политические», как более грамотные, усваивали эту истину первыми.

Лагерные слухи — не гадания синоптиков, они почти всегда сбываются. Удивительно, насколько быстро становится известным то, что начальство пытается утаить. Можно было подумать, что зеки чувствуют, что их ожидает, каким-то верхним чутьем.

И вот наступил день, когда с утра по баракам стали вызывать с вещами. К вытоптанной посреди лагпункта площадке, где обычно проводились переключки и поверки, потянулись со своими котомками и чемоданами вызванные на этап заключенные.

Направляясь туда, Жак мысленно сравнил свое положение с тем, в котором он находился, когда под именем Самуила Брона он ожидал отправки «на газ». Конечно, разница между германским лагерем смерти и советским исправительно-трудовым лагерем была ощутимой. Над заключенным не висела угроза уничтожения, концентрация ужасов была меньшей: сельская местность, в которой был расположен лагерь, невольно внушала мысль о естественном ходе вещей. Здесь не чувствовалась фашистская стерилизация от гуманистической инфекции. Лагерных надзирателей называли задушевно «начальничками», заключенных не пытались особенно раздражать, начальство было доступнее человеческим побуждениям. Вымуштрованный немец теряет человечность, соответственно обработанный русский ее только подавляет.

И все же, сравнивая свое моральное состояние тогда и теперь, Жак чувствовал, что ему труднее. Там он знал, где его враг и кто друзья. Он включился в борьбу раньше, чем перед ним встала необходимость защищаться. Здесь он был одиноким, загнанным, бессмысленно затерянным в огромной массе непонимающих, кто друг, кто враг, людей. Раньше он считал военных с малиновыми околышами своими защитниками. Теперь они защищали от него.

3

Подойдя к месту сбора, он увидел толпу заключенных, упиравшихся понурыми взглядами в офицера, в котором

он узнал начальника культурно-воспитательной части. Толпа слушала, как он доказывал, что отправка заключенных в спецлагерь осуществляется в их интересах, дабы «отгородить один контингент временно изолированных от другого». Вызывало удивление, что в числе отправляемых были приговоренные по статье 59 (бандитизм), то есть как раз тот «контингент», от которого политическим больше всего доставалось. Впрочем, разъяснения начальника КВЧ были ему, очевидно, продиктованы. Он все время оглядывался на стоявшего за его спиной начальника лагпункта, как будто ожидал от него подтверждения своих слов. Жаку было известно, что начальник КВЧ был последней спицей в колеснице лагерного начальства. Ему вспомнилась недавняя история: однажды, вернувшись после дневной работы, заключенные обнаружили вывешенный над воротами лозунг: «Береги социалистическое добро как синицу в оке». Кто-то поднял художника на смех. Чтобы оправдать себя, он вытащил из кармана записку, в которой рукой начальника КВЧ был выведен этот блестящий афоризм.

Жак тогда почувствовал жалость к незадачливому пропагандисту.

Кто-то несколько раз назвал его по фамилии. Он увидел зеленые чулки и огромные ЧТЗ стоящего за веревочной оградой человека.

— Хер маль ду!¹

Словно просыпаясь, Жак повернул голову. У ограды стоял Франц Шуберт, делая знаки Жаку приблизиться. Жак удивился: после вызова к куму Шуберт явно его сторонился. Оставив догадки о причине перемены, Жак подошел к бывшему эсэсовцу.

— Жалко, что ты уезжаешь! — заговорил рыжий немецки. И, встретив недоуменный взгляд Жака, продолжал: — я все знаю. Надо уметь держать ухо востро, тогда будешь в курсе всех дел.

Он вынул из-под полы куртки полотняный мешочек и протянул его Жаку.

— На, возьми. Немного сахара тебе не повредит.

В этот момент Жак заметил подкрадывающегося к нему Кольку Копченого. Колька схватил Шуберта за руку и просунул

¹ Подойди-ка! (нем.)

палец в мешочек, предварительно намочив его слюной. К пальцу приклеилось несколько кристалликов сахара. Колька оглядел их испытывающе и слизнул языком.

– Вас золь дас бедойтен?¹ – воскликнул эсэсовец и попятился назад.

– Ничего, – процедил Колька сквозь зубы.

Жак оглянулся. На насыпи, ограждавшей хозяйственные постройки лагеря, стояла Лили. Жаку надолго запомнилось ее лицо. Оно было как-то странно напряжено.

– Бери, если дают, – буркнул Колька.

– Спасибо, – сказал Жак неизвестно кому. Он как-то воспрял духом, забыв о своем беспокойстве и неясном ощущении надвигающейся опасности. – Спасибо, – повторил он и помахал рукой.

Лили ответила ему каким-то робким движением.

4

К полудню подали машины. Этапников погрузили по двадцать на грузовик. Жак вскарабкался в кузов одним из первых и прислонился спиной к кабине. Ничем не соединенная с кузовом, она перемещалась то влево, то вправо как живая. В машине возили, по-видимому, строительный материал: кузов был усыпан обломками кирпича, а борта запачканы алебастром.

По обе стороны грунтовой дороги расстилалась ковыльная степь. Когда грузовики шли на холостом ходу или останавливались, слышны были трели жаворонков. Машины двигались в облаке пыли, от тускло просвечивающегося солнца слипались глаза. Жак уперся взглядом в спину сидевшего перед ним человека. В потоках светотени, в ощущении зыбкости почвы у погруженных в гроыхающую пучину людей зародилась иллюзия общности.

Время от времени колонна останавливалась, конвоиры принимались проверять «груз». Пыльных и словно погруженных в сон людей считали, кладя им руку на голову. Часто подсчеты не сходились. Тогда заключенных выстраивали в поле. Они стояли молча, а когда раздавалась команда «По машинам!» долго не двигались с места, как будто не понимая, что от них требуется.

К вечеру их привезли на пересылку.

¹ В чем дело? (нем.)

Этапников не ввели в лагерь, а выстроили на склоне сопки, где их окружили стрелки. Раздался приказ: «Раздеваться!» Вскоре сопка была усеяна голыми телами, как будто паслось стадо людей.

Шмон длился около трех часов. Стрелки проверяли каждый шов сброшенной одежды, заглядывали во рты и в задние проходы. Уже темнело, когда изнемогающих от усталости людей подвели к железнодорожной ветке, где их ждал состав из теплушек. При посадке вновь начался подсчет. Подгоняемые грубыми окриками, они карабкались в теплушки, то и дело скатываясь вниз по насыпи, как жуки, которых мальчишка соломинкой опрокидывает на спину.

Не для того ли предпринимались эти предосторожности, чтобы убедить конвоиров в опасности заключенных?

Жак свалился на пахнущие соломой доски нар и тут же заснул. Он не проснулся, когда около полуночи стали раздавать сухой паек на два дня пути: по банке мясных консервов, по буханке хлеба и по восемь кусков сахара на человека. Утром Жак нашел свой паек возле себя, не было только сахара. Но, вспомнив о даре эсэсовца, он не заикнулся о пропаже.

За ночь состав не сдвинулся с места. Где-то вдалеке плыли гудки паровозов — напоминание об упущенном. Настал день. Июньское солнце раскалило жестяную крышу теплушки. Люди сбросили с себя одежду, кое-кто принялся за карты, но вскоре игра прекратилась: было слишком жарко. Все чаще раздавались крики: «Начальничек, воды!» В стенку теплушки полетели банки с мясными консервами: они оказались пересоленными. К вечеру в вагон доставили бочку с водой. Вода была студеной, ее пили не отрываясь, в животе становилось прохладно и пустынно, в ушах застывала сера, отчего звуки доносились, как с того света.

Только на вторые сутки состав тронулся и покатил по тонущей в мареве степи. Солнце палило. Паровоз еле полз. Вскоре его движение и вовсе прекратилось, Машинист слез с паровоза и оглядел машину. Его помощник смотрел на машиниста, как на отказывающегося прорицать оракула.

Стемнело. Начальник конвоя принял решение переночевать на месте. Опасаться столкновения с другим составом было нечего: поезда ходили два раза в неделю. Машинист развел костер

и лег спать, прикрывшись найденным в тендере почерневшим от угля тулупом. Теперь на бескрайних просторах блестел светлячком костер, пугая шакалов, прерывистый вой которых оглашал степь. Огонь привлекал мириады мотыльков, стрекоз, мух и слепней. Сгорая, они пеплом оседали в костер.

5

Жаку захотелось есть. Свою банку консервов он упустил в дыру, пропиленную в полу для оправки. Осталась буханка сырого, теперь почти закаменевшего хлеба. Живот раздуло, как шар. Мысли отключились, было одно желание: напиться. Жак часто дышал и глядел, не отрываясь, на узкую полоску лунного света, проникавшего сквозь щель вагона. Вынув из кармана мешочек с сахаром, посыпал им ломоть хлеба. Он ощупал хлеб со всех сторон, как бы удостовераясь в его целостности, потом, опершись о стенку вагона, принялся его есть. Но что если хлеба не хватит? Он думал об этом с волнением. Однако хлеб оказался ему противным. Во рту оставался какой-то отвратительный привкус. Он почувствовал приступ тошноты и резкую боль в животе. Он стал часто и громко икать. Его знобило. Спутники Жака, проснувшись, толпились вокруг него. Какой-то мужичок принялся массировать живот Жака своими огрубевшими шершавыми руками.

Его уложили на верхнюю полку, подложив под голову чье-то тряпье. Но Жак не мог согреться. Кто-то «заварил» чай холодной водой. Ему дали попить пахнувший йодом настоей.

Утро выдалось холодное. Жаку казалось, что он витает в пространстве среди звезд, чуждый им и далекий. Его охватил страх перед этим необъятным пространством, лишенным дыхания людей.

6

На четвертые сутки заключенных довели до места назначения. Их стали выбрасывать из вагонов, как мешки. Конвоирам пришлось сопровождать эшелон четверо суток вместо двух, а снабдили их не намного лучше, чем заключенных.

Жак увидел перед собой покрытые бурой пылью склоны. Слева в низине виднелись красноватые постройки, окруженные стеной. Из ворот вылез в сопровождении сержантов и старшин

невысокого роста обтянутый португеей тучный майор. Когда он подошел поближе, взгляд Жака остановился на его чисто выбритых розовых щеках. Благополучный вид майора казался вызывающим в этом унылом месте. Жестом пухлой руки он позвал к себе начальника конвоя:

— В чем дело? — спросил он балансирующим на грани возмущения тенорком.

— Эшелон задержался в пути на двое суток. Двенадцатого люди должны быть в казармах.

— Ну и что-о? — попытывался майор с какой-то издевательской интонацией.

— Котел был рассчитан на два дня, а волочились четверо суток.

— Это меня не касается. Подай рапорт на имя начальника ВОХР.

Он отвернулся и ушипнул себя за кончик носа. И вдруг крикнул по направлению к расположившимся на земле заключенным:

— Вста-ать!

Люди поднялись. Жак тоже пытался встать, но так ослабел, что не мог держаться на ногах. К тому же, когда конвоиры выбросили его из теплушки, у него подвернулась нога.

— Ждешь особого приглашения? — закричал пухленький майор.

— Он болен, — откликнулся кто-то из заключенных.

— Вас сюда привезли не для того, чтобы валяться на земле. Вы будете у меня вкалывать до седьмого пота. Отсюда выходят только ногами вперед.

Майор шагнул к Жаку.

Внезапно из-под его начищенных до блеска сапог взметнулся столб пыли. Майор как будто наступил на мину: в воздух взлетели сначала щепки, затем бумага, куски толя, бумажные мешки из-под цемента. За ними поднялся гравий с песком. Шинель майора забила полами, как ворона крыльями. Ветер вздул горб на его спине. Крутясь, он что-то крикнул и побежал мелкими шажками к воротам. За ним повалили сопровождавшие его униформы. Конвоиры со злорадством наблюдали это бегство, кто-то из них свистнул, но свист потонул в шуме и завывании ветра. Состав теплушек сдвинулся с места. Наткнувшись друг на дру-

га, вагоны остановились, задрожав, словно в испуге. Людей сек смешанный с песком дождь. Сбившись в кучу, они подставили спины урагану. Описывая вокруг них все более сужающиеся круги, смерч, казалось, вот-вот схватит их и понесет над соединившейся с небом пустыней.

Из сумерек вынырнул отряд стрелков. Послышался отрывистый, как кашель, лай собак. В глазах животных боролся страх перед бедствием с привитым им чувством покорности. Собаки ежесекундно оглядывались на своих вожатых, как будто спрашивая, продолжают ли они требовать от них невысказанное.

Заключенных погнали к воротам. Они и не думали сопротивляться. Они бежали, подталкиваемые страхом. Лагерь теперь казался им спасительным пристанищем. Когда ворота закрылись, к людям пришло ощущение безопасности.

7

Над Жаком склонились две головы. Жак узнал в них академика Павлова и Алексея Пешкова и кивнул им дружелюбно.

– Что вы ели? – спросил академик.

От усилия поднять плечи у Жака закружилась голова.

– Вспомните.

– Да все и так ясно, – отозвался Алексей Пешков.

«Все-таки следовало бы ему относиться к старшим с большим уважением и не забегать вперед. Все это от плохого воспитания»

– Вы имели доступ к аптеке?

– Нет.

– Где вы работали?

– В сетевязалке.

– Что он говорит? – спросил Алексей Пешков.

– Он говорит, что вязал сети.

– Вы взяли на исследование сахар у других этапников? – обратился Пешков к Павлову.

– Им выдали кусковой сахар. Случаев интоксикации не было.

– Кто дал вам сахарный песок?

Жак силился вспомнить. Павлов и Пешков переглянулись. Из-под накинутого на плечи медицинского халата у Пешкова

был виден офицерский китель. Посматривая на Жака, он снял с себя круглую медицинскую шапочку и, вынув из зачесанных назад волос круглый гребень, заткнул его себе на затылке.

«Женщина? Так почему Пешков? Ах да, ведь это псевдоним, как у Жорж Санд».

– Нужно будет доложить Перельштейну, – сказала женщина, которую Жак принял за Пешкова.

– Боюсь, что из этого будут одни неприятности, – ответил Павлов.

«Пешков» направился к дверям, но его перехватил какой-то крупный черноусый мужчина в медицинском халате.

– Меня переводят на четвертый лагпункт, – произнес он голосом трагика, ударив себя кулаком в грудь.

– Вы считаете себя тут незаменимым? – «Пешков» снова снял с головы шапочку, вынул гребень и причесался.

– Я согласен идти хоть в санитары.

– При ваших-то медицинских познаниях? – «Пешков» посмотрел на черноусого и закусил губу. – На четвертом лагпункте вы были бы среди своих, туда направляются все бендеровцы.

– Какой я бендеревец? Я вас прошу.

– Ладно, посмотрим. Только я ничего не обещаю.

– Дюже, дюже дьякую.

Черноусый бросил торжествующий взгляд на академика Павлова, который, повернувшись боком к двери, прислушивался к разговору. Когда черноусый и «Пешков» вышли, академик Павлов придвинул табуретку к койке Жака и взял его за кисть руки. От его прикосновения Жак вздрогнул.

– Вы не хотите, чтобы я вас осмотрел?

– Зачем?

– Вы больны.

Это звучало, как упрек.

– Чем же я болен?

– Вы съели что-то такое, чего есть не следовало.

– Я и раньше болел гастритом.

– На этот раз это не гастрит. Вы не ответили на вопрос, как к вам попал сахарный песок?

– Мне дали его в том лагере. Один знакомый.

– Кто он такой?

- Немец. Бывший эсэсовец.
- Странно. Он имел причины вас недолюбливать?
- Конечно.
- К сахарному песку был примешан сильнодействующий яд.

К счастью, сахар его в значительной степени нейтрализовал.

Жак задумался.

- Это ясно. Ведь то же самое происходит в природе.
- Природа не знает мести.
- Или фатум?
- Вы склонны, вижу, к мистике.
- А как иначе объяснить то, что со мной происходит?
- С вами ничего особенного не происходит.
- Вот как? А вы можете мне объяснить, как я попал сюда?

Всем известно, что вы производите опыты над собаками.

– Я?!

Жак загорелся.

– Разве не было случая, что какое-нибудь подопытное животное опровергало значение условных рефлексов? Вы просто не хотели этого признать. Может быть, у вас даже зарождалась мысль убрать свидетеля вашей ошибки.

– Ошибка в том, что вы меня принимаете за кого-то другого.

– Скажите пожалуйста! Вы, может быть, станете утверждать, что вы не работали в Кóлтушах¹?

– Я там никогда не был.

– Ну вот! Но ведь вас знает весь Советский Союз.

– Неужели?

– Вы же академик Павлов.

– Я на него похож, это мне говорили и другие, но...

– Только непонятно мне, почему вы, академик, подчиняетесь какому-то Алексею Пешкову, который к тому же, как мне известно, не имеет к медицине никакого отношения.

– То есть, вы о ком?

– Ну, этот офицер, женщина. К тому же между вами такая разница в возрасте.

В ординаторской начальник санчасти спросила седобородого:

¹ *Кóлтуши* – деревня в Ленинградской области, где в 30-х годах находилась биостанция экспериментальной медицины, позже вошедшая в Институт физиологии им. Павлова.

– Ну и как?

– Интоксикационный психоз. Он меня принимает за академика Павлова, а вас за Горького. Кажется, интеллигентный человек.

8

«Это все мне казалось», – сказал себе Жак на следующий день. Он решил поговорить с главврачом. «Академика Павлова» он застал за изучением толстой книги. Из нее торчало множество закладок.

– Кто вам разрешил разгуливать по больнице до завтрака? – прикрикнул он на Жака. – Закройте дверь с той стороны.

– Простите, если я помешал, – сказал Жак смущенно. – Я, конечно, не должен был этого делать, но так получилось...

– Что получилось?

– На вашей двери написано «Главврач доктор Сиротинский». Это вы?

– Предположим.

– Я вас принял за академика Павлова, а ту высокую женщину, которая была с вами, за Максима Горького. Только сегодня утром я вспомнил, что академик Павлов похоронен в Кóлтгушах. И Горький тоже умер до войны. Я думаю, что пребывание здесь плохо отражается на мне, и пришел вас просить выписать меня.

– Знаете что, дружище, – сказал Сиротинский, поворачиваясь к Жаку всем телом. – Я колебался, какой вам поставить диагноз, но теперь все сомнения отпали, – он постучал себя пальцем по лбу.

Жак покачал головой.

– Тут вся обстановка способствует мистификации.

– Что вам не понравилось?

– Не то чтобы не понравилось, наоборот. Все здесь настолько... непонятно. Особенно если принять во внимание лагерные условия.

– Ах, вот оно что!

– Я не понимаю: картины на стенах, опрыскивание какой-то приятно пахнувшей жидкостью, концерты...

– А вы никогда не читали фантастических романов?

– Почему? Читал, даже с удовольствием. Но не могу себе представить себя действующим лицом.

– Что вам мешает?

– Мне все время кажется, что автор старается меня обмануть. То есть отвлечь.

– Предположим. Он пытается вас отвлечь от действительности и помогает взглянуть на нее глазами человека будущего. Согласитесь, многое из того, что нам кажется нормальным, человеку будущего покажется просто нелепым.

– Что из того? Мы-то живем настоящим, а не будущим.

– Мы живем настоящим. Но будущее от нас зависит. Мы оказываем на него влияние. Может быть, для этого и живем. Сядьте, – сказал он, показывая на табуретку возле себя.

Но так как Жак продолжал стоять, почему-то с опаской поглядывая на главврача, Сиротинский поспешил его успокоить:

– Я не собираюсь брать у вас кровь на исследование или стучать молотком по коленям. Просто так нам будет удобнее разговаривать. Так вот. Было бы весьма полезным, если бы мы взглянули на себя глазами человека будущего. Многие отвратительные явления нашего времени исчезли бы сами по себе. Я скажу вам как врач. То, что вы называете мистификацией, если ввести ее в систему, может превратиться в могучее средство воздействия на людей. Представьте себе, что мы не в лагере.

– Но это будет самообманом.

– Пусть. Чувствуя себя свободным, вы будете по-другому действовать и станете другим. Вы не хотите оставаться в больнице потому, что вам все здесь кажется необычным. Главврач, вместо того чтобы выписать на второй день после промывания желудка, задерживает вас в больнице уже вторую неделю. Вы боитесь обмана. А что если вы поверите нам и перестанете думать, что мы хотим вас обмануть?

– Вы вправе упрекать меня в неблагодарности, – сказал Жак. – Но все же я думаю, что будет лучше, если вы меня выпишете.

Главврач вздохнул.

– Ну, тогда давайте пойдем на компромисс. Вы отправитесь обратно в палату, а я доложу о вас начальнице санотдела.

9

Жак вернулся в палату. У него было чувство выполненного долга. Приняв решение уйти из больницы, он отошел от

обычной линии поведения, привитой ему еще в детстве. Мать Жака, желая, чтобы он освоил побольше языков, переводила его из одной семьи в другую. Уезжая в Париж, она оставила Жака во французской семье, где в ходу были взгляды времен Просвещения. Там главное было — не казаться смешным. Затем Жака определили в швейцарскую семью, глава которой содержал приют для сирот протестантского вероисповедания. Здесь царил пуританская обстановка, и на воспитанников то и дело обрушивалась карающая десница. Наконец мать отдала его в английскую семью. Она оказалась холодным пристанищем. Жак испытал на себе английскую антисептику. Он стал чист и прозрачен, как стеклышко.

Повсюду Жак чувствовал себя чужим, но научился приспосабливаться.

Сменив упорядоченное житье в Швейцарии на потрясенную до основания Россию, Жак стал просматривать возможные последствия новой обстановки. Роль солдата революции увлекла его. Он сыграл ее на удивление достоверно. Все же в нем стучало сомнение, правильным ли путем он идет. У него обострилось чувство правды. Если кто-нибудь в его присутствии фальшивил, его передергивало. Боясь собственной фальши, он выдумывал для себя псевдонимы, сваливая фальшь на них.

Столкнувшись с фашизмом, Жак впервые понял и почувствовал невозможность приспособления. Между ним и нацистскими врагами зияла духовная пропасть. Он принял вызов и стал бороться на стороне тех, кто выступал против фашизма. И с радостью ощутил, что он прав не «как будто», а на самом деле.

Его положение в больнице казалось ему повторением пройденного.

10

При обходе Сиротинский кивнул ему:

— Приходите через час в ординаторскую.

Там Жак застал главврача и начальницу санотдела. Он даже мысленно перестал ее именовать Алексеем Пешковым, настолько решительно отказал себе в игре фантазии. Она стояла спиной к окну, высокая, скуластая, нескладная, с квадратным подбородком и добрыми глазами. И все-таки она походила на Горького.

– Здравствуйте, Берзелин, – приветствовала она Жака. – Мне хотелось бы с вами поговорить. Есть ли у вас на воле близкие, родные?

Вопрос застал Жака врасплох.

– Нет, – выдавил он из себя. – Есть сын. Но вряд ли он интересуется мной.

– А жена? – допытывалась начальница.

– Жена? – переспросил Жак. – Жена у меня умерла.

Сказал и осекся. Была ли та, давно умершая, действительно его женой? А та, которая пошла за ним в этот омут, оказавшийся еще отвратительнее оттого, что он ее жертвы не заметил? Кто она ему? Жена? Товарищ?

– Есть человек, которому я очень обязан.

Он хотел сказать, что справедливо наказан за свою неверность, но промолчал.

– Вы не хотели бы пожить с этим человеком?

– Это от меня не зависит. Мы оба в лагерях. Только в разных.

– Вы должны сохранить себя для нее. А находясь в лагере на общем питании, возможно, на общей работе, вам это будет трудно.

Эта доброжелательность со стороны той, в которой он не мог не видеть начальницу лагерной службы, а значит, чекистку, взорвала Жака. Он выпалил:

– Вы жалеете нас, накидывая нам на шею петлю!

Сиротинский взглянул на начальницу, ожидая, что бестактность Жака убьет в зародыше их план, но «Максим Горький» оказалась не из тех, кого может обескуражить эмоциональная вспышка.

– Мы решили, – сказала она, кивая Сиротинскому, – что для вас будет лучше остаться в больнице. Не в качестве больного, конечно, а сотрудником. Нам нужен статистик, и нам думается, что вы справитесь с этой ролью.

– С этой ролью? – почти выкрикнул Жак, услышав слово, которое ему столько напомнило. – Мне кажется, что лагерь – единственное место, где никто не может навязать мне какую бы то ни было роль.

– Я не так сказала. Это не роль, а способ сохранить себя. Как сотрудник санчасти, вы будете не только получать больничный

паек, но и жить среди людей вашего круга, а это многое значит. До сих пор больничной статистикой занимался фельдшер, но он уже много раз просил освободить его от этой работы. Кроме того, его должны скоро перевести на другой лагпункт. Что это за работа? — продолжала она, не давая времени Жаку возразить. — Нужно составлять отчеты о заболеваемости, о смертности, вести картотеку, делать пометки в формулярах, представлять справки в лагерное управление.

— Я боюсь.

— Не бойтесь. Мы постараемся вас защитить.

— Но почему вы выбрали именно меня?

— Вы первый пациент, который бежит от того, что другим представляется пределом мечтаний. Вы сказали, что лагерь — это единственное место, где никто не может заставить вас играть какую-либо роль. Это правда. Но в том-то и дело, что вы можете здесь многое сделать, не играя никакой роли. Согласны?

11

Жака «комиссовали». Фельдшер передал ему дела. Жак оказался хозяином каморки, в которой жил и работал.

В окно был виден огороженный каменной стеной дворик. Там стояли бочки и тележка, на которой из кухни возили обед. Яркое летнее солнце бросало в дворик густые тени. К вечеру тени расползались, постепенно теряя очертания. Солнце пробуждало предметы к жизни, а уходя, прекращало эту жизнь.

На вопрос Сиротинского, как он себя здесь чувствует, Жак ответил, что чувствует себя одиноким, но что это ему приятно.

— Одиночество стимулирует творческую работу, — сказал главврач.

— При чем тут творческая работа?

Вместо ответа Сиротинский стал говорить о том, что лагерь представляет собой прекрасное поле для наблюдения.

— Я не собираюсь писать диссертацию о лагерной жизни.

— Лучше смотреть вокруг, чем копаться в себе и в других. Я врач, и думаю, что неплохой. Если бы я каждый раз, обследуя больного, углублялся в свое отношение к нему, я перестал бы быть врачом. Нужна дистанция.

— Не понимаю, к чему вы клоните.

– Я не клоню, а говорю, — он сделал какой-то неопределенный жест рукой. — Вы мне как-то сказали, что вы еврей. А евреи всегда были объектом истории, а не субъектом, но от вас зависит отказаться от такого рода судьбы, которой, кстати, больше нет.

– Каким образом?

– Перестать быть евреем.

– Вам хорошо говорить. Вы русский, а русские ассимилировали множество народов, но сами не были вынужденными ассимилироваться. В русском языке есть слова тюркско-татарские, славянские, романские, черт знает еще какие, но мы об этом забываем, все они кажутся нам русскими

– Это еще больше относится к еврейскому языку.

– Возможно. Я его не знаю.

Сиротинский несколько секунд смотрел молча на Жака.

– Между прочим, и я не русский. Я имею в виду, не чистокровный русский. Я из кантонистов¹.

– Из кантонистов?

– Вы не знаете, что это такое? А не мешало бы знать.

Теперь Жак молчал, а Сиротинский испытующе поглядывал на него.

– Ну что же вы не объясняете?

– А может быть, вы не хотите?

– Почему же?

– Во времена Николая Палкина, — сказал главврач, — в черте оседлости ловили еврейских мальчишек, воспитывали их в так называемых кантонах, а по-нынешнему в лагерях, чтобы сделать из них исправных солдат и матросов. Частично этих мальчиков, в большинстве сирот, поставляли сами еврейские общины, освобождая таким образом своих детей от рекрутского набора. В кантонах еврейских мальчишек насильственно крестили. Были случаи, когда они предпочитали смерть, но это уже другой вопрос. Мой дед был одним из таких мальчишек, круглый сирота, откуда и фамилия — Сиротинский. Он служил у Нахимова во флоте, был представлен к Георгию. На флоте служили матросами многие евреи. Их предпочитали за небольшой рост и проворство, что было особенно важно во времена

¹ *Кантонисты* — дети солдат, с рождения причислявшиеся к армии. С 1827 года в кантонисты забирали также еврейских мальчиков с 12-летнего возраста.

парусного флота. После того как мой дед отслужил положенные 25 лет, его женили на русской девице. Она народила ему кучу детей. У моих родителей хранится не только Георгиевский крест, но и еврейский молитвенник, раздобытый дедом неведомо каким образом, в котором он не понимал ни одной буквы. Мне кажется, можно быть георгиевским кавалером и хранить еврейский молитвенник, не делая из него фетиша.

Жак посмотрел куда-то в сторону, потом сказал:

– Каждому хочется, чтобы его помнили. И не кто-нибудь, а народ. Отсюда и фетиш.

– Что ж, государство помнит о погибших. Оно ставит им памятники.

– Я слышал, вы отдали полжизни советской власти, и даже здесь ее защищаете. А помнят ли вас там? И, если помнят, то не считают ли вас врагом?

– Мое... наше пребывание здесь, – сказал Сиротинский каким-то глуховатым голосом, – входит в большой счет страданий народа, выстрадавшего свое государство. Какое бы ни было это государство, никому не позволено его поносить.

Жак молчал. Он спохватился, что с некоторых пор стал думать о России, как о чужой стране.

12

– Ай-вай, что они делают? Они убивают людей! – скривился Черненко, ехидно поглядывая на Жака.

– В чем дело?

– В вашей Палестине...

– Слушайте, Черненко, для вас все, что касается евреев, звучит анекдотом. Только война в Палестине – не анекдот.

– А что там такое делается?

– Вам плохо удастся быть остроумным, – почему-то заикаясь от ярости, сказал Жак.

– Вот и у вас язык заплетается, как после второго поллитра.

– Я забыл, что вы только об этом и мечтаете.

– А вот и вы острите, и это вам плохо удастся.

Черненко стоял у окна. Жак сидел за разграфленным листом оберточной бумаги, записывал количество желудочно-кишечных заболеваний.

Черненко почему-то часто к нему приходил и сидел, насупившись, сжимая свои большие, коричневые от загара руки. Жак подумал, что они выглядят так, будто Черненко копался ими в навозе.

На этот раз Черненко вздохнул и сел.

— Возле кухни гниет картошка, мясо, все свалено под открытым небом. Солонина, правда, в бочках. Уж действительно, настоящее еврейское хозяйство.

Жак промолчал.

— В первый день, когда я попал сюда и понюхал эту гниль, я сказал себе: если когда-нибудь будешь это жрать, ты пропал. Через две недели я просил добавки, не чуя вони. И к евреям можно привыкнуть.

Он мямл слова, словно тесто. Жака подташнивало.

— Вот нас, западников, собираются перевести на четвертый лагпункт. Тогда все начнется сначала.

— Что начнется сначала?

— Голод, вонь.

— Почему вас переводят?

— Поближе к работе. Наши работают на котловане.

— Это ведь легче, чем в шахте.

— Хрен редьки не слаще.

— Конкретно?

— А конкретно вот что: этой весной один из наших ребят услышал жаворонка, так он голову о камнедробилку разбил.

Жак отлично понимал, что ему не следует поддерживать связь с Черненко. Это ведь провокатор.

Он спросил Сиротинского:

— Что представляют собой эти западники?

Сиротинский втянул голову в плечи.

— Я не стану утверждать, что я их знаю. Я могу говорить только о своих наблюдениях. Так вот: козла не забивают, не сквернословят, воров бьют жестоко, посылки поедают в одиночку, солидарны только в своей ненависти к «жидам», полякам и «москалям». Любят петь и танцевать, но это уже из области лирики. Бывает, что и на красивом теле выступают прыщи.

— Нельзя понять, как вы к ним относитесь.

Глава 5. Давние знакомые

1

В сопровождении надзирателя Жак шел в комендатуру. Зачем его вызывали? Он взглянул на надзирателя, может, он что-нибудь знает? Тот понял взгляд по-своему: стал ругать начальство. Вот, на кухне продукты пропадают, в бараках нужна дезинфекция, новые вагонки. Жак возразил:

– Местных продуктов нет, их приходится завозить издалека, по дороге они портятся. А если дезинфекция, то заключенных куда девать?

Надзиратель кивал, все же оставаясь при своем мнении:

– Бардак!

Комендатура находилась возле ворот, войти в нее можно было только через пропускную будку. Надзиратель кивнул вахтеру, тот пропустил обоих в огороженный двор. Они вошли в серое длинное как срок помещение. Через разгороженную во всю длину деревянной перегородкой комнату, где работало с десяток писарей, они подошли к обитой войлоком двери с табличкой: «Начальник лаготделения майор М.А. Перельштейн». Надзиратель постучал в дверь, прислушался, затем осторожно открыл ее, как открывают клетку с диким зверем.

Начальник лагеря сидел за письменным столом. Он не взглянул на пришедших, только кивнул головой.

– Этого цуцика оставь.

Прошло минут пять, прежде чем он поднял голову и оглядел Жака взглядом сытого кота.

– Ишь, как тебя пробрало. Бздишь? Ну, садись.

Жак приблизился и сел на один из приставленных к столу стульев. Майор скривил губы:

– Как-то непонятно. Был в таких переделках, а остался цыпленком. Где и как ты познакомился с Ковальчуком?

– С кем? – Жаку нужно было время, чтобы придти в себя от этого неожиданного вопроса.

Майор кивнул и ткнул в Жака пальцем.

– Я познакомился с генералом Ковальчуком в немецком лагере смерти.

– Так-так. А что он там делал?

– Он руководил восстанием.

– Восстанием? Какое там восстание! Никакого восстания не было.

– Нет, было. Две душегубки взорвали и крематорий.

– Ты это видел?

– Я... я участвовал.

Майор расхохотался.

– Ври больше! Ну, ладно. А потом что с ним было?

– Я лежал в госпитале и ничего не знаю.

– Ты мне арапа не заправляй. Что было с Ковальчуком?

– Он меня использовал на одной работе.

– Копали вместе?

– Мы разбирали архив одного врача-нациста.

– Так-так. А что это был за архив?

– Немец собирал сведения против евреев.

– И ты Ковальчуку помогал!

– Я знаю языки, да и Ковальчук знает...

– Ах, вот оно что! Значит, он собирал антисемитские материалы. Хорош! И ты ему помогал.

Жак молчал.

– Ладно, замнем для ясности. А как Ковальчук подружился с эсэсовцем... как его там... с Францем Шубертом?

– Не знаю.

– Может быть, он его чем-нибудь соблазнил?

– Не понимаю.

– Ну, если сучка не захочет, то кобель не вскочит. А тебе этот эсэсовец что предлагал?

– Он просил меня написать ему по-русски письмо, заявление.

– По какому поводу?

– Эсэсовец спрятал клад. Деньги, ценности. Он предлагал выкуп.

– Ну, если ты знал, так Ковальчук и подавно знал про этот клад.

– Не знаю.

– А что ты знаешь?

Жак пожал плечами:

– При чем тут я?

Начальник застучал пальцами по столу.

– Чего на меня уставился? Не ты мне, а я тебе задачу ставлю. Напиши все, что знаешь про Ковальчука. И про клад пиши, и про эсэсовца. Какая связь и прочее. Проверим твой материал.

– Какой материал?

– Чего маешься, как телка! Что он тебе, Ковальчук, друг? Приятель?

– Нет.

– Он твою лагерную поблядушку использовал, а когда надоела, бросил. Вот он как тебя за твою помощь отблагодарил. Я в твою пользу говорю. И вообще. Иди. Там тебе дадут бумаги. Пиши имена, когда что было, как. Если напишешь как следует, тебе это зачтется.

– Мне ничего не нужно.

– Целку корчит. Никифоров! – крикнул он сквозь приоткрытую Жаком дверь. – Дай-ка этому бумаги. И не выпускай, пока я не скажу.

Обитая войлоком дверь закрылась за Жаком. Его встретили ухмыляющиеся рожи писарей.

Он написал правду, «одну только правду» и почувствовал себя оплеванным с ног до головы.

2

Майор Перельштейн вложил дело в специально приготовленный конверт, запечатал его и написал адрес. Он еще раз в уме перечислил содержимое: свой рапорт на имя начальника отдела кадров на восьми листах, справка о нахождении заключенного Берзелина в больнице по поводу отравления, выписка из приказа о его перемещении, заявление того же Берзелина на шести листах и, чем Матвей Александрович особенно гордил-

ся, добытая им через приятеля в Москве копия заявления прокурора при военном трибунале войск Московского военного округа с его «особым мнением» по поводу нагромождения «несоответствий» в донесениях полковника Ковальчука о работе, проделанной в Германии. Наконец справка о репатриации немецкого подданного, бывшего служащего войск СС Шуберта Франца Иосифовича. Все эти документы были подшиты в папку, пронумерованы и представляли собой не только материалы, касающиеся Берзелина, но и документы, раскрывающие сомнительную деятельность генерал-майора Ковальчука.

Майор Перельштейн имел основания испытывать неприязнь к Ковальчуку. Вскоре после своего назначения на пост начальника лагерного управления в Казахстане генерал-майор Ковальчук созвал совещание начальников лаготделений, на котором присутствовал и майор Перельштейн. Ковальчук обошелся с ним подчеркнуто холодно, не справился ни о чем и, когда тот попросил слова, углубился в разговор со своим соседом, не обращая внимания на красноречие майора. Потом генерал обошел его приглашением на банкет: это уже была явная дискриминация! Возвратившись с совещания в свое лаготделение, майор Перельштейн узнал, что Ковальчук сместил двух начальников лагпунктов, евреев, и одну начальницу санчасти, не еврейку, но жену еврея. В лице Ковальчука Перельштейн увидел своего врага-антисемита. И пока дискриминационные меры нового начальника не коснулись его лично, он решил действовать, чтобы обезопасить себя.

Он написал друзьям в Москву, пытаясь выяснить прошлое Ковальчука. Из ответов следовало, что Ковальчук находился со специальной миссией в одном из немецких лагерей смерти, был впоследствии награжден высоким орденом и продвинулся по служебной лестнице. В чем заключалась эта секретная миссия, выяснить не удалось. Зато было известно, что он привез с собой из Германии женщину, бывшую заключенную. Когда она, свидетельница его походов, начала о них распространяться, Ковальчук постарался запрятать ее подальше. Самое пикантное было, что эта женщина очутилась под начальством Ковальчука.

Настоящим даром небес для майора Перельштейна оказались материалы, которые он получил от своих осведомителей.

В лаготделение был доставлен некий Берзелин с признаками отравления. Судя по всему, он был перед отправкой отравлен находившимся вместе с ним в заключении бывшим ээсовцем. Берзелин был знаком с Ковальчуком еще в фашистском лагере смерти, и женщина, о которой шла речь, была его любовницей. Поведение Ковальчука выглядело теперь не таким героическим. У Перельштейна был весьма подозрительный материал, и довести его до сведения начальства было просто долгом.

Майор Перельштейн был действительно антипатичен Ковальчуку, но не столько из-за еврейского происхождения, сколько из-за холеной внешности, вставных зубов и пухлых ручек. Внешность этого пшюта при деланной его грубости и сквернословии вызывала у Ковальчука подозрение, что он маскируется, скрывая черт знает что.

На самом деле Перельштейну нечего было скрывать: его биография была вне всяких подозрений. У него не было ни единого партийного взыскания, он был образцовый служака. Но чего не отражали официальные анкеты, было стремление Мотла, позднее Матвея Перельштейна вырваться из всего, что могло напомнить о его происхождении. Комсомолец, курсант войск особого назначения, начальник конвойной службы, он старался освоить грубоватый тон, подтянутость в служебное и небрежность во внеслужебное время. Как все подражатели, он выхватывал одну черту своего окружения из многих и переусердствовал. От его матерщины мутило даже закаленных в хамстве службистов.

Зачастую судьба зависит не столько от действий человека, сколько от того, как на эти действия посмотрят свыше. «Преступления» Ковальчука в значительной мере касались исторического периода, отношение к которому было зафиксировано раз и навсегда. Причин для пересмотра этого отношения не было. Отсюда резолюция, предложенная начальником отдела кадров ГУЛага: «Суждения о действиях генерал-майора Ковальчука во время войны не подлежат компетенции ГУЛага. Касательно злоупотребления служебным положением предлагается провести служебное расследование на месте». Согласно закону о бдительности, Ковальчука решили пока отозвать и провести расследование в его отсутствие.

3

Если начальники отдельных лагподразделений отвечали в основном за внутрилагерную обстановку, то начальник КазЛага отвечал за все. Права у Ковальчука были огромны: он мог не только казнить и миловать любого заключенного, но в его власти была и судьба всего многочисленного контингента вольнонаемных и военнослужащих. Заключенному до него было так же трудно дотянуться, как когда-то крепостному до генерал-губернатора. Но если губернатор не зависел от находившихся на подведомственной ему территории рабов, то обоюдная зависимость между Федором Николаевичем и зэками была очевидной: их связывал «его величество» план. Исполнителями были зэки, и поэтому ему волей-неволей приходилось заботиться о своих «фашистах», как он их с иронией называл (в основном про себя).

Федор Николаевич отчетливо видел связь между условиями существования заключенных и производительностью их труда. Чем меньше было дистрофиков и других больных, тем выше экономические показатели. Хотя показатели можно и подтасовать, но действительное количество добытой руды нелегко увеличить за счет бюрократических манипуляций. Федору Николаевичу приходилось думать о своевременных поставках в КазЛаг одежды, питания, медикаментов, об организации работы КВЧ, УРЧ и т. п. В целях ликвидации розни между ворами и «суками» Ковальчук строго изолировал их друг от друга, и в отдельных лагподразделениях заставил работать и тех и других, предоставив им работу, не противоречившую их так называемому «закону». Было резко сокращено количество «придурков», налажен строгий контроль за закладкой продуктов в котлы и, несмотря на недовольство, наблюдение за этой процедурой он поручил лично начальникам лагподразделений. В лагерях был пресечен любой вид произвола, а работа прокурорского надзора поощрялась.

Частенько Федор Николаевич самолично появлялся в пять-шесть часов утра в отдельных лагпунктах, и в его присутствии дежурный офицер по лагерю перевешивал хлебные пайки. За недовес все получали свое: офицеры выговоры, хлеборезы тут же отправлялись на общие работы, а непосредственно ответственные начальники — с понижением в должности на исправ-

ление в самые отдаленные лагеря на срок до полугода. Все эти меры снискали ему среди подчиненных славу либерала и реформатора, а среди заключенных уважение как к строгому, но справедливому барину.

Чистота в бараках, наличие спецовок, сушилок и бань снизили количество больных. В результате жесткого контроля стало меньше воровства продуктов питания. В результате производительность труда поднялась на 35%.

На самом деле Ковальчук совсем не был либералом и все это делал вовсе не из гуманных соображений, не из человеколюбия, а просто в нем проснулся расчетливый хозяин. Он ввел в КазЛаге секретную статистику, пользоваться которой разрешалось очень немногим. Эта статистика показала, что и моральный фактор играет не последнюю роль в том, как работают заключенные. И после команды именовать заключенных «временно изолированными», разрешения им носить волосы до трех сантиметров длины и оживления работы художественной самодеятельности кривая выработки вновь поползла вверх и теперь лишь на 10% отставала от выработки вольнонаемных. Он лично убедился, что рабовладельцы, отменившие рабство, были неплохими экономистами.

После директивы, запрещающей унижать человеческое достоинство заключенных, начальник шестнадцатого лагподразделения капитан Афиногенов прорвался в кабинет Ковальчука сквозь адъютантский заслон.

— Вы что, для врагов народа курорт организовать решили?

Поставив капитана по стойке «смирно», Федор Николаевич процедил сквозь зубы:

— Самые страшные враги народа сейчас болваны.

Через шесть часов капитан Афиногенов уехал в Джезказган с понижением в должности и с характеристикой о неполном служебном соответствии.

Москва Ковальчука хвалила, сам начальник ГУЛага ставил его в пример. В Казахстане добывалось стратегическое сырье, необходимое для лишения американцев ядерной монополии в развернувшейся гонке вооружений.

Ковальчук не рисковал: он понимал, что такие опыты, производи он их на архангельских лесоповалах, закончились бы для него плачевно. Он знал, что «твердолобые» за его спиной шушу-

каются, что любой его промах будет моментально использован заискивающе улыбающимися заместителями и начальниками отделов.

Инспектируя лагподразделения, Федор Николаевич видел, как возвращение достоинства делает людей неузнаваемыми. Страх может заставить делать многое. Это было ему известно еще по работе в немецком концлагере, но он помнил и случаи, когда тщедушные изможденные люди бросались на откормленных, вооруженных автоматами эсэсовцев и погибали как герои. Нельзя никого доводить до отчаяния. Лишенная надежды мышшь может броситься на кота. Федор Николаевич знал все о тех редких случаях восстаний, которые еще случались в лагерях, слышал и о том, как танки пробуксовывали в кровавом человеческом месиве.

Была, конечно, и опасность с другой стороны: ясно, что человек, перестающий думать только об утолении физических потребностей и преодолении неудобств, начинает думать о праве, строе, справедливости — предела мысли нет. Невозможно заставить думать человека лишь от и до, для этого у людей при рождении следует удалять какой-то центр в мозгу. Психиатры утверждают, что лоботомия делает людей лишенными чувства творчества, хорошими рабочими-исполнителями, их предел — работа счетовода. Ковальчук удивлялся, что нацисты не воспользовались этим приемом.

Во время недавнего выступления перед заключенными одного из лагерей Федор Николаевич призвал к большей отдаче сил на благо родине, а из зала звонкий мальчишеский голос выкрикнул:

— Это призыв затянуть веревки на своей шее!

Надзиратели бросились в толпу, но мальчишку не нашли.

4

Федор Николаевич был вызван в Москву без объяснения причин. В отделе кадров ему разъяснили, что ему пока следует оставаться в столице. Окольным путем он узнал, что по его делу ведется следствие. Новость ошарашила и вызвала в нем внутренний протест. «По какому делу, черт побери? Со мной поступают, как с мелким беспартийным служащим», — возмутился Федор Николаевич и решил обратиться в ЦК с просьбой о защите.

...В коридор выходило много обшитых войлоком и дерматином дверей. Ковальчук читал на прибитых под стеклом дощечках имена работников ЦК, когда двое вынырнувших из-за угла военных бросились к нему и, не объясняя причин, приказали: повернуться лицом к стене и не трогаться с места. Его быстро ощупали. Федор Николаевич спокойно дал себя обыскать, понимая действия военных как проверку приказа оставить оружие в бюро пропусков.

Из-за угла появилась невысокая фигура в серой гимнастерке с широким ремнем, в сапогах на высоких каблуках. У человека было желтоватое побитое оспой лицо, отдававшие гнилой зеленью волосы и глаза тигра.

«Сталин!»

Федор Николаевич не видел вождя, но ощутил его спинными нервами и содрогнулся от силы этого ощущения. Те двое, что его задержали, встали по обе стороны и ждали, пока Сталин пройдет. И только тогда извинились с неуклюжей любезностью:

— Вы сами понимаете, товарищ...

5

Добравшись до секретаря орготдела, Федор Николаевич к своему удивлению заметил, что он находится в каком-то странно возбужденном состоянии, мешающем ему четко представить себе цель своего прихода.

В кабинете Федор Николаевич пустился в рассуждения о том, что переброска людей с места на место не дает возможности освоиться с работой, отчего так много ошибок.

Это звучало, как оправдание. Секретарь прервал его:

— Вы изложили ваш вопрос в письменном виде?

Федор Николаевич стал рыться во внутреннем кармане пиджака, со стыдом и досадой понимая, что начал не с того конца. Вместо того чтобы исправить ошибку и изложить цель своего прихода, он продолжал нервно перебирать какие-то бумаги, среди которых ему так и не удалось разыскать заявление. Может быть, он оставил его в гостинице? У него выступил холодный пот.

Зазвенел телефон. Прикрывая трубку рукой, секретарь предложил:

– Оставьте заявление. Мы его рассмотрим и сообщим вам решение. Вообще странно, что вы, человек информированный, не обратились в Госбезопасность.

– Дело в том, что я нахожусь в гостинице для приезжих работников МВД, так как, уезжая из Москвы, сдал квартиру. Если я тут останусь, мне, конечно, выделяют другую... но...

Федор Николаевич хотел дать понять, что он не какой-нибудь периферийный работник. Но секретарь не стал его слушать. Он показал на стоящую в специальном чехле авторучку и придвинул блокнот. Секретарь опасался провокации, понимая, что любое слово одобрения или покровительства этому явно опальному бериевцу может обернуться гибелью для него самого. Уж что-что, а влияние МВД-МГБ ему было известно: где начинались эти органы, покорно склоняла голову любая власть, в том числе и партийная.

Федор Николаевич стал писать. Перечитав заявление, он обнаружил несколько ошибок. Вместо того чтобы их исправить, он стал переписывать все заново. Секретарь неодобрительно поглядывал на Ковальчука, разговаривая по телефону. Когда Ковальчук придвинул ему исписанный блокнот, рассеянно кивнул и, отвернувшись, продолжал говорить в трубку.

6

Не дойдя до гостиницы, Федор Николаевич повернул обратно, купил в гастрономе две бутылки коньяку и несколько коробок крабов. Он рассовал это по карманам, а затем, увидев, что они оттопыриваются, выложил покупки на прилавок и попросил продавца упаковать. Что с ним происходит? Первый раз в жизни он теряет контроль над собой.

У него появилось желание напиться до чертиков, чтобы забыть все неприятности. Очутившись в номере, он, с помутневшими от волнения глазами, взглянул на вынутый из кобуры трофейный «вальтер». Выпив залпом стакан коньяку, он налил кровью и стал неистово ругаться. Ковырнул перочинным ножом в раскрытой консервной коробке, вспомнил о счастливых днях, проведенных в немецком лагере смерти. Тогда он был кем-то. А теперь! Ему стало тошно в прямом и в переносном смысле. Под утро, изведенный мыслями о своих неудачах, он засунул голову под кран и спустился вниз к телефону.

Ему ответила уборщица: «Они будут не раньше десяти». Федор Николаевич поднялся снова вверх, обдумывая, что скажет Перу Герасимовичу, которому он со времени возвращения из Германии не давал о себе знать. Он и родителей не известил. Так уж бывает: когда человек на подъеме, он не оглядывается назад. Только теперь, в беде он вспомнил, что у него есть родители и друзья.

Петр Герасимович Будовец был другом отца Федора Николаевича. Они росли вместе, вместе пришли на завод сталеварами. Потом отец остался мастером на заводе, а Петр поехал учиться, стал членом-корреспондентом Академии Наук, консультантом министерства. Но положение не мешало ему оставаться простым и скромным человеком.

Когда Ковальчук приехал в Москву учиться, в доме Будовца его приняли как родного. Позднее Петр Герасимович дал ему рекомендацию в партию. Правда, при встречах Федор Николаевич не мог избежать какой-то робости перед Будовцом. Причиной тому могла быть простота известного ученого в общении. Даже потом, когда Федор Николаевич закрепился в «органах», что само по себе повышало его положение, для дяди Петра он оставался Федькой.

Наедине с самим собой Федор Николаевич пытался уверить себя, что Петро Будовец ничего особенного собой не представляет. Так, человек, каких много, невзрачный, даже немного смешной, под каблуком у жены, властной и яркой Ирины Кондратьевны, внушавшей молодому Федору чувство восхищения. Остра, как бритва! С их детьми Ковальчука разделял возраст: когда Федору было двадцать пять, Кольке только шестнадцать, а младшей, Людмиле — двенадцать.

7

Наконец наступило приличное для звонка время. Телефон Будовца был долго занят. Потом Федор Николаевич услышал его тенорок: «Сюда, в главк, нет смысла. Тут и поговорить не удастся. Приходи вечером, часам к восьми. Если опоздаю, подожди. Ничего, Ирина Кондратьевна тебя не съест. Адрес прежний. Людмила с нами, а Колька женат, живет отдельно».

Федор Николаевич вспомнил дом, в котором лет 13–14 назад часто бывал. Семья Будовцов занимала три комнаты

в пятикомнатной барской квартире с печным отоплением, лепными украшениями и окнами на бульвар. Теперь бульвара не стало, все асфальтом залито... Неужели такому человеку, как Петр Герасимович, не удалось раздобыть квартиру по-лучше? Ведь две другие комнаты занимает холостой режиссер Моисей Брон.

Да, умеют эти устраиваться! Странное дело, между семьей Будовцов и соседом установились хорошие, почти дружеские отношения, а дети просто без ума от соседа. Ну конечно, контрамарки в кинотеатры и все такое прочее...

Внезапно с удивлением и какой-то даже тревогой Федору Николаевичу вспомнилось, что в том лагере Берзелин «шел» род фамилией Брон. Просто совпадение или?.. Как будто Федор Николаевич оставил на месте преступления что-то, что может служить уликой против него. Абсурд!

Однако чувство беспокойства не покидало его до вечера. Первый раз в жизни он не знал, что с собой делать. Долго сидел в кафе. Заказанный пломбир превратился в кашу. Потом долго ходил по ГУМу, ничего не покупая и удивляясь толпе, которая шныряла взад и вперед, как звери в зверинце. Ему казалось, что кто-то за ним наблюдает. Федор Николаевич был в гражданской двойке. Его раздражали никому не нужные, торчащие в разные стороны лацканы пиджака. После долгого ожидания в Александровском саду он сел в такси и поехал в сторону Зубовской площади.

8

Взбираясь по высокой лестнице на четвертый этаж, Федор Николаевич почувствовал одышку. Удивившись, постоял немного и отмахнулся. «Черт!» Может быть, следовало отложить этот визит или вообще не обращаться к дяде Петро. Ведь он вряд ли чем-нибудь поможет. «Черт», — повторил он, чувствуя себя во власти течения, уносящего его все дальше от причала.

Он нажал на звонок. Когда послышались энергичные шаги Ирины Кондратьевны, он отпрянул назад, словно испугавшись, что двери могут его ударить. Но двери открывались вовнутрь. Вот и Ирина Кондратьевна, немного пополневшая, но, в общем, та же. Она встретила его так, будто они только недавно расстались. Даже подставила ему щеку для поцелуя.

– Ну, входи, входи же. Знаем про твои подвиги. Молодец, не бойся, расспрашивать не буду.

Вышла Люда в домашнем, взглянула на Федора Николаевича как будто мимоходом, но хорошо улыбнулась.

– Ну, как твои дела?

Ирина Кондратьевна поставила на инкрустированный столик чашки, вазу с фруктами, другую с вареньем.

– Дядя Коля еще в сорок пятом приезжал в Москву.

Это сказала Люда. Она посмотрела на Федора Николаевича выжидающе, словно испытывая его. Федор Николаевич заметил перемену: раньше дети не смели вступать в разговоры старших.

Речь пошла о семейных чувствах. Ирина Кондратьевна стала доказывать, что в семейных отношениях зародыш коллектива. Федор Николаевич молчал и только время от времени натянуто улыбался.

– У меня не было ни единого дня передышки, – пожаловался он. – Говорил себе каждый день: нужно домой написать. И так день проходил в делах, а к вечеру уставал так, что не до того было. Как меня вернули в Москву, так сразу и запрягли.

– А ты бы не давался! Раньше ведь робостью не отличался.

Федор Николаевич не заметил тонко рассчитанной женской лести, но у Ирины Кондратьевны лесть была приемом борьбы. Она тут же воспользовалась «оглуплением» Федора Николаевича, как она про себя назвала его попытку вызвать к себе сочувствие, для того чтобы ударить его по больному месту:

– Кто задирает нос, тот по нему и получает.

– Какая же вы...

– Ну, ты меня знаешь, я же жалостливая. Спроси у Люси. Когда их с Колькой кто-нибудь обижал и они прибежали жаловаться, то еще и от меня получали.

– А как у тебя по женской части? – спросила она, когда дочь вышла.

Федор Николаевич пожал плечами.

– Никак.

– Да, холостые только и ищут, где бы найти раскормленным чувствам уголок.

Это использование «Горя от ума» напомнило Федору Николаевичу, что Нина Кондратьевна когда-то окончила

институт, но так и осталась домашней хозяйкой. Зря государственные деньги тратятся на таких. И как только дядя Петро это допустил?

Вошла Люда.

— Тебе, наверное, уже под сорок будет? — спросила Ирина Кондратьевна, разливая чай. — Рому хочешь?

— Рому? Я вчера и так лишнего перехватил.

— Ничего, клин клином вышибают. Рюмки в серванте. — И повернулась к Люде: — ты бы оделась!

Люда снова исчезла.

— Студентка?

— Да так. Во ВГИКе третий год. Моисей Наумович надумил. А что ей это даст? Киноактрисой? Одну роль сыграет в год, и то хорошо.

— Но ведь Моисей Наумович...

— Моисей Наумович уже который год не ставит спектакли. В антифашистском комитете состоял, с делегацией в Америку ездил. А теперь комитета нет, и сам он не у дел.

Она под села к столику.

— Теперь много пишут про космополитов. Он-то, я не думаю, но все-таки... Видно, не доверяют.

— Петр Герасимович тоже так думает?

— Он за него горой стоит. На том заводе, где Петр Герасимович и твой отец работали, один инженер был, еврей. Он на Петра Герасимовича обратил внимание, книжки давал, учил. Петр Герасимович добро помнит. Он за всех переживает.

— Это само собой. Я тоже не сторонник огульного подхода, но зачем их выделять?

— А кто их выделяет? Когда с Серго случилось, он ночами не спал.

— При чем здесь товарищ Орджоникидзе? — «Ну и путаница у нее в голове!»

Но Ирина Кондратьевна продолжала:

— Помню, он сказал, что если никто не посмеет стать в защиту Серго, мы разойдемся с правдой. А разойдемся, что тогда будет с партией?

— Все это было еще до войны.

– Ну, а после? Когда Михоэлса убили, мой Петр совсем расстроился, хотя в театр он вообще не ходил, а в еврейский тем более. Убийц не найдут, увидишь — он так тогда сказал. Кто убил, может, ты знаешь?

– Не знаю. Я этим делом не занимаюсь. Знаю только то, что в газетах писали.

– В газетах! Раньше еще какая-то правда была. Мой отец был человек старорежимный. Он уважал тех, кто за правду стоял, он бы и моего Петра Герасимовича уважал. Я не то что он, ни во что не верю. Только дом, муж, дети.

– Я удивляюсь, что вы еще все в той же квартире.

– Добиваться чего-либо для себя? Петр Герасимович смиренный, но тут к нему не подступись.

В передней послышался шорох. Люда вышла встречать отца. Темно-зеленое платье облегло ее стройную спортивную фигуру. Ирина Кондратьевна присоединилась к дочери. Люда казалась стилизованным повторением матери. Федор Николаевич слышал, как Ирина Кондратьевна сказала резиновым голосом:

– А у нас гости.

– Знаю, — сказал Петр Герасимович, входя в комнату. Он бросил портфель на тахту и обнял Федора Николаевича. Затем отстранил его рукой.

– Покажись, какой ты, генерал.

Федор Николаевич улыбнулся. Он в свою очередь осмотрел Петра Герасимовича. Тот мало изменился с тех пор, как они виделись в последний раз. А ведь прошло около восьми лет. Он, видно, из тех людей, которые рождаются стариками и потом всю жизнь остаются такими же. У него были седеющие, зачесанные назад волосы, широко расставленные глаза со множеством морщинок вокруг и вдавленные виски. На нем была хорошо сшитая серая пара и коричневые туфли на микропорке.

– Ужинать будешь? — спросила Ирина Константиновна мужа.

– В главке накормили.

– Но чаю попьешь?

– А у нас рому не осталось?

– Я предлагала Феде, но он отказался. Говорит, что вчера пьянствовал.

– Ничего-о, выпьет.

– Хорошо, что ты пришел, – сказала Ирина Константиновна, – а то у Люды сегодня показательное выступление.

Петр Герасимович хлопнул себя по лбу.

– А я начисто забыл. Ну что же делать, поезжайте вместе.

– Мне прямо неловко.

Федору Николаевичу показалось, что Будовец, возможно, хотел его выпроводить.

– Да ведь это не в последний раз. Правда, дочка? – он потрепал дочь по щеке.

– Пойдем, – сказала Ирина Константиновна, обменявшись с мужем взглядами, – а то опоздаем.

9

– Как отец? – спросил Петр Герасимович после ухода жены и дочери. Федор Николаевич повторил то же, что говорил Ирине Константиновне, прибавив:

– Потом в Казахстан услали. Тут уж было совсем не до писем.

Петр Герасимович склонил голову.

– По части врагов народа?

Федор Николаевич подтвердил глазами.

– И действительно так много этих, врагов народа?

– Как посмотреть...

– Тебе виднее.

– Болезнь легче предупредить, чем лечить.

Петр Герасимович кивнул, однако сказал:

– Но так можно и здорового в тифозный барак загнать.

– Есть организмы, предрасположенные к некоторым болезням.

– А ты уже и медиком стал. А по специальности хирургом, не так ли?

Федор Николаевич промолчал.

– Но ордена ты получил не за то, что вырезывал аппендициты?

Федор Николаевич сделал гримасу. Он почувствовал себе обиженным.

– Выпьем за твою следующую награду. Ты ведь за ней приехал?

– С наградами покончено.

– Ну-у?!

– Был в ЦК. Со мной даже разговаривать не хотели. Видел Иосифа Виссарионовича, вернее, тень его. На самого не дали даже взглянуть. Вот так. На меня заведено дело.

– Что ж ты натворил?

– Не знаю, только догадываюсь, – он подождал немного и продолжил. – В войну у меня было особое задание – пробраться в немецкий концлагерь и попытаться поднять там восстание.

Петр Герасимович покачал головой.

– Так, с бухты-барухты?

– Ну, не совсем. Познакомили с кое-каким материалом. Оказалось, что в лагере половина заключенных – евреи. Это меня, правду сказать, не очень обрадовало. Там, якобы, существовала подпольная организация. Это при немецкой-то дотошности! Во главе ее стоял тоже один еврей, из наших, из Москвы, военнопленный офицер. Чудом уцелевший. Ну как с такими устраивать восстание?! Ведь они оружие-то только в музее видели.

– Почему же. А в Варшавском гетто?

– Ну, я не знаю, что там было. А тут у этого военнопленного была связь с одной заключенной, француженкой. Потом оказалось, что она беременна от него. Как это могло случиться в лагере, где женщины были строго отделены от мужчин, где связь была возможна только в борделе!

– Как в борделе?

– Немцы в лагере устроили бордель для заключенных. Из гигиенических соображений. Там были проститутки из разных стран.

– Ах, вот как. Она... тоже?

– Нет. Она работала секретаршей руководителя лагерного отделения.

– Так-так. Ну и как ты с этим делом справился?

– Я, конечно, их обоих устранил.

– То есть как?

– Оба были сговорчивые, сами понимали, что не им руководить восстанием, ведь это же война и науку убивать надо знать.

Петр Герасимович посмотрел на Ковальчука, покачал головой.

– Да, против вышколенных немцев было нелегко.

– В общем, с задачей я справился. Заключенных подняли на восстание. Нам, правда, не удалось оттянуть на себя сколько-нибудь значительные силы противника, как это было предусмотрено планом, но восстание все-таки внесло суматоху в эсэсовские части. И главное, оно доказало, что только при настоящем партийном руководстве возможна победа над организованным врагом.

– Пока я не вижу, каким образом тебе могли пришить дело.

– После освобождения все началось. Того бывшего военнопленного арестовали по возвращении, а она... она вместе с ним приехала. Я постарался ее устроить, человек ведь один очутился в Москве. Но она стала звонить во все колокола, разыскивать своего «мужа», добралась до Самого. И на меня, вероятно, пало подозрение. Я этого не знаю. А может быть, по его делу выявилось кое-что, чего я опровергнуть не могу. А потом ее арестовали. Понимаете?

Петр Герасимович встал и прошелся по комнате.

– Федя, – сказал он, – я знал тебя мальчуганом, ты же всегда видел во мне взрослого. Но в этих делах я слепая курица.

– Я не знаю, что это такое, – сказал Ковальчук, – стечение обстоятельств или что-нибудь другое... В лагобъединении, которым я управляю сейчас, находятся заключенными тот самый Берзелин, о котором я вам говорил, и эта... француженка. Прошлой осенью она отморозила ногу, ее пришлось ампутировать. Берзелина доставили в лагерь умиравшим от отравления. Получается, будто я хотел убрать с дороги свидетелей восстания в том лагере. Не знаю...

10

В коридоре взорвались голоса.

Как будто обрадованный этим внезапным шумом, Петр Герасимович поспешил в коридор. В передней, заполняя ее своей непомерно широкой фигурой, стоял одетый во все полосатое

человек с седой гривой льва и лицом, напоминающим фавна. Позади его у стены мялся Моисей Наумович Брон. Федор Николаевич, который тоже вышел в переднюю, узнал его по бородке шотландского шкипера. Ему стало неловко. Зачем он вышел? Зачем он вообще сюда пришел? Только теперь он ощутил всю опрометчивость этого визита и всего своего поведения. Хотя он был достаточно осторожен, его рассказ мог бросить тень.

Между тем коренастый продолжал бушевать.

— Я не буду больше с ним разговаривать, слышите? — кричал он с французским акцентом. — Я должен выслушивать его лекцию о партийной позиции! Я был членом партии, когда он еще ходил под столом, я был участник движения Сопrotивления, а этот дурак, который всю войну просиживал штаны, будет меня учить! Вы знаете, что мне сказали в сценарном отделе? Меня спросили, почему я сделал героиней — заметьте это слово «сделал»! — еврейку!

Федор Николаевич почему-то кивнул.

— Вы понимаете? Этот вопрос как раз показывает, что я должен был сделать ее еврейкой! К тому же это факт! — продолжал громыхать француз. — Имейте в виду, что сценарий написан на реальном материале. Мы проследили за судьбой героини в нацистском лагере смерти, расспросили свидетелей. Она была там, можно сказать, центральной фигурой! Подпольная организация поставила ее секретаршей гауптштурмфюрера. А на самом деле она там работала вместе с руководителем восстания, советским офицером, тоже евреем. После освобождения она улетела вместе с мужем в Советский Союз. И вот тут ее следы теряются. Есть даже какие-то указания на то, что ее арестовали. Вы понимаете, насколько это чудовищно? Героиню Сопrotивления! Я отказываюсь в это верить. Но, может быть, как раз это и есть причина, почему отказались принять сценарий. — И, обращаясь к Петру Герасимовичу, заключил: — Вы, как депутат, должны направить интерpellацию в Верховный Совет. Это было бы очень полезно и дало бы возможность поднять вопрос в печати.

Все переглянулись. Федор Николаевич ощутил на себе долгий взгляд Будовца. Он внутренне похолодел.

11

Возвращаясь с Зубовского бульвара, такси Федора Николаевича едва не задело попутную «Победу». В ней оказался старый его сослуживец, которого он не видел много лет. Они вышли из машин и стали хлопать друг друга по спинам: где, когда, с кем и что... Оказалось, старый знакомый работал начальником секретного отдела Министерства черной металлургии. Он жаловался на тяжелые условия работы, на то, что приходится много разъезжать. С войны металлургия «двинулась на Восток». Ищи теперь объекты в необжитых местах.

— Не думай, что путешествовать по тылам фашистов было приятнее, — рассмеялся Федор Николаевич.

— Ты? — оглядывая его испытующе, спросил знакомый.

У Федора Николаевича возникла потребность излить душу. Он принялся рассказывать о своей работе в Германии, о том, что после этого задания его направили на другую работу — начальником управления всех казахстанских ИТЛ, о том, как он взялся за дело, как «расчистил свинарник» и как «за все это» был отозван в Москву, где неизвестно зачем сидит уже вторую неделю.

— Французы в таких случаях говорят: «шерше ля фам»¹, — заметил знакомый.

— Нет, не она, — отозвался вполголоса Федор Николаевич

— Значит, она все же есть? — засмеялся знакомый.

Федор Николаевич скривил рот.

— Была.

— Была?

— Ногу потеряла.

— Ну да?!

Федор Николаевич хотел было рассказать об этой печальной истории, но вовремя одумался.

Они пошли по бульвару, приказав шоферу «Победы» ждать.

— Оставим баб. Они только норовят добраться до корыта, чтобы запустить свои коготки. Удивительно, но это касается всех: и буржук и пролетарок. Разница только в требовательности. Слушай, переходи на работу ко мне. Я могу устроить тебя начальником какого-нибудь лаготделения. Звание ведь у тебя есть? Ты знаешь, как некоторые у нас живут? По пять-восемь поросят откармливают. И никаких разъездов.

¹ Ищите женщину (фр.).

– Дело в том, что меня держат и не отпускают, понимаешь!

Они остановились. Федор Николаевич заметил в глазах приятеля отблеск недоверия. Ну да, точно, он ему тоже не доверяет. Понятно, оба в опале. Чуть не объявив себе благодарность за то, что вовремя остановился, он продолжил:

– А не мешало бы нам вспрыснуть.

Действительно, что они ведут себя, как выпавшие из гнезда птенцы? Довольно думать о служебных делах, растрясая досаду.

– Завернем в «Метрополь», а?

Они уселись в машину, приказав водителю везти себя туда, где московские кутилы справляли поминки по потерянной ими свободе. По дороге Федор Николаевич вспомнил, что таким работникам, как они, запрещено посещать злачные места. Но оба были в гражданском, и это Ковальчука несколько успокоило.

Говорят, что вино развязывает языки. Оно их не развязывает, но придает прыти. Языки забегают вперед, мысль за ними не успевает.

– Какое было время, а? – воскликнул приятель Федора Николаевича. – Говоришь сам не знаешь что, а тебя слушают! Что бы ты ни делал, тебе верят. А вот теперь ты сам за других отвечай!

Он понизил голос:

– Американцы имеют сведения о нашей сталелитейной промышленности, сколько мы выплавляем стали и какой. Ну, а я чем виноват? А с меня спрашивают: значит, ты на своем посту пустое место. У нас в министерстве работают академики, каждый год за границу катят – с них и спрашивают! А мне говорят: ты на то поставлен, чтобы за ними следить. А меня ведь с ними в Америку не посылают. Выходит, что я не хозяин секретной части, а какой-то робот. Что я тебе про разезды говорил, так это они стараются меня держать от Москвы подальше – Магнитка, Кузбасс... Говорят, товар подавай, а какой у меня может быть товар, если я все по периферии езжу? Помяни мое слово, скоро мы не нужны станем, вместо нас машины поставят. Кто-то в центре засел и должен себя оправдать. А мы пешки.

– Ты, – прервал его Федор Николаевич, видя, что тот зарывается, – говорил про каких-то академиков. Это вообще или кого-то имеешь в виду?

Ковальчук был гораздо трезвее собеседника.

– Какой ты скучный, Федя. Про Иванушку-дурачка спрашиваешь? Могу по секрету тебе сказать: живет в мире такой святоша. Ему, видишь ли, от партии-правительства ничего не надо. И от Академии Наук тоже. Но в Америку ездит, в Сэшэа. Мотаешь?

– Будовец, Петр Герасимович?

Знакомый расплескал водку:

– Ты кто, Мессинг что ли?

– Я его давно, с детства знаю. Ты не смотри, что он маленький да седенький, об него зубы поломаешь и карьеру свою загубишь. Я это тебе так, по дружбе говорю. Думаю – не заложишь. У него за спиной САМ, понимаешь!

– Хорошо, что я тебя встретил. Авось, и я тебе пригожусь. Спасибо. Ведь на него у меня весь материал готов. Вот бы влип... Надо же, никогда бы не подумал. Ай да Будовец! Еще раз спасибо тебе, век не забуду. То-то такой гордый да самостоятельный.

Начальник спецотдела Минчермета уронил голову на руки, стал всхлипывать и притворяться более пьяным, чем был на самом деле.

Он решил, что кандидатуру на тот свет надо искать другую, помельче. А то с этим Будовцом можно крупно погореть.

Ковальчук проводил его до машины. По его настроению он понял, что, по крайней мере, пока Петр Герасимович вне опасности. На душе стало легче. Подумалось, что все-таки приятно делать добро просто так, ради добра же.

12

Лучше всего голова работает, когда она подстегивается любовью или ненавистью, боязнью или надеждой. Федор Николаевич это испытал, когда днем позже явился в Министерство. Через полчаса возник щеголеватый адъютант министра и предложил проводить его в кабинет шефа. Чрезмерная вежливость адъютанта показалась Федору Николаевичу подозрительной, и, идя по коридору, он каждую минуту ожидал нападения. Однако все обошлось как нельзя лучше. Когда двойная дверь кабинета за ним закрылась и он увидел под портретом Дзержинского тучного и лысоватого человека с как будто перехваченным бечевкой кончиком носа, его опасения сменило легкое настроение.

Откладывая какие-то бумаги, министр неожиданно спросил, почему для сопровождения партии военнопленных немцев был назначен человек, еврейское происхождение которого могло у немцев вызвать неприязненную реакцию. Федор Николаевич ответил, что так решил партком. Министр снял пенсне и сказал, близоруко щурясь, что старший лейтенант остался в ФРГ, причем был обнаружен английской военной разведкой убитым с каким-то перстнем, зажатым в руке... и не найдет ли Федор Николаевич чего-либо добавить по этому поводу.

У Ковальчука гора свалилась с плеч. Он ответил, немного заикаясь, что он уже сообщал об этом деле с перстнем в донесении, переданном в канцелярию министра, и что, если нужно, он может свои сообщения дополнить сведениями, почерпнутыми в архивах СС, найденными при освобождении лагеря в 1945 году, что с этим связана история некоего Берзелина, отбывающего в настоящее время наказание в лагере, которым Федор Николаевич руководил, пока не был отозван в Москву.

— Форменная чепуха, — сказал министр, брезгливо кривя лицо. — Я читал ваше объяснение. Вы, наверное, на ночь читались детективных романов. Меня интересует другое. На вас было совершено покушение. Я не говорю о физической расправе, а о попытках привлечь вас на свою сторону. Как я понял, вы отказались?

— Я не понимаю.

— Неумно. Никогда не следует пренебрегать предложениями противника.

— Противника?

— Другой вопрос, как эти предложения использовать. Скажите, за что, как вы думаете, они на вас взъелись?

Федор Николаевич повел плечами.

— Вы русский?

— Русский. Вернее, украинец.

— На вас подан рапорт за подписью майора Перельштейна.

Кто такой этот Перельштейн?

— Один из начальников лаготделения.

— Вы с ним поладите?

— Если я правильно понял, меня возвращают на мой пост?

— Идите. Если что будет не так, обращайтесь непосредственно ко мне. Посмотрим, как вам помочь. Можете быть свободны.

13

Федор Николаевич поудобнее уселся в кресле салона и разложил купленную им кипу газет и журналов. Во всех было обнародовано сообщение МГБ и Прокуратуры СССР о раскрытии заговора группы видных врачей-евреев. Сообщение шло под хлестким заголовком «Убийцы в белых халатах». Врачи изобличались в намерении умертвить руководителей страны, как до них также еврейскими врачами были якобы умерщвлены Менжинский, Куйбышев, Максим Горький. Заговор был раскрыт благодаря бдительности врача Тимашук, которая для вида поддерживала тесную связь с заговорщиками, а на самом деле информировала об их преступных планах органы госбезопасности.

Федор Николаевич теперь знал, что делать с майором Перельштейном.

На внутренних полосах газет печатались статьи о деятельности сионистских организаций. Там говорилось, что сионизм представляет собой авангард империализма, он стремится подорвать социалистический строй в СССР и восстановить власть капиталистов (привычное «и помещиков» было опущено — трудно соединить еврея с помещиком, даже если хочется).

В одном из теоретических партийных двухнедельников была статья, отождествлявшая евреев с буржуазией. Этот «марксистский» перл соседствовал с утверждением, что государство Израиль должно было избрать социалистический путь: среди палестинских поселенцев было много выходцев из России, и они должны были сохранить свои симпатии и приверженность к социализму, но поддались давлению американского империализма. Даже у Федора Николаевича, привыкшего без оглядки верить советской прессе, мелькнула мысль: не была ли вся эта газетная шумиха реакцией на такую «измену». Ведь из-за нее наше руководство потеряло надежду, что государство Израиль станет его форпостом на Ближнем Востоке. Приходила еще мысли, что едва ли редакция журнала, публиковавшая эту статью, жила на подножном

корму. Такие издания питались из запасов, заготавливаемых заранее. Напрашивался вывод, что кампания подготавливалась уже давно и разоблачения еврейских врачей... Дальше Федор Николаевич думать отказался.

Вернувшись к себе после отлучки, Федор Николаевич нашел инструкцию, предлагавшую в отношении выходцев с Запада (из Прибалтики, западных украинцев и белорусов), «а также евреев» применять особый режим: содержать только в спецлагерях и использовать на общих работах. Что касается представителей этих национальностей в администрации, то их следует заменить, за исключением врачей и лиц, работающих в научно-технической области.

В духе решения коллегии ГУЛАГа Федор Николаевич снял с поста майора Перельштейна М.А. «как не обеспечившего руководство вверенным ему участком работы». В этой осторожной формулировке отражался политический ум начальника лагерного управления. Заключенных переместили согласно инструкции в спецлагпункты, но режим оставили прежний.

Несмотря на инструкции, с возвращением Федора Николаевича пора репрессий не наступила. Он добился даже пересмотра ряда дел, многим заключенным срок был сокращен. Но все это касалось только «бытовиков». В отношении статьи 58 никакие поблажки верхами не поддерживались.

О многих новых арестах, в том числе агента Джойнта¹ Брона М.Н. Федор Николаевич узнал позже из министерского бюллетеня (для служебного пользования). В день, когда он прочел сообщение об этих арестах, он собрал свои подчиненных и прочел им доклад о враждебных происках безродных авантюристов, среди которых особое место занимают некоторые лица, зараженные ядом космополитизма.

После доклада Федор Николаевич много пил и веселился. Но вдруг он сразу помрачнел. Кто-то положил ему на стол телеграмму из Москвы вместе с расшифровкой. В телеграмме предписывалось «препроводить заключенную Шеригёс Лириану Самуиловну, урожденную Брон, 1918 года рожде-

¹ *Джойнт* – крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

ния (Будапешт, Венгрия), в Москву, с целью производства доследования».

Федор Николаевич старательно сложил телеграмму вчетверо и положил ее во внутренний карман кителя. Он встал и, обращаясь к присутствующим, сказал:

– Товарищи, завтра рабочий день.

14

Всю ночь Федор Николаевич думал, как ему поступить. Он нисколько не обманывал себя: с момента возвращения из Германии он все время находился под подозрением и, вероятнее всего, под негласным наблюдением. Повышение в звании ничего не доказывало. Оно сопровождалось перемещением с иностранной работы, которая особенно высоко котировалась, на подсобную и теневую работу в ГУЛаге. Туда назначались либо провинившиеся работники, либо те, кто не достаивался доверия.

Приказ о перемещении Лили в Москву не сулил ни ей, ни Федору Николаевичу ничего хорошего. Он был слишком искушен в следственных делах. Доследование ведь могло производиться на месте, для этого возить Лили в Москву не было никакой надобности. Не был ли в этом замешан тот француз, которого Федор Николаевич встретил в квартире Будовца? Его имя Поль-Антуан, кинорежиссер – это Федор Николаевич знал по газетам.

Ищут свои у себя? Разве он, Ковальчук, совершил какое-нибудь преступление? С точки зрения закона ему могли вменить в вину, что полгода он держал на своей квартире без прописки человека (женщину!), которая впоследствии оказалась врагом, о чем он, Ковальчук, мог не знать. Этот сам по себе маловажный факт приобретал значение лишь в том случае, если ему станут шить дело. Что дело могут шить даже из маленьких лоскутов, ему было хорошо известно. А Лили, видимо, решили убрать.

Лучше всего, если бы свидетели вообще исчезли. В отношении Поля-Антуана они бессильны что-либо сделать. Но Лили в их руках, в ГУЛаге. С ней проще.

Поначалу у него появилась мысль вызвать Лили и поговорить с ней по-человечески. Но эту мысль он тут же отбросил. Потом возникла другая идея. Вызвать Лили, конечно, нужно, но

не только чтобы замести следы... Все продумав, он стал действовать предусмотрительно, с присущими ему ловкостью и опытом конспиратора.

15

Вечером, когда староста барака сообщила Лили, что ее вызывают в лагерное управление, Колька как раз был у нее. Он тут же заявил, что Лили никуда не пойдет. Старостиха пыталась урезонить Кольку: ведь если Лили не пойдет сама, за ней придут. Смуглое лицо Кольки стало еще темнее от напряженной мысли. «Хорошо, тогда я сам с ней пойду!»

«Кума» он застал на лагпункте. Позднее тот донес, что Колька ворвался в его кабинет «как оглашенный» и стал доказывать, что ему необходимо в город. Кум хотел выпроводить Кольку, но тот плюхнулся на стоящий в углу диван, всем своим видом показывая, что без употребления физической силы его не сдвинуть с места. И хотя кум был склонен употребить ее, он этого не сделал. Между ними состоялся такой диалог:

Колька: «Мне завтра нужно пойти с моей подругой в управление».

Кум: «А почему она сама не может идти?»

Колька (сплевывая в угол): «Может. Но я не хочу, чтобы она без меня».

Кум: «Ты, Копченый, не начальник».

Колька: «Я вам шью сапоги?»

Кум: «Ну и что?»

Колька: «А то, что если не пустите, вашим сапогам амба. Я их, может, и сошью, но так, что вы их носить не будете. И материал пропадет. А вспомните, начальник, как вы его доставали. Такого матерьяльчика больше не найдешь».

В результате утром, после развода, у ворот лагпункта оказалась Лили в сопровождении Кольки Копченого. Он подал пропуск с независимым видом, будто у нее свое дело, а у него свое. Обоих предупредили, чтобы не задерживались в «городе». Вахтенный поставил на пропусках штамп, отметив время. Он проследил за удаляющимися, пока те не скрылись за поворотом обсаженной тополями улицы. Колька шел впереди, Лили за ним.

Больше здесь их никто не видел.

Неслыханный по дерзости побег Кольки Копченого и его подруги еще долго был предметом разговоров. Казалось, при таких явных приметах беглецов — хромая женщина и мужчина с характерной внешностью — их должны были бы быстро накрыть. Приказ о розыске был отдан без промедления. Над пассажирами поездов единственной железнодорожной линии было установлено наблюдение, все прочие дороги были перекрыты. Вечером в день побега были задержаны и подвергнуты допросу все возможные пособники. Самые большие надежды возлагались на допрос Варвары Николаевны. Считалось вероятным, что Лили попытается повидать дочь. Но Варвара Николаевна на все вопросы отвечала: «Видеть не видела, знать не знаю. Последний раз француженка была у меня весной. Федор Николаевич сам дал разрешение. А девочка ее не признает, называет тетей. Чтобы ей ребенка отдала? И не подумаю. Пусть делают, что хотят».

Ее успокоили, говоря, что никто у нее ребенка отбирать не собирается. Речь идет о матери, она убежала из лагеря, когда ее и так освободить собирались. Варвара Николаевна махнула рукой: «Ну, так и хлопот будет поменьше. Но что не пришла посмотреть на девочку, век ей не прощу!»

Как бы это ни показалось невероятным, беглецы больше месяца скрывались в поселке, где жителей-то было меньше пяти тысяч, все знали друг друга, и о побеге было оповещено. А было так: в селе издавна жило несколько семей кержаков, староверов, людей, избегавших общения вне своего круга. Одной из них была семья плотника Михеева. В ней кроме отца и матери было три сына и дочь. Дочь в детстве повредила ногу и хромала. Мать умерла еще до войны, сыновья уехали на заработки, один из них скрылся от мобилизации. В селе остались отец Михеев и дочь. Жили обособленно, в крепко сколоченной избе за глухим забором. За месяц или около того до побега Копченого и Лили Михеевы уезжали к родственникам в Зарянск, потом вернулись. Уже позже догадались, что это не они вернулись, а в их избе поселились Колька с Лили.

А потом они исчезли, и след их затерялся.

Глава 6. Перекати-поле

1

Ковальчук мало сидел на месте. Его джип всегда был в движении. Однажды они ехали с адъютантом мимо кладбища, где в войну были захоронены пленные немцы и японцы, а позже добавились и могилы советских заключенных. В трех метрах друг от друга были насыпаны могильные холмики, в них были воткнуты дощечки с номерами покойников и датами смерти. Кладбище окружали высокие сопки. В мертвом пространстве между ними воздух как будто застыл.

Генерал приказал водителю остановить машину и пошел по кладбищу. Вдруг с сопки сорвался ветер. Он гнал клубки вырванных с корнем трав. Ворвавшись в мертвое пространство, клубки превращались в кометы. Гонимые ветром, они пользовались могильными холмиками, как трамплинами, прыгали через них, перекатывались друг через друга.

Федор Николаевич выхватил из кобуры пистолет и стал палить по клубкам перекати-поля. Ветер не утихал, раздувая полы генеральской шинели, а Ковальчук все стрелял и стрелял. Адъютант с удивлением следил за ним. Когда Федор Николаевич вернулся к машине, у него был вид человека, выполнившего свой долг.

— Все, поехали!

2

Жака перевели на недавно построенный четвертый лагпункт. Два ряда просторных свежоштукатуренных и выбеленных барачков с новыми, пахнущими смолой вагонками, столовая

с кухней, медпункт, каптерка, швейная и сапожная мастерские, комендатура, фонтан с фигурой юного барабанщика – все это вместе составляло эталон места заключения. Правда, он был лишен романтики, культурных фантазий, зато был целенаправлен и по-военному собран.

Весной на склоне цвели тюльпаны – красные, фиолетовые и желтые. Из норок вылезали суслики. Зверьки смотрели на заключенных по ту сторону колючей проволоки с любопытством, замешенном на скепсисе, становились на задние лапки, а передними быстро перебирали за ушами.

Вместе с Жаком на четвертом лагпункте очутился и доктор Сиротинский. Его перевели на физическую работу, но потом доверили фанерный ящик с перевязочным материалом, лекарствами от зубной боли, колик и падения сердечной деятельности.

Понять подоплеку действий администрации так же трудно, как угадать выигрышный номер в лотерее. Тут возможны только предположения. Несомненным было только одно: перемещение Жака и Сиротинского, а также заключенных-западников совпало по времени с опубликованием заключения по делу «убийц в белых халатах».

Из 413 заключенных на четвертом лагерном пункте 238 были приговорены к 10 годам заключения, 76 – к 15, 72 – к 25 и только 27 к срокам меньше 10 лет. Все работали на общих работах, из них на котловане ровно 400 человек. Подавляющее большинство (358) заключенных были в возрасте от 20 до 38 лет, и только пятеро были старше 50 лет. По национальному признаку 290 были украинцами-западниками, 16 белорусами, 77 прибалтийцами, 12 русскими. На лагпункте было еще 9 казахов, 6 армян и трое евреев, меньше, чем в других лагерях.

Жак знал только одного из них. Это был его напарник и сосед по бараку Леонид Исакович Каганов – высокий и стройный мужчина лет около сорока, с открытым выпуклым лбом и серыми спокойными глазами. Жак не видел, чтобы Каганов когда-нибудь улыбался. Только иногда в углах его глаз появлялись искры – зачинщики и хранители огня.

3

По мере того как котлован углублялся и по его краям поднимались насыпи, для работающих в нем день сокращался: даже в ясную погоду солнце светило им лишь полтора часа. Остальное время они работали в густой тени.

Жак и Каганов работали вместе, на одних носилках перенося глину и камни к плотине. За день они проходили с грузом по двадцать километров и столько же порожняком. Снуя взад и вперед по дну котлована, они по очереди менялись местами, а на обратном пути скидывали носилки на плечи. Делали они это механически. Работа была не очень утомительна. Они могли и передохнуть и обменяться мыслями. Эти моменты отдыха и разговора были как цветы, вносимые в душную камеру. Они расточали аромат мысли.

Напарник Жака любил точные формулировки и терпеть не мог пустой болтовни. Он говорил короткими, лишенными всякой словесной шелухи фразами. Они походили на удары молота попеременно по наковальне и по ковкому железу. В их звонком ритме чувствовалась непоколебимая уверенность Каганова в своей правоте. Она-то как раз и мешала Жаку довериться ему: такая уверенность свойственна людям ограниченным, думал он. Каково же было его удивление, когда однажды Каганов сказал:

— Все наши утверждения — это подпорки невежества.

— Как это понимать?

Собеседник долго медлил с ответом. Только когда они свалили мерзлую глину, сказал:

— Богатейший наследник не знает, что унаследовал миллионы, и рад, что нашел поденную работу.

— Любая работа, если только она приносит пользу, почтена, — сказал Жак.

— Любой полезный труд, сказали вы. Но если он полезен врагу, то он враждебен мне. И получать деньги по наследству не позор. Можно предположить, что у того, кто их получил, были трудолюбивые и умные предки. Можно также предположить, что вместе с деньгами наследник унаследовал трудолюбие и ум.

— Ну, а если деньги добыты нечестным трудом?

— Например?

– Спекуляцией.

– Для спекуляции нужны ум и энергия.

Жак почувствовал острую враждебность к Каганову.

– Говоря о труде, я имел в виду общественно полезный труд.

– Общество все время меняется. Меняется и понятие общественно полезного труда.

– А что не меняется?

Каганов пожал плечами:

– И неизменное меняется, оставаясь неизменным.

Враждебность между Жаком и Кагановым еще обострилась потому, что в бараке, в котором они жили, их соседями были почти исключительно западные украинцы. Они с самого начала относились к обоим «жидам» враждебно. Их толкали при выходе, пытались им всячески напакостить. Каганов воспринимал это со слишком показной надменностью. Жак недоумевал и досадовал. Единственным, кто к ним как будто хорошо относился, был молодой священник из Тернополя. Высокий брюнет с буйной шевелюрой и горящими глазами, он был похож скорее на итальянца или испанца, чем на славянина. С первых же дней он пытался заговорить с Кагановым и с Жаком, охотно уступая им место за обеденным столом, вообще всячески пытался выказать им свой интерес. Это несколько отразилось на отношении жителей барака к Жаку и Леониду Исаковичу. Над ними перестали натужно издеваться. Священник среди западников был признанным вождем.

На все его попытки заговорить Каганов или не отвечал, или же резко обрывал. Тот, считая Жака более стоворчивым, стал обращаться к нему. В таких случаях Каганов поворачивался и уходил. Однако однажды, выходя после ужина из столовой, Жак заговорил со священником о положении работяг на котловане, которым запретили пользоваться ломом при разработке камня, боясь, очевидно, что они могут ломы превратить в оружие.

– Римские рабы были в худшем положении, — сказал священник.

– Рабство было в то время социальной необходимостью, — бросил Каганов, — а здесь оно вызвано желанием извлечь пользу из социальных отходов.

Священник промолчал. Потом, поощряемый взглядом Жака, заинтересованного спором, сказал:

– Социальная несправедливость вызывает возмущение, а возмущение ведет к изживанию несправедливости.

– А, бросьте! – крикнул вдруг Каганов. – Тогда ваш Христос должен был радоваться несправедливости.

– Знаете, что сказано в Евангелии? Соблазны должны быть, но горе тем, через которых они проходят.

– Да? – воскликнул Леонид Исакович. – Вместо креста христианство завело аутодафе и избрало жертвами еретиков!

– Верно, все это история. Но разве к этому сводится христианство?

– Вы видели когда-нибудь, чтобы евреи издевались над христианами?

– Я считаю, – сказал священник, несколько смутившись, – что бороться со злом, а злом я считаю антисемитизм, можно только искоренив его в зародыше, то есть в мыслях и представлениях христиан.

– А не в их действиях? – крикнул Каганов. – А вот я считаю, что можно воздвигнуть преграду действиям людей, применяя законы, но сделать их свободными от заблуждений и предрасудков нельзя!

Священник повернулся к Жаку, как будто ища у него поддержки. Тот не ожидал от Каганова такого полемического пыла. Его возражения казались Жаку бестактными по отношению к человеку, ищущему сближения с ними.

– Острота спора мешает вам видеть в несовершенном ступень к совершенству, – сказал он примирительно.

В середине марта, под вечер, к воротам лагеря подъехала на маленьком кудлатом коньке закутанная в черное казашка. За ней важно ступали на привязи два верблюда. На спине одного из них было сооружено что-то вроде плоского сидения, на другого навьючена разобранный юрта. По главной улице лагпункта к комендатуре шел заключенный казах в лисьем башлыке. Он шел и размахивал руками, прощаясь со своими высыпавшими на улицу товарищами. Сопровождаемый гулом одобрения заключенных, надзиратель с казахом проследовал к воротам и широко их распахнул. Окутанная в черное женщина слезла с коня и гортанными звуками приказала верховому верблюду лечь.

Она взобралась на него как-то особенно ловко, даже изящно. Освобожденный из лагеря казах сел на коня, и кавалькада повернула в степь. Она удалялась по прямой, освещенная в спину заходящим солнцем, и через некоторое время тремя точками истаяла на горизонте.

– Вот кто знает свободу! – воскликнул священник, наблюдавший за этой сценой. – В степи дорог нет, единственный путеводитель – это солнце и звезды.

Потом, обращаясь к стоявшему рядом Каганову, добавил:

– Вы свободу потеряли раньше, чем мы. Может быть, поэтому легче переносите ее потерю.

– Свободы нет, – возразил Каганов, – есть только ее фикция.

4

Как-то в разговоре с Кагановым Жак помянул свой недолгий брак с донской казачкой в двадцатых годах, и что от этого брака остался сын. Жак почему-то подумал, что мать воспитала его сына антисемитом. Каганов проявил к этой истории неожиданный интерес. Его вопрос, почему Жак не поддерживает отношений с сыном, произвел на Жака неприятное впечатление.

– Какое я имел право? Я от его воспитания устранился по своей воле, вернее, по своей несостоятельности.

– Ну, а как вы теперь расцениваете вашу позицию осуждения зла ради самого осуждения? – допытывался беззастенчивый Каганов.

– Я хочу быть справедливым.

– Вы можете не продолжать. В основе – боязнь занять определенную позицию. Иначе – невыгодно.

– Вы всегда предполагаете самые низменные побуждения.

– Почему «низменные»? Они ведь могут быть оправданы вполне резонно. Стоит ли нам драться из-за каких-то отживших понятий и форм, ради какой-то оболочки? Ведь для вас еврейство – эдакая отжившая оболочка. Может быть, и для меня?..

– Вот видите.

– Но я делаю другой вывод. Нужно в эту оболочку вдохнуть современную идею, взять из мифа те формы и традиции, которые говорят: это не пустая оболочка, это вековое творчество, хранящее гены нации, за него умирали наши предки. Нужно

только его воскресить, придав ему современное направление. В том и в другом случае основа такого воскресения – создание собственного государства со столицей в древнем Иерусалиме.

– Возврат к мифу.

– Возврат к нормальной жизни народа. Как нации.

– Вы убеждены, что из-за этого стоит проливать кровь?

– Это от нас не зависит. Это зависит от того, в какие условия мы будем поставлены. Идеи придут на помощь, когда нужно будет защищать нашу родину.

Вскоре и Жаку пришлось занять позицию. Многие из заключенных меняли хлеб на табак. Каганов, хотя сам не курил, но получал в посылках высоко ценимую махорку «Красная белка». В его вещевом мешке всегда лежало несколько пачек. Однажды один из заключенных, тощий неопрятный тип, отличавшийся от других западников тем, что каждое слово сопровождал матерщиной, обратился к Каганову с предложением обменять пачку махорки на пайку хлеба. Леонид Исакович отказался. Тогда, пересыпая речь антисемитской бранью, украинец стал кричать, что «жид» уже менял с ним хлеб на махорку и обманул его. Каганов слез с койки и, схватив свой вещмешок, пошел в сени, где принялся потрошить пакетики «Красной белки» в помойное ведро. При виде такого святотатства украинец оцепенел. Каганов вернулся в секцию и спокойно лег на свою койку.

– Смотри, братцы, что делает эта жидовская гадина! – слышался вопль из сеней. – Губит свое добро, лишь бы оно нам не досталось.

– А ну-ка, выкладывай свое майно¹, жидовская морда! – заорал один из «братцев».

Подложив руки под голову, Каганов не двигался. Тогда тот, который предложил Каганову обмен, выхватил вещевого мешок из-под его головы и запустил в него руку. Первое, что он нащупал, была переплетенная в черный сафьян книга. Украинец стал ею размахивать:

– Айда к начальнику, он тебе покажет! – негодяй знал, что в лагере было запрещено хранение всякого печатного материала.

¹ Имущество (укр.).

Каганов стал медленно подниматься на локтях. Лицо его было бледно, губы скривились. Вдруг он спрыгнул со своей койки и схватил украинца за горло. Оба повалились на землю, но на них тут же накинудись другие – не для того, чтобы их разнять, а чтобы пнуть, ударить Каганова.

Первым движением Жака было броситься ему на помощь. Но тут в его мозгу пронеслась мысль, что этим он может оказать Каганову медвежью услугу, вызвав всеобщую свалку, в которой численное превосходство молодых украинцев неминуемо должно было взять верх. Он мгновенно сообразил, однако, что на нижних койках вагонок никто не лежит. Схватив стойку вагонки, он опрокинул ее на дерущихся. Маневр оказался удачным. Из-под щитов, матрасов и стеллажа поднялись еще не остывшие, но ошеломленные нападающие. Поднялся и Каганов. Он был изрядно помят, но цел.

Жак схватил его за руку, пытаясь оттащить в сторону. Но Каганов освободился и стал искать на полу книгу. Он ее нашел заброшенной за соседнюю вагонку, обтер руками и раскрыл. Несколько страниц было помято, одна надорвана. Леонид Исакович любовно разгладил страницы и оглянулся. В нескольких шагах от него со злобным выражением лиц сгруппировались противники. Они наперебой объясняли подошедшему к ним священнику, что случилось. Он движением руки предложил своим землякам разойтись, подошел к Каганову и спросил, не пропало ли что-нибудь. Каганов отрицательно покачал головой.

– Вы не хотели менять махорку на хлеб. Почему? – спросил священник.

Каганов ответил, пожимая плечами:

– Было время, когда еврейских корчмарей обвиняли в том, что они спаивают христиан.

5

Своенравная, летом пересыхающая, но весной захлебывающаяся в своих бурных порывах речка как будто в раздумье остановилась перед перемычкой и разлилась по обе ее стороны.

В котловане уже трое суток как не работали. По насыпи сновали какие-то люди, что-то измеряли. Возле бревенчатого дома царило оживление. То и дело подъезжали грузовики и сгружа-

ли какие-то ящики. Забравшийся на крыльцо солдат прибывал у крылечка дощечку с надписью: «Хозяйство Бойко». Это была реминисценция военных лет.

Майора Бойко срочно вызвали на совещание в райисполком. Он сел в свой газик, так что пружины застонали, и громко выругался.

Комендант лаготделения, бритоголовый подполковник, докладывал собравшимся о беспорядках на лагпункте № 4. Председатель что-то записывал в блокнот и, подозвав жестом вошедшего майора, показал ему на лист бумаги. Бойко пожал плечами. На блокноте было написано: «Тебе придется усмирять бунтовщиков». Бойко сел возле председателя и, прикрывая лист бумаги рукой, размашистым почерком написал слова, которые не принято произносить вслух, тем более на заседании райисполкома.

Подполковник Чеченов снял очки и, оторвавшись от текста, сказал, ударяя по слогам, как по барабану:

– Мы-возь-мем-их-из-мо-ром!

– Чтобы потом подкармливать, – раздался чей-то ноющий голос

– Сколько нужно времени, чтобы закончить работы? – спросил председатель. Сидевший у стены прораб Сафаргалиев приподнялся на своем стуле и снова сел.

– При прежнем количестве рабочих – четыре дня.

– Можно было бы пообещать им все, что они хотят, а потом, когда работа будет сделана, отказать, – протянул тот же ноющий голос.

– Они требуют. Больше того, они возражают, видите ли! – крикнул Чеченов.

– Чего они требуют? – спросил Бойко у председателя. Тот стал отсчитывать по пальцам: – разрешение на свидания с родственниками – раз, посылки – два, потом просят сократить обыски – три и четыре – соблюдать воскресенье и христианские праздники по католическому календарю.

Оба преувеличенно захохотали.

– А против чего возражают?

– В газете была статья о комсомольской бригаде. Они имеют, видишь ли, претензии к редакции.

– Ну, я читал. Так почему? Кто эту статью писал?

– Какой-то заезжий писака. Может, товарищ Сенокосов, редактор газеты разъяснит, как было дело со статьей? – спросил председатель.

Редактор, крупный, курчавый блондин беспомощно развел руками.

– Статью принес заведующий информацией. Статья грамотная. Что касается самих фактов, то, я думаю, отдел информации знает, что дает.

– Какой отдел информации? В редакции три сотрудника вместе с машинисткой, – снова раздался ноющий голос.

– У нас функции распределены, – пытался оправдаться редактор.

– Так что в этой статье?

– Там о комсомольской бригаде. Что она выручила строительство, иначе бы оно не закончилось в срок. В зимнюю стужу, при пятидесятиградусном морозе, ну, как это бывает.

– Что скажет секретарь райкома комсомола? – спросил председатель и поднял голову.

Поднять голову было не лишним, потому что выросший перед ним комсомольский секретарь, если бы он не был очень близоруким, подошел бы на роль центрального нападающего любой баскетбольной команды мира. Перед тем как отвечать, он снял очки с толстыми стеклами, оставившими на переносице красноватый след. Он долго мялся, но ничего вразумительного так и не сказал.

– Ясно, – сказал председатель.

Он повернулся в сторону, где сидел Сафаргалиев.

– Никакой комсомольской бригады не было. Вольняшек не разрешают ставить на одну работу с заключенными.

Председатель сморщился: интеллигентный человек, а как выражается.

– Среди взрывников, – продолжал Сафаргалиев, – были комсомольцы, но остался только один. Остальных послали делегатами на комсомольский слет.

– Что получается, – сказал председатель, – вот где мне эти писаки, – он провел ребром ладони по горлу.

– Как могло случиться, что газета попала в лагерь и заключенные ее прочли? – спросил председатель.

– Как людей ни изолируй, они находят лазейки, – заметил подполковник.

– Кто там у вас командует на лагпункте? – уже с оттенком раздражения спросил председатель.

– Командуют те, кого я поставил, – отчеканил Чеченов.

– А из заключенных?

– Придурков мы не разводим. Есть только один нарядчик, Гольдберг, из Латвии. Заключенные нарядчиков не любят. Если что-нибудь случится – громоотвод.

– Там есть еще из этих? – спросил председатель.

– Есть. Один. Непонятно, что за птица. Еще один, но тот откровенный контрик.

– Почему так мало? – спросил ноющий голос.

– Смотрите, какой кровожадный, – заметил Чеченов. – Не мы решаем

– Ну, как в отношении моего предложения? – спросил председатель.

– Какого?

– Людей рассортировать по разным лагпунктам.

– На это нужна санкция. А времени у нас нет.

Сафаргалиев встал и посмотрел почему-то на люстру.

– Мы с женой уже полгода назад подали заявления об уходе.

Они до сих пор маринуются.

– И будут мариноваться, пока не заберете их обратно.

– Не возьмем.

– Тогда ждите.

– Это произвол.

– В советском государстве, к вашему сведению, произвола нет. Вам будет хуже, если с вашим личным делом познакомятся в другом месте. Здесь к вам уже привыкли.

– Я реабилитирован, и жена моя член партии.

– Потише. Всем известно, кем был ее брат. Скажите спасибо, что советская власть вам дает возможность доказать, что ваши ошибки были случайными.

В этот момент неожиданно донесся грохот взрыва, и всем показалось, что их мягкой ладонью ударили в лицо. В окнах зазвенели стекла. Все переглянулись, но никто не показал вида, что испугался. «Где это? На шахте три-бис?»

Сафаргалиев как поднялся, так и продолжал стоять, сжимая спинку стула до белизны костяшек.

– Нет, – сказал он. – Перемычку взорвали.

6

На бастующем лагпункте раздачи питания не было.

— Вы есть хотите? — спросил Жак Каганова.

— Я отвлекаюсь мыслями о прекрасном. Например, я представляю себе цветущие апельсиновые рощи.

— Вы их когда-нибудь видели, эти цветущие апельсиновые рощи?

— Никогда. Поэтому они и представляются мне прекрасными.

— Но это вас не насытит.

— Вопрос тренировки.

— Кому как, а мне приходилось голодать.

— Как будто в этом есть заслуга. Но я вижу, ордена вам за нее не дали.

— Зато я приобрел опыт.

— Вы этим опытом с кем-нибудь поделились?

— Я хочу поделиться с вами: голод обостряется при мыслях о каких-нибудь особых яствах. За кашей я избегаю думать о тушеном зайце в сметане.

— Кто не мечтает, тот и не получает. Так и будете есть кашу всю жизнь. Нас, евреев, спасла именно мечта. Диаспора была для нас огромным концлагерем. Не мечтали бы мы о возвращении на родину, не было бы у нас теперь страны. Вы понимаете, о какой стране я говорю.

— Я думаю, что наша страна там, где мы живем. И свои силы и способности я хотел бы ей отдать. Я хочу быть действительно равноправным гражданином этой страны, честно участвовать во всех ее делах.

— Как еврей?

— Как еврей.

— Это вам не удастся. На вас будут смотреть, как на узурпатора. И вышвырнут, как это неоднократно делалось в истории. Или вас соблаговолит причислить к своему народу. На днях я прочел: Карл Маркс — великий сын немецкого народа. В Советской энциклопедии об Альберте Эйнштейне сказано: немецкий ученый, автор теории относительности.

— Разве нужно всегда напоминать о национальности?

— Нет. Но тогда и не надо вспоминать о ней, когда нужно опорочить какого-нибудь еврея.

— Я не требую, чтобы за мной признавали какое-то исключительное право.

— Об этом никто не говорит. Но у вас есть желание переделать то, что вам не подходит. Если вам это удастся, то это может вызвать возмущение народа, среди которого вы живете и которому ваши предки не по нутру.

— Я считаю, что историческая роль евреев состоит в том, чтобы раствориться среди других народов и этим способствовать их сближению.

Каганов сделал какое-то резкое движение и сорвался с койки. Он долго не взбирался на нее и только расправлял свою постель, а когда, наконец, поднялся, то не лег, а продолжал сидеть, придвинув колени к подбородку и обняв их руками.

— Почему только от евреев требуют, чтобы они пожертвовали собой? Мы исключение? Но если мы это утверждаем, нас называют маньяками, а когда мы хотим быть народом, как все другие, и жить в собственном государстве, нас обвиняют в национализме. До тех пор, пока у нас не было своего государства, еврейский вопрос можно было толковать как часть социального вопроса. Теперь социальный вопрос для нас лишь часть национального. Вы, может быть, увидите в этом кощунство, но я скажу, что нам, евреям, в этом помогли нацисты.

— Это не кощунство. Это оправдание нацистских преступлений!

Но Каганов как будто не слышал.

— Осуществление мечты еврейского народа придает смысл нашему пребыванию здесь. Я верю, что вы будете с нами. Потому что стараетесь быть честным, а честность приведет вас к нам. Вы говорили о действительном участии в делах страны. Только там оно возможно, где это участие будет обусловлено самим нашим присутствием.

7

Было воскресенье. Жители барака обступили священника. Он говорил внятно, склоняя голову после каждой фразы:

— Вы меня знаете, и знаете, что я вам дурного не посоветую. Вы поставили условия. Эти условия разумны и справедливы, но представьте себе, что лагерное начальство

согласится их выполнить. Вряд ли это удовлетворит вас. Так бывает на базаре: продавец запросит цену, покупатель согласится ее уплатить не торгуясь, а продавца берет досада – мало запросил, можно было выручить и побольше. У вас отняли свободу, родину, разлучили с семьей, а вы жалуетесь, что вам не дают покоя и не допускают свиданий с родственниками. Больше того, у вас отняли право с радостью и гордостью взирать на плоды своего труда. Но рабы лишь те, для которых единственное сопротивление – это жалоба. Поэтому я советую: оставьте ваши жалобы, идите на работу. В гимне большевиков есть такие слова: «Кто был никем, тот станет всем». Я не знаю, что они подразумевают под этим. Всем человек стать не может. Но я хочу сказать о другом. Напрасно большевики тешат себя надеждой, что их власть вечна. Смена власти произойдет еще не однажды. Правда, для нас это всего лишь утешение. Давайте подумаем о том, что бы мы сделали, если бы власть была у нас. Я боюсь, мы бы ее употребили не лучшим образом. Мы – угнетенная нация, а все же измываемся над народом, еще более угнетенным. Давайте же будем справедливыми, ибо справедливость – воля Божья.

– Вы слышали? – спросил Жак шепотом соседа.

– Слышал, ну и что?

– Разве можно этих людей считать врагами?

– Вы им не верьте. Подождите, когда они вернуться домой и почувствуют себя хозяевами. Слабость утешает себя надеждой на справедливость, но преуспевающие быстро забывают ее.

– В основе справедливости лежит принцип равновесия, – философски заметил Жак. – Может быть, это и хорошо, что люди это равновесие нарушают, а то нечего было бы восстанавливать. Вероятно, тогда всякое движение вперед прекратилось бы. А ведь это самое важное. Мы думаем о справедливости только для нас самих, а она должна быть для всех, даже для врагов справедливости.

8

По лагерной улице шагало высокое начальство.

Начальство вошло в секцию, как выходят на парад. Впереди начальник лаготделения, за ним начальник лагпункта, потом пять или шесть надзирателей, позади нарядчик. Закрывал ше-

ствие врач амбулатории Черненко. Группа прошла по секции, вернулась назад и выстроилась посреди барака.

– Что, отдыхаете? – спросил начальник лаготделения, поглаживая усы.

Откуда-то послышался смешок. Стоявший вблизи священник оглянулся. Смешок оборвался. Чеченов скосил глаза на буйноволосого священника.

– Почему не стриженный? Вшей разводите?

– Мне разрешили.

Чеченов повернулся к начальнику лагпункта. Тот кивнул.

– Он из попов.

– А отчего тогда бритый?

– Я священник униатской церкви, – пояснил буйноволосый.

– Униатской? Что за церковь такая?

Священник ничего не ответил.

Чеченов, видно, не хотел вдаваться в дискуссию. Он отвернулся от священника и обвел взглядом заключенных.

– Завтра вы выйдете на работу. Обыски по воскресеньям и проверка будут отменены. Вопрос о свиданиях с родственниками будет решен особо. Были также жалобы на то, что на ужин выдают селедку, а пить нечего. Будет водохранилище, будет и питьевая вода. А пока что вместо селедки будут выдавать вам печенку. Сто грамм.

– Семьдесят пять, – поправил начальник лагпункта.

– Одним словом, все в ваших руках. К вам, как к временно изолированным, будет применена система зачетов. Каждый может сократить свой срок.

– А продлевать не будут? – спросил кто-то.

Чеченов сделал вид, что не слышит.

– Я писал прокурору и обращался на имя Верховного Совета о пересмотре моего дела. Никакого ответа не получил, – сказал священник.

– Ждите.

– Я жду второй год.

– Меня это не касается. Есть общий порядок. Обратитесь еще раз. Ящик для заявлений висит? – спросил он начальника лагпункта.

– Его прошлый месяц сняли по приказу..

- Повесьте снова.
- В газете пишут, что это не мы строим водохранилище! – выкрикнул кто-то из гущи заключенных.
- Кто это сказал? – насупившись, спросил Чеченов.
- Так стояло в газете, – подтвердили несколько человек.
- Вздор, – возмутился начальник лаготделения. – Никто этого не утверждает. Поработаете, и вам зачтется.

9

Ночь Жак провел в полусне, а под утро вышел подышать свежим воздухом. Мимо шла бригада ассенизаторов. Они направлялись на кухню, где им выдавали пищу. Все они были латыши, здоровые как на подбор. С ними неохотно общались из-за вони, которую они распространяли, но втайне им завидовали.

Один из ассенизаторов отстал и подошел к Жаку. Он заговорил с ним в таком тоне, как будто тот обязан был перед ним отчитываться.

– Вот что получается, когда бунтуют. Оправиться негде. Весь лагпункт загажен.

– Почему вы об этом говорите именно со мной? – спросил Жак.

– Именно, именно, – передразнил его ассенизатор. – Потому что такой попался.

– Какой?

– Бездельник и другим бездельникам подпевала.

– Идите к черту! – возмутился Жак.

– А ты не слишком это самое...

Жак попытался ускользнуть, но ассенизатор преградил ему дорогу.

– Что вам нужно?

– Нужно? Таких, как ты, нужно за ноги и головой в очко!

Жак оглянулся. В этот утренний час никого не было видно.

– Вы только гадить умеете, а убирать – пускай другие!

Это теоретическое обобщение открывало возможность дискуссии. Жак тут же воспользовался этим.

– Кого вы имеете в виду, когда говорите «вы»?

– Не мне вас грамоте учить.

– Все-таки?

– Вам бы только командовать, другие пусть выполняют.

– Я был на Украине в одном местечке, где жили почти одни евреи. Так они прекрасно с этой работой справлялись.

Латыш покачал головой.

– Не знаю. У нас в Латвии они от всякой грязной работы отлынивают.

– Отлынивает тот, кто думает, что с работой не справится.

– А почему им не справиться с выгребными ямами? Для этого большого ума не надо.

У Жака вертелась на языке реплика: «Потому-то бригада и состоит из латышей». Но он вовремя одумался. Сказать это было бы и неумно и несправедливо.

– Ум для каждой работы нужен, – сказал он примирительно. – Но особый ум нужен, чтобы признать за другими возможность делать что-то лучше, чем мы сами делаем.

10

...Что-то затрещало в громкоговорителях, прикрепленных к стенам барака. Обычно громкоговорители молчали. Только иногда начальство передавало по радио извещения, приказы или вызывало в комендатуру кого-нибудь из заключенных.

Жак узнал голос бритоголового усатого подполковника. Но, может быть из-за каких-то помех, голос сопровождался металлическим скрежетом.

– Я, начальник лаготделения, обращаюсь в последний раз к вам, заключенным четвертого лагпункта, с призывом и предупреждением. Вы должны возобновить работу сегодня не позже десяти часов ноль-ноль. Предупреждаю: если вы будете упорствовать и не подчинитесь моим распоряжениям, против вас будет применена вооруженная сила. Повторяю...

Триск.

Заключенные расходились по баракам. В бараках всегда тесно, когда люди не на койках. Толкотня. Ругань.

Жак в барак не пошел. Что ему там делать? Он ходит по лагпункту. Взад и вперед. Он обволакивается мыслями, как нитками шелковичный кокон. «Ну и что, что я здесь? Что бы я делал на воле? Я хочу идти своим путем. А это так же возможно здесь, как и там. Мысли везде свободны».

Из-за сопки дует сильный ветер, гонит лоскуты туч на Восток. В зоне ветер не чувствуется. Порой из-за туч выгляды-

вает слепящее глаза солнце. Словно кто-то пускает зайчика. По разостланному в степи ковру движутся тени. И ковер как бы свисает на горизонте. Тучи толпятся над бездной, не зная, как быть дальше.

Ветер доносит рокот моторов. На фоне взорванного неба силуэты танков. Их орудия направлены на лагерь. Танки спускаются с сопки и останавливаются перед проволочным ограждением.

Из башни передового танка высовывается фигура танкиста. Сдвинув шлем на затылок, он подносит к глазам бинокль, а левой рукой показывает заключенным: «Разойдитесь!» Но кроме кучки любопытствующих, у проволоки как будто никого нет. Жаку кажется, что он узнает танкиста. Неужели Пашка Бойко?

Заключенные перебрасываются шутками с танкистами. Те, выглядывая из башен, смотрят на них благодушно. «Чего вы приперлись?» – кричат заключенные. «Посмотреть на вас, дураков». – «Ну, посмотрели и поворачивайте обратно». А танкисты: «Сметанки припасли?» – «Зачем?» – «Из вас блины будем делать».

Мирно, по-дружески.

Тот, кто стоит в люке головного танка, подает знак рукой. Моторы заурчали. Танки двинулись на проволочные ограждения. Головной танк волочит за собой столбы с оборванными кусками колючей проволоки.

Заключенные разбегаются. Жак остается. Он делает даже несколько шагов вперед. Головной танк, наскочив на неубранный бетонный блок, задирает морду, как дрессированная собака, отказывающаяся взять из рук чужого.

Жак видит выросший перед ним танк, слышит лязг его гусениц. Одно мгновение ему кажется, что танк сворачивает в сторону.

...Тридцать четыре тонны организованного металла обрушиваются на него еще до того, как танки, взломав стены барака, принялись стонять высыпающих наружу заключенных к воротам.

Москва, 1968

Оглавление

Андрей Благовещенский.

О Грюнберге, отце моего школьного приятеля.....5

Дмитрий Прохорович. Об отце7

Мариэтта Чудакова.

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» 11

Часть первая. Человек на весах

Глава 1. №104231 19

Глава 2. Пути-дороги..... 43

Глава 3. Лили 81

Глава 4. Черный свитер 119

Глава 5. Секретарша гауптштурмфюрера 144

Глава 6. Перстень царя Давида 175

Часть вторая. Исход

Глава 1. Незадолго до рассвета..... 199

Глава 2. Цель оправдывает средства 216

Глава 3. Падение..... 237

Глава 4. Подводные землетрясения 258

Глава 5. Победители и побежденные..... 285

Глава 6. Берег жизни 301

Часть третья. Возвращение

Глава 1. Смещенные горизонты..... 337

Глава 2. Встречи, расставанья..... 367

Глава 3. Рытвины..... 390

Глава 4. Оазис 405

Глава 5. Давние знакомые 423

Глава 6. Перекати-поле 451

Стефан Грюнберг
Недочеловеки

Роман

Редактор *Т.И. Балаховская*
Художник *Р.М. Сайфулин*
Корректор *М.М. Уразова*

Подписано в печать 25.11.2011. Формат 60х90 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0. Заказ № 2383.

Издательство «Возвращение»
Тел. (499) 196 0226
E-mail: vozvrashchenie@bk.ru

ISBN 978-5-7157-0235-7



9 785715 702357 >

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО ИПК «Звезда»
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

«Memoria»

Серия наиболее значимых подвижнических книг узников ГУЛАГа. Ценность этих произведений – в органическом единстве творческого и жизненного кредо ее авторов. Серия открывается книгой Георгия Демидова «Чудная планета», выпущенной к столетию автора.

В этой серии вышли в свет: .

Георгий Демидов	«Чудная планета»
Георгий Демидов	«Оранжевый абажур»
Георгий Демидов	«Любовь за колючей проволокой»
Нина Гаген-Торн	«Мемория»
Виктор Рубанович	«Адрес – лагпункт Адак»
Стефан Грюнберг	«Недочеловеки»

*Составитель серии Семен Виленский
Все книги этой серии выпускаются с предисловиями
Мариэтты Чудаковой*

В 2012 году выйдет из печати I том новой серии «Соучастники: архив Козлова»

Составители Семен Виленский, Кирилл Николаев

Архив Николая Владимировича Козлова уникален. Это письма, воспоминания, документы тех, к которым заключенные колымских лагерей обращались «гражданин начальник», и членов их семей. Насколько известно публикаторам этих документов, другого подобного архива не существует. В первый том материалов из архива Козлова включены также никогда не публиковавшиеся документы из архивно-следственных дел чекистов, руководивших специальным колымским трестом Дальстрой.

В следующих томах будут опубликованы материалы, относящиеся к периоду, когда трест Дальстрой непосредственно подчинялся ЦК ВКП(б), то есть лично Сталину, а его директор Берзин еще чувствовал себя заместителем Сталина на Колыме, а также никогда не публиковавшиеся документы тайного суда над Берзиным.

Книги Московского историко-литературного общества

«Возвращение»

можно приобрести в Интернет-магазине
www.vozvrashchenie-m.ru или www.gulagbooks.ru

а также в магазинах:

В Москве:

Книжный склад «Возвращения»: Беломорская ул., дом 26, подъезд 3

(ст. м. Речной вокзал), часы работы: пн. –пт. 11–18

Предварительно заказать по телефону +7 (495) 455-30-11

Киоск при Российской Государственной Библиотеке – Воздвиженка, 3/5,

1-й подъезд, слева. Часы работы: пн. – пт. 14–20; сб. 14 –19

Киоск в Музее ГУЛАГа, ул. Петровка, 16, тел. (495) 621-73-46

Киоск «Новой газеты» на Страстном бульваре

Галерея книги «Нина» – ул. Бахрушина, 28, тел. (495) 959-20-94

«Библио-Глобус» – Мясницкая, 6, тел. (495) 924-46-80

«Московский Дом Книги» – Новый Арбат, 8, т. (495) 789-35-91

«Москва» – Тверская, 8, тел. (495) 629-64-83

«Книжница» – Нижняя Радищевская, 2. тел. (495) 915-27-97

«Старый свет» – Тверской бульвар, 25, тел. (495) 202-86-08

«Фаланстер» – М. Гнезниковский пер., 12/27, тел. (495) 629-88-21

«Гилея» – Тверской бул., 9, тел. (495) 724-61-67

«Русская деревня» – Глинищевский переулок, 6, тел. (495) 650-60-31

«Книжная лавка» – Арбат, 20, тел. (495) 691-72-30

«Primus Versus» – Покровка, 27, стр. 1, тел. (495) 223-58-20

В Санкт-Петербурге:

«Борхес» – Невский пр., д. 32-34 (двор с левой стороны от римско-католического Собора Святой Екатерины)

«Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) –

Невский проспект, 28, тел. (812) 448-23-55

«Порядок слов» – Набережная реки Фонтанки, 15, тел. (812) 310-50-36

«Дмитрий Буланин» – Петрозаводская, 9, тел. (812) 230-97-87

«Гелион» – пр. Обуховской Обороны, 107, лит. Б, тел. (812) 412-08-22

«Книжная лавка-клуб писателей» – Невский пр., 66, тел. (812) 314-47-59

«Книжный окоп» – Тучков пер., 11/5, тел. (812) 323-85-84

men